

В. Падучев

ЗАПИСКИ НИЖНЕГО ЧИНА

Д. Оськин

ЗАПИСКИ ПРАПОРЩИКА



Государственная публичная историческая
библиотека России

К 100-летию Первой мировой войны

В. Падучев

ЗАПИСКИ НИЖНЕГО ЧИНА
1916 год



Д. Оськин

ЗАПИСКИ ПРАПОРЩИКА

Москва
2014

УДК 94(47)''1914/19''+82-94

ББК 63.3(2)524+84-4

П 12

Печатается по изданиям:

Падучев В. Записки нижнего чина. 1916 год.— М.: Моск. т-во писателей, 1931.—175 с.

Оськин Д. Записки прапорщика.— М.: Федерация, 1931.— 351 с.

Падучев В.

П 12 Записки нижнего чина. 1916 год/В. Падучев. Записки прапорщика/Д. Оськин; предисл. Н. И. Цимбаева; Гос. публ. ист. б-ка России.— М., 2014.— 464 с.— (К 100-летию Первой мировой войны).

ISBN 978-5-85209-344-8

Издание объединило две книги, написанные участниками Первой мировой войны почти сразу после пережитых событий. Авторы, прошедшие передовую, в своих очерках правдиво рассказали о техническом отставании нашей армии от германцев, резком неравенстве офицеров и нижних чинов, событиях 1917 года; показали живой облик русского солдата, самобытный язык бойцов, природный юмор и смекалку.

УДК 94(47)''1914/19''+82-94

ББК 63.3(2)524+84-4

ISBN 978-5-85209-344-8

© Государственная публичная историческая библиотека России, 2014

© Н. И. Цимбаев, предисловие, 2014

© ЗАО «Репроникс», оформление, 2014

В окопах Первой мировой

Под одной обложкой объединены две книги, каждая из которых может быть названа уникальной. Посвящены они событиям Первой мировой войны на Восточном фронте, были написаны и изданы тогда, когда эти события воспринимались как недавнее близкое прошлое. И, главное, написаны не генералами, не штабными офицерами, но простыми солдатами, нижними чинами, как аттестует себя один из авторов.

В первые десять-пятнадцать лет по окончании Первой мировой войны в Советской России, вопреки укоренившемуся неверному представлению, было издано немало книг, сборников документов, исследовательских статей, где излагались и анализировались бои, боевые действия, крупные операции, что происходили на Восточном фронте в 1914–1917 гг. Перечислять их здесь нет необходимости, но можно подчеркнуть, что тогдашняя советская военная наука с полным вниманием относилась к недавнему опыту полномасштабных военных действий. Вместе с тем крайне незначительным было внимание к рядовым участникам войны, дневники и воспоминания которых дошли до нашего времени в поразительно малом числе. Это утрата, и утрата невозполнимая. Помня это, стоит со всем вниманием отнестись к тому, о чем пишут два забытых ныне автора.

Автор «Записок прапорщика» Дмитрий Прокофьевич Оськин — человек незаурядный, чья судьба и чей жизненный путь отразили все те перемены, что происходили со страной и ее солдатами в трудные, без всякого преувели-

чения переломные годы Первой мировой и Гражданской войн. Он сделал блестящую военную карьеру, менее чем за десять лет из рядового солдата став командармом. В грозные годы Гражданской войны подобный взлет на свой лад можно считать типичным, но со всей отчетливостью следует понимать, что в действительности он был редким и даже исключительным. Типично, к сожалению, другое: по прошествии немногих лет славный красный командарм был забыт, и забыт надолго.

Об обстоятельствах жизни Д.П. Оськина мы узнаем в основном из его литературных сочинений, которые в строгом смысле нельзя считать воспоминаниями, и из очень немногих краеведческих очерков, ему посвященных. Он родился 28 сентября 1892 г. в многодетной крестьянской семье в деревне Сокольники Епифанского уезда Тульской губернии, где память о нем сохраняется и поныне. Прочувшись в начальной школе, крестьянский паренек самостоятельно подготовился и отлично сдал экзамены на звание учителя народной школы. В дореволюционной России народный учитель — фигура очень заметная в деревенской жизни. Почти всегда он бесспорный авторитет не только для босоногих девчонок и мальчишек, но и для взрослых жителей села. Судя по всему, Дмитрий Оськин обладал незаурядной волей и силой характера, что в полной мере раскрылось, когда он был призван в армию.

Он участвовал в Первой мировой войне, служил в пехотных частях Западного, Юго-Западного и Румынского фронтов. Храбро воевал, был ранен, награжден Георгиевскими крестами, прошел боевой путь от солдата до штабс-капитана, что удивительно для человека, не имевшего специальной военной подготовки. И для старой армии, которая даже в тяжелейших условиях войны стремилась сохранить традиции кастового офицерского корпуса.

После февраля 1917 г. Оськин, боевой офицер из крестьян, пользовавшийся доверием солдат, активно включился в события, объективный смысл которых можно коротко определить словами: «развал старой армии». Он избирался членом полкового комитета, председателем ди-

визионного Совета крестьянских депутатов, членом ЦИК Совета крестьянских депутатов Румынского фронта. Был делегатом Съезда Советов крестьянских депутатов в Петрограде. Вступил в партию левых эсеров, из которой вышел после провала эсеровского мятежа в июле 1918 г.

После Октябрьской революции был направлен в Тулу губернским военным комиссаром. Это был ответственный пост, которому он вполне соответствовал. Оськин формировал воинские части Красной армии, принял активное участие в организации обороны Тульского укрепленного района, когда к Москве рвались передовые отряды генерала А.И. Деникина. В 1919–1921 гг. Оськин — командарм 2-й армии, позже он командовал Приволжским военным округом. В 1923 г. был назначен заместителем начальника Главного управления снабжения РККА.

В 1926 г. он был демобилизован из армии по состоянию здоровья и направлен на хозяйственную работу.

Умер Д.П. Оськин в Москве 7 февраля 1934 г.

О своей военной службе Оськин рассказал в автобиографической трилогии «Записки солдата», «Записки прапорщика» и «Записки военкома», над которой он работал в последние годы своей короткой жизни. Избранная форма — «Записки» — позволяла автору быть точным в деталях, высказывать взвешенные суждения об армейской службе, о боевых действиях и вместе с тем не связывала его ни со строгой хронологией, ни с обязательной последовательностью повествования. Д.П. Оськин писал именно «Записки» о недавнем прошлом, не претендуя на глубокомыслие мемуариста или фактографичность дневниковых записей.

В настоящем издании публикуется та часть трилогии, которая в полном своем объеме посвящена событиям Первой мировой войны, относящимся к 1916–1917 гг. Название — «Записки прапорщика» — в определенной степени условно, ибо автор, он же герой повествования, не раз подчеркивает, что он поручик. Здесь кстати уместно отметить литературность, иногда даже нарочитую, записок, героя которых автор назвал Олениным. Вероятно,

именно таким образом Оськин-автор стремился как бы отстраниться от собственных сравнительно недавних впечатлений и переживаний, которые не всегда были уместны для красного командира.

Впрочем, собственная военная карьера Оськина-Оленина не слишком интересует. Он чувствует себя выходцем из солдатской среды, охотно подчеркивает резкую грань, что и в тылу, и даже на фронте отделяла солдат от офицеров. Вместе с тем автор, который не раз бывал в тыловых командировках, видел обстановку и в Петрограде, и в Москве, и в тульской деревне, склонен подмечать и другую, важнейшую грань, ту, что отделяла фронт от тыла. Фронт — это верность долгу и присяге, это безусловное, до весны 1917 г., выполнение приказов, строгая субординация и, главное, вера в победный, применительно к событиям 1916 г., исход войны. Тыл — это разруха на транспорте, нехватка продуктов первой необходимости, антивоенные настроения и панические слухи.

«Записки прапорщика» были изданы в 1931 г., и их примечательной особенностью можно считать сдержанное, едва ли не критическое отношение к тому, что происходило в России после февраля 1917 г. Некоторые сцены, как, например, съезд крестьянских депутатов в Петрограде, нарисованы как бы пером карикатуриста. Да и приход к власти большевиков и левых эсеров в октябре 1917 г. Оськин иллюстрирует картиной разгрома винных складов, беспробудным пьянством крестьян и солдат.

Правда, не меньшее впечатление производит повествование о той легкости, с какой развалился Румынский фронт, о хаосе, что царил на Украине весной-осенью 1917 г. Оськин пишет о кризисе власти, которой нисколько не сочувствует, о преступном безволии и стремлении уклониться от ответственности, которые он наблюдал и в штабе фронта, и на маленькой железнодорожной станции. В данном контексте интересны впечатления Оськина от тех деятелей, что были вознесены стихией 1917 г. и кого он близко наблюдал. Среди них А.Ф. Керенский, Л.Г. Корнилов, Я.М. Свердлов, Н.В. Крыленко...

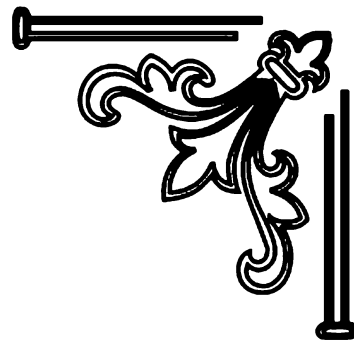
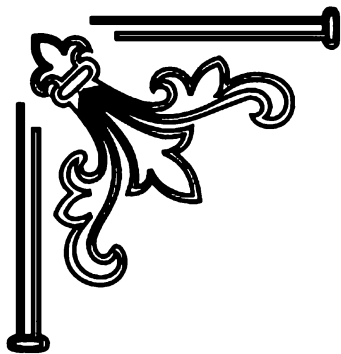
Иной характер имеют «Записки нижнего чина» Вл. Падучева. Они, если угодно, камерны. Время повествования — 1916 г. Место — передовая Западного фронта. Изданы они были в 1931 г., и их автор, в то время советский журналист, стремился дать по возможности объективную картину окопной жизни, прослеживая те изменения, каким она подвергалась от смены времен года, от перемены позиций и от того, насколько близки были солдатские надежды на окончание войны. Тональность записок Падучева — ровная, спокойная и, если бы речь не шла о трагической повседневности, мягкая. Недавний петроградский студент, попавший на передовую, описывает солдатскую жизнь, те отношения, что сложились за месяцы и годы войны в артиллерийской батарее, где он служит.

Падучев пишет об окопном братстве, о чувстве локтя, и ему, автору, читатель верит. Солдаты постоянно ведут разговоры о ненужности войны, о необходимости прекратить ее, и одновременно автор подчеркивает их стойкость и верность долгу. То противопоставление фронта и тыла, что широкими мазками дано у Оськина, здесь раскрывается в описании конкретных судеб простых солдат. Иное и отношение к офицерам. Да, командир батареи далек от солдатских повседневных забот, но в боевой обстановке он — непререкаемый авторитет, отец-командир. Наблюдения Падучева имеют высокую цену, особенно если помнить, что за Брусиловским прорывом, который пришелся на 1916 г., наступило иное время, когда враз были разрушены скрепы, соединявшие солдат и офицеров.

В описании боевых эпизодов Падучев сдержан. Однако он постоянно обращается к двум темам: подавляющее превосходство германцев в воздухе и полное отсутствие у русской армии тяжелой артиллерии. Это правда, горькая правда Первой мировой войны. Выучка русских артиллеристов не помогала им ни избежать появления вражеского самолета-наблюдателя, что безнаказанно пролетал над позициями, ни дать отпор тяжелой германской артиллерии, которая располагалась далеко за линией фронта и оставалась недосягаемой для русских орудий.

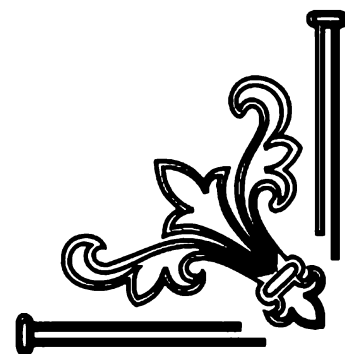
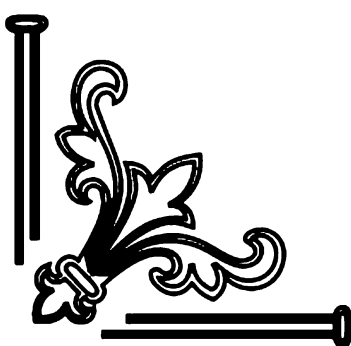
Два автора, писавшие о Восточном фронте Первой мировой примерно в одно время, имели разный кругозор и ставили перед собой разные задачи. Но по прошествии времени можно смело сказать, что они оставили нам бесценное свидетельство о тяжелой и героической борьбе, что вела Россия и ее солдаты.

Н.И. Цимбаев



В. ПАДУЧЕВ

**ЗАПИСКИ
НИЖНЕГО ЧИНА**



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В этой книге показан быт, настроения, думы и чувства русского солдата в период затишья 1916 г., перед Февральской революцией.

В литературе последних лет жизнь фронта отражена разными авторами, но немногие из них находились в гуще солдатской массы и видели эту жизнь не глазами стороннего наблюдателя, а изнутри, в непосредственной близости.

Настоящая повесть исходит от солдата, находившегося в боевой части, видевшего у костров и в землянках жизнь своих товарищей, страдавшего вместе с ними от огня, вшей, грязи, от солдатских лишений и окопной тоски. Здесь описано то, что было: живые, сохранившиеся в памяти, лица, их действительные речи, подлинные солдатские песни.

Цель автора — в рассказе о пережитых днях показать живой облик русского солдата, этого большого страдальца, задыхавшегося в окопах империалистической войны. Очерки не имеют сюжетной формы, в них отсутствует описание сражений,— автор хотел показать будни войны, ее изнанку в окопах, без всяких прикрас и маскировки, вспоминая забытые дни.

* * *

Насколько это удалось, скажут другие.

Не дожидаться нам отрады,
Не дожидаться мира нам.
Через нас летят снаряды,
А в окопах сыро нам.

Солдатская песня

1. СУДЬБА ИГРАЕТ ЧЕЛОВЕКОМ

Гулко ударил над лесом одинокий выстрел. Раскололась и вновь сомкнулась тишина. Осветительные ракеты поднимаются и падают на землю цветами голубых огней. Фронт сторожит. Тоска.

В туманную дождливую ночь лучше забыть о невозможном. Пропала безвозвратно моя вольная жизнь, и потухла радость недавних очарований.

Вот окончен последний экзамен. Пришла цветущая неповторяемая весна, на улицах появились первые фиалки. Дурманило в груди от буйной легкости двадцати четырех лет, был исключительно хорош наступивший беззаботный май, и жизнь открывалась в просторах, как берег реки сверкающим весенним утром.

Несется шум кипящего города, в открытое окно моей студенческой комнаты с пятого этажа видно, как синий дым стелется по крышам. Внизу, на согретых камнях двора, суется человеческий муравейник. Из глубины замощенного колодца смело начинает незваная шарманка грустно-знакомый напев:

И призадумался великий,
Скрестивши руки на груди-э:
Он видел огненное море,
Он видел гибель впереди-э...

Старательно рассказывает певец мудрую повесть о жизни человека:

То вознесет его высоко,
То бросит в землю без следа.
Судьба играет человеком,
Она изменчива всегда...

Оборвалась песня, и понес дальше уличный артист свой наивный романс, но слова эти запали в мое сердце, и об них вспоминаю я в эту туманную ночь:

«Судьба играет чи-ла-ве-ко-ом».

Судьбы нет, есть случай в узорах успеха и неудач, но я чувствую холодные пальцы, бросившие меня на новые

пути. Если бы тогда, после наивной песни шарманочного миннезингера, уличная гадалка наворожила, что предстоит мне дальняя дорога и в тысяча девятьсот шестнадцатом году мне придется защищать свое отечество на далекой границе, я посмеялся бы ей в неверные глаза. Но в стихии больших чисел, тасуя человеческую колоду, судьба-случай перекинула меня на невидимых качелях за тысячи верст, и я превратился в солдата. Измятая, в пятнах застывшей грязи и колесной мази, шинель — все мое имущество: я младший канонир третьей батареи, и в этом единственная правда сегодняшнего дня. Лекции, уроки, лихорадочная подготовка к экзаменам, литературные вечера, «Ревизор» с пятого яруса в Александринском театре, последние дни студенческой жизни, последние минуты на Петроградском вокзале — и под стук колес оборвался тот период моей жизни. Путь к возвращению закрыт навсегда. Надежды и очарования прошлых дней рассеялись, как дым от шрапнели, но смутные образы все еще волнуют мое сердце. Только восемь месяцев отделяют меня — канонира — от вольной жизни, а все представляется далеким недоступным сном. Тому уж не вернуться, как неповторяемому детству, это то, что было, и то, чего не было...

Сегодня вечером, когда кухня привезла ужин, дежурный телефонист Михайлик, как всегда не вовремя, закричал на всю батарею озорным голосом:

— Второй взвод к бою!

Мы стреляли взводом — третье и четвертое орудия — по цели номер восемь.

Так обозначена лощина на участке пятой роты, где с наблюдательного пункта заметили в окопах земляные работы. После десятого выстрела Михайлик передал команду:

— Сто-ой: — от-бой.

Можно было пить из кружек остывший чай и не думать, куда и в кого попали наши снаряды.

Солдаты, мои новые товарищи, набраны из разных деревень. Простые, как зеркало, утомленные лица, но у каждого из них своя особенная жизнь, оставленные семьи и тоска о прошлом. В их глазах горит неостывающая грусть о той жизни, недоступной, как сон.

Кто из них раньше думал, что в августе шестнадцатого года нам придется занимать позицию в этом лесу. Разве я знал, что буду дневалить у орудий, подбрасывать в затухающий костер дрова и сухие листья, закуривать от горячих углей и мучительно ждать смены.

Ночь темна, как в арабской сказке. На дереве за двадцать саженей впереди мелькает красной точкой фонарь, по которому ночью орудия отмечают свое направление: точка отметки.

Кажется, что слабая огненная точка, боясь потухнуть, тоскует вместе со мной.

— Эх, скорей бы, скорей дожидаться смены.

Но в эту дождливую ночь нужно забыть о невозможном.

2. В БЛИНДАЖАХ НА ПОЗИЦИИ

— Это что такое? — спрашивает наводчик Антонов, хлопая ладонью по длинному стволу орудия.

Все выжидательно смотрят на молодого, плохо обученного солдата.

— Что? Ну, орудия, — неуверенно отвечает он.

— О-ру-дия, — ты скажи, как она называется.

— Чего ж тут, ну, трехдюймовая орудия.

— Сам-то ты трехдюймовый. Это вот что: полевая трехдюймовая скорострельная пушка образца 1902 года. А то скажет, чего не надо.

Батарея вытянулась на позиции, разделив орудия равными промежутками по десять саженей. Не считая орудийных фейерверкеров и телефонистов, каждая пушка нуждается, как ребенок, в постоянном уходе восьми номеров, и боевая часть батареи составляет артель более семидесяти человек.

Помещаемся мы в землянках рядом с орудиями. Это особый вид сооружений, предназначенных для защиты от выстрелов тяжелой артиллерии, почему и называется блиндажом. Сначала роется яма не меньше двух саженей глубиной, к ней подрываются выходные ступени для спу-

ска, а сверху до самой поверхности земли поднимается непроницаемая крыша из загубленных тяжелых деревьев. Замертво врастают в землю деревянные накаты, утрамбовываются и создают надежное укрытие для номеров в те трагические часы, когда батарея попадает под артиллерийский огонь.

Высота и вместимость землянок так ограничены, что там может быть только два положения: лежать или сидеть по-турецки. Если все девять человек спустятся в блиндаж, для десятого не остается места. Мы сознательно избегаем простора внутреннего помещения своих укрытий: во-первых, потому, что чем меньше коробка блиндажа, тем он безопасней и надежней; во-вторых, за ним меньше работы, да и теплее в нем холодной осенней ночью, когда, сжавшись под шинелью, человек человека греет. Пусть тесно, как в консервной банке, но зато:

— На всякий случай оно надежнее, опять же теплей и работы меньше...

Внутри блиндажей всегда полумрак, крепкая сырость земли и воробьиное чириканье неуловимых полевых мышей. Но у каждого орудия для всех его номеров блиндаж является домашним очагом, местом отдыха и ночлега. Здесь же на соломе лежат хлеб, ранцы, ведра и котелки — все несложное имущество номеров.

Неделю назад солдатам выдали жалованье. Любители карт успели проиграть свои семьдесят пять копеек в первый свободный вечер. Во всей батарее в выигрыше остались трое лучших игроков. Они поделили между собою все деньги и сейчас доигрывают в землянке первого орудия в двадцать одно до «победного конца». С утра моросит назойливый мелкий дождь. Блиндаж первого орудия забит до отказа желающими видеть состязание лучших игроков, как на шахматном турнире.

У нашего орудия все номера проигрались вчистую. Чтобы убить хмурую скуку вечера, придумали играть в подкидного на интерес; условие — кто проиграет семь раз подряд, должен сходить к колодцу за водой, согреть своими средствами ведро кипятку и угостить всех чаем.

Веселая игра в полном разгаре. С азартом шлепают об колоду карты. Больше всех волнуется Фетисов, по прозвищу — Валет. Несмотря на свои сорок лет, он ниже всех ростом. Редкие усы на моложавом подвижном лице придают неуловимое сходство с валетом червей. За это и прозвали его:

— Валет и валет.

Фетисов на это прозвище несколько не обижается. В веселую минуту он сам для потехи представляет валета, как он родился от короля и графини, как он ходит гулять с метлой и топориком и как кушать садится.

— Ходи, валетина, вот тебе бубновая краля.

— А у меня винновый туз получай.

— Как ни крутись, а валету сидеть.

— На тебе козырную шестерку...

— Ах, дьявол, ты козыряешь — н-на...

— Пойду и я.

— Умен болгар.

— Под крестей.

— Мои вини.

— Давай туза-то бубнового, давай.

— Под валета десятку.

— Обратно получай.

— Юс и валету оставаться.

— А раньше-то он оставался.

— Возьми его за рупь за двадцать.

— Покрути хвост мерину, а не мне.

— Ходи, соломатник.

— Да не трожьте вы валета, ребята; он с королем жил и всякие вещи знает.

— Валет, ну скажи, пожалуйста: ты и свиней у него пас?

— Будет болтать зря: сви-ней. Он котлетами каждый день завтракал— я, говорит, росбифы люблю. Валет, ты бы хоть когда нас жареным мясом угостил,— всю орудю. Что тебе, жалко, что ли.

— Да-а, ты много жареного-то видал. Что к чему знаешь, голова. Ну и молчи.

— Я, говорит, без соуса не люблю.

— За такое дело есть ты не валет, а шестерка.

— Получай под козыря.

— Бьем.

— Давай еще.

Игра продолжается. Неслышной холодной тенью вползают в блиндаж сумерки неприветного дня. Только одни дневальные остались наверху у орудий.

С крутой грязью на облепленных сапогах дождь забирается в землянку. Я ложусь на остатках соломы и, покрывшись влажной шинелью, засыпаю под веселый азарт подкидного. Сквозь сон слышно, как Валет, при взрывах общего смеха, отчаянно матерится в бога и черта и, громяхая ведром, вылезает из блиндажа.

* * *

Ночью дождь перестал. Номера выбегали из блиндажей и зябко лепились у костра, растирая застывшие руки.

— Чтой-то рано встали, ребята.

— Как у тещи в гостях...

— Жарко стало.

— Ну, и дож — насквозь промочил, дьявол.

— До самых сподников промок, а вошь, как окаянная, в мокром белье хуже кобеля кусается. Всего искровянила.

— Ее хоть дави, хоть нет — сильнее человека.

— И есть она внутренний настоящий враг каждого солдата.

— Ну, закуривай, закуривай, земляки, нынче будет тепло.

Занималось широкое светлое утро. Трава и полевые цветы улыбались в искрах веселой росы. Земля нагревалась, отдавая теплый пар.

Из-за бугра выехала кухня.

— Номера, к бо-ю: мортирная едет.— Прозвенел чей-то голос в рупор ладоней.

На солдатском языке «мортирной батареей» называлась кухня. Вертикально поставленная кухонная труба напоминала короткий ствол мортиры, поднимающийся до отвеса.

Кухня остановилась у шестого орудия, где с ведрами, котелками и медными баками ее встретили веселой толпой номера.

— Сегодня кипяток привезли рано.

— Мортирка молодец.

— Пей, водохлеб,— это не водка.

— Эй, подходи, не задерживай.

Кашевар Маркелов, переведенный в обоз из строевых только два месяца и очень довольный новым положением, весело улыбается.

— Какого дьявола они там базар затеяли,— кричит недовольным голосом взводный фейерверкер Харченко, делая строгое лицо.— Э-эй, номера, будет там с ведрами брехать-то: налил кипяток и айда. Пошел в обоз, Маркелов, а то как раз угадаешь на аэроплан. Тогда всем купаться.

Кухня медленно поворачивает неловкое железное брюхо и едет в обоз, мелькая в кустах дымящей короткой трубой.

Вокруг затухающего костра и около орудий номера располагаются группами. Размешивая перочинным ножом сахар и обжигая губы о край медной кружки, Харченко звонко хлебает чай. У него строгий вид взводного унтера, подстриженные в жесткую щетку усы и почтенная цепочка на груди к часам за отличную стрельбу. Но как бы ни хмурился наш взводный фейерверкер, я знаю, что у него простая детская улыбка, что никогда он не злоупотребляет своим положением, никого не подтягивает и не любит отличать себя от номеров. Никто не называет его, как это полагается, «взводный» или «господин взводный», а обращаются к нему:

— Слушь-ка, Харченко, сколько у нас в передке гранат-то?

— Петр Васильевич, надо сапоги смазать.

Или просто:

— Петька...

Условия кочующей походной жизни в постоянной близости противника, с равными шансами на жизнь и смерть, спаивали номеров в тесную и дружную семью. Уклад жизненных отношений был проникнут равенством и дружбой,

как у первобытного племени на охоте. Каждое орудие объединялось в маленькое подвижное хозяйство, где сообща хранится хлеб, чай и сахар, вся артель добывает себе воду, строит общим трудом землянку, и все вместе работают в бою у своего орудия, превращаясь в части живой машины.

Батарея представляла собою крепкий и сложный организм, построенный в железном опыте столетий. Стрельба орудий основана на строгом разделении труда: наводчик работает у прицела и панорамы, замковый у затвора, правильный — у хобота, поворачивая лафет, установщик трубок ставит шрапнель по делениям. Все движения заранее предусмотрены, рассчитаны и точно распределены между номерами, как в механизме верных часов.

В любое время дня и ночи, летом или зимой, хотя бы в вихрях снежного бурана, батарея должна быть готовой к исполнению команды:

— Номера к орудиям, батарея к бою.

По этому сигналу все шесть орудий должны приготовить выстрелы немедленно и точно, как закаленная проверенная пружина. Две часовых стрелки требуют для своего движения системы рычагов и шестерен, а батарея пушек нуждается в постоянной работе двухсот пятидесяти человек и такого же числа лошадей. Нужны телефоны, зарядные ящики, инструментальные повозки, кухни, обоз с запасом снарядов и продовольствия и самое разнообразное имущество.

Батарея раскинулась в глубину на десять-пятнадцать верст: впереди в двух верстах расположены наблюдательные пункты, на полверсты позади орудий укрылись под ветлами передки с запряжками лошадиных шестерок, дальше на три-четыре версты обоз первого разряда, или «резерв», с кладью тяжелых запасов.

Много поколений прошли тяжелый и кровавый путь, чтобы создать механизм шестиорудийной батареи, в том виде, как она есть сейчас. Медленно и осторожно двигались они по этому пути в сумерках столетий, совершенствуя средства для уничтожения себе подобных. И пушкар стрелецких полков, проходя по пыльным дорогам через эти

поля, не могли себе представить скорострельных трехдюймовых пушек, которые будут стоять вот на этой позиции.

Раскинувшись на пятнадцать верст, батарея выделяет орудия вперед, как самую главную боевую часть. Номера считают себя самыми нужными людьми и к остальным командам относятся с добродушным пренебрежением:

— Что ты в резерве-то окопался. Задницу греешь у кухни и сидишь. Походи-ка вот здесь, да посмотришь кузькину мать, да поворай, тогда правда...

Взводный фейерверкер Висков, лежа у костра под шинелью, так объяснял своим номерам основные правила поведения:

— Главная вещь, что орудия должны быть всегда как живыми, а кровей своих у них нет, и потому первое для нас дело: не зевай. Ложись в блиндаже спать хоть без штанов: мое какое дело. Но уж если скомандовали «к бою», тут уж штаны надевать некогда — это не с бабой на печке. А кто в чем есть, гони к орудиям: разувши, так разувши, штаны если скинул, катай в spodниках, небось не сахарный. Главная вещь, каждый должен сочувствовать: пока ты станешь обуваться да шаровары натягивать, он тебя скорее в лапти обует. А тогда казись.

Хорош утренний чай в просторе вольных полей, в обещаниях летнего дня. Медленно остывает горячий кипяток. В такой день должна кончиться война... Но она не кончилась, и дальнзоркий, как орел, Желтиков подходит к зарядному ящику первого орудия и подозрительно смотрит немигающими глазами в пространство, в светло-голубую даль.

— Летит, ребята, — сообщает он.

— Будет брехать, чего не надо.

— А я говорю — летит: во-он он.

— Да где ж ты видишь-то? Вот дьявол.

Жмурясь от солнца, Харченко старается поймать глазом невидимую точку:

— Ни мышинной соринки не видать — один воздух.

— Да вон смотри прямо через орудия, за лесом-то вышел. Теперь видишь?

Глухой рокот пропеллера, по эфирной волне, несется из далеких высот. Над лесом, в полутонах светлого неба, появляется недоступная точка, она несется по воздуху, заметно увеличивается и на глазах вырастает в птицу. Серый контур с распушенными крыльями теперь отчетливо виден всем.

Птица летит к нам.

Из землянки шаром выкатывается на коротких ногах смуглый, веселый, с шапкой курчавых, как у негра, волос телефонист Донских:

— С наблюдательного команда: немецкий эроплан — замаскировать батарею.

Висков, не обращая на эти слова никакого внимания, смотрит в бинокль:

— Вот сатана, людям чаю напиться не даст,— ворчит он в белые усы.

И вдруг грозным басом:

— Ма-скируй батарею. Номерам укрыться.

Закипает работа: ведра и котелки — кубарем в землянки, топоры — под солому, на орудия и ящики — снопы скошенного овса с зеленою порубленных веток, номера — по блиндажам быстро хоронись...

Аэроплан гудит с нарастающим гулом, как стальная пчела, вот ближе и ближе.

— И чего летает, свинья ему в печенки. Сидел бы в штабе с сестрицами: и себе удовольствие, и людей бы не беспокоил.

— У тебя не спросил.

— На него бы сейчас да истребителя выпустить, вот бы...

— А раньше-то ты видал: и-стре-би-теля. Где он у тебя истребитель-то, на кухне, с порциями, что ли?

— Наши летчики порядок хорошо знают; какие есть, и те в штабе корпуса, в тылу у зеленой роши вокруг баб окапываются.

— Энтим нужда здоровая летать — нашел дураков.

— А что от него толку, если он и пожелает на своем ероплане лететь. У него машина-то, что разбитая телега: к ней ручку приделать да зашвырнуть... Куда ж она годится летать против людей-то. Курам на смех.

Поставленные в тылу аэропланские взводы уже открыли огонь. Выстрелы гремят в воздухе звонкими раскатами, но каждому солдату известно, что попасть из наших пушек в воздушную цель так же легко, как найти в лесу клад. Аэроплан почти не рискует при «меткости» полевых орудий, совсем неприиспособленных для борьбы с воздушным противником.

Шрапнель рвется в воздухе, расплываясь белыми тающими пятнами. Кажется, что вот этот развернувшийся кусочек ваты попал в самую цель, вот уже закрылся пропеллер, но аэроплан спокойно плывет дальше через белую вуаль, и разрывы сопровождают его, как воздушная свита.

Харченко не переваривает аэропланов. Одна мысль о них портит ему настроение. В ясные дни, предчувствуя полеты, он с утра беспокойно поглядывает на небо:

— Теперь жди гостей, в глаза, в печенку, в пропеллер... Нонче будут...

Свои орудия Харченко успел замаскировать раньше всех и во избежание всяких недоразумений поспешил спуститься в блиндаж. Оттуда, как из пещеры, доносится его заглушенный голос:

— Чекмарев, тебе говорят укрыться, слышь, что ль? Ну, чого зря ходить? Что ты, ероплан не видел? Какой интерес явился, подумаешь. Ну, летит и леший ему в спину, чтоб ему ни дна, ни покрышки. По мне сроду бы его не видать,— вещь какая. Эй, скатывайся в блиндаж, а то по кумполу как бы сверху-то не настукали.

— Петр Иванович, да ты посмотри сюда-то, с пулеметом, во-он чернеет впереди. Здорово видно.

— Опять свое— да что, ты пулеметов сроду не видел,— возмущается Харченко.— Поди вон в Смоленский полк в окопы да смотри. Катись, говорю, в окоп, Ванька. Он, брат, летает,— я вижу.— А вот как заметит батарею да начнет полоскать из грязных — тогда как запоешь? Давай не надо.

— Балашов,— испуганно вспоминает он,— а ты свои сподники-то прибрал? Где они? Головушка моя бедная, да он хуже бабы: он их у орудия оставил. Убирай скорей к свиньям собачьим, да нагибайся, себя-то маскируй, дур-

ной. Глянь там на траве-то, Балашов, не бросили еще чего ребята, ведра-то где? А бак с кипятком, все убрали? Теперь вались все в окоп — ну вас. Ведь русским языком говорят: чего здря ходить.

Аэроплан несется прямо через батарею, сверкая на солнце. На него больно смотреть. Кудрявые разрывы стелятся белыми пятнами и тают в небе.

Шрапнельные пули и осколки, безвредные наверху, рассыпают по земле сухой опасный дождь. Слышно, как несколько пуль крепко ударили в стальной щит орудия, отскочили и шлепнулись на землю. Близо зафурчало что-то над верхом блиндажа и с неприятным шумом скользнуло по траве.

Наводчик Пономарев выбегает из землянки и возвращается с разорванным осколком неостывшего трехдюймового стакана.

— Ну-ка, Харченко, получай гостинчику: домой поедешь, своей бабе отвезешь.

— Этакая вещь в затылок человеку шлепнет и отпахался.

— Чистая работа: по ероплану бьют, а своих железным горохом засыпает.

Аэроплан летит уже над передками и быстро уносится в тыл, сопровождаемый тающими пятнами разрывов.

Номера спешат выйти из блиндажей на горячую землю. Стелется воздух теплой душистой волной.

Но не даром Харченко хмурит брови и озабоченно поглядывает туда. Скоро появится новый аэроплан, за ним еще два, и до самой темноты безнаказанно и свободно летают над нами зоркие чужие птицы. Батарея скована по рукам и ногам: не только выстрел на глазах аэроплана, но какая-нибудь неосторожно брошенная портянка или сверкнувший на солнце котелок могут обнаружить позицию. Тогда мы превратимся в цель и будем расстреляны дивизиями тяжелых батарей, которые стоят на этот случай против нас.

Только туман и ненастье прекращают беспокойные полеты, а чуть засветит солнце — батарея беспомощно врастает в землю.

По землянкам невеселые разговоры.

— Скомандовал умный дураку — равнение на небо, а ты смотри, как тот козел...

— Воздух задарма прохлебали, твою мать,— говорит безнадежным тоном кузнец Кирюша, пришедший из резерва проведать земляков.— Он что хочет, то и делает, а ты стреляй, да оглядывайся.

— Сначала у него спросись, а потом...

— А если без проша.

— Тогда тебя же и подкует на обе ноги...

* * *

Аэропланы летали свободно. Мы были беззащитны перед ними. Правда, по всему фронту стояли взводы трехдюймовок для стрельбы по воздушным целям, но приходилось поднимать орудия кустарным способом на дыбы и меткость выстрелов была заведомо ничтожна. Солдаты издевались над этой стрельбой, считая ее пустым делом.

С самого утра Харченко поглядывал на небо, доказывая номерам, что сегодня кухня проскочить к нам не успеет и мы останемся без обеда. Но его почтенные, заслужившие полное доверие часы показали десять, когда пролетел последний аэроплан, номера высыпали из землянок, отдыхая на траве, а наводчик Пономарев начал смеяться:

— Ну, Петька, и врать ты здоров. Где же твои аэропланы? Сейчас кухня приедет, а они сгорели.

— Подожди брехать-то,— упрямо, значительно говорил Харченко.— А то как раз напрочишь: он тебе пообедает.

— Да я его, если хочешь знать, из мортирки щами полью.

— Не гавкай, ты, Ванька: кухня-то еще не приходила, а ты выхваляешься.

Пока мы грелись на солнце, поднялась немецкая колбаса — привязной воздушный шар с корзиной наблюдателя. Если аэропланы особенно не любил Харченко, то колбаса пользовалась общей ненавистью. Она покачивается в воздухе, точно шелковая голубая игрушка, недоступно-высокая. Без бинокля не всегда увидишь подвешенную, как на паутине, корзину наблюдателя. Перед глазами противника наш тыл открывался на десятки верст, и тем была опас-

на голубая игрушка: с нее виден дым костров, выстрелы орудий, одиночные всадники, повозки с сеном, мортирная труба кухни, а по всем этим движениям легко узнать, где стоит резервный батальон, где расположился обоз и штаб полка, где замаскирована батарея.

Горький опыт научил нас остерегаться колбасы больше, чем аэропланов. Недавно не обратившие внимания на поднявшуюся колбасу конные ординарцы из штаба дивизии и беспечное солдатское белье, развешенное в кустах, дали возможность противнику обнаружить место нахождения штаба полка и резервной роты. Как в оркестре без дирижера, началась артиллерийская «соната» из невидимых тяжелых батарей.

Лощина в лесу открывалась перед нами за полверсты, как с балкона. Сначала ударило два снаряда, потом еще два над землянками штаба, а потом загудело очередями злых оводов:

— Бу-ум, бах. Бу-ум, бах...

Стреляли снарядами двойного действия: первый разрыв в воздухе рассеивал шрапнель, а потом рвалась граната от удара в землю. Рвет сверху, потом снизу, сверху-снизу, как железный ураган. Нельзя было видеть стреляющих дальнобойных орудий. Колбаса покачивалась в голубом небе, как глаз злого волшебника.

— Чистая работа,— говорил Кирюша.

— Нашего брата обучает...

— В хвост и в гриву.

— А по шеям дурость выколачивает.

— Сверху жаром поддает, а из-под низу ветерком.

— Белье просушивает.

— Вон он, хозяин-то висит, а ты говоришь, колбаса.

— Как в точку бьет.

— Хитер болгар.

— Повоюй слепой со зрячим: так и этак все его, а не наше.

Разрывы догоняли друг друга с настигающим воем, словно играя в воздухе; тающий дым шрапнели сливался с фонтанами черной земли. Казалось, что прилетели взбесившиеся злые духи.

Дальнобойные орудия противника, расположенные за десять верст, были недоступны для наших трехдюймовок с предельным выстрелом на семь верст. Мы не только не доставали артиллерию противника, но наши наблюдатели со своих бугорков, деревьев и разбитых колоколен не могли даже видеть позицию стреляющих батарей. Улитка стояла перед жирафом...

Дальнобойная артиллерия с помощью воздушных наблюдателей на колбасе и аэропланах окончательно парализовала жизнь нашего тыла. Каждый солдат из обоза чувствовал на себе тяжелый перевес той стороны в бессилии воробья против коршуна. Мы могли бороться только на земле, а они владели воздухом. В одно ясное утро наш аэроплан сделал попытку летать над немецкими окопами, но ему навстречу вылетело три истребителя и обратили его в воздушное бегство. Помнят номера еще и такой случай, когда из штаба корпуса подвезли две гаубицы, а за лесом поднялась наша колбаса. Но не успела она повисеть полчаса, как вспыхнула желтым факелом от ракеты истребителя, а наблюдатели чудом успели соскочить по веревке.

Сегодняшняя колбаса испортила весь день. И нужно же было ей подняться в тот момент, когда долгожданная кухня выехала из резерва. Заметив колбасу, «мортирная» на рысях понеслась в сторону и остановилась в передках. Здесь кухня застряла на неопределенное время, ожидая, когда колбаса отпустит «душу на покаяние». Подъехать к батарее кухня не могла, чтобы не открыть нашей позиции,— тогда с нами поступили бы так же, как со штабом полка. Пришлось подождать час-полтора, а потом поодиночке, перебежками и ползком путешествовать в передки за обедом.

Кашевар разливал остывший суп под грубо-ласковые шуточки ездовых.

В резерв кухня вернулась только вечером.

3. НОВАЯ СЕМЬЯ

Можно ли было угадать наперед изломы своей жизни, свою неизвестную судьбу. На пороге молодых дней все радуется и цветет в неясных мечтах, а жизнь увлекательно раз-

матывается клубком новых встреч, познаний и откровений. Года прошли, но я помню те дни, слова забытых песен, запах сена, аромат земли и восходы солнца.

На перекрестке многих путей суждено мне было надеть солдатскую шинель, встретить новых товарищей и верных друзей, которых не забыть никогда.

Были грустны первые дни: по дороге я лишился узелка с последними вещами и в землянку третьего орудия вошел чист, не имея ничего. Я остался без шинели, без полотенца и ложки, а осьмушку махорки, за отсутствием кисета, мне пришлось высыпать прямо в карман. Ничего у меня не было, что так нужно солдату,— я чувствовал пустоту и одиночество.

В ранний час душистого солнечного дня сидел я на краю окопа и безнадежно думал, как было бы хорошо закурить. Но уже три дня назад махорка у меня исчезла, в кармане оставалась горькая пыль и придумать было нечего. Попросить на цыгарку у товарищей? Но я вижу их в первый раз, кто знает, что они за люди, а я такой человек, не люблю... Молодой солдат у колеса орудия, с равнодушным видом поглядывая на дорогу, не спеша свертывал цыгарку. Я старался не смотреть на него. Эх, дыхнуть бы только раз-разочек!

Ловко завернув цыгарку, солдат положил остатки газетной бумаги в кисет и молча протянул мне драгоценную скатку, словно он это делал в сотый раз и ничего особенного в этом не было.

Что я мог сказать ему? Волна смутной радости ударила меня в сердце. Я почувствовал, что нахожусь среди людей, в обстановке, где инстинкт товарищества, первобытного коммунизма и солидарности живет с давних времен, от самых охотничьих костров.

— Махорку-то не слышно, когда будут давать,— спросил я равнодушным тоном, сдерживая волнение.

— Кто ее знает, чегой-то все задерживают,— отвечал Чекмарев (так была его фамилия), зажигая спичку.— Вчера в пехоте земляк мне подарил две осьмушки. Им выдавали, а он некурящий.

Из кухни привезли кипяток. Мы расположились пить чай. У соседнего орудия вспыхнула неожиданная ссора. Шум поднялся на всю батарею.

— Что там орете-то, братишки? — спросил Харченко.

— Да вот солоomatник проспал кухню и всю орудия оставил без кипятка.

Виновник преступления Кавецкий смущенно оправдывался, одергивая полинявшую от солнца зеленую гимнастерку на атлетической мощной фигуре:

— Шут ее знает, как я мог пропустить: все время ведь не спал, а тут на траву лег, солнышко пригрело, я уморился, как на грех...

— И проспал все на свете, как с бабой на печи, дьявол!

— Да ладно уж, будет гавкать-то...

Но орудие долго не могло успокоиться. Надо было отвести душу на чем-нибудь, а Кавецкий кругом виноват. Особенно нападал на него Белоусов, такой же атлет, с задорной улыбкой в глазах. Он изощрялся в насмешках, придумывая к общему удовольствию новые словечки и обидные сравнения, пока номера не разбрелись с кружками по другим орудиям. Через час Кавецкий и Белоусов вместе пошли стирать белье, как ни в чем не бывало, а Чекмарев сказал, что они большие друзья и всю войну живут вместе. Пошумели же давеча они:

— Просто так, скуки ради.

* * *

Дни проходили за днями, мешая ненужный календарь. Я назначен номером к орудиям. Солдатская семья принимала меня в свою широкую артель.

Что было мне известно раньше об этой доле, о жизни этих людей, их радостях и печали? Обветренные грубые лица, когда по улицам идут они с песней:

Три деревни, два села,
Восемь девок, один я...

Власть фельдфебеля, привитой дух верноподданничества, словесность «унтера Пришибеева», психология ди-

каря под военным мундиром — так представлялась мне в смутных чертах жизнь солдата, и грустно было надевать серую шинель.

Мои сомнения рассеялись, как дым, в первые же дни. За обедом, в часы отдыха, вечерами в землянке номеров и в бою у орудий я наблюдал жизнь своих товарищей. Как все ново и увлекательно просто у этих славных людей, сколько наблюдательности, терпения, ума, горького опыта, накопленного веками, мудрости и таланта.

— Это что — орудие, а ты мне скажи, что сильнее: воздух или вода? — спрашивает в отдыхающей группе наводчик Пономарев.

— Вода все на свете берет: и землю, и камень, и железо.

— А воздух воду, как в котле, поворачивает — значит, она его слушается.

— Врешь, вода не подчиняется воздуху.

— На что огонь — и то вода его тушит, а огонь всех сильнее. Вот.

— Стой, ребята, я скажу слово, — говорит взводный фейерверкер Висков. — Ты говоришь, вода. Ну, вот, ероплан полетит, а он не по воде, а по воздуху, вот ты становись с пожарной кишкой и поливай отсюда, а он тебя оттуда жареным петухом по башке-то. И как думаешь, сшибешь ты его кишкой или небось сам первый, такой субчик, в блиндаж залезешь. А только ты не хоронись, а кишкой-то его ссаживай, потому вода сильнее. А воздух, что — сам говоришь, дым.

Общий смех покрывает удачную речь, а Висков продолжает:

— Так вот оно и получается: Гинденбург в воздухе, а мы на воде, да в самое болото по шею попали и сидим, а он тебя бреет, почему зря.

Пономарев ставит новый вопрос:

— Ну ладно, а вот спросил один мужичок, что тяжелее: воз железа или воз сена?

Долго не смолкает спор, шутки, взрывы смеха, тихие рассказы и песни у потухающего вечернего костра. Незаметно идет время, и забываешь о том, что молодость пропадает, что война испортила жизнь и не все из этих забытых

людей вернутся домой, а кто-нибудь из них уже обречен на скорую неизвестную смерть...

* * *

К новому человеку, приехавшему из недоступной желанной воли, оттуда, из тыла, был обращен первый вопрос:

— Ну, а как там насчет мира-то чего слышно? Войну не хотят кончать?

Был «расцвет» шестнадцатого года. Упрямый лозунг войны «до победного конца» висел на всех перекрестках. Сомневаться в победе мог только враг, и да поразит его гром небесный! А если часть простонародья начинает уставать, надо беспощадно бороться с упадком духа и с еще большей силой требовать новых жертв, все для отечества и победы. Купцы, дворяне и чиновники стояли на своем, честная интеллигенция и студенты продолжали пылать патриотическим духом, а редакторы газет отдавали свои страницы доблестной армии, ее героизму и готовности переносить новые лишения наперекор презренному тылу, тронутому рукой разложения. Собственные военные корреспонденты продолжали поднимать дух, описывая трогательные подвиги солдата-мужичка, не знающего сомнений и колебаний... до полной победы.

Приезжавшие с фронта в короткий отпуск студенты-прапорщики с чуть заметным оттенком превосходства и раздражения говорили:

— Черт ее знает, что у вас в тылу делается. Лучше бы не приезжал. Вот на фронте, все как один. Да у нас каждый солдат душу отшибет, если ему скажут, что мы не побьем немцев. Тогда для чего было столько жертв. Нет, уж раз начали, так давайте доводить до конца, а наша армия свой долг выполнит.

И, забывая свои сомнения, обыватель верил прапорщику, который приехал с фронта и должен все знать. А проповедь победы бушевала, поднимаясь до ослепленного безумства, опускаясь до грубой лжи, и ложь переходила в издевательство над здравым смыслом. Захлебываясь умиленным восторгом, беззастенчивый журналист посвящал длиннейшую статью, как «молодой, самый нежный

цвет нашей доблестной армии рвется в бой, горя желанием исполнить свой долг перед родиной».

Если теперь солдат, мой новый товарищ, спрашивает у меня о войне, я должен сказать ему всю правду. Слушайте, что думают об этом в тылу и как пишут газеты:

— До полной победы.

Тогда Висков, младший начальник третьего взвода — он участвовал во всех боях с начала войны и три Георгиевских креста украшали его широкую грудь — мрачно отвернулся и сказал в белые усы:

— У них язык-то не завязан, кто пишет: сиди в стульях да пиши. А потом закатится с друзьями в ресторан, сюда-то вот заложит, да по всей ночи с гимназистками... Ему можно, — пиши до победного конца, только и делов. Не-ет, ты придумай чего-нибудь насчет мира, как бы войну кончить, а то... — и он безнадежно махнул рукой.

От землянки телефонистов подошел Алпатов. Он с улыбкой посмотрел на Вискова, и тени заиграли на его умном, подвижном лице:

— А раньше-то мы кончали? — сказал он. — Эх, Степан Гордеич, какое ты слово обдумал — да на что ему кончать-то? Ты так подумай: ведь над ним не каплет, дождю нет, а аэропланы с бомбами тоже над головой-то не летают. Мы с тобой воевали и еще повоюем, небось здоровы — ряшку-то в три дня не оплешь. А что убьют или самовар из тебя сделают, вот беда какая — им больно нужно. Они сыты, им тепло, в кармане есть, в сподниках он спать не ложится, а скидает. Он во-ольный, винтовку-то сроду в глаза не видал и в руках не держал. А ты знаешь, кто ты есть. Защитник родины, понял? И ты держись до победы, хоть печенка лопнет, а ты держись и надейся, что на том свете грехи тебе отпустят.

Алпатов засмеялся едким обличительным смехом, словно поймал кого-то в злом обмане и, держа за шиворот, изобличал его на глазах.

— Порядок, твою мать... — добавил он.

И сейчас же в искрах нового огня вспыхнули злые голоса:

— Умные в тылу, герои в плену, а дураки воюют.

— Должно быть, дурее нас не нашлось.

— На таких вот и пашут.

— Загнали в яму, посадили в собачий ящик. Стреляй. говорят, туда, это неприятель, а какой он мне неприятель — что, он у меня жену отбил?

— До победного конца. Николай с Вильгельмом поругались, с ними все генералы и господа, а мы стали виноваты... Пусть на кулачки один на один или стенкой вместе с генералами выходят — и делу конец, а мы здесь при чем?

— А то — вой-на. Для чего она, скажи на милость, нам сдалась, эта война? Страдаешь-страдаешь, как курицын сын, хуже свиньи, а людям смех.

— Наша, говорит, берет, а у самих вся ряшка в крови. Варшаву отдали, Новый Георгиевск отдали, все крепости прохлебали и все наша берет — вот тут и пойми.

— У деревни Михайловки в том лесу-то Колыванский полк шесть раз в наступление ходил, и всех на проволоке пулеметом посекли. Как снопы, навалены. С нашей деревни шесть человек на месте и двоих раненых в лазарет отправили. Эти-то рады, хоть живыми вышли. За что пропадают люди?

— Это не война, а убийство.

— Тут, ребята, вещь простая, нашего брата больно много последнее время развелось, а им противно, вот и захотели они нас уничтожить. Иди, говорят, защищай родину штыком своим и лбом. Им не жалко. А все и полезли, очертя голову, как чумовые. Дураков-то на свете уж больно много развелось, страсть. Эх, дурость, дурость...

— Да-а, кому война, а кому нажива.

— Умному одно, а глупому другое — каждому свое.

— Русскому солдату большая честь: вместо винтовки ему в руки дубинку дадут, как давали в пятнадцатом году, и он все идет, как тот баран. Да еще говорят: — стой до последней капли крови, — а как же я, в господа-мать, буду с дубинкой стоять, если он с аэроплана и длиннобойных грязными наколачивает. Начальство, мать...

— Выдумали глупое слово — вой-на — и забивают народу голову.

— Кончат войну к чертовой матери!

— Ты, Сережа, так часто не кончай: молод еще и служить тебе много, как медному котелку.

— Ой, врешь, мы уже с тринадцатого года щи-то хлебам.

— Нет, Сережа, мы домой поедем — Гаврило, крути! А ты после нас еще послужишь.

— Что вы, ребята, толкуете: скоро мир. Неужто из Сибири на волах так и не доедет?

— Дождись, его уже два года на волах тащут и все никак ближе Сибири не выедут. Уж весь кнут изломали, а волы в болоте стали и нейдут: цоб-цобе. Как те волы к нам приедут, так и мир.

— Нас бы с Серегой в ту повозку вместо кучеров — мы бы им хвост навертели и сразу рыси добились.

— Мы бы его не то, что на волах, а на свиньях к Рождеству доставили. А то в грязи завязли, подумаешь.

Харченко молча сидел у костра с равнодушным скучающим лицом. Он зябко завернулся в шинель и неожиданно сказал:

— Да ну вас с войной к монаху, и без того каждый день... Песню, что ли, сыграю. Глазков, начинай!

— Давай сыграем. Какую?

— Затягивай «От павших твердынь Перемышля».

— Перемышля. Обожди, мы сейчас вот что споем...

Подражая регенту, Глазков шутливо откашливается, вынимает из голенища ложку и бьет ею по звонкой жести ведра:

— Тон даю: до-ре-ми-фа- соль. Бе-ри ме-ня враз. Ну, дружной подхватывай.

ПИСЬМО ИЗ ОКОПОВ¹

Хорошо вам жить на воле,
Сыпать ласковы слова,—
Посидели б вы в окопах,
Испытали б то, что я.

¹ Подлинная солдатская песня, записанная в 1916 г. на Юго-Западном фронте. Поется на три мотива: «Буря мглою небо кроет», «Из-за острова на стрежень» и «Точно море в час прибоя» — любимые солдатские мотивы.

Мы сидим в глубоких ямах,
На нас дождик моросит.
Как засыпет пулеметом,
Так, поверьте, жить нельзя.

Вот услышишь приказанье:
Из окопов вылезай.
Только голову покажешь,
Как шрапнели ожидай...

А когда пойдем в атаку
С криком громким и ура,
Страшно видеть эту массу —
Всех убитые тела.

В бой пойдем, братцы, скорее
На коварного врага.
Дружно станем за Россию
И за мир крикнем ура.

Бой кипел несчетно суток.
Но солдат не унывал,
Только думал про победу
Да о мире толковал.

Шли Карпатскими горами,
Шли победу добывать.
Ничего мы не добились
Нам пришлось отступить...

Много пало наших братьев,
Много крови пролилось
За немецкое начальство,
Что в России развелось.

Когда продали Варшаву,
Там был немец-генерал.
Он набил карман деньгами
И, не простившись, удрал.

Вот горит кругом Россия,
Немец крепко наступал —

Мирных жителей со страхом
В глубь России угонял.

Чтой-то будет, братцы, дальше?
Стонут матери-отцы,
Стонут жены, стонут сестры
Не придут домой бойцы...

Раньше думали о Берлине,
А теперь нельзя мечтать.
И теперь мы будем думать,
Как бы Варшаву назад взять.

Вспомним, братья, про француза,
Как он был у нас в Москве.
Но Кутузов тот не немец,
В нем измены не было.

Не дожждаться нам отрады,
Не дожждаться мира нам.
Через нас летят снаряды,
А в окопах сыро нам.

Но как если бы вернуться
Из окопов бы домой,
Рассказал бы каждый воин
Про германско-русский бой.

Кто ж дождется той отрады
И придет ли мир когда?
Через нас летят снаряды,
В сердце больно навсегда...

Скованная печалью знакомого ритма, песнь плескалась, как морская волна. Простые слова сжимали сердце и будили глухой протест.

— За что оторваны эти люди от семьи и родных деревень,— думал я,— для чего разбиты их лучшие годы? Взвалить на свои плечи тяжелый груз войны, сознавать ее пустоту и ненужность, чтобы дойти до отчаяния в исканиях своей правды. Не пройдет же это даром, и настанет час расплаты.

Равнодушно опустилась широкая темно-синяя ночь. Номера разбрелись по орудиям. Костер догорал. Я лег на солому у зарядного ящика. Звезды рассыпались на небе золотым маком, и хотелось бездумно унести в пространство. Далеко по фронту слышались глухие удары артиллерии, словно великан клепал бочку.

Ворчливо-задорный голос крикнул:

— Первое орудие, опять наш топор заиграли... Компания Зингер, вашу мать...

Никто не ответил. Вдоль батареи наощупь прошел дежурный, он споткнулся об лотки с гранатами и упал, загремев шашкой.

— Что они тут на дороге разложили, места им мало трах-тара-рах...

И продолжал из темноты безнадежным тоном:

— Люди спать ложатся, честно-благородно, а тут каждый день тебе — то наряды, то дежурство. Эй, пятое орудие, что вы точку отметки не поправите? Фонарь, как пьяный, мигает. Подлей керосину-то, что ль...

4. ПО МОБИЛИЗАЦИИ

На спокойной закрытой позиции мы отдыхаем вторую неделю. Слева — разбитый скелет деревни Лобачевки, направо, за высокой рощей, чернеют короткими стволами мортирные орудия. Расстилаются поля зреющей ржи с точками васильков и ромашки.

Противник может увидеть нас только сверху, но установилось затишье, аэропланы летают редко, колбаса перестала маячить на горизонте, и батарея отдыхает после боев, как отпущенная струна.

Тонкая линия пехотных окопов протянулась бесконечной кривой в двух верстах впереди. На нашем участке стоит батальон Смоленского полка. Все цели перед ним измерены пристрелкой, распределены поротно и обозначены по номерам:

— Цель номер два — избушка в лесу, место расположения штаба батальона.

— Цель номер три — пулеметное гнездо против пятой роты.

Стреляет батарея редким ленивым огнем. Заметят с наблюдательного пункта кухню, повозки или комья брошенной земли — и гудит в телефон команда:

— По цели номер восемь.

— Правее ноль-двадцать.

— Гранатой.

— О-гонь.

Выстрелы раскатываются по полям гулками ударами и тонут в просторах солнечного дня. Номера принимают радостную команду:

— Сто-ой, отбой!

Качает налитые колосья высокая рожь, и синеют точки васильков.

* * *

Подойдя вплотную к солдатской жизни, где остаток личной свободы смят и уничтожен под серой шинелью, я начинал смотреть на товарищей с чувством радости и уважения. Это не тот солдат, что на моей памяти в девятьсот пятом году заколол штыками первую русскую революцию, и не искусственный сусальный простачок, чеканно изображенный карандашом присяжных литераторов и военных писателей с давних времен, и не задерганный истукан, потерявший свое лицо, превратившийся в слепое орудие начальства, как писал об нем известный беллетрист.

За два года войны солдат многому научился, много понял и перестрадал.

Часы отдыха проходили у нас в увлекательных беседах:

— Война и мир со всех точек зрения: для чего, за что, где причина, кто начал, когда кончится, есть ли от нее польза трудовому народу и когда войны совсем не будет?

— Как и почему сдалась крепость Ковно.

— Сколько верст до солнца.

— Об устройстве планетной системы.

— Об индийских факирах.

— Как живут муравьи и пчелы.

— О неграх и Африке.

- Кого называют гимназистками, чем они отличаются от курсисток и учатся ли где-нибудь проститутки.
- Об извержении вулканов и причине землетрясений.
- Почему разрыв шрапнели на солдатском языке называется «Максим Горький» и кто такое Максим Горький.
- О происхождении человека от обезьяны.
- Тяжесть и давление воздуха.
- Жизнь на морском дне.
- Про начальника нашей дивизии, как он в бою напрасно погубил целый полк и ничего ему за то не было.
- Как дразнят Костромскую губернию.
- Об охоте на тигров.
- Про попа, работника и солдата.
- О китайской революции, об уничтожении кос и свержении богдыхана.
- В какой стране какое правление.
- Про декабристов.
- Про «Народную волю», Желябова и Перовскую, за что был казнен Александр II и как добились крестьяне своего освобождения.
- Про девятое января девятьсот пятого года...

И мы не скучали у вечерних костров в мрачные дни шестнадцатого года. Много лет прошло с тех пор. Война ушла в историю, и плуг сравнял брошенные окопы. Догорела незаметно молодость. Но через дождь и туман, по мосту уходящих лет, оживают в моем сердце неясные думы прошлого, вспоминаются славные друзья, разбитые деревни и полевые дороги, жаркие дни и холодные ночи, выстрелы пушек, железный стук пулеметов и свет печальных ракет. И не забыть товарищей, что делили со мной горькую тоску в потемках солдатского горя.

* * *

Вот Алпатов — мой земляк из Тамбовской губернии. У него широкое, неправильное лицо с выражением упрямой настойчивости. Он просто и по-мужицки сдержан, но говорит хлестко и едко, украшая речь ловкими словами народного языка. В его небольшой коренастой фигуре бьет ключом трудовая энергия. Он легко переносит лишения,

может не спать по несколько ночей, сохраняя полную свежесть в серых глазах: а уж если начнет рыть землянку, лопата весело заиграет в его руках, и все любят на его быструю, плотную работу:

— Ну и швырок: это не человек, а машина, трах-тарарах-рах. Дай-ка лопату-то, а то всю землю перешвыряешь, черт.

На войну он призван из запаса по первой мобилизации. Дома работал по плотницкой части. Первые полтора года Алпатов служил в пехоте, в одном из полков нашей дивизии. Он участвовал во всех боях как строевой солдат. Из первого состава в полку осталось к тому времени только двадцать человек, а остальные растерялись по фронту убитыми в боях, кто был ранен, кто попал в плен, а кто пропал без вести. В числе немногих случай хранил его жизнь в самых острых положениях: при внезапных ночных атаках, под дождем ручных гранат, под вихрем длиннобойных и тяжелыми ударами бомбомета и в неверной сети проволочных заграждений, когда пулемет Кольта, как неумолимый железный дятел, в упор расстреливал его роту. Не один раз прощался он с жизнью, но случай всегда спасал, и он не получил даже легкой раны.

Когда фельдфебель объявил Алпатову, что он, вместе с несколькими товарищами, переводится из полка в батарею для пополнения телефонной команды, он перекрестился:

— Ну, теперь-то я, как в санях: хоть на одну версту подалее от пехоты, а статья совсем другая. Здесь война, да не та.

Однажды на отдыхе, когда он перекладывал белье в своем ранце, я увидел Георгиевский крест и медаль, заложенные в белье.

— Что же не носишь-то?— спросил я.

— Чего — эти-то,— пренебрежительно ответил он.— Авось места не отлежат. Пусть на ребятишек побрякушки вешают, а мне голову морочить нечего — я старый воробей. Да и заслуга плохая — людей убивать. Четыре целковых в год платят и ладно, а прибавят еще, не откажемся.

Дома у него остались жена и трое детей. Вот неизлечимая забота:

— Эх, пропадут без меня: ребята малые, чего они могут.

Я знаю, что в бессонную ночь у телефона он тоскует о своей деревне и упорно ищет свою правду, ломая голову над загадками жизни. Много испытал он на своем веку за сорок лет, много перенес и поворочал и передумал много, выковывая крепкую, стойкую душу.

В первый день нашей встречи он обратился ко мне чеканной скороговоркой с вопросами о международном и внутреннем положении:

— Сухомлинова еще не судили. Почему — что-то долго волынят. Повесить мало сукина сына, сколько нашего брата через него пропало. А прогрессивный блок как работает? Все для победы? Си-ильно. Только в этом толку мало. Штюрмера и Горемыкина по шапке гнать нужно, вот по ком дубинка плачет, это да. Наладить бы их широкой лопатой по одному месту и катись на легком катере. А левые, левые работают здорово, этих не проведешь, дело знают. Только и у них обратно ничего не получится. А потому не получится, что Гришка Распутин всех забьет. Вот сатана-то. И как сумел пролезть, скажи, пожалуйста. Его, дьявола, на фронт нужно, в самую пехоту, там бы выучили. А то во дворце окопался, бабой пользуется, и ему же денежки платят,— де-ла! И кто только над нашим братом не измывается, вот несчастная доля. Кругом измена: солдат в окопах свою кровь проливает, а другой в это время себе в карман старается. Ну, и компания Зингер. Дуракам, должно, так и надо: пусть еще воют, может, уму-разуму научатся и до чего-нибудь тогда довоюются.

Случайные газеты Алпатов прочитывал насквозь до объявлений и надолго укладывал в своей памяти самые разнообразные факты. Немало вечеров провели мы с ним в живых беседах, воспоминаниях, вопросах и ответах.

* * *

Антон Лысак. Мы с ним ровесники, что сказать по-солдатски:

— Мы с ним годки.

Еще молодой и всегда шумно-веселый, он уже старый солдат и с четырнадцатого года прошел:

— Огонь и воду, медные трубы и волчьи зубы.

Мы разговорились с ним случайно во время ночного дежурства у орудий:

— О вечорныцах в деревне, в Полтавской губернии, о любви, о женщинах...

Лысак холостой, у них не принято рано жениться. Он рассказывал мне, что любит девушку из соседнего хутора, что по обычаю они спали вместе целый год, сохранив полное целомудрие, и теперь она его невеста. Он получает от нее редкие письма.

Помню, как Лысак с веселым упрямством хвалился перед номерами, что его половая энергия неиссякаема.

— Врешь ты, Лысак,— говорил Харченко.

— А вот не вру.

— Не трепись зря.

— Вот неверный — да давай пари держать на трешницу. Посмотрим, ну. Раз мне нутро позволяет.

— Ну-к, что ж, а природа обратит,— продолжал Харченко.

— А я твою природу, трах-тара-рах...

Я имел случай убедиться, что он имеет свою накопленную мудрость и мысль его работает независимо и просто, как топор по дереву, зная свое дело. В моменты жарких споров на волнующие острые темы он нейтрально лежит в сторонке, покуривает и двусмысленно молчит, показывая своим видом:

«Все вы не то толкуете. Я, Антон Лысак, знаю правду, да не стану говорить. Не желаю».

Как-то зашла речь о студентах: чему учатся и зачем бунтуют. Было сказано при этом одним из собеседников, что:

— Нечего зря бунтовать, а лучше бы учились и дело делали.

Тогда Антон не выдержал.

— А ты знаешь, что к чему,— вскочил он,— ты думаешь, студенты за кого бунтуют, голова. Думаешь, за себя, а не за нашего брата. Раскинь мозгами-то сначала, да у людей спроси. Может, если бы все было, как студенты желают,

тогда нам с тобой и страдать бы не пришлось. А ты говоришь.

Откуда он мог узнать о студенческих волнениях? Простой, малограмотный солдат, оторванный от сохи, искал свою правду.

* * *

Вижу его смуглое лицо с печальными глазами. Он лежит под деревом в стороне от товарищей.

Это Еремин — наводчик пятого орудия.

Раньше он не был таким грустным и молчаливым. Целых пять лет с девятьсот одиннадцатого года прослужил он в батарее, оторвавшись от семьи, вернулся недавно из отпуска и замолчал:

— Не узнать человека, ровно как подменили его.

Дома его встретил старик отец, больная, прикованная параличом к постели мать и четырнадцатилетняя сестра. Обедневшая семья, лишенная своей опоры, билась, как рыба об лед, и лучше б не видали его глаза эту невеселую жизнь.

Недаром заскучал Еремин, устранив себя от участия в спорах, в шутках, в песнях и в забаве карточной игры. Как кролик, забьется в угол землянки или ляжет в тени на траве и часами тоскует о своем. Эй, Ваня-Ваня, напрасно ты ездил в отпуск — тебя заглохнет лютая тоска, если не развлекаешься ты в семье товарищей.

Невидимая деликатность окружает Еремина, и никто не беспокоит его расспросами, чтобы скорее переболел он свою заботу.

Заскучал парень, да надо как-нибудь обойтись. Всем-то тоже не сладко, а вот кое-как держимся друг за дружку. Так и это. В скуке правды нет...

* * *

Чекмарев, номер нашего орудия, мой товарищ по землянке и один из лучших моих друзей. Многострадальный и безропотный неизвестный солдат из картин Верещагина — это Чекмарев, его мягкая скромность, уважение к

людям, благожелательность к товарищам, его верная дружба и уступчивая любовь ко всему миру. Я никогда не видел, чтоб он затеял ссору или смеялся над кем-нибудь. Человек, от которого:

— Никто слова не услышит.

В нашу батарею он пришел путями неизвестной судьбы в начале шестнадцатого года. Война застала его в крепостной артиллерии Ново-Георгиевска в одном из центральных фортов. При осаде крепости он попал в плен, разделив участь всего гарнизона. Долго странствовал он по мукам в Германии, где его переводили («перегоняли») из одного лагеря в другой. Он назначался на тяжелые работы, изнывал от голода, надрываясь по колено в воде. Наконец, дошел до отчаяния: в одну незабвенную ночь он поставил на карту остаток своей жизни и бежал из плена вместе со своим товарищем Массалитиным, своим неразлучным другом. Чекмарев признает, что честь удачного побега из плена принадлежит не ему, а Массалитину, которого он ценит как самого дорогого человека.

— Он мне милее брата: без него я пропал бы, как лист, а он мне жизнь спас.

Чекмарев решился на опасное дело — бежать из плена:

— Потому что очень сильно били, невозможно стало терпеть. И работой замучили в отделку. Бывало, в лагере и слова хорошего не услышишь, а все «русс-фарфлуктер». Ну, и дошли до ручки: так и так пропадать. Тогда уговорил меня Алешка Массалитин, подумали мы и рискнули на это дело. И стали мы поддаваться...

Странно мне было узнать, что Чекмарев, такой молодой с виду, женат уже четыре года, имеет двух детей; но так сложилась его жизнь, что только несколько дней он видел старшего ребенка, а младшего совсем не видел, о рождении его узнал из письма. Когда он вернулся из плена и желанный отпуск, казалось, был обеспечен, его погоняли по штабам и вместо отпуска прикомандировали в батарею:

— Сказали, что все отпуска по приказу отменены и пришлось мне без передышки...

Бывают у номеров неприятные поручения: потребуется назначить в ночную смену строить блиндаж на наблюда-

тельном пункте или прикажут выдвинуть одно орудие на опасное открытое место в кинжальный взвод или еще что. И поднимется шум: кому идти, чья очередь. Чекмарев никогда не спорит и безропотно принимает всякое поручение с одной только просьбой:

— Чтобы от Алехи не отбиваться: куда он, туда и я. Не можем мы врозь: он мне все равно как отец. В какое место Алеху, туда и я: должны мы вместе.

Чекмарев и Массалитин, вместе пережившие жизнь и смерть, связаны узлом теснейшей дружбы. Массалитин не похож на сына курского крестьянина — это сангвинический, подвижной француз. Быстрый в движениях, остроумно-находчивый, он все помнит, все знает и умеет. Неугомимый весельчак и балагур, в нем что-то есть от древних скоморохов, этих мастеров народной забавы. Он щедро рассыпает вокруг себя четверостишия, прибаутки, песенки и анекдоты, черпая их без малейшего усилия из родников своей памяти.

Он три года служил до войны на действительной военной службе в городе Гродно и в совершенстве научился польскому языку, владея им так же свободно, как русским. Узнал историю Польши, изучил быт и нравы польского мещанства, понял их отношение к русским, их семейные и религиозные обряды. Завязались дружеские связи, панна коханна, появился круг знакомых. Потянуло его к этой новой жизни, и он решил после службы в свою деревню не возвращаться...

В начале войны Массалитин был назначен в крепость Ново-Георгиевск. Здесь он встретил Чекмарева, которого принял под свое покровительство, а потом судьба связала их трагедией плена и смелого порыва домой. Это он задумал сделать побег и среди многих желающих выбрал себе Чекмарева в товарищи, уговорив его решиться:

— На такое дело.

Лагерь находился за триста верст от границы, был огражден колючей проволокой с пропущенным электрическим током. Бежать нужно было ночью, сделав подкоп. Массалитин продумал все подробности побега, разработал план, и только благодаря его твердой воле, находчивости,

быстроте ума, знанию польского языка и умению подходить к людям, его привлекательной наружности и, может быть, успеху среди женщин счастливо прошли они ночными переходами сотни верст немецкого тыла и фронтовую полосу, добрались в изнеможении до передовой линии, где провели несколько жутких ночей в разбитом костеле, в двадцати саженьях от немецкого полевого караула, проползли по льду под проволокой, едва не утонув в проруби — «ловить раков» и, наконец, добрались до своих, где сгоряча их чуть не подстрелили дозоры.

Много раз слушал я всегда волнующий рассказ Массалитина, как шли они:

— Из германской неволи.

Как на третий день своего пути, теряя силы от голода, зашли они в польскую деревню и там на выгоне у колодца:

— Динь добрый, панна коханна. Не бросьте челоуиков, мы идем с германской неволи.

— Ах, матка боска, то русски солдаты. Прошу панов до мешканы.

И женщина проводила их огородами к своему дому, снабдила их вольной одеждой и объяснила, как идти дальше стороной от опасного шляха, по которому серым потоком двигались автомобили и глухо позванивали тяжелые колонны «армат». Как во время завтрака собрались добрые, сочувствующие соседки, расспрашивали и жалели, указывали по деревням знакомых людей, где можно согреться и закусить, говорили, где стоят германские обозы, и благословляли в дальний путь... Как Массалитин, взяв колоду карт, сказал на прощанье:

— О, пани мои дружни, нэх карты мудры скажут мне вшиску правду: буду я дома боже на родзеня али нэ?

И карты сказали ему удачу после тяжелой, опасной дороги, а женщины плакали, провожая своих гостей в застывающий полумрак осеннего вечера. И перед ними открылся нерадостный трудный поход через леса, поля, реки и болота... Красочно сообщал нам талантливый рассказчик историю этого похода.

Массалитин сам не знает, что он артист по натуре, у него есть дарования, он любит успех, он человек эстрады.

Вот в группе солдат пятой роты он изображает напыщенную важность польского пана, рассыпает остроты, прохаживается гусиным маршем и командует по-польски:

— Панове, шмир-но! Слухай команду: арматы от земли до пояса, от пояса до руци, от руци до плеча — ать, два. Пальба ротою, просто по лясу — панове... пли!

Или расскажет, как в далекие времена польского восстания возмущался «пан»:

— Русска пуля, як свинья: пан до лясу и пуля до лясу, пан за дживо и пуля за дживо... Бжик и пана забила...

Веселый смех награждает рассказчика. Выступления Массалитина имели постоянный успех. Но вместе с комическим талантом он обладал прекрасным голосом и той внутренней музыкальностью, которая дается немногим. Простую солдатскую песню или чувствительный романс он умел передать по-новому, согревая старый ритм теплом забытой красоты:

Вот он начинает любимый романс:

На паперти божьего храма
Оборванный нищий стоит.
Он видит: какая-то дама.
Роскошно одета на вид.

И не устанешь его слушать до конца, погружаясь в волны неясных дум. А он начнет новую в протяжных напевах старины, которая звучит у него, как страстная тоска о прошлом, несмотря на бессмыслицу слов.

Окончив курс своей науки,
Я в дом родительский попал.
Друзья, пред вами сознаюсь,
Сестру родную полюбил.

Массалитин получает из дома редкие письма и не любит вспоминать о семье. Избегал он почему-то рассуждений о больных проклятых вопросах солдатской жизни, о мире и войне, покрывая их музыкальным весельем и беззаботной шуткой. Можно было подумать, что Массалитин бессознательно работает на оборону, поднимая настроение в солдатских сердцах, и не думает о своей несчастной доле. Но

однажды мы достали у писарей измятый номер «Киевской мысли», где передовая статья была написана в громопобедном тоне. После коллективного чтения Массалитин вскочил с горящими глазами:

— Кончать войну к такой (трах-т-ра-рах!) матери — не желаю! — страстно закричал он. — Я седьмой год в серой шинели, как арестант, хожу, а они там с кем остались? Кто семью прокормит? С голоду помирать. Тебе война нужна, Еремин, ты за что воюешь, твою мать. За Николая, за Ивана Кронштадтского или за дурость нашу мужицкую?

Ни в чем не повинный Еремин с улыбкой смотрел на него печальными глазами, а Массалитин продолжал:

— Правду говорят: развелось нашего брата больно много, нужно кому-то стало нас поубавить, и выдумали глупое слово — вой-на. Да ты погляди по свету, как добрые люди живут. Немцы, вон они на чай и глядеть не станут: их вилль нихт, скажут, дас ист шлехт, дас вассер, обязательно он утром кофей или какаво с молоком. Вот. А мы с тобой дома-то часто самовар ставим? Ну, офицера воюют, они себе золотые погоны наживают, брюки с галифами, в кармане тоже есть, а мы что? Деревянный крест чтобы заслужить. Не желаю. Кончать войну, в могилу мать...

Харченко засмеялся детской улыбкой, показав неровные зубы.

— Ишь, Алешка, раскипидарился, как тебя разобрало.

— Терпенья моего нет, братишки, вот что, — печально сказал Массалитин.

Молчавший скромный Ефремов посмотрел на него и ласково потрепал по плечу:

— Эх, Алеша, всем она надоела, да как же ее кончать, дорогой, если не нами она начата, а им.

— Кем это, им-то?

— Да вот, что оттуда, — показал Ефремов рукой на окопы, — стреляют.

— А тебе что, больше всех нужно? — раздраженно спросил Массалитин.

— Мне ничего не нужно. Ты сказал: кончать, а я тебе и говорю: как? Ты сочувствуешь.

— Как? Подумаешь — большое дело: бросай все к чертовой матери, штык в землю, и гайда.

— Нет, дорогой, так не годится. Ничего не выйдет: — мы — на Киев, и он на Киев, мы на Курск, и он за следом. Думаешь, отстанут. Нет, братишка, далеко не уйдешь: лошади-то у нас не лучше ихнего. Ну, хорошо, пускай мы уйдем, и нас с тобой не догнали, а кто же здесь останется? Пушкин? Ну, Петроград возьмут, ну, Москву, что же, нам с тобой лучше будет?

— А мне волк ее съешь и Москву: она мне нужна, как собаке пятая нога.

— Ну-к что ж, давай бросим, тогда они тебе, думаешь, спасибо скажут и кофеем напоят. Смотри, дорогой, как бы так не напоили, что три дня шамать не захочешь. В лагерях-то вас чем кормили, макаронами?

— Лагеря чего поминать. Я из плена бег,— думал, к бабе хоть на месяц отпустят, да и получил вот: прямо без отдышки угодил обратно сюда, опять снова-здорово...

— Нет, Алеша, так нельзя. Надо еще подержаться, может, теперь недолго. Больше страдали и то... а теперь как же.

Не успел Ефремов сказать последние слова, как вспыхнуло вокруг злыми голосами:

— Вот субчик-то нашелся.

— Ему болей всех нужно.

— Возьми его за рупь за двадцать.

— Мало воевали,— еще хочет.

— Больно умен.

— Николаю служить хочет.

— Какой сачок отыскался — защитник родины, твою мать...

— И воюй один, а мы домой зальемся, ладно?

Но Ефремов не сдавался и с тихим упорством продолжал свое:

— Ну, как же теперь быть-то. Бросать нельзя: это дело задумчивое, нужно поддержаться.

Если бы я не знал раньше этого скромного товарища, можно было бы принять его за новичка, не познавшего корявой изнанки войны. Но Ефремов служит в батарее с

1912 года, он участвовал во всех боях с самого первого дня и помнит еще ту первую боевую ночь, когда весь дивизион неожиданно напоролся на австрийцев под деревней Тартаки... Помнит он и тяжелый бой в лесу у Голятин-Горного, где два орудия остались без прикрытия и половина номеров погибла от винтовок, а синие шинели подходили все ближе. Ефремов на рысях подкатил передки — он был в то время ездовым коренных лошадей — поднял орудия и, отстреливаясь револьвером от наступающей пехоты, галопом вывез орудия с пробитыми панорамами. Раненный в плечо, он отказался идти в лазарет и вылечился в батарее с помощью фельдшера. После того он был назначен в запасные наводчики 4-го орудия.

Сын простого крестьянина, он был убежденным сторонником войны до победного конца. Доказать ему обратное было невозможно. Посмотрит светлыми глазами и с нарастающим упрямством убежденного в своей правде скажет:

— Нет, дорогой, это-о дело такое: надо как-нибудь под держаться.

Крепко доставалось ему под горячую руку от номеров за вредные мысли, а потом он снова был одним из лучших товарищей, которого любили за старую дружбу, уступчивость и миролюбие.

* * *

У него чеканная фамилия: Карабаш. Сколько древних воспоминаний в сочетании этих звуков: и Запорожская Сечь, и плен турецкой неволи, и вольный стремительный поход крымских татар, и степные пожары. Карабаш скуп на слова, но умен и развит. Он любит книгу и уж если найдет случайные обрывки романа или учебника арифметики, он не расстанется с ними, пока не зачитает до конца. Украинская деревня на берегу Днепра потеряла для него свою прелесть, и не о ней мечтает он, а о другом.

— Хорошо бы после войны податься в города или на сахарный завод. На земле все равно много не наработаешь, так земляком и останешься.

Карабаш находится в команде телефонистов, куда назначаются самые развитые и смелые солдаты. Эта команда

выполняет для батареи тяжелую и опасную работу. Полевой телефон заменяет артиллерии глаза и уши на десять—двенадцать верст во все стороны. Без телефонного кабеля, когда разорвет его гранатой в бою, батарея остается беспомощной, как слепое животное.

Во время боя кабель рвется огнем артиллерии беспощадно, и телефонисты должны восстанавливать связь, жертвуя собой.

— Та-та-та,— тонко пищит в телефонной трубке,— правый наблюдательный. Правый? Мишка, это ты? Скорей на линию искать разрыв.

А на линии взмывают черные фонтаны земли и стучит железной строчкой пулемет.

— Найти разрыв во что бы то ни стало...

В каждом бою телефонисты теряют убитых, и все меньше остается в этой команде тех, что уцелели с начала войны.

Один из случаев своей жизни Карабаш рассказал мне:

— Бой тогда был ужасный. Все поле гудело от снарядов: Смоленский полк второй раз пошел в наступление. Я дежурил на передовом наблюдательном в самых цепях. Телефон работал хорошо, и по линии нам ползать не приходилось. Вдруг зашипело чего-то в трубке и ничего стало не слышать: кабель порвался. Илья Васильевич был дежурным офицером. Шумит: телефонисты, давай батарею. Я говорю: батарея не отвечает — обрыв. Илья Васильевич затрясся: марш по линии! Москалев послал двоих.— Очередь не моя была, как сейчас помню, но гавкать и скандалничать не любил хуже смерти. Не в характере. Посылают на съедение, ну и пойду... Все равно когда-никогда, а помирать нужно.

Перекрестились мы с Васильевым, ползем. А тут что делается! Невозможно рассказать. Чистый ад. Шрапнель над головой так и полощет, из «Максима Горького». А потом грязными начали садить. Ползать стало невозможно: как даст одной-другой, так и отпашемся мы к свиньям. А они уж заметили, что мы ползем, и давай по нам, давай по нам... Ну, думаю, пришел конец, пропал теперь Карабаш, не выйдешь.

Саженой сорок отползли, видим оборванный провод, а рядом воронка от снаряда, как медвежья нора. Начали мы искать оборванные концы, а их так расшвыряло, что в горячке никак не найдешь. В это время слышу: гу-дит... да близко... прямо на нас... Только и успел шумнуть я Васильеву-то: «Ложись», — как она трахнет! Всего оглушило, как топором по голове, в ушах зазвенело, и я очумел. Как сноп, упал я без памяти в ту воронку.

Сколько времени прошло, не помню. Открываю глаза: стало темно, выстрелов не слышать. Смотрю, Васильев лежит на траве сажени за две от меня, весь в крови и уж не дышит. Гимнастерка на нем в клочьях. Пришли санитары с носилками и подобрали его.

Поглядел я на себя: весь в земле измазан, как арап, на сапогах кровь и мозги, а болезни никакой в себе не чую. Только воздухом меня обожгло, а Васильеву та граната принесла смерть.

Сам не пойму, как мне пришлось тогда спастись: должно быть, такое счастье. К ребятам я пришел весь бледный, как холст, дрожу лихорадкой, а зубы стучат, как тот пулемет...

На полях ненужной и бесцельной войны вот уже два года расточает он, верный Карабаш, свои силы, отдает свою молодость, свое незаметное простое мужество и неповторяемую жизнь. Он принимает эту войну как несчастную злую долю и знает, что за все жертвы есть только одна солдатская награда:

— Деревянный крест.

* * *

Подпрапорщик Плешаков. Он же взводный фейерверкер.

Выходит из землянки, как чемпион французской борьбы. На груди, под георгиевскими лентами, белеют все четыре креста. Великолепные пышные усы, свирепый вид, голос соборного протодьякона. После каждого слова, не признавая границ, от земли и до неба сыплет густым перцем.

Страстный игрок в двадцать одно. Знаток и любитель жизни. Неисчерпаемый запас воспоминаний о ночных

приключениях в Туле, в Тамбове, в Москве, на фронте и в отпуску, и в дивизионном лазарете. Правда, в этих воспоминаниях большую роль играет воображение самого рассказчика и все об этом знают, но:

— Не любо — не слушай, а врать не мешай — в том убытку тебе нет.

А если заврется, ему можно спеть хором:

— До-ре-ми-фа-соль...

Ты не ври, не ври,
Добрый молодец,
Не учися врать...

И в этой веселой песенке, под общий хохот, Плешаков, двигая усами, подтянет могучим баритоном.

Вот он надевает праздничную суконную гимнастерку и, щурясь от солнца, похожий на кота, идет по линии землянок.

— Плешаков, далеко пошел-то?

Следует краткий ответ:

..... (искать).

— А раньше-то?

По должности и чину Плешакову полагается быть свирепым и злым начальником; и еще полагается ему быть мрачным и недоступным, потому что он не простой солдат, а сверхсрочный или, сказать по-солдатски:

— Барабан.

Но это одна видимость, а на деле Плешаков совсем не такой. Добряк, простой товарищ и нетребовательный начальник, даже немного разгильдяй, но душа общества, рассказчик и танцор, знает он частушек бесконечно много, сочиняя их тут же под лихую гармошку, а уж выпить любит,— что и говорить.

— Насчет этого слаб.

* * *

Друзей у Плешакова много, но его ближайший друг, земляк, годок и собутыльник:

— Фельдфебель батареи подпрапорщик Минаков.

Точный исполнитель приказов и главный рычаг управления. Длинная шея и зоркие глаза. От высокого роста ка-

жется худощавым. На тридцать шестом году сохранил свежий юношеский цвет лица. Утром он поднимается раньше всех. За час до водопоя он уже на ногах, всегда бодрый, свежий, упрямо настойчивый и требовательный. Проверит караул у денежного ящика, наведет порядок у кухни, все осмотрит, заметит неисправность, распорядится.

В голове его укладывается разнообразие всяких дел и забот: он следит, чтобы лошади были вовремя сведены на водопой, убраны и поставлены к коновязи с торбами овса; назначает караул к денежному ящику, дежурных по батарее, распределяет работы и ведет очередь отпусков; исключает с довольствия командированных, раненых и убитых, включает на довольствие новых солдат; отправляет в обоз второго разряда слабых и больных лошадей и принимает здоровых. Он помнит, что нужно послать фуражира в «командировку» за спиртом для командира батареи и отослать в обоз повозки за сеном и овсом, получить обмундирование из интендантства, раздать номерам новые противогазовые маски и заготовить на зиму фураж для лошадей. Он заботится об огневых припасах, чтобы зарядные ящики всегда были полны шрапнелью и гранатами.

Своею властью он решает сотни вопросов текущего управления и ежедневно является к командиру батареи с подробным докладом, посвящая его во все мелочи, отвечая на все вопросы, и без записной книжки запоминает десятки разнообразных поручений. Минаков никогда ничего не забывает. Командир батареи, который бывает трезвым только от обеда до вечернего чая, безмятежно спокоен за все: Минаков не проспит, не забудет, все сделает, вовремя обо всем подумает и распорядится, а если нужно, доложит. На этого можно положиться.

Минаков обладает желудком исключительной силы, свободно переваривая все на свете — чистый спирт, денатурат, самогон, лак и

— Автобензол, от чего автомобили бегают.

Появление в батарее спирта он определяет на расстоянии внутренним чутьем, словно у него есть для того таинственный точный аппарат. Где бы ни находилась спиртовая жидкость, фельдфебель узнает первым и является за приятной контрибуцией. Все знали, что молодой прапорщик

Вязьмитинов получил из дома посылку с бельем, а Минаков в тот же день узнал по «беспроволочному телеграфу», что в посылке есть духи и флакон тройного одеколona. Он три дня ходил за прапорщиком, как влюбленный, почтительно, ласково посматривал на него и вежливо покашливал, пока не получил пузырек влаги. Вечером он распивал синевато-белую жидкость с Плешаковым в землянке номеров, вспоминая лучшие дни.

Солдаты не любят Минакова за то, что он вездесущ, постоянно торчит на глазах, строг, во все вникает и всех подтягивает:

— Ну, аэроплан несется,— вот ногам покою-то нет!

За большие оттопыренные уши к нему приложили меткую кличку «аэроплан» или просто:

— Лопухий черт.

По всей батарее фельдфебель окружен скрытой враждою людей, обреченных на тяжелую солдатскую жизнь. Но Андрей Акимович Минаков хоть и неприятен своей строгостью, хоть и зовут его аэропланом, а вся батарея уважает его за веселое мужество, за то, что он показал себя — и не один раз — как

— Человек рискованый, боевой.

Был случай, когда австрийская колбаса обнаружила наши передки на краю разбитой деревни. После первых пробных выстрелов посыпались дождем гранаты. Ездовые рассыпались по землянкам, лошади рвали поводья, ломая коновязь. Каждую секунду передки со снарядами могли взлететь на воздух.

Минаков без седла галопом прискакал в передки. Не обращая внимания на вихрь осколков, словно играя с опасностью в двадцать одно, он закричал неожиданно веселым голосом:

— Эй, будет там бока-то отлеживать, а то жару поддают. Теща в гости приехала. Ездовые по коням! Амуничивай! Живей на тот свет и обратно!

Минаков зажигал стремительным внутренним огнем порыв веселого риска. В несколько минут передки были переброшены в безопасную ложину. Испуганные лошади

двигали чуткими ушами, а ездовые с облегченным сердцем посматривали на разрывы и легкомысленно шутили:

— Ну и баня.

— Давно не купались, мать его в черт.

— Полощет и полощет.

— Из грязных начали, смотри.

— Все на свете перемешает.

— И как заметил — трах-тара-рах? А все первое орудие. Как колбаса на небе, они лошадей поить — мало им дня! Надо время знать, вот что. Поди-ка сейчас, напоим... Вот черти-то.

Минаков:

— Будет, будет, ребята! Скажи спасибо, ушли, а там пусть поливает по пустому месту. В божий свет не нашвыряешься. Третье орудие, у вас коренная ранена. Пошел сейчас за фельдшером в лазарет, да скажи — пускай пришлют из кухни чубарого, а эту во второй разряд. Торбы, ребята, готовь: за-сыпай овса!

Вечером ездовые спокойно признавали:

— Ну и боевой Андрей Акимович — ни черта снарядов не боится. Дело знает и в кусты не хоронится. Настоящий аэроплан. Рисковый человек.

* * *

По лошадиной части главный человек Круглов — он старший по конюшне. В штате такой должности нет, но в каждой батарее один из лучших фейерверкеров выделяется для этой работы. В распоряжении Круглова находится больше двухсот лошадей, и он знает их в совершенстве: сколько лет, какого срока службы, какой породы, как зовут, знает силу, выносливость, резвость и характер каждой лошади. Он может перечесать их по пальцам, а на докладе командиру батареи дает подробные, четкие ответы:

— Совсем оплошал Орел, ваше высокородие, теперь во втором разряде под повозкой ходит. Уж месяца полтора. В орудие никак не годится. Так точно, как бы не пропал. Под экипаж вам, если пожелаете, можно пристяжку взять из телефонной двуколки, а телефонистам я найду. Нанкин-то хорош, только сильно тугомордый стал, ваше высокородие,

не пондравится вам. Так точно, с японской войны, из годов уж выходит. Лансада хорошо бегают, машистая — ветер, а не лошадь. Извольте говорить Зяблик, а он у разведчиков — этот еще послужит. Давеча у колодца на месте не стоит, только на мундштуках и удерживаешь. В зарядном ящике заковали средний вынос подседельную, которая в чулках, серая, раньше в орудии ходила — сейчас совсем разувши. Так точно, летних шипов хватит, а зимних нужно выписать. Я уж говорил писарям. Расход большой...

Круглов исключительный знаток, начальник и покровитель лошадей. Он зорек и неутомим в наблюдении за жизнью своих покорных друзей, за их уборкой и водопоем, за порядком на коновязи, распределением сена и овса.

Ловко сидит на нем старая боевая шинель, а в темно-серых глазах светится огонь неистраченной воли. Первый год войны он был в строю и вел себя как стойкий мужественный солдат. Ему приходилось стрелять из орудий на картечь в ста саженьях от штыков наступающей пехоты и медленно уходить в арьергарде, прикрывая отступление батареи, но и тогда, под взмахом занесенной косы, он оставался таким же сдержанно-спокойным, с холодным блеском чуть зеленоватых глаз, как на коновязи при утреннем водопое.

* * *

Канатоп, так его фамилия — бывший гвардеец, но чем-то не угодил начальству, его откомандировали, и сейчас он находится в батарее орудийным номером. Он выше всех по росту. Железная сила — одной рукой легко поворачивает орудие за хобот. Хорошо знает Петроград с окрестностями и картинно-увлекательно, не уступая Плешакову, сообщает сложно построенные повести о своих любовных похождениях. Должно быть, у Тараса Бульбы в тридцать лет были такие мощные белые усы. Он и упрям, как запорожец, этот Канатоп. Во всем сомневается, давно ничему не верит.

— Ни в бога, ни в черта.

Не верит он в правду и добро, презирает людей, как философ, и презирает весь мир:

— Какая разница? Все сволочи — из одного теста сделаны: человек хуже свиньи.

Канатоп стихийно ленив и страстно, с упрямством ребенка, ненавидит всякий труд. Он может по целым дням созерцательно полеживать на траве, дремать и греться на солнышке и лениво обличать:

— Бога нет, для дураков выдумали. А что к чему, где бог, какой бог, никто не... скажет.

* * *

Команда телефонистов. Ладная, дружная семья в тридцать человек. Общий любимец: Глазков Тит.

В голубых глазах теплота и участие к чужому горю. Всегда он дружный, ласковый и веселый. Молодой человек и уже старый солдат. Он воюет с самого начала, был два раза легко ранен, много раз в дни наступлений проваливался через тонкий лед в холодные ямы воды, тонул в озере Нароч, до крови царапал руки в колючей проволоке, исправляя разрыв в паутине телефонной связи. Лишения и горечь жизни не отравили его открытого сердца, и если получит он самое тяжелое поручение, если пошлют его ночью куда-нибудь в «собачий ящик», Глазков идет с веселой шуткой.

Через туман уходящих дней мне не забыть тебя, мой чуткий товарищ, ты мне дорог, как свет отгоревших костров, как дни неповторимой молодости.

Бывало, в грустную минуту, скажет кто-нибудь, разгоня тоску:

— Ну, Титушка, запевай, что ли.

Глазков ласково улыбнется и начнет высоким тенором нашу любимую.

РАЗВЕДКА¹

Из окопов на разведку,
На простор волнистой ржи,
Выползают в одиночку
Полковые молодцы.

¹ Солдатская песня, записанная в 1916 г. на Юго-Западном фронте — поется на мотив «Из-за острова на стрежень».

Наш полковник черноусый
Поймать немца приказал,
Кто поймает — крест с медалью
И полсотни обещал.

Но разведчик про то знает,
Какой крест ему дадут:
Хорошо, коль закопают,
Иль поверх земли сгниешь.

А поэтому не старались
Немца пленного поймать,
А полковнику сказали:
— Немца негде нам сыскать.

Но полковник не унялся
И приказ такой издал:
С командиром одну роту
На поддержку нам послал.

Вот стоит же эта рота,
Ни жива и ни мертва,—
Только слушает уныло
Командиры слова.

Вот команда раздается:
«Шагом марш, правым плечом».
Тут вся рота закричала:
«Не пойдем мы, не пойдем».

Тут полковник к нам явился,
Стал он дело разбирать,
Кто осмелился в той роте
«Не пойдем» вдруг закричать.

И вторично раздается:
«Из окопов выходи!»
Из окопов выходили
Полковые молодцы...

Как ни ползали — старались
И на брюхе, и на спине,

И друг к дружке прижимались,
Все же немца нет нигде.

И никто не догадался,
Что полковнику сказать,
И ему б на место немца
Кусок зеркала послать.

Пусть смотрел бы черны усы
И о зеркале мечтал:
В нем наверно он бы скоро,
Скоро немца увидал.

Звучала песня мрачной балладой солдатского горя, как тоска об утерянной свободе на том берегу. Мрачное отчаяние сжимало сердце. Полковой разведчик, брошенный в волнистую рожь, был образом страдающего брата и звал гладиаторов повернуть свои штыки...

Сложил эту песню неизвестный солдат пехотного полка, взяв за основу действительный случай.

* * *

Снабжение газетами происходило через писарей и вестовых. Газета ходила по батарее из рук в руки, хорошие чтецы, вроде Алпатова, прочитывали ее до строчки, а потом бумага шла на курение. События политической жизни быстро доходили до солдат.

Но, кроме печатной информации, была еще своя живая газета — «Солдатский вестник» — устная молва. Все новости по корпусу, дивизии и дальше передавались, как по радио, с завидной быстротой. Командир батареи и офицеры еще ничего не знают, а номера уже получили важное сообщение:

— Из пехоты говорили — весь корпус влево перегоняют, сменять сибиряков. Наступление будет.

— А в нашу дивизию скоро пополнение пригонят из Тульской губернии, уж отправили.

— Бригадного-то нашего сменяют, он дивизию получит на Северном фронте, а к нам пришлют генерала из 5-й армии. Он там полком командовал. Говорят, службист.

— Вчера вестовые говорили — наш опять залился, уж три дня гуляет. Сегодня в пулеметную команду доехал, а там спирту — у!

— На наш фронт немецкую артиллерию прислали на поддержку и аэропланы. Своей-то у австрийцев нехватка. Теперь чегой-то будет.

— Из Петрограда подарки едут в наш корпус, только вагоны плохо заделали, они и сыпятся. Неизвестно, до коих доедут.

«Солдатский вестник» передавал самые разнообразные новости, и точность его не уступала быстроте. Живая газета без редактора работала прекрасно.

5. В ОФИЦЕРСКОЙ ЗЕМЛЯНКЕ

Командир батареи — капитан Афанасьев. «Солдатский вестник» называет его по имени — Глеб, Глебушка.

Или грубо-ласково — Наш.

Со всеми офицерами артиллерийской бригады Глеб Ипатьевич весело пил на брудершафт, и почти со всеми он на ты. Его любят за простой открытый характер, беспечность, радушие и гостеприимство. Глеб располагает к себе, с ним легко и весело. Он желанный гость во всех батареях, в управлении бригады, в штабе полка, в батальоне и пулеметной команде. Ни одна офицерская попойка не обходится без него. Он общий любимец в среде товарищей, как Массалитин у солдат.

Толстощекое лицо. Пышные севастопольские усы. Немного похож на жандарма. Но веет добродушием от цветущей фигуры этого толстяка.

Глебу четвертый десяток, он был казначеем в управлении бригады, а батареей командует около года. Полнокровие и радость жизни написаны на его лице. Война открывает перед ним веселый путь по лестнице чинов, вперед и выше.

Глеб холост, жизнь его впереди, а пока:

Наша жизнь ко-рот-ка, все уносит с собою.

Пей же, пей до дна, пей до дна...

Жалованье батарейного командира во время войны давало круглую сумму. Глеб жил в свое удовольствие, а его кутежи славились на всю дивизию.

Зная от денщиков все подробности попоек, номера возмущались:

— Кому как, а нашему война на пользу. Ряшку-то решетом не закроешь. Гладкий. Да и какая у него забота: утром холуи поставят самовар, напился-наелся, бумаги подписал и понес: то в пулеметную команду, то в управление к отцу Паисию, то в штаб полка. А уж если в парк попадет, тогда три дня без просыпу загуляет. Там спирту много. Главная вещь, везде друзья по одному делу. Начальство... им война!

Глеб любит комфорт и удобства, чтобы жить — черт возьми! — на широкую ногу. Офицерская землянка должна быть сделана в виде просторной комнаты, где можно как следует принять гостей. Голландская печь, большой стол во всю длину, по стенам походные кровати — «гинтеры» — складные стулья, табуреты и трубка полевого телефона.

Шумно и весело празднует Глеб свои именины. Денщики и два повара мобилизуются за несколько дней. Глеб заказывает блюда и соусы, готовит вина, достает спирт. Вечером он радушно встречает званых гостей из бригады и полков. Приезжает «батюшка» из управления бригады и ветеринарный врач «отец Паисий», начальник пулеметной команды и командир батальона, адъютант и бригадный командир — все друзья. После третьей рюмки появляется неожиданная гитара, и Глеб, ловко ударив по струнам, начинает свою любимую:

Поговори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Моя душа полна тобой,
А ночь такая лунная.

Заморозил, зазнобил,
Знать, другую полюбил!

А потом лихо: «Эх, чарочка моя» и все хором:

Выпьем же за Глеба,
Глеба дорогого.
А пока не выпьем,
Не нальем другого.

Еще несколько бокалов, хмель сладким дурманом кружит в голове, открывая влекущую туманную даль. Глеб начинает высоким тенором:

С времен давным-давно минувших,
С преданьев Иверской земли,
От наших предков знаменитых
Одно мы слово унесли.
В нем наша удаль и утеха.
Товарищ счастья и беды,
Оно у нас всегда звучало:
Ала-верды, ала-верды!

Стук ножей, звон бокалов. Глеб поет остро-веселые, неприличные частушки, подражает пьяному немцу, перед каждой рюмкой говорит прибаутки и рассказывает анекдот про молодого прапорщика и старого генерала, как они ночевали на одной кровати в варшавской гостинице.

Среди веселья Глеб капризно хлопает в ладоши, требуя денщиков.

— Эй, ангелы-архангелы, позвать Сергеева!

Через несколько минут в землянку смелыми шагами входит и останавливается у двери разведчик Сергеев. У него такой вид, словно никаких гостей не видит и ничего особенного не происходит, а вызвали его по делу, вот он и пришел:

— Честь имею явиться, ваше высокоблагородие, — громко рапортует Сергеев, и лукавые огоньки дрожат на его улыбающемся лице.

— А, молодец, это ты? Что скажешь?

— Изволили требовать, ваше высокородие.

— Да-да-да. Ну-ка, вот что: пей! Василий, налей ему фужерчик.

Сергеев скромно отказывается:

— Да не стоит, ваше высокородие.

— А я говорю — пей!

Вежливо и церемонно, как жених, берет Сергеев от денщиков чайный стакан, из уважения отворачивается к стенке и выпивает в один прием.

Глеб с удовольствием смотрит на него:

— Ну, Сергеев, повесели компанию. Что можешь рассказать?

— Да есть смешное, ваше высокородие, только уж очень скромное...

— Валяй!

— Так что неудобно при господах офицерах.

— Дуй!

Тогда Сергеев, при взрывах общего смеха, начинает бойко декламировать басню такого содержания, что непривычный молодой прапорщик Вязьмитинов смотрит на него, не улыбаясь, широко открытыми глазами, пока Глеб не толкнет его в бок:

— Что, прапор, уставился, как на новые ворота? Здорово?

— Эх, чарочка моя!..

Кутеж продолжается до мертвой точки. Глеб не признает середины!

— Сел за стол, так уж пей до дна!

Гости разъезжаются на рассвете.

* * *

Глеб — кадровый офицер, политикой никогда не занимался и, однако, он не монархист. В своей компании, за стаканом чая, он посмеется над Пуришкевичем и Марковым-вторым, возмутится постановкой дела на фронте и в тылу, скажет, что «так нельзя», что после войны обязательно должны быть реформы, что должен быть настоящий парламент.

К войне он относился просто;

— До победного конца и никаких испанцев!

О внутренней жизни солдат Глеб знал меньше, чем помощник кашевара в батарее. У него было твердо сложившееся мнение кадрового офицера, что солдат есть послушное

орудие, бездумный исполнитель, который не должен, да и не может «рассуждать». И разве не таким является на вечерний доклад почтительный фельдфебель Минаков, когда он вежливо покашливает в руку и улыбается на командирские шутки. А чем плохие солдаты вот эти вышколенные молодцеватые денщики или ездовой из резерва, который так весело вытянулся во фронт?

Когда революция была за плечами, он и слышать не хотел об усталости своих солдат и не имел понятия, как его номера и ездовые относятся к войне.

Скажет когда-нибудь избалованный повар Толмачев:

— Ваше высокородие, неужели еще целый год воевать придется?

Глеб возмущен:

— Ну, я понимаю, в пехоте, там, правда, тяжело. Посмотришь, сколько им приходится переносить, жуть берет. Часто идут на верную смерть, грудью на пулемет. А эти-то что? Артиллеристы. А видали они штыковую атаку, ходили в разведку? Подумаешь: ус-та-ли! А чего он в деревне жрал-то? Мяса много видал? Здесь ему каждый день порция в полфунта, свежий борщ, каша, девять кусков сахара. Просто люди с жиру бесятся. В пехоте — другой вопрос, там, правда, тяжело иногда приходится, да и то... Небось дотерпят, пока не побьем немцев!

Несмотря на природное добродушие, Глеб капризен, избалован и вспыльчив, как порох; если что не по нем, он забывает себя, накричит, обругает, пригрозит отдать под суд. Солдаты называют его: Спичка.

Во время боя Глеб становится нетерпим. Пошлет к черту, к дьяволу, обложит по телефону в третий этаж дежурного офицера, назовет дураком. Вечером офицер приходит бледный, с неостывшим оскорблением в глазах, а Глеб все забыл, он беззаботно весел и как ни в чем не бывало:

— Ты что, Петрунька, злой? Пойдем чай пить, будет дурить. Эй, ангелы-архангелы, скорей самовар.

Среди офицеров Глеб считался одним из лучших командиров; говорили, что у него верный глаз, умение ориентироваться и он в совершенстве управляет артиллерий-

ским огнем. У солдат было свое мнение, и они думали по-другому:

— Какой он к свиньям стрелок? Толком не узнает ничего, сейчас тебя матом и прямо в морду лезет, а разберется с делом и остыл. Одним словом «спичка» — вспыхнул и враз потух. Несамостоятельный человек. То ли дело полковник Радецкий командовал, вот это был командир, это да.

— Глеб? Да он и по карте ничуть не разбирается. Как сам батарею поведет, обязательно или в болото загонит, или в речку и стоп, машина. Сам же дорогу потерял, а разведчики ему виноваты. А в бою-то уж и не говори: лепит снаряды один в немцев, пять по своим. Вzbесится, у него глаза застилает и своих разрывов не найдет. Пятая батарея стреляет, а он думает, что его гранаты рвутся. Все перемешает. Таких командиров-то!..

«Солдатский вестник» сообщал о Глебе точные факты.

РАССКАЗ ГЛАЗКОВА

В бою под Михайловкой наша дивизия наступала слева. В цепях был Колыванский полк, а Смоленский стоял позади на поддержку. Мне с Мухортовым пришлось дежурить на передовом наблюдательном. Мы вырыли окопчик и легли у аппарата, а Глеб с разведчиками наблюдал через копну возле нас. Любит сам корректировать стрельбу. Слышу — горячится наш Глеб;

— Осемь-ноль, трубка осемь ноль, о-гонь!

Я передаю в телефон, как есть. А снаряды австрийцев бушуют по пехоте, как выюга. Наша батарея начала стрелять очередями. Глеб наладил все на одном прицеле:

— Осемь-ноль и осемь-ноль.

Выстрелов пятьдесят батарея наша сделала, слышу: из полка вызывают по телефону:

— Третья батарея!

— Батарея слушает.

— По своим бьете, так вашу черт! Что вы, ослепли?

Я докладываю.

— Ваше высокородие, из пехоты говорят, наши снаряды по своим ложатся...

А он:

— Замолчи, сволочь, слушай команду.

И опять:

— Восемь-ноль, о-гонь!

Две очереди дали. Из пехоты опять звонят:

— Третья батарея, вы долго будете по своим лупить? Доложи враз командиру батареи.

Я опять Глебу говорю. Как он пыхнет, чисто порох, правду говорят: спичка — взбесился человек и на меня:

— Ты замолчишь, сукин сын! Морду набью!

А наблюдателем тогда был Потапов, по стрельбе он здорово соображал. И говорит он Глебу-то:

— Ваше высокородие, правда, наши снаряды чегой-то близко ложатся, вроде над нашей пехотой? Может, прицел прибавить на двести саженой?

Наш и слушать не хочет. Знай свое:

— Восемь-ноль и восемь-ноль...

Из штаба полка в третий раз звонят:

— Третья батарея, вы что же, смеетесь там? Ведь русским языком сказали: по своим бьете, черт вас лупи совсем? Кто у телефона?

— Телефонист.

— Командира батареи к телефону.

Ну, как ему сказать? Ведь он как бешеный и сам себя не помнит. И не сказать нельзя... Набрался духу, говорю:

— Ваше высокородие, к телефону вас просят из штаба полка, они говорят, что снаряды по своим бьют.

Глеб так ногами на меня и затопал.

— Ты,— говорит,— долго будешь еще рассуждать, болван? Доложи старшему, чтобы поставил тебя под ранец на четыре часа. Знай свое место, дурак, и не суйся. Передавай команду, ну?

А сам сверху-то палкой в окоп так и стучит. Того и гляди по глазам попадет или в зубы.

Крыть нечем.

— Слушаю, ваше высокородие...

Так и поставил на своем Глеб и выбросил снарядов на том же прицеле штук двести, пока сам дистанцию не прибавил. Ни за что пропали бедняки в Колыванском полку. Потом уже, после боя, когда австрийцы отступили, мы хо-

дили смотреть, как отличилась наша непромокаемая батарея. И вот видим своими глазами, как лежат колыванцы: кто во ржи, а кто на проволоке повис, и все побиты сзади.

Ведь это что... А нашему сошло нипочем. Ему все, как с гуся вода, и ничего за это не было.

* * *

Этот случай был известен всей батарее, и общее мнение солдат:

— Какой он к свиньям командир: с делом не разбирается, чуть что матюгает и в морду. С дурьей головы и своих перестреляет. С таким коноводом пропадешь!

В разговоре с командиром взвода, прапорщиком Вязьмитиновым, я спросил его мнение о Глебе и услышал непоколебимое:

— Отличный руководитель стрельбы, лучший командир артиллерии, он любимец солдат.

Тогда, не называя лица, я рассказал случай под Михайловкой и убедился, что Вязьмитинов не имел о нем представления, словно это было за тысячу верст. Но это не убедило его:

— Послушайте, да это же чистейшая ерунда: перепутали в горячке нижние чины и только. Слушай только эту публику. Да быть этого не могло. Ну, Глеб горяч,— это правда, но чтобы до такой степени? — Е-рун-да!

Мы говорили на разных языках: я знал жуткую солдатскую правду, а Вязьмитинов не хотел и не мог ее узнать.

* * *

Управление сложным хозяйством батареи не требовало от Глеба никакого труда. Фельдфебель, взводные, фейерверкеры, каптенармусы и писаря в совершенстве знали свое дело. На них можно было положиться в спокойной уверенности, что все будет прекрасно: будут вовремя получены снаряды, будет фураж, будет мясо из интендантства, будет в порядке амуниция, а отчетность всегда готова к первому числу — все сделают верные надежные люди. Командиру остается подписать готовую ведомость, акт или

рапорт, он полюбуется на сытых лошадей, прогуляется с палкой по резерву, а там завей горе веревочкой.

Прогуливаясь по резерву, Глеб подтянет ездовых за неряшливый вид, накричит на кашевара и распушит на все корки писарей.

— В пехоту отправить вас, — кричит Глеб.

Через час он все забыл — он не помнит долго зла. Цветущий и веселый, он едет на экипаже в управление бригады кутить к «отцу Паисию». Он спокоен за батарею: все сделают Минаков, Плешаков и Круглов.

— Эх, чарочка моя!..

* * *

Каптенармус получил долгожданные сапоги — сорок пар на всю батарею. Распределяет их заведующий хозяйством поручик Сорокин. За получением сапог является телефонист Волосатов.

— Ваше благородие, разрешите доложить?

Важным баском:

— Докладывай!

— Так что сапоги, ваше благородие, все сопрели голенищи и то чинить нельзя. Так что разрешите получить новые.

Сорокин смотрит на ветхие изношенные сапоги и вдруг:

— Ах ты, болван! Ты их нарочно порвал, и смеешь просить, сволочь!

— Никак нет, ваше благородие, я их не рвал. При нашем деле никакие сапоги долго не носятся: ночью по линии как пойдешь, грязь по колено — я все руки о проволоку исцарапал.

— Молчать — я тебя насквозь вижу, дурак! Ты меня учить. Сами сволочи рвете, чтобы поскорей новые получить, я вас знаю. Не жалеете казенного добра!

— Ваше благородие...

— Что-о? Стать смирно. Налево кругом марш. Пшол!

Волосатов приходит в землянку телефонистов со слезами на глазах:

— Что я ему, собака? Главная вещь, зачем сволочить человека? Не хочешь давать, не давай, а лаяться нечего. Сам

разорвал сапоги это я-то! А кто по колено в воде под озером Нароч все окопы излазил, как не мы с Мухортовым? Сапоги не железные. Теперь что же, босиком ходить, за ту работу? И опять же: зачем сволочить и псарма! Ну, скажи не дам и конец, а то прямо с матюга! У самого в гинтере три пары новеньких, а тут разувши ходи... Начальство, им война нужна!

К осени шестнадцатого года фронт почувствовал недостаток обмундирования. Не хватало шинелей, гимнастеров, белья и — в особенности — сапог. Нужно было делить и распределять. Сорокин делал это по своему усмотрению. Лучшие сапоги и шинели доставались почему-то вестовым, писарям и каптенармусам, кто поближе и половчее, а номера и телефонисты ходили в обмотках и рваных негодных сапогах. Землянки кипели ульем. Злые слова хлестали воздух.

Поручик Сорокин очень доволен своими тремя звездочками. Он живет умеренно, не пьет и не курит; подражая Глебу, он ходит без пояса и с палкой. С подчиненными он сух, груб и несправедлив. На солдат он смотрит с нескрываемым пренебрежением:

— Нижние чины!

Сорокин получил «клюкву» — орден Анны и золотое оружие; он считался опытным боевым офицером. Назначение в заведующие хозяйством было для него повышением по службе. Солдаты не любили его.

— Сорокин — человек недобрый, зазнался и нашего брата не уважает. Боевой офицер, кто? Чем его контузили-то, знаешь? Чем? Телеграфным столбом по одному месту. Лаяться здоров.

Солдатский язык был пересыпан, как солью, острыми словами. Они густо насыщали дружескую речь, споры и рассказы, воспоминания о прошлом и партию в двадцать одно. Но эти слова употреблялись между равными беззаботно и легкомысленно, без злой отравы, как грубо-ласковая шутка. Они скользили по поверхности, не вызывая обиды. Мое ухо привыкло к этим формам речи, и я продолжал чувствовать себя в семье добрых товарищей.

Но совсем другое впечатление получалось от недостойной привычки «господ офицеров» материться на своих подчиненных. Если там говорил равный с равным на общепринятом языке, то здесь был неограниченный начальник против безответного «нижнего чина», который (по уставу) должен отвечать, держа руки по швам, который в любой момент мог получить (уже не по уставу) «по морде», который должен отвечать:

— Слушаю, понимаю, так точно, никак нет...

Нехорошо было видеть, как молодой прапорщик, только что приехавший из военного училища, желая показать себя настоящим офицером, начинает «выражаться» на провинившегося солдата. Было противно.

Солидный боевой поручик Сорокин рассуждал так:

— Дело в том, что нужно учитывать психологию нашего солдата. Они не воспринимают, если им скажешь просто так, а вот если матюкнешь как следует, так сразу тебя поймут. Значит, сказал на их языке. Уж я-то знаю этот народ. Кто говорит, что это оскорбительно? Ска-зочки, дорогой мой, расскажите барышне на балу, а мы не гимназисты, мы — боевые офицеры, мы воюем третий год и знаем, где раки зимуют.

Доказать Сорокину противное, убедить его в том, что он глубоко заблуждается, не знает своих солдат, что это другие люди — было невозможно. Так думали все.

Офицер считал себя высшим существом и как он мог обращаться к бесправному нижнему чину? Ударами грубо-сколоченной брани...

Прапорщик Вязьмитинов, высокий и тонкий, как хлыст, в длинной шинели Костантиновского артиллерийского училища, подражая старшим и делая злые глаза на безусом лице, кричит на почтенного умного Алпатова:

— Эй ты, телефонист... Ты что галок ловишь? Вот под ранец тебя поставлю, трах-тара-рах.

Он еще молод и глуп, этот Вязьмитинов, он и сквернословит, как приготовишка, но у него золотые погоны и право безнаказанно издеваться над своими солдатами.

Стена недоверия и глухой вражды поднималась вокруг «господ офицеров».

* * *

Командир третьего взвода подпоручик Левашов Илья Васильевич: Курица не птица — он на особом положении. Он не кадровый офицер, не был в военном училище. Когда-то он был простым, обыкновенным солдатом. Илья Васильевич старый ветеран, в японскую войну получил чин фельдфебеля и все четыре креста. Потом годы службы, погоны подпрапорщика в начале войны и производство в младшие офицеры. Ему за сорок лет. Крепкий мужчина с монгольскими линиями упрямого лица, среднего роста, сшит из мускулов и костей.

Илья Васильевич не расстается со своей старой лошадью Нанкин, которую подобрал в боях у Мукдена. Уже лошадь ослепла на один глаз, ослабела на ноги и спотыкается на ровной дороге, но Илья Васильевич будет спорить с кем угодно, хоть с самым командиром батареи, что лучше Нанкина коня не сыщешь, что он вынослив и резв, а главное:

— Надежный конь.

Глеб не скрывает своей неприязни к Левашову, как бывшему фельдфебелю, попавшему не в свои сани. Знает Илья Васильевич, что и остальные офицеры относятся к нему со скрытой иронией, что его вышучивают за глаза, и он чувствует свое одиночество в офицерской землянке. В первый год войны подпоручики Сажин и Попов, сговорившись, травили Илью Васильевича безжалостно шутками и намеками. Произошел скандал, Левашов сгоряча пытался застрелиться, вмешался полковник Радецкий, и дело уладили переводом подпоручиков в другую батарею.

После этого случая открытое издевательство прекратилось, но Левашов по-прежнему оставался чуждым и одиноким в новой среде. С его мнением не считались, его игнорировали, ему при каждом случае давали понять, что он не развит, «не наш» и погоны-то он получил только из-за войны. У Ильи Васильевича развивались болезненная подозрительность и недоверие к людям. Он замкнут и остро самолюбив.

Илья Васильевич пишет крупным полудетским почерком, он малограмотен, но дело свое знает. Он неумомим в

заботах о своем взводе, он по-своему любит солдат и понимает их, он умеет говорить с номерами простым спокойным языком, он строг по привычке старого фельдфебеля, но бессмысленно не ругается и никогда не ставит под ранец. Чтобы не уронить себя в глазах Глеба, он избегает особенной простоты в общении с солдатами.

Левашов способен и умен, но что он мог узнать и чему научиться в казарме? Он прост и ласково-шутлив с солдатами, не в пример другим офицерам, он знает солдат по именам и фамилиям, у него меткая народная речь и, однако... он чужд солдатам своими золотыми погонами, своими взглядами на войну до полной победы, на присягу, наивным патриотизмом и своей немудрой философией верного служаки.

На исходе второго года войны солдатская масса напористо и единодушно шла по пути внутреннего освобождения.

Зарождалась новая правда.

6. ГЛУХАЯ СТЕНА

Штатским людям и тылу было непонятно;

— Откуда может быть недоверие у солдат к офицерам? Они вместе рискуют своими головами, едят из одного котла, несут одну тяжесть и сообща делят горе и радости боевой жизни.

Военные корреспонденты продолжали восхищаться фронтом: какое там единодушие, как отважны молодые офицеры и мужественны скромные серые солдаты и какая это дружная боевая семья. Ах, как хорошо было почитать «Русское слово» или «Новое время» у камина при свете вечерней лампы.

А настоящий, живой солдат на фронте с каждым днем наливался острой ненавистью к офицеру, считал его причиной своего солдатского безысходного горя, видел в нем личного врага. Расстояние между «нижними чинами» и офицерами увеличивалось, и вырастала между ними непроходимая глухая стена.

Было много слагаемых у этой нарастающей трагедии. Царская сословно-монархическая армия держалась на резком неравенстве бесправных нижних чинов и безответственных властных начальников.

Фронтовому солдату выдавалось двойное жалованье, 90 коп. Рядом с ним офицеры получали от 150 до 500 руб. На эти деньги можно было покупать ненужные вещи, душить одеколоном, пьянствовать и кутить. Разница материального положения была в глаза. Создавалась уверенность, что офицеры воюют за свое жалованье, за погоны, за чины и ордена, а солдат — за несчастные 90 коп.

Военное хозяйство находилось в руках офицеров в лице заведующих хозяйством. А эта должность слишком часто использовалась как доходное место, где безнаказанно можно греть руки. В батарею надо было прокормить, снабдить всеми видами довольствия больше двухсот человек с таким же количеством лошадей. Для этого требовались крупные денежные суммы на закупку хозяйственным путем сена, овса, канцелярских принадлежностей, муки и мяса; продовольственные запасы протекали широким потоком. На бумаге все учитывалось с математической точностью, денежный ящик был всегда опечатан и охранялся караулом, для каждой копейки выписывался оправдательный документ, отчетность за каждый месяц проверялась особой комиссией.

Контрольная комиссия постоянно завершалась благополучным актом, и не было случая, чтобы комиссия нашла какие-нибудь неправильности или злоупотребления. А тем временем старшие офицеры-завхозы широко пользовались всеми путями, с помощью писарей и каптенармусов, выкраивать кругленькие суммы за счет «провиантского приварочного, чайного и фуражного довольствия», создавать экономию за счет солдат и лошадей и спокойно откладывать в карман излишки по своему усмотрению.

Накопление лишних «экономических» сумм шло разными путями. Главным же источником был фураж, о чем не подозревали артиллерийские лошади. В боях и переходах, когда передовые части отрывались от интендантства на недели и месяцы, кормить лошадей приходилось своими

средствами. Разreshалось покупать у населения фураж и проводить этот расход по счетам. В практике завхозов не принято было покупать фураж за деньги, а делалось проще: останавливались на бивуак, ездovые марш косить овес в поле, а то доставай по амбарам. Или пошлyт фуражира по деревням:

— Без овса не приезжай.

К вечеру медленно ползут повозки с фуражом, который сумел достать этот молодец, а как достали, ну... это знаете... Где купили по дешевке, а где и так. Командиры батарей любили хвалиться ловкостью своих фуражиров, кто лучше и скорее сумеет достать овес хоть на луне.

Как только войсковая часть выводилась на отдых или останавливалась на месте, завхозы начинали сводить отчетность. И не было никакого риска поставить в расход 600—700 рублей или сколько захочется за «купленный овес». Кто это станет разбираться и проверять, есть ли в деревне Голятин Горный крестьянин Шевчук и подписал ли он расписку в получении денег? Ведь нужно было покупать овес. Нужно. Покупали фуражиры — да, так в чем же дело? Но знают писаря, что счета липовые и подписывал их некто в сером, знают фуражиры, что ездovые косили ночью овес почем зря, ну, получают они отпуск не в очередь и по десятке наградных — вот и все.

В походной обстановке каждая часть накапливала самотеком разное имущество: лошадей, повозки, запасные кухни, скот, запасы продовольствия и прочее: «в хозяйстве каждый гвоздь нужен». В нашей батарее было больше 40 «неофициальных лошадей», одна запасная кухня на всякий случай, много повозок, маленькое стадо овец и коров, два экипажа и много телефонного имущества. Выписывать для этих лошадей и скота фураж из интендантства означало бы тайное сделать явным. Скрытое имущество требовало скрытых расходов — надо было создавать экономические суммы.

Хозяйство раскалывалось на две части: официальную для штатного состава и неофициальную для сверхштатного. Первая часть проводилась по отчетам, вторая велась завхозом на совесть и на глазок. Правда, «экономические»

суммы в известной степени расходовались и на солдатские нужды — для улучшения котла, на усиленную порцию к празднику, заготовку кожи, сапог и табаку. Но кто мешал завхозу устроить офицерский кутеж, блестящие именины, закупить спиртишку для нужд офицерской кухни и просто отложить себе на черный день и карманные расходы? Командир батареи наблюдал за экономическими суммами между прочим и сквозь пальцы, а проверять мелочи, считать и подсчитывать он считал ниже своего офицерского достоинства — что же, он не доверяет своим офицерам?

Трофейного имущества было много. Оно нигде не записывалось, и хорошие вещички быстро разбирались по рукам: офицеры имели запасные бинокли, револьверы, экипажи и собственных лошадей.

Чистый доход приносили отпуска и командировки. Достигалось это тем, что отсутствующие люди продолжали считаться на довольствии и на них аккуратно продолжали выписывать продукты. В распоряжении завхоза образовывался продовольственный запас, который можно было расходовать и для улучшения солдатского котла, и для офицерского стола, и для посылочек домой. Нужна была египетская работа, чтобы проконтролировать завхоза в этих расходах. И кто стал бы этим заниматься, если офицерские кутежи, именины и развлечения делались за счет этой благодетельной экономии.

По приказу — офицеры должны были получать продукты для своего стола за наличный расчет из интендантства. Но этого нигде не делалось, и фактически продукты получались бесплатно у каптенармуса без всякого учета. Глеб считал это вполне естественным.

— Еще за эту ерунду платить, — говорил он. — Да мы каждый день жизнью рискуем, а тут о пустяках думать. А солдатам котел улучшает кто, думает о них кто. Мы-то не считаем этого? Ну, значит, и толковать нечего.

Стройная отчетность по официальной части хозяйства вплеталась своими корнями в негласные экономические суммы, где единственным контролем было честное слово. Но солдаты в этих хозяйственных операциях ориентировались прекрасно; они знали, где, когда и почему образова-

лась экономия, сколько набралось денег и куда они пошли. Помнили, как при переброске корпуса под Варшаву батареи оторвались от интендантства, овес и сено не получались, и ездовые добывали фураж своими средствами, как им обещали за это уплатить, а номера против этого глухо возмущались: как? На этом фураже экономия достигла нескольких тысяч рублей.

Неграмотный кузнец Кирюша знал хозяйственные тайны лучше Глеба. Он по пальцам мог пересчитать всех завхозов батареи, перебившихся за войну, прикидывал экономические суммы, подводил итоги, делал едкие выводы и с фактами в руках уличал их во лжи; тот проиграл в карты тысячу рублей и вышел сухим из воды, этот прогулял в Варшаве с цурками и прокутил сам не знает сколько, а поручик Попов в пятнадцатом году мог отложить на сберегательную книжку больше трех тысяч.

— Этот зря деньгами не швыряется, а себе пользу собирает.

Кирюша сообщал факты, против которых нечего было возразить: они были десятки раз установлены и проверены солдатской массой.

Управление бригады и штаб дивизии не принимали никаких мер к проверке завхозов. Явные преступники, потерявшие у солдат последний грамм уважения, продолжали служить преспокойно, получали награды, повышения и чины, а у начальства были на хорошем счету. Когда вопрос об экономических суммах ставился в офицерской землянке, никто не выражал сомнения в честности завхозов. Говорили, что экономия нужна для самой батареи, для тех же солдат, что на них тратятся лишние средства, и, конечно, ни один завхоз не позволит присвоить себе копейку из этих сумм. А если какой солдат сболтнет глупую фразу о возможности присвоения, то хороший солдат этого не скажет, а на горлопанов обращать внимания нечего.

Поручик Сорокин заведовал хозяйством шесть месяцев, и не было фактов, которые бросали бы на него какую-либо тень. Сорокин был честен и щепетилен, на подлог и воровство он не был способен. Однако солдаты и на него смотрели так же, как на его предшественников; они не до-

пускали мысли, что может быть честный завхоз, который не стал бы воровать.

— Обязательно, да как же так? Что, он себе враг, что ли. Святой какой нашелся. Сорокин-то, брат, еще лучше тех пользуется, только с умом,— вот мы и не знаем.

— А если не ворует, значит — дурак,— мрачно утверждал Кирюша.

Репутация завхозов в сознании моих друзей стояла на таком низком уровне, что дальше было некуда, а Глеб в своей наивной самоуверенности не знал, а быть может, не хотел или не умел знать того, что было прекрасно известно неграмотному Кирюше, о чем знала вся батарея.

Факты, о которых сообщал «Солдатский вестник»,— в них можно еще было сомневаться тогда, подтвердились потом в волнах семнадцатого года, когда на них был построен грозный обвинительный акт. Но тогда было уже поздно...

Все знали, что продукты для офицерского стола получались бесплатно и в неограниченном количестве, без всякого учета. Номера говорили:

— Пусть наши господа выписывают продукты из интендантства, как по приказу полагается. А то что же, они будут котлеты жарить, пьют чай внакладку и гуляют почем зря за наши денежки. А мы не желаем.

Офицеры легкомысленно использовали свою безответственность; они не видели, что отрываются от солдат и волны глухого недоверия закипали вокруг них. Резкое неравенство положений оставалось на фронте во всей остроте. Офицер имел денщика, ходил в чистом белье, возил самовар, духи, туалетное мыло и проч.— солдат нуждался в самом необходимом, носил рваные сапоги и вшивое белье, получал скудную пищу.

Образцовый солдат армии должен был ведать только одну заповедь:

— Не рассуждать.

Безответственность переходила в явное издевательство над личностью рабов.

Конный разведчик Матвеев рассказал мне случай походной жизни:

— Переход мы сделали верст больше сорока. Стали на ночлег в поле. А темно, хоть глаз коли, и дождь начал моросить. Кое-как раскинули палатки, расседлали лошадей, стали ложиться. Слышу, подпоручик Сажин шумит из палатки, чтобы дали конного ординарца везти срочный пакет. Назначают меня. Вот ставит он на конверте три креста и велит ехать в шестую батарею, передать ихнему заведующему, и чтобы сейчас же ответ. А где шестая батарея, сам толком не знает. Найди, и вся. Плутал я всю ночь по какому-то лесу, потом выехал на пашню без дороги и чуть не попал в болото. Только уж на рассвете кое-как нахожу шестую батарею. Передаю заведующему пакет. Вот он прочитал, пишет на бумажке ответ и передает мне. Еду я обратно, уже светло и думаю, дай почитаю, что пишет — конверт-то не запечатан. Открываю я ту бумажку и читаю: «Мишка, спирту нет, но постараюсь достать. Тогда кутнем». Закипело у меня сердце: из каких пустяков он меня гонял всю ночь. А я-то думал — три креста, вот они к чему... Куда пойдешь, кому скажешь. И все терпит бедный солдат!

Глеб никогда не давал себе труда продумать своих распоряжений, чтобы не тратить напрасно солдатского труда. Об этом он совершенно не заботился. Особенно любил он менять наблюдательные пункты: походит с биноклем по окопам, посмотрит, выберет сгоряча и сейчас же двадцать рабочих номеров с лопатами марш оборудовать пункт; работают несколько ночей по сменам, ездовые подвозят тяжелые деревья для блиндажа, номера копают землю, наконец, все готово, и вдруг... новое приказание.

— Перенести наблюдательный пункт на триста саженей вправо.

Оказалось, что с первого пункта не видно главных целей. С такими пустяками, как напрасная работа десятков людей по легкомысленной ошибке «его высокоблагородия», никто и не думал считаться:

— Небось, здоровы, делать-то все равно им нечего. На то война!

Но если беспечный патриций считал пустяком напрасный труд солдата, бесправная масса плебеев чувствовала острую обиду:

— Что же он нас дурачит-то? На этом наблюдательном ворочали-ворочали, и все к свиньям пропало. Теперь здесь работай, ночь не спавши, и опять бросать!.. Правду говорят, дурная голова ногам покоя не дает. Работа дураков любит. В батарею, в командира, в войну!!!

Глеб вел беспечную веселую жизнь, он кутил в шумных компаниях, широко и открыто, совершенно не стесняясь своих солдат. Однажды «отец Паисий» достал полведра спирта, собрались гости, начался пир. Веселые тосты. Глеб был в ударе, он особенно удачно пел «Поговори хоть ты со мной» и «С времен давным-давно минувших», а потом танцевал кэк-уок и рассказывал острые анекдоты. Качали на ура Глеба и «отца Паисия», а бригадный священник не выдержал, упал под стол и сейчас же заснул с бутылкой в руке.

В три часа ночи резкий гудок на батарею и заплетающимся неверным языком:

— Бат-таррея?

Телефонист:

— Батарея слушает.

— Третья батарея?

— Так точно, третья, ваше высокородие.

— За третью урра...

— Точно так — ура.

— Кто у телефона? Что? Как там орудия, а? По какой цели ночная наводка? Снаряды есть?

— Так точно, по цели номер пять.

— А ну, славная третья батарея, бей немцев!

— Никак нет, ваше высокородие...

— Что-о? Я приказываю! По цели номер пять — о-гонь!

— Да неудобно, ваше...

— Ах ты, сволочь! Как твоя фамилия, барбос? Ты... ты...

Пьяный голос оборвался, и трубка замолчала. Как потом рассказали денщики, капитан Аксенов на этих словах уронил трубку и мертвым грузом скатился под стол на спящего священника. Утром вся батарея знала подробности пьяной шутки Аксенова из уст бледного от бессонной ночи взволнованного телефониста. Ропот возмущения дрожал в плебейских землянках.

* * *

Был случай, когда в интендантстве произошла какая-то заминка, доставка задержалась, и батарея два дня не имела хлеба. Голодный желудок раздражал утомленные нервы.

В полночь дежурные телефонисты сторожили связь, лежа в землянках с прижатыми к уху трубками микрофонов. В полевом телефоне разговор разносится по всей линии, и телефонисты слышат все приказы, разговоры и телефонограммы. От них можно узнать все новости: что восьмая рота сегодня ночью пойдет на разведку, а третий батальон сменяется на отдых; что командир полка распустил на все корки ротных за плохие землянки в окопах и назначил другого завхоза; что вчера на правом фланге австрийская разведка подползла к самой проволоке и забросала гранатами наши дозоры; что из шестой роты восемь человек ушли в плен, бросив винтовки, и командир полка приказал написать воинскому начальнику о перебежке «нижних чинов». Телефонисты были главными хроникерами «Солдатского вестника».

Днем и ночью перекликаются они условными точками-тире:

- Тра-та-та, та-та.
- Батарея слушает.
- Поверочка, дорогой.
- Та-та, та-та.
- Лезерв слушает.
- Поверочка, дорогой.
- Глазков, ты?
- Я, ребята чего делают?
- Спать легли, а Лежнев сказку рассказывает.
- Длинную?
- Да уж часа полтора говорит.
- Та-та-та.
- Наблюдательный.
- Поверка. Сколько там время-то?

В полночь запищало в трубке знакомым: точка-два тире, точка-два тире.

- Та-а,-та-та, та-а, та-та.
- Батарея слушает.

Голос Глеба:

— Батарея? Дай управление бригады. Ветврача к телефону. Слушаете? У телефона командир батареи Афанасьев. Это ты, отец Паисий? Здравствуй, отче. Ну, как насчет спиртишка? Да мы тебя к лику святых причислим, ей-богу. Слушай, отец, приезжай к нам, тут все, а спиртишку не хватает. Но закуска — пальчики оближешь — есть семга, маринованные грибы, шпроты, да сейчас я своим архангелам закажу шашлык. Приезжай, отче, я сейчас за тобой экипаж посылаю. Да что три версты? Приезжай! Значит ждем, ладно?

Здесь произошло неожиданное. Звонкий голос ударил кирпичом по стеклу:

— А рожна не хочешь и тебе и Паисию?

Глеб вспыхнул:

— Кто безобразничает? Всех дежурных к аппарату. Под ранцем сгною, барбосы, откомандирую в пехоту бездельников!

Но виновный не находился. Все дежурные отвечали одно:

— Не могу знать, ваше высокородие, кто это шумнул такую глупость,— должно быть, из пехоты кто озорничает, им по индукции все слышно. Не могу знать.

«Спичка» потухла. Глеб успокоился и через час беспечно кутил с отцом Паисием, забыв про угрозы.

Вся батарея приветствовала смелость Бершадского, который дежурил в эту ночь на передовом наблюдательном пункте:

— И молодец этот Никита!

— Отлил пулю.

— Этот не боится.

— И как его по голосу не узнали, вот черт-то!

Горели отравленные дни. Плебеи наливались ядом нарастающего мрачного гнева.

Глухая стена вырастала все выше.

7. ПОД ЛОБАЧЕВКОЙ

В июле шестнадцатого года, после Брусиловского наступления, батарея стала на спокойной закрытой позиции. По карте-трехверстке надо найти деревню Лобачевку, провести на север короткую линию, и здесь, в лощине, расположились наши маскированные пушки. Деревня продолжала существовать только на карте, а на земле от нее оставались стены разбитых домов с черными столбами закопченных труб и одиночные деревья, опаленные огнем снарядов. Ни одного человека не видно у покинутых жилищ. Муравейник был разорен железной палкой.

За Лобачевкой у реки расположился обоз Смоленского полка, а влево от него дымит кухней резерв четвертой батареи.

Наша позиция находится в поле затоптанного овса. Спереди батарею закрывает гребень невысокого холма, за которым тянется в случайных изломах неверная линия передовых окопов в острой, всегда таинственной, близости противника.

У нас три наблюдательных пункта, они выдвинулись далеко вперед к пехоте, с телефоном, биноклями и трубой Цейса. Батарея должна днем и ночью следить за противником, не упуская его скрытых движений.

Главный наблюдательный пункт находится на бугре в самой середине участка; здесь по очереди дежурит один из офицеров с телефонистами и разредчиком-наблюдателем. Боковые пункты — правый и левый — расположены в передней линии окопов, они обслуживаются одними солдатами.

От батареи влево ведет тропинка в высокую рожь. Идти все прямо, быстро перебежать открытую поляну на глазах близкого леса, занятого противником, спуститься в овраг и подняться по дороге через кусты. Здесь и будет блиндаж главного наблюдательного пункта, откуда в бинокль открывается живая картина засеянных полей, деревья у полевых колодцев, рощи и далекие хутора. Хорошо видно движение в наших окопах, как в пятой роте солдаты роют землянку и подкатывают тяжелые бревна, как пуле-

метчики набивают патронами ленту, а ротные телефонисты, как муравьи, тянут линию вдоль окопов. Похоже все это на городок в табакерке, словно все это не настоящее, а игрушечное, из волшебного фонаря, из мира лилипутов. Такими же игрушечными кажутся и австрийские окопы, уходящие зигзагом по бесконечной кривой. Вот замаскированное в траве пулеметное гнездо, сверкает на солнце штык от игрушечной винтовки, а на желтой от глины земле печально лежит голубая каска. В точный перископ трубы Цейса видно, как сменяется австрийский дозор, а по ходу сообщения двигаются мерным шагом серые фигуры.

Боковые наблюдательные пункты придвинулись к противнику совсем близко. Игрушечная даль превращается в настоящее, в напряженную близость противника, в скрытую тревогу ожиданий. Полоснет над самым ухом сухим ударом винтовка, прилетит внезапная шрапнель и разорвется над землей в нескольких шагах — это настоящее... Утомленные сердитые лица, винтовки с примкнутыми штыками, сумки ручных гранат, остатки супа в медном котелке, зияющая черная воронка в колючей проволоке перед окопами, ротный фельдшер с красным крестом и двое раненых из нашего секрета — все это настоящее, будничное, покрытое серым цветом, но полное близкой тревоги ожиданий.

В окопах негромкие голоса. Ленивый воздух отдыхает. Редкие пули пролетают над головой.

В самый полдень на правый наблюдательный является Глеб в сопровождении Ильи Васильевича. По сравнению с командиром шестой роты, подпоручиком Каблуковым, с его измятой шинелью и заспанным небритым лицом, Глеб кажется франтом.

— Ну, господин ротный,— говорит Глеб,— где у вас тут самый опасный враг? Сшибем, что ли, пулеметишку?

— Ты вот что, Глеб, нащупай-ка их бомбомет, это да. По целым ночам галок посылает. Нужно этого черта сбить.

— Давай попробуем — где он?

— А вот смотри прямо через проволоку, за ней бугорок, потом ход сообщения к колодцу, и тут он должен быть.

Глеб начинает искать биноклем, находит какую-то точку, вымеряет по карте и дает резкую команду:

— Бат-тарея к бою, по цели десять!

И сейчас же дежурный телефонист в трубку:

— Батарея к бою — по цели номер десять.

В лощине на стоптанном овсе закружилось вихрем:

— Номера к орудиям, батарею к бою, по цели номер десять.

Через орудийных фейерверкеров катится нарастающей волной:

— К бою — по цели номер десять!

Оркестром слаженных движений вскипает жизнь на батарее, номера с привычной быстротой окружают орудия и зарядные ящики, а через головы их с удалью несется:

— Осемь-ноль, трубка осемь-ноль!

— Осемь-ноль, трубка, осемь-ноль!

— Осемь-ноль, трубка, осемь-ноль!

Когда крайнее шестое орудие принимает восемь-ноль, новая волна догоняет из телефона:

— Правее ноль-ноль пять!

— Правее ноль-ноль пять!

— Правее ноль-ноль пять!

И катится по воздуху, пока от шестого орудия смешливым заливчатым тенором не ударит навстречу:

— Па-а своим опя-ять!

Общий хохот покрывает звонкую шутку, а по дрожащим волнам смеха несется легкое, как ветер:

— О-гонь!

— О-гонь!

— О-гонь!

Шесть ударов стальными прутьями бьют воздух, раскалывая тишину летнего дня.

После тридцати-сорока выстрелов:

— Сто-ой, отбой!

— Сто-ой, отбой!

— Сто-ой, отбой!

И опять заливчатым тенором:

— За-куривай! Ваньку Хренова забрили, вся деревня затужила. Поддерживай, ребята!

Стелется по земле запах серы. Теплый ветер ласкает зреющую рожь.

Телефонисты сообщают, что с правого наблюдательного Глеб ушел в управление дивизиона. Через полчаса со стороны окопов доносятся три тяжелых удара, как чугунным паром по железу.

— Та-а, та-та, та-а, та-та. Правый наблюдательный? Правый!

— Слушает правый.

— Кто стреляет?

— Австрийский бомбомет по пятой роте.

— А его не сбили?

— Дождидайся,— сначала его найди, а потом попробуй. Поработали свинье под хвост...

Номера пользуются случаем отдохнуть и заняться своими делами. Жарко светит солнце. Алпатов, лежа на траве, черными негнущимися пальцами пишет адрес на письме. Карабаш в группе номеров третьего орудия читает вслух «Юрия Милославского». Подпрапорщик Плешаков умывается из кружки остатками чая,— босиком, в подтяжках, высокий и лохматый, он с наслаждением размазывает пыль на своем лице.

Харченко совсем уже собрался постирать свои портянки, он и сапоги снял, но посмотрел на небо и раздумал. И словно угадав его заботу, дежурный телефонист зазвенел веселым голосом:

— С наблюдательного велели передать: вылетел немецкий аэроплан. Чтобы замаскировать батарею!

Харченко сердито вскочил с места:

— Так и знал, что будет,— постираться не даст, чертяка!

— Это затем, Петр Иванович,— сказал Алпатов, заклеивая письмо,— что мы стрелять начали. Теперь летит батарею искать.

— Да не каркай ты, а то, пожалуй, накличешь,— проворчал Харченко, тревожно посматривая на небо.

Плешаков остался на батарее за старшего. Он неторопливо вытирается серым полотенцем и вдруг командует густым басом:

— Убирай веща-а! Будет груши-то околачивать, сейчас кум прилетит, да с полбутылкой.

Номера быстро собирают ведра, котелки и медные баки, закрывают орудия ветками и соломой, а на лотки со снарядами бросают траву. Батарея замаскирована.

Шум пропеллера доносится за несколько верст, нарастая в гудящей волне. В прозрачном воздухе появляется аэроплан и быстро несется по прямой линии на нас, как недобрая хищная птица.

— Номерам укрыться, все по землянкам!

Аэроплан пролетает над батареей, вот он уже за нашим резервом. Бухают выстрелы трехдюймовок. Белые дымки кружатся в высоте, расплываясь в молочные пятна, тают на глазах, вновь рождаются и резвятся, как живые мячики.

За Лобачевкой аэроплан сделал широкий поворот и полетел к нам.

Наводчик четвертого орудия первый почувал недоброе.

— Чегой-то он кружится, либо заметил?

— Эх, зенитной батареи нет, так бы и сшибить его отсюда!— грустно замечает Харченко.

Пролетая над батареей, аэроплан неожиданно выпустил бледно-окрашенную ракету. Алпатов крикнул из своей землянки:

— Держись, братишки, теперь вдоль спины наложит...

В тот же момент четыре далеких глухих удара напомнили нам о существовании тяжелых батарей. Послышался нарастающий стальной рев, и четыре гранаты взорвали землю в ста саженях от батареи. В одно мгновение стало понятным, что последует дальше... Голос Ильи Васильевича, который успел вернуться, холодной тревогой ударил в сердце:

— Не выходить из блиндажей, противник бьет по батарее!

Аэроплан выпустил вторую ракету, и земля задрожала от оглушительного взрыва близкого недолета.

Третья очередь ударила в самую точку. Аэроплан закружился над батареей, как жестокая, умная птица, которая получила над нами полную власть. Вот еще: глухие удары издалека, потом настигающий рев все ближе — и страшный взрыв сокрушает землю. Блиндажи упирались крепкими спинами, но не выдерживали,— тяжелые бревна теряли

свой вес и начинали дрожать, как дощатая перегородка. Наверху бушевало стальной вьюгой. Время остановилось, и гнетущая тоска сжимала сердце.

Чугунные молотки тяжелыми ударами били землю. Одно случайное попадание — и блиндаж взлетит на воздух, как спичечная коробка...

Илья Васильевич успел сообщить по телефону Глебу, что батарея находится под обстрелом тяжелых орудий. Последовало приказание вывести людей из огня.

— Всем повзводно перебежками, на Лобачевку бегом марш,— скомандовал Илья Васильевич.

Номера быстро выбегали из укрытий, в короткие паузы между очередями разрывов, рассыпаясь в торопливом беге. Догоняли с визгом осколки, впиваясь горячим укусом в землю. Замертво упал, пораженный, как молнией, безответный Еремин, и тяжело ранило в ноги номера первого орудия со странной фамилией Бреус. Он совсем недавно пришел с пополнением и был одним из самых скромных безответных солдат. Оба остались на месте.

У Лобачевки номера остановились в безопасности. Снаряды и осколки сюда не долетали. Можно было перевести дух. Аэроплан продолжал кружиться над батареей. Гранаты рвались, раскидывая землю высокими черными фонтанами. Вот снаряд ударил прямо под орудие, оно закачалось, странно перевернулось в воздухе и медленно перекинулось на несколько аршин, как неуклюжая большая галка. Вот брызнуло мощным фонтаном, и бревна полетели, как щепки, в разные стороны, а колесо орудия, словно игрушечное, прыгнуло вверх и легко перекинулось в черную пасть воронки. Зарядный ящик вспыхнул бледными огнями и взметнул высокий столб дыма.

Расстрел продолжался два часа. Аэроплан улетел, и выстрелы прекратились. Снова сияло солнце в душистых полях, как будто ничего не было. Наша позиция была уничтожена, а земля исковеркана черной оспой воронок. Непроницаемо-крепкие блиндажи пятого и шестого орудий были раздавлены, как мышинные норы. У всех орудий разбиты колеса, замки и панорамы, а остальные щиты измяты, как бумага. Один зарядный ящик оставил после себя бесфор-

менную массу земли и осколков, а блиндаж первого орудия разбросал свой накат из бревен далеко вокруг. Четвертое орудие опрокинулось на траве без колес и прицела, как сломанный табурет.

Толмачев, личный повар Глеба, не успел или побоялся выйти из землянки в начале обстрела; каким-то чудом он остался невредим в своей полуразрушенной землянке-кухне и, к общему удовольствию, испачканный землею с головы до ног, отчаянно матерился, сверкая белыми зубами.

К вечеру Глеб получил приказание очистить позицию и отойти для пополнения в тыл.

* * *

Батарея остановилась биваком на опушке леса. Три орудия пришли в полную негодность, вместо них выписали новые, а остальные мы ремонтируем своими средствами.

Мы чувствуем себя в тылу, в безопасности от аэропланов и тяжелых батарей. По лесу раскинулись палатки, на кострах весело бурлит кипяток. Отдыхающие лошади сочно хрустят овсом.

Из офицерской землянки слышен звон чайной посуды, хлопают пробки и доносится вкусный запах жареного шашлыка. Денщики хлопочут у самовара, раздувая его голенищем, и суетятся у буфетной повозки — Глеб ожидает гостей.

Несколько дней назад «Солдатский вестник» сообщил, что мы переходим на тридцать верст правее на смену Финляндской дивизии. Сегодня утром это подтвердилось в точности от фельдфебеля, который приказал, чтобы все были готовы к ночному переходу. В спокойном небе повисла колбаса недремлющим оком, гудели через лес аэропланы, и двигаться вдоль фронта днем было невозможно. Поход был назначен с вечера на всю ночь.

Квартирьеры для приема новой позиции выехали рано утром. Днем приехали передки с новыми орудиями, и батарея снова пополнилась до шестиорудийного состава.

Еще засветло кухня раздала ужин и кипяток; начались последние приготовления. Обоз укладывал повозки с продуктами и канцелярией, ездовые просматривали амуни-

цию, быстро снимались палатки. Номера привязывали к передкам и на лафеты мешки, ранцы и «шанцевый инструмент» — топоры, пилы и лопаты, орудия теряли свой стройный вид, похожие на низких двугорбых верблюдов. Телефонисты нагрузили доверху свою повозку неуклюжим скарбом котелков, свернутых палаток и сумок. В батарее постепенно сложился неписанный устав, разрешающий солдатам в походе разгружать себя от ранцев и вещевых мешков, нагружая ими повозки, передки, орудия и зарядные ящики.

Андрей Акимыч неумоимо следит за сбором, наблюдает, указывает, подгоняет и делает замечания, но на погрузку солдатских вещей и он смотрит снисходительно. Перед обедом он выпил с денщиками стакан денатурированного спирта и настроен очень весело.

— Веселей, веселей, ребята — сейчас к теще в гости поедem!

— Андрей Акимыч, а нас обратно не встренут там вот так же?

— Че-го?? Раньше-то? — беспечно-хвастливо отвечает он солдатской поговоркой.

— За миром, что ли, поедem-то, Андрей Акимыч?

— Его и без нас на волах допрут.

Все готово. Пройдя несколько раз по батарее, осмотрев орудия и повозки зоркими глазами, Андрей Акимыч, с почтительным выражением на лице, поддерживая шашку, идет в палатку Глеба с докладом:

— Так что все погрузили, ваше высокородие.

Через полчаса слышится его сигнальный голос:

— А-му-ни-чи-вай!

И сейчас же подхватывают в лесу разноголосым эхом:

— Аму-ни-чи-вай!

— Аму-ни-чи-вай!

— Аму-ни-чивай!

Начинается веселая суeta. Со всех сторон взрывается грубо-ласковый прощальный мат. Лошади амуничиваются с незаметной быстротой и верными рядами стоят у орудий, в зарядных ящиках и в повозках. Батарея готова выступить.

С бугра видно, как по дороге в ложину медленно сползает четвертая батарея, растягиваясь живой лентой по изгибам неровного пути, а вороные лошади осторожно переходят через ручей.

Канатоп, пересыпая речь словечками, хочет посмеяться над Фетисовым:

— Ты, валетина, пехотная душа, трах-тара-рах, скажи, почему в шестой батарее, трах, все лошади вороные, тара-рах?

— Где ж вороные — вон и белые мелькают, вон и гнедая под кухней.

— Мало что, — это в войну побило, а должны быть все вороные.

— А шут их знает.

— Если скажешь, пехотная душа, тогда... оба рукава тебе от жилетки пожертвую и получишь ты чин туза червей. Ну, шевели мозгами!

Валет думает, как бы выйти из затруднительного положения, но ничего не может придумать. Тогда насмешливый Белоусов, давнишний артиллерист, выручает его:

— Потому что в каждой бригаде первая батарея вороные лошади, вторая — гнедые, третья — рыжие; и во втором дивизионе так же — четвертая — вороные, пятая — гнедые, шестая рыжие. И по масти ты должен узнавать, пехотный котелок!

В лесу раздается команда:

— Разведчики к командиру!

Десять конных разведчиков с навьюченными седлами широкой рысью проходят между деревьев к тому месту, где стояла палатка Глеба.

— Деревянная кавалерия, — кричит Канатоп, — в атаку, что ли, пошли?

Глеб и Сорокин, в сопровождении разведчиков, шагом выезжают из кустов. Глеб останавливается около первого орудия и с удовольствием смотрит на шестерку лошадей. После сытного завтрака ему хочется шутить:

— Москалев, а ты все толстеешь, — говорит он старшему телефонисту.

— Так точно, ваше высокородие.

— А говорят,— война! Да нам воевать-то на пользу: небось дома на пустых щах далеко не уедешь.

— Никак нет, ваше высокородие, домой бы пора,— уж повоевали.

— Э-э, болтай, сорока Якова, а смотри, рожи-то у всех. Глеб бросает команду:

— По коням, ездовые са-дись. Шагом ма-арш!

Глеб с разведчиками выезжает вперед, за ним двигаются телефонисты со своими двуколками и вытягивается в походную колонну боевая часть — пушки и зарядные ящики в шестиконных запряжках, а дальше идут обозные повозки, кухня, канцелярия, возы сена и стадо коров. Батарея растягивается далеко вперед, и, когда первые орудия проходят деревья в поле, окутанное вечерним туманом, последние только выезжают из леса.

Номера и телефонисты начинают песню, которую можно петь при офицерах:

Близ Вислы — австрийской границы —
В ущельях Карпатской горы,
Там льются кровавы потоки
С утра до вечерней зари.

Незаметно спускалась ночь бесшумным покрывалом. Батарея вышла на ровную дорогу и пошла широким шагом.

Слышен храп лошадей в темноте и мерное погромыхи-вание колес на редких ухабах. Колонна движется ровным потоком, прорезая густой чернильный мрак. Временами перекачивается по цепи:

— Под ноги — я-ма!

— Под ноги — я-ма!

И заглухает далеко в конце:

— Под ноги — я-ма!

Вновь покатилося спереди, подхватываясь разными голосами:

— Повод вправо.

— Повод вправо.

Ездовые мерно покачиваются в седлах, как темные живые гравюры. Номера шагают группами вдоль дороги, свертывая на ходу цыгарки и мелькая точками огней.

По «беспроволочному телеграфу» сообщается на ходу, что позиция наша будет не там, где думали, а на десять верст правее, у большого леса; что все части Финляндской дивизии пойдут на отдых.

Денщик прапорщика Вязьмитинова обогнал колонну из обоза и присоединился к номерам пятого орудия, чтобы закурить. Он мрачно возмущается.

— Что бы нам-то на отдых! Ей-богу! Хоть бы один раз за всю войну. Людей и сменяют, посмотришь, а тут...

— Людям везет, братишка, вот и отдых.

Харченко подъезжает к номерам и, наклоняясь с седла за табаком, говорит:

— Если бы в лесу позиция была, вот бы хорошо: там хоть от этих домовых-то отдохнули, а то ни встать, ни сесть — кругом шестнадцать.

Недовольный голос из темноты:

— Подкуют и там!

— Он везде найдет.

— Орудия-то, как щепка, летела... А там думаешь, что?

— Да в лесу-то все лучшей.

— Э-э, хуть в лесу, хуть в поле,— все одно: так и так пропадать...

— Скоро зима, а как белые мухи полетят, так скажи: опять на целый год до победного конца закручивай.

— Гаврила крутит!

— Ездовые, чего носы-то повесили? Дай-ка прикурить, Ваня, да слезай, пройдишь на одиннадцатом номере, а я сяду.

По колонне весело несется:

— Стой!

— Стой!

— Ездовые, слезай.

Привал на пять минут. Придорожная трава дрожит в холодной росе. Надо развязать из передка шинель в длинный ночной путь.

Через поля, по лесным дорогам, мимо сожженных черных деревень двигается батарея вдоль фронта. Разноцветными огнями вспыхивают на линии окопов сторожевые ракеты. Немецкие поднимаются высоко в небо и медленно

затухают, сгорая пышными цветами огня. Бледно и грустно сгорают ответные ракеты нашей пехоты. Прожектор разрезает ночную тьму электрическим глазом и медленно щупает пространство снопами белых лучей. Слышатся одинокие выстрелы и железное стрекотанье пулемета.

На последних часах крепким холодом закалялась ночь и не грела влажная шинель. Приближался рассвет, а нужно было к утру стать на место.

— Шире ша-аг,— катится по колонне.

— Шире ша-аг!

— Шире шаг!

Обоз первого разряда с 12 зарядными ящиками — то, что называется резервом,— стал на свое место, на берегу заросшей камышами реки, под тенью пышных деревьев. Боевая часть — шесть орудий и шесть зарядных ящиков с телефонными двуколками — продолжает путь.

— Шире ша-аг. Ящики, подтянись.

— Пешие на передки и ящики садись, рысью марш!

Пыль холодной тушью покрывает лица, бледные от бессонной ночи. Лошади чуют отдых. Вон сторожка на краю леса, а там на бугре место нашей позиции — здесь мы сменим финляндскую батарею.

— Сто-ой: ездовые, слезай. Орудийные фейерверкеры к командиру!

Сейчас будем ставить орудия. В замусоленных записных книжках фейерверкеры отмечают цели с цифрами угломера, уровня и прицела:

— Принимают позицию.

Телефонисты разгрузили тяжелую двуколку и приготовили катушки проводов.

— Ну, закуривай по последней: к теще в гости приехали.

Перекликаясь усталыми злыми голосами, ежеминутно вспоминая мать, телефонисты рассыпаются по бугру.

Батарея занимала новую позицию.

8. В ЛЕСУ

Нужно во что бы то ни стало скрыть батарею от недобрых глаз аэропланов и колбасы, поглубже уйти в землю, окраситься цветом травы и кустов, но только не обнаружить себя. Иначе последует жестокая расправа, как под Лобачевкой. Применяясь к местности, мы маскируем батарею снопами скошенной ржи — каждое орудие покрывается копной в правильных крестцах.

Но позицию могут открыть по огню выстрелов, а потому:

— Ни в коем случае не стрелять на виду колбасы и аэропланов!

— Немедленно после выстрелов возобновлять маскировку.

— Все вещи держать в блиндажах.

На второй же день приезда колбаса поднялась за лесом и повисла в голубом небе, слабо качаясь на воздушной волне. Аэропланы закружились с утра по фронту и тылу; за полверсты от нас был расстрелян и опрокинут взвод четвертой батареи, сделавший несколько выстрелов и не заметивший, что за ним наблюдает глаз высоко летевшего аэроплана. Удары тяжелых гранат долго молотили по несчастному взводу.

Открывать огонь мы могли только ночью или в ненастные дни, когда не было самолетов и всевидящей колбасы. В остальное время мы были прикованы к земле, бессильные помочь своей пехоте. Противник посылал нам снаряды в любом количестве в любое время дня, а мы не могли отвечать на выстрелы, связанные угрозой воздушного наблюдения. Дальнобойные орудия свободно обстреливали наш тыл в глубину до обозов первого разряда. Вся полоса фронта на 10—12 верст от окопов находилась в полном распоряжении немецкой артиллерии, видела этот тыл, как на ладони.

В нашей дивизии было шесть легких батарей, один мортирный дивизион и одна 42-линейная полубатарея. Не было ни одной тяжелой пушки и ни одной гаубицы. Против этих скромных сил действовала мощная артиллерия

противника. Каждый участок нашего фронта находился под обстрелом дальнобойных тяжелых батарей. На каждое из наших легких орудий по ту сторону окопов стояла гаубица или тяжелая пушка, а легкая и мортирная артиллерия имела против нас перевес в два-три раза. Неравенство усиливалось по количеству снарядов, когда на один выстрел отвечали десятки орудий.

Что могла сделать наша трехдюймовая артиллерия против тяжелых батарей? Петух против коршуна. Наши наблюдательные пункты открывали горизонт только для близких видимых целей в пехоте, а тыл противника был непроницаемо закрыт. Но если бы даже мы получили неожиданный перевес в воздухе, если бы наши летчики точно выяснили позиции немецких батарей, мы остались бы такими же бессильными по другой причине: мало видеть цель, — надо ее достать. Предельный выстрел трехдюймовки и мортиры хватал только на семь верст, а за этой дистанцией противник чувствовал себя в полной безопасности. С одной высоты, где расположился главный наблюдательный пункт, нам был отчетливо виден в ясную погоду взвод немецких гаубиц, который стоял на ровном и открытом месте; взвод спокойно, как на полигоне, обстреливал наш тыл, прекрасно зная, что русская трехдюймовка не сможет добросить до него ни одного снаряда.

Противник владел воздухом и землей. Нам оставалась роль зрителей.

Пехотный солдат в окопах видел, что его артиллерия была бессильна ему помочь. Что может сделать против коршуна несчастный заяц, спрятавший в траве свои уши? Обнаженная пехота в неравной борьбе под выстрелами шестидюймовых гранат могла рассчитывать только на себя. А противник свободно наблюдал за окопами и резервом, видел все лощины и перелески, как муравьиную кучу, и ежедневно ковырял ее железной лопатой.

Наши аэропланы совершенно исчезли, сдав без боя воздух. И когда телефонисты сказали, что завтра утром полетит русский аэроплан, это было целым событием. Мы уже начинали думать, что у нас летчиков нет и летать они не умеют. Певучий храп пропеллера доносился издали при-

ятной музыкой. Но не успел аэроплан долететь до линии окопов, как его окружили разрывы настоящих зенитных батарей. Значит, несмотря ни на что, противник готов ко всем видам борьбы. Белые дымки густо покрывали небо. Аэроплан круто повернул и быстрым рейсом пошел назад.

- Полетал и довольно.
- Хорошенького понемножку.
- Этот сыт.
- В тыл на разведку ударился.
- Понес за миром в Сибирь.
- За теми волами, такого в глаза.
- Сила солому ломит.
- Кончать войну к чертям!

Через несколько минут высоко в воздухе гудел стальными частями немецкий истребитель и быстро пролетел в тыл за нашим аэропланом. А за ним показалось еще три — они плыли, как свободные смелые птицы, не обращая внимания на разрывы шрапнели. Стало понятным, почему наш летчик так быстро повернул назад: он не мог вступить в неравный бой и должен был спастись бегством. Да и что мог сделать он на своем слабом аппарате один против четырех?

Армия, плохо вооруженная, без тяжелой артиллерии, с ничтожным запасом снарядов, без автомобилей и самолетов, стояла перед лицом противника, вооруженного в совершенстве. Каждый солдат чувствовал это превосходство. Там все было лучше, чем здесь: и колючая проволока, и ручные гранаты, и винтовки, и маски, и бинокли, и зрительные трубы, и амуниция — на лошадях, и удобные солдатские сумки, и седла, и уздечки, и подошвы ботинок. Перевес всех видов огня был на их стороне, а у нас оставалось чувство глухого бессилия, горькой обиды и полного разочарования.

Надежды на успех быть не могло, и солдат потерял веру. Создавалась твердая уверенность, что победить нельзя, для этого нет средств и не хватает сил. И война продолжалась в потоках нарастающего гнева.

* * *

По скошенным полям шла невеселая осень. Надо было подумать о перемене маскировки, тем более что командир полка стал требовать открытия огня днем. Глеб отказывал, и начинались разговоры:

— На кой же черт вы здесь стоите!

Чтобы выйти из паралича, было решено передвинуться на другое место и поставить батарею в лесу, ближе к пехотным окопам. Здесь высокие деревья закрывали нас сверху и можно было стрелять через лес, не особенно стесняясь аэропланов.

Для отвода глаз мы оставили на старой позиции деревянные орудия и зарядные ящики, которые противник должен был принять за батарею. Декорация имела полное сходство, словно это были настоящие пушки, но они спокойно простояли до зимы и ни один выстрел не потревожил мертвую позицию. С той стороны наблюдали зоркие глаза...

Противник знал, что наша артиллерия расположилась в лесу, и каждый день клевал его тяжелыми снарядами. Лес был усеян большими воронками.

Позицию пришлось оборудовать заново, но делать блиндажи с накатами деревьев номерам не хотелось:

— Может, перегонят через неделю в другое место, а мы будем для людей спину гнуть.

Каждое орудие сделало глубокий ровик для укрытия от артиллерийского огня, а для ночлега и от дождя вырыли легкие землянки. Зима была еще далеко, стояли теплые дни, но к вечеру воздух застывал на всю холодную ночь.

Не снимая сапог, мы тесно ложимся в землянках, прижимаясь друг к другу. Под шинелью яростно наступают «внутренние» враги.

Батарею сторожат дневальные. Им холодно и скучно, и нельзя развести огня, чтобы не обнаружить позицию. Вспыхивают над окопами ракеты, стучат одинокие выстрелы. Холодная тоска сжимает сердце.

Рассвет ожидается, как весна. Серым цветом растворяется ночной мрак. Скоро взойдет солнце. Дневальные

спешат развести долгожданный костер. Огонь весело охватывает сучья, осыпаясь горячей золой.

Из землянок выбегают поодиночке в измятых шинелях и рысью к костру.

— Рано поднялись, господа солдаты!

— Еще кофий не готов, а они к огню.

— Ну и холодно...

— В землянке, как в могиле: ни черта не греет.

— Нужно блиндажи зимние делать, вот что.

— Поди сделай,— враз на другую позицию и перегонят.

— На людей не наработаешься.

— До зимы-то далеко, глядь, и на отдых подадимся.

— К свиньям пропадешь в этих землянках. Ворочаешься-ворочаешься, а ноги застывают. Разве так уснешь?

— Дневалить и то веселей.

— Алпатов здоров спать, что твой мерин. Ему тепло.

— Нет, ребята,— говорит Харченко, зябко пожимаясь у костра,— нужно землянки настоящие делать. Время.

Огонь притягивает всех магнитом. Солдаты греют застывшие ноги. Костер разгорается. Из землянки пятого орудия выбегают двое и несутся к веселому огню.

— Что танцуете-то, ребята, ай на свадьбе?

— Скоро запляшут.

— Должно быть, цикорием поддает, а?

Незаметно наполнялся лес теплотой солнечного дня. Веселый костер горит до вечера.

* * *

В эту ночь стояла полная тишина. Только ракеты взрывались над окопами с шипением, как огненные змеи.

И вдруг блеснула молния совсем близко. Очередь тяжелой батареи разорвалась над лесом, и глухим вихрем забурлила ночь. От второго удара задрожала земля и погас фонарь в нашей точке отметки. Вспыхнули огни новых ракет, затрещали нарастающим хором винтовки, и торопливо, захлебываясь железным стуком, залаяли разноголосые пулеметы. Бурной волной ударила ночная тревога.

По всей линии загудели телефонные аппараты точками-тире:

— Та-та-та-а, та-та-та-а! Наблюдательный, правый наблюдательный, слушаешь?

— Командира роты к телефону.

— Штаб полка...

— Управление дивизиона вызывает батарею...

— Наблюдательный, где вы там?

— Слушает наблюдательный.

— Узнай, кто стреляет. Что там такое? Правый наблюдательный?

— Черт его поймет. Никак толку не добьешься!

— Бат-тарейка слушает. Противник наступает на нашем участке. Скажи, что командир батальона просит сейчас же открыть заградительный огонь!

Глеб выскочил из землянки при первых выстрелах и с прапорщиком Вязьмитиновым ушел на наблюдательный пункт. Илья Васильевич в походной амуниции, с шашкой и биноклем, сдерживая волнение, неожиданно появился у орудий.

— Бат-тарейка к бою,— весело скомандовал он.— Номера к орудиям. Наводчики, держи точку отметки.

Он прошел широкими шагами вдоль орудий, с напускным весельем обращаясь к номерам:

— Что, ребята, погреемся! Вот и теплей будет.

— Не к добру это ночью бой зачался, хуже нет,— сказал Висков с нотками скрытой тревоги.

— А ты думаешь, как же? На войне каждую ночь жди гостей, а дождался — бутылки откупоривай.

Лес дрожал от разрывов, наполняясь крепким запахом пороха. Бой разгорался буйным пожаром. Выстрелы орудий отдавались тяжелыми ударами и гулко разносились, как чугунные шары по железу.

Глеб с наблюдательного пункта приказал немедленно открыть огонь по цели номер два.

Илья Васильевич прозвенел стальным голосом:

— Батарея к, бою. Семь-пять, трубка семь-пять. Два патрона.

— Беглый огонь.

Шесть оглушительных ударов мощной волной ударили в музыку огня, осветив на мгновенье лес желтым пламенем,

и покатились в ночь, как уходящий поезд. Пустые гильзы полетели в траву.

И снова:

— Два патрона.

Пауза.

— Беглый огонь.

Вначале еще можно было узнать привычным ухом, что открыла огонь четвертая батарея, а к ней присоединилась пятая; как ударила глухим выстрелом и покатила медным раскатом мортира, а далеко вправо бухнула наша тяжелая батарея; как совсем близко на лесной дороге, где стояли наши передки, разорвалась в подземном ударе очередь тяжелых гранат. Потом выстрелы наших орудий бичующими ударами заколотили по ушам, и все смешалось в вихре огня.

Илья Васильевич продолжал охрипшим голосом:

— Два патрона!

— Беглый огонь!

— Два патрона! Беглый огонь!

Нельзя было понять и никто не знал, как вспыхнул этот бой, пошел ли противник в наступление и где он наступает. Но пулеметы заливались впереди с таким отчаянием, что, казалось, с минуты на минуту где-то близко начнется штыковая атака.

Телефонисты передали с наблюдательного пункта:

— Противник стреляет химическими снарядами. Батарея готовится.

Не прерывая огня, Илья Васильевич распорядился:

— Пятое и шестое орудие — отбой, приготовить маски. Амуничивай передки. Первый и второй взвод — огонь.

Бой продолжался всю ночь с нарастающей тревогой и незаметно утих к рассвету. Казалось, что вспышки огня, раскаты выстрелов и сметающие взрывы не были в управлении человека, что налетевшая выюга кружилась над лесом и бушевала в пламенном вихре. Сначала успокоились пулеметы, потом стали слабеть выстрелы орудий, словно стихающий оркестр, и наблюдательный пункт сообщил радостную команду:

— Стой — отбой. Оправиться!

Стрельба затихала уходящей волной. Лениво бухает справа, ударит усталая очередь впереди. Пауза. Одинокий выстрел и снова тишина.

Глеб по телефону приказал денщикам ставить самовар. Бой кончился. Спать не хотелось.

— И, телефонисты, да что там вышло-то? Узнали бы в пехоте.

— Ничего не поймешь: из батальона передают в штаб полка, что отбили наступление — вот и вся.

— Да где наступление-то было и по какому случаю?

— А домовой их знает.

На батарее потерь никаких не было, несмотря на то, что деревья вокруг были исцарапаны шрапнелью и осколками. Наблюдательные пункты были разворочены гранатами и засыпаны землей, но никто не пострадал.

Номера с облегчением отдыхали у костра:

— Ну и жара: так и думал: всех разнесет в доску.

— Ночью трудно: главная вещь, ему с аэроплана нельзя наблюдать, а то бы...

— Это скажи спасибо,— лес. А то с колбасы и ночью увидит, а тогда и получай, как под Лобачевкой...

— А как из грязных крыл! Снарядов не жалеет, как гнилую картошку — и откуда что берется?

— Это он дураков учит: смотри, сколько у меня всего! Будешь дальше воевать, до смерти забью всех в доску. У него, брат, есть из чего, а ты постой здесь со своей хлопшкой.

— Силен!

Вспомнился волнующий напев любимой солдатской песни:

Ревела буря, дождь шумел,
Во мраке молнии блистали,
Бесперерывно гром гремел,
И вихри в дебрях бушевали.

Светило солнце. Усталый лес отдыхал.

9. БЕЗ ПЕРЕМЕН

Надвинулась осень. Полил мелкий дождь.

Батарея оставалась на той же позиции, растянувшись на много верст. Четыре орудия стояли в лесу на прежнем месте, два орудия выдвинулись вперед ко второй линии окопов — это был «кинжальный взвод» на случай внезапной атаки. Передки расположились на опушке леса за полверсты от батареи, а в трех верстах позади в дубовой роще дымил кухней наш резерв, разместив под деревьями повозки, зарядные ящики, фураж и лошадей. Обоз второго разряда стоял в деревне за пятнадцать верст.

Из орудийных номеров я переведен в телефонисты. Эта многочисленная веселая команда разместилась в резерве, откуда каждый день выделяются дежурные телефонисты на три наблюдательных пункта, на батарею и в передки.

Старший телефонист Москалев давно окончил учебную команду, давно прошел специальные курсы и дело телефонной связи изучил в совершенстве. Он сам исправляет аппараты, проводит линию телефона и отвечает за все. Глеб постоянно дает ему самые разнообразные задания:

— Москалев, соединишь с шестой батареей.

— Москалев, наблюдательный пункт к утру связать с батальонами. Понял?

— Так точно, ваше высокородие, слушаю.

Москалев выбирает свободных телефонистов, готовится, как рыбачью снасть, катушки с кабелем, по карте и на глаз прикидывает расстояние, запасает колья, и всей компанией, с неразлучными противогазами, с тяжелыми катушками, топорами и ящиками телефонов, выходят из землянки на тяжелую работу. С тоном легкой усмешки Москалев начинает:

По привычке кони знают,
Где сударушка живет...

И подхваченная веселыми голосами раздается уходящая:

Снег копытами взрывают.
Ямщик песенки поет.

Им предстоит всю ночь ползать под мелким дождем, устанавливать скользкие колья, блуждать в лесу, спотыкаясь о пни, и проваливаться в мокрые грязные воронки. На рассвете вся компания вернется в резерв, в желанный уют своей землянки, промокшие до нитки, зашпаклеванные грязью и глиной. Располагаясь на нарах спать, Москалев будет весело материться, посылая в преисподнюю войну, Глеба, батарею и осенний дождь.

Телефонный провод прочно соединял батарею живой связью от наблюдательных пунктов до обоза. Круглые сутки лежат телефонисты у аппаратов — в передках, в резерве, на позиции и наблюдательных пунктах — и условными гудками перекликаются между собою. С утра гудят в резерв точками-тире:

— Та-та, та-та.

— Резерв слушает.

— Поверочка, дорогой, Ваня, как там кипятилок?

— Затопили куб, — теперь скоро.

— Как поедут, скажи.

В семь утра куб готов и кипятилок раздается в резерве.

— Та-та-та, та-та. Батарея. Мухомов, скажи ребятам — кипятильник сейчас придет.

Через передки на позицию приезжает куб. Дежурные с наблюдательных пунктов ждут с котелками. Появление кипятильников вносит радостное оживление в отраву скучных часов.

И потом весь день:

— Резерв слушает? Та-та, та-та. Что там кухня-то, провалилась, что ли?

— Скажи там, Костя — время обед раздавать, животы подвело...

— Ваня, сколько время-то, посмотри?

— Скоро, что ль, на наблюдательный пойдет? Собираются? Ну, ладно, а то все ноги застыли.

— Мортирная-то скоро дойдет? Гони ее, Костя, скорее — номера жрать хотят.

А приглушенный злой голос бросит по линии:

— Да узнай там, в резерве-то, война когда кончится? Скажи — домой хочу-у... А ждать, скажи, надоело.

* * *

С приближением зимы угасала надежда на магически-прекрасный, выстраданный, желанный и невероятный
— Мир...

Каждый солдат чувствовал, что вместо мира его готовят к новым боям, чтобы продолжать войну до невозможного и ненавистного

— До победного конца!

Начиналось затишье. Противники остановились на выбранных позициях, укрепляясь по бесконечной линии окопов. За наружным бездействием фронт кипел в напряженной скрытой работе. Пехота по сменам трудилась в передовой линии — рыли глубокие, непроницаемые для артиллерии, подземные убежища «лисьи норы», намечались пулеметные гнезда, узкие окопы заменялись просторными, выравнивался бруствер, проводились новые ходы сообщения, а колючая проволока каждую ночь разматывала на кольях свою железную паутину. Нужно было делать бойницы, козырьки от шрапнели, теплые землянки, блиндажи, окопы для дозоров и секретов.

Было приказано приготовить в тылу, параллельно первой линии, второй и третий ряд окопов с готовыми землянками, проволочными заграждениями и пулеметными гнездами; предлагалось заранее выбрать на этих запасных позициях наблюдательные пункты, чтобы, в случае отступления, действовать по плану.

Все земляные работы по оборудованию и переустройству окопов выполнялись несчастной пехотой по ночам с напряжением последних сил. Артиллерия должна была помогать подвозкой на место срубленных деревьев для блиндажей и «лисьих нор». Неохотно шли на эту работу наши ездовые из резерва, — они назначались по очереди через каждую ночь, отчаянно возмущались и матерились, всеми способами стараясь ускользнуть от назначения.

Деревья волоком тащили на лошадях в передовые окопы. Работа была тяжелой и опасной, так как производилась в полосе ружейного и минометного огня. Лошади дрожали от неожиданных выстрелов и близкого полета пуль. Ездовые возвращались в резерв мрачной озлобленной группой,

а конные разведчики, свободные на верховых лошадях от этих нарядов, встречали их у водопоя:

— Что носы-то повесили, мышиная кавалерия?

— Тут повесишь, как всю ночь поворочаешь у тех окопов.

— Какого дьявола нас возить заставляют: права такого нет, чтобы артиллерия бревна таскала в пехоту.

— Пусть сами ворочают.

— Эй, старший, пошел к командиру — скажи: ездовые не желают и вся!

— Ишь ты, какой субчик явился! Пойди сам да получи по морде, а потом под ранец становись. Дураков нашел — за него докладывать!

— Да ты видишь — все лошади обезножили? Кто мог приказать....

— У нас с тобой не спросили. Ста-но-ви лошадей...

В одну неудачную поездку ездовые сваливали деревья в окопах, торопясь поскорее выехать из неприятного места. Неожиданно взвилась и упала в нескольких саженях озаряющая светло-синяя ракета. Противник заметил лошадей. Несколько пулеметов дружно застучали из невидимых гнезд и разорвались в упор винтовки. Ездовые рассыпались в темноте на испуганных лошадях.

Утром Андрей Акимович докладывал Глебу:

— Павлова и Шугорева убило наповал. Так что запутались в построениях и остались на месте, а лошадей трех прикажете пристрелить? К лечению они непригодны, как перебило у них пулеметом самые ноги.

От неприятных работ в передовой линии освобождались только такие специалисты, как писаря, сапожники, портные, кашевары, телефонисты, разведчики и денщики. Номера, к их величайшему негодованию, назначались по очереди в рабочие команды. Каждую почти ночь партия в семь-восемь человек с лопатами, топорами и киркомотыгами отправлялась на наблюдательные пункты готовить новые или углублять и переделывать старые.

В сумерках ненастного дня, под хмурым дождем, неохотно собираются в дорогу. Харченко достает из голенища свою универсальную записную книжку, где у него ведется

сложный учет отпусков, очередей, номера целей и проч. Сделав какие-то значки на замусоленной странице, он говорит:

— Петров, ты за старшего — вали на правый наблюдательный.

— Что ты наладил меня все за старшего, да за старшего? Не желаю, ставь вот Вахненко,— ожесточенно бросая лопатку, кричит Петров.

— Не гавкай здря, не гавкай,— успокаивает Харченко,— пошел за старшего.

— Да мне нонче, если хочешь знать, и в наряд идти не очередь.

— Как не очередь?

— Так! Я сегодня ночь дежурил и сапоги у меня развалились. Смотри!

Начинается буйный спор, во время которого вспоминаются родители всех присутствующих. Но записная книжка одерживает верх, и Петров с номерами, послав прощальный привет Харченко, отправляется в путь, шлепая тяжелыми сапогами в жидком киселе.

Дождь льет через мелкое сито, нагоняя тоску.

— Вот чертову работу придумали: походи ночью-то!

— Хороший хозяин свинью во двор не выгонит.

— Навалились на номеров... Вот несчастная доля: из наряда в наряд и отдыха нет.

— Телефонистам на пункте сидеть — они пушай и роют.

— Придумал здорово! А линию кто исправлять будет? Они и так через ночь дежурят на своем деле.

— Ну ездовых!

— А они по всем ночам бревна подвозят.

— Им вон плащи брезентовые дают, а нам почему не выдали? Измокнешь весь, как тот кобель!

— Дожидайся.

— Тогда пусть Глеб сам роет: он выбирает пункты, он и рыть их должен.

— А ты не желаешь!

— Нет.

— Ну, за тебя Пушкин пойдет и за нас за всех.

— Довольно брехать-то.

Рабочая команда спускается в последнюю ложину. На бугре впереди стоят смутной тенью деревья, за которыми начинается открытое поле. Позиция здесь совсем близко, и неровные морщины ходов сообщения идут до самых окопов. Но шапкой-невидимкой закрывает ночь, и дорога пойдет прямо поверху, а направление — по телефонной линии.

— Бросай курить-то, э-э,— кричит Петров.

Ракеты шипят, как обрызганные водой угли, и чертят огненные линии в крутом полете. Сухо бьет, раскатываясь в тумане, винтовка. Пролетает низко, с жалобным гудом, как заблудившийся шмель, случайная пуля. Глухим ударом бухнул далеко слева, как толкачом по болоту, выстрел пушки, а впереди, мигая через мокрый туман, пополз тревожный прожектор.

Петров неожиданно споткнулся на какие-то колья и покатился в яму воронки.

— Стой, черти, да где вы есть-то?

— Лезь сюда, держись вот за лопату.

— Вот тьма-то — хоть глаз коли, не вижу.

— Что, Мишка, искупался?

— Давай лопату. Тут воды по колено, всего засосало.

— Окунайся глубже!

— Что они тут кольев набросали на самом ходу? Чтоб им...

Отвести усталую душу:

— Трах-тара-рах, в дождь, в войну, в дурака!

Медленно пошли дальше, перелезая через скользкие канавы окопов, натыкаясь на проволоку и незаметные в темноте воронки.

— Петров, а ты дорогу-то знаешь?

— До-рогу? Да какая тут к свиньям дорога, ночью-то!

— А то заведешь в собачий ящик...

— Тут дорога одна: прямо по проводу в наблюдательный.

— Стой, вот землянка чья-то. Видишь огонек?

— Кто здесь, земляки?

— Четвертой батарее наблюдательный, а вы куда? — спрашивает голос из темноты.

— Да это куда ж мы зашли? На цельных две версты крюку...

— Куда ж ты завел-то, дьявол?

— А черт тут поймет — смотри, проводов-то сколько напутано...

Номера уныло побрели по окутанным ночью полям, разыскивая свой наблюдательный пункт. Из-под земли, в запасной линии окопов, засветился, наконец, бледный огонек:

— Третья батарея здесь, что ли?

— Петров, да где вы пропали-то?

— А мы вас ищем.

Наблюдательный пункт помещался в низкой землянке; здесь, на мокрой соломе, под легкой крышей с тонким слоем земли, располагались два дежурных телефониста. Номера должны вырыть яму для настоящего основательного блиндажа.

— Ну, здорово, работнички,— приветствуют телефонисты.

— Здорово, молодцы непромокаемые, чтоб вас с вашим наблюдательным да на том свете козла в это место!

— Не шуми, старшой, а дай-ка закурить лучше, да садитесь, на чем стоите.

Номера скатываются по липким стенам окопа вниз и осторожно раскуривают цыгарки в неповоротной тесноте. Предстоит тяжелая работа. Мимо землянки проходит командир пятой роты. Липкая грязь покрывает его толстым слоем, как штукатурка. Он советует работать поскорей и осторожней, чтобы не заметил противник:

— Вам-то что, артиллеристам? Ушли на другое место и ладно, а начнут минометом жарить, нам отдуваться.

Номера докуривают цыгарки и начинают работать лопатами, бросая комья тяжелой земли. Близко пролетают пули. Внезапно застучал пулемет, рассеивая частый железный дождь. У Петрова пробило шинель и царапнуло голенище; номера посыпались на безопасное дно окопа. Пулемет замолчал, но тревога сжимает сердце. До боли не хочется вылезать наверх, в риск случайностей, где в одну секунду можно потерять жизнь. Коротко, с неуловимой быстротой,

визгнуло наверху и захлопнулось в землю. Темная фигура вздрогнула, и крепче прижался кто-то к стене окопа.

— Ты что, братишка,— это не наша.

— А ты у ней спрашивал? Укусит и отпахался...

— Нужен-то ты больно.

— Мне жизнь дорога. Шкуру-то свою жалко.

— Чу-дачок, а им больно нужно, что твою шкуру про-бьют? Ну и пропадешь — ведь ты нижний чин, вроде нижнего пыльщика. И цена нам с тобою по семь копеек...

— Ну, пошел, пошел, ребята,— торопит Петров.— Лезь наверх. Пошабашим, тогда хозяин по стаканчику поднесет. По-шел!

Номера спешат углубить яму блиндажа, чтобы закрыть себя от пуль. Подгоняет и холодная сырость ночи. Работа быстро двигается. Заранее приготовленные бревна укладываются сверху несколькими слоями. Вырастает непроницаемый крепкий блиндаж. Наконец, брошены последние лопаты земли, и Петров устало говорит:

— Закуривай, ребята, скорей, и айда домой.

Назад идти веселее. Теперь не придется блуждать без дороги. Направление показывает точно край леса, высокой тенью чернеющий впереди. Скорей перейти вот этот бугор, а там уж совсем близко, и перестанут гудеть назойливые опасные пули.

Навстречу, тяжело шлепая по всасывающей грязи, движется живая темно-серая масса. Номера останавливаются, пропуская мимо себя мрачную толпу в расстроенных рядах. Штыки на винтовках торчат высокими черными иглами.

— Какого полка-то, земляки?

Неохотно отвечают из толпы:

— Смоленского — пятая рота пошла на смену.

Растянулись в длинную, неровную колонну. На спинах лепятся отвислые вещевые мешки. Позади идут санитары с длинными шестами для носилок и фельдшер с тяжелой медицинской сумкой. Холодом безнадежной тоски веяло от проходивших рядов.

Отставший солдат, догоняя роту, споткнулся на телефонный провод и с мрачной злобой ударил прикладом, обрывая линию.

— Что ты провода-то рвешь, землячок? Они не виноваты,— с ласковой усмешкой говорит Петров.

Невидящими глазами посмотрел солдат в нашу сторону и побежал догонять уходящую роту. Из темноты донеслось проклятье:

— В православную веру, в царя, в победу!..

Рота пошла на смену. Усталые, пронизанные холодным туманом, они войдут в передовые окопы и целую неделю будут жить в грязной канаве, без костра и горячей пищи, получая раз в сутки холодный обед. По ночам до крови расчесываться от непобедимых вшей, откармливая их на своем теле. И всю неделю сторожить у бойниц, у пулеметов, сменяться в дозорах и секретах, ползать в разведку под нависшими ударами ручных гранат и минометов. А если повернется злая судьба, идти в наступление прямо на огонь притаившихся пулеметов. Тогда от роты уцелеют десятки. Но если и не будет наступления, все равно среди них уже есть обреченные. Кто-то из этих неизвестных солдат не пойдет обратно и не вернется его неповторяемая жизнь.

— И за что пропадает несчастная пехота? Легче смерть, сразу отпахался и не страдать.

— Да разве это жизнь? Это жестянка!

10. ОСЕННИЕ ДНИ

Батарея стояла неподвижно на старых местах. Мешая дожди с морозом, осень шла неровными шагами. Нужно было готовиться к зиме.

Холод закручивал сильнее. Ночевать налегке в палатках, под повозками, или в летних, сделанных на скорую руку землянках было невозможно. На позиции, в передках и в резерве постепенно начали появляться теплые землянки с нарами, тесовыми дверками и узкими просветами для тусклых окон.

В резерве вырастала крытая, плетенная из веток конюшня. Землянки с плоскими крышами вытягивались в длинный ряд, группируя солдат по командам: справа, на самом краю — конные, разведчики, потом ездовые, кап-

тенармусы, фельдфебель у денежного ящика, канцелярия, телефонисты, портные с сапожниками, кухня и вся «семнадцатая рота». В землянках клались первобытные печи с такими же трубами, появлялись коптилки и даже керосиновые лампы, которые неизвестными путями доставались откуда-то из пространства.

У телефонистов самая большая землянка на двадцать человек; неровные земляные ступени спускаются в низкую дверь. У стены против входа сложена печь и вколочен в землю столик. По обеим сторонам от двери расположены земляные нары, накрытые соломой. В таких первобытных жилищах спасались от холода дикие племена на заре своего существования.

Трещат на огне сучья и сухие листья. Телефонисты ложатся спать на нарах вплотную по десять-двенадцать человек. У печи сушатся мокрые портянки. Душно. Всю ночь тускло мигает лампа на стене около дежурного, который не спит, лежа с открытыми глазами с телефонной трубкой около уха. По линии несутся привычные гудки:

— Лезерв слушает? Поверочка, дорогой!

В землянку входит с мороза дежурный по резерву, румяный фейерверкер Малков. Он в полной амуниции, с шашкой и красным шнуром револьвера. Закуривает папиросу, с завистью смотрит на спящих телефонистов и уходит к дневальным на конюшню.

На рассвете вдоль коновязи слышен голос Круглова:

— Ездовые, на водопой!

Дверь открывается, и в землянку вкатывается неугоми-мый фельдфебель:

— Кто дежурит? Ты, Мухортов? Доложи командиру как встанет, что из обоза лошадей пригнали.

— Слушаю, Андрей Акимыч.

— А ребята еще спят? Эй, телефонисты, день на дворе. Вставай, так вашу..

Спящие продолжают лежать под шинелями, не проявляя желания подниматься. Тогда Минаков скручивает полотно и пошел гулять по нарам:

— Будет дрыхнуть-то! Москалев, проспишь все царство небесное. Вставай, а то лису гонять буду!

Москалев вежливо протестует:

— Что вы, Андрей Акимыч, дайте ребятам соснуть-то: Ведь нам лошадей не поить.

— Что вы дрыхните, как бабы? Вставай все.

Минаков уходит. На нарах поднимаются сонные фигуры:

— Вот эроплан, лопоухий черт — вздохнуть не даст.

— К каждой бочке гвоздь.

— Москалев, не пущай его в землянку.

— Карабаш, вали за кипятком. Твоя очередь.

В распоясанных гимнастерках телефонисты наскоро умываются остатками чая и выпавшим за ночь снегом.

Ведро дымящего горячим паром кипятку оживляет бледное утро. Кружек на всех не хватает, и чай пьют по очереди, черпая из ведра.

Сквозь осколки мутного стекла вползает осенний день. Москалев назначает трех человек исправлять линию в управление бригады. Через полчаса Антоненко, Донских и Журавлев решительно надевают шинели, берут катушку проводов, перочинные ножи, топор и весело уходят, гремя масками:

— Москалев, порции наши у дежурного оставь.

— Да ладно, уж знаю.

— Ну, шагом марш, непромокаемая команда.

Телефонисты постепенно разбредаются по резерву — кто стирать белье к колодцу, кто чинить сапоги к сапожникам, кто в канцелярию написать на машинке адрес письма или достать нечитаную газету. В землянке делается просторно. Москалев вместе с Зотовым разложили на нарах шинель и прикидывают, как бы подшить к ней подкладку из куса австрийской бумазеи.— Москалев подобрал эту находку в окопах при наступлении и давно бережет в своем ранце. Зотов старый запасной солдат: ему 43 года, он и сам забыл, когда учился у деревенского портного мальчиком, но знания его сейчас очень ценны. За беззаботную веселую душу, за доброе сердце и открытый характер все называют его: Костя.

Москалев и Зотов терпеливо вымеряют шинель, как стратегическую карту.

Карабаш, пользуясь свободной минутой, ложится у мутно-серого окна и читает неизвестно откуда взявшуюся методику арифметики. Мухортов старательно пишет письмо замусоленным чернильным карандашом. Землянка согревается отдыхающим уютом домашнего очага.

В резерве идет утренняя уборка. После водопоя и первой дачки овса ездовые отвели лошадей на открытую коновязь и начали чистить их скребницами, перекликаясь веселыми грубо-ласковыми шутками.

Андрей Акимович и Круглов наблюдают за уборкой, расхаживая вдоль коновязи с хозяйским видом, делая замечания:

— Федоров,— говорит Андрей Акимович,— твоя кобыла-то на ноги сдает, фельдшеру нужно показать. Эй, лошадиный бог,— кричит он,— иди сюда с сумкой-то, посмотри Дубину.

— А ты, Ванька, лучше за своей парой смотри. Они у тебя в грязи, как свиньи, а лошадь должна быть в порядке.

По дороге из передков показывается ездовой первого орудия, Яшка Денисов. Он известный весельчак и балагур, небольшого роста, но крепко сшитый и подвижной, как ртуть. Его прозвали в шутку Брусиловым за то, что он имеет большое сходство с портретом этого генерала. Хитро подмигивая и посматривая на ездовых, Яшка идет по коновязи. Разведчик Сергеев бежит навстречу и приветствует генерала:

— Смирно, равнение на середину! Гаспода!

Яшка лукаво-небрежно отдает честь:

— Здорово, молодцы!

И неподражаемо бросает:

— Гасп-да!

Сколько беззаботной игры в его белых подстриженных усах, в хитрой улыбке и коротком полушубке, подпоясанном веревкой. Дружный хохот.

Сергеев рапортует:

— Ваше превосходительство, так что в резерве все благополучно.

— Молодцы, доблестные герои — разрешаю по порции мяса и по чарке водки.

Минаков снисходительно улыбается:

— Катись, катись, Яшка, на легком катере!

На бугре со стороны батареи появляются Глеб с Ильей Васильевичем. Они идут в резерв. Глеб в шинели без пояса с неразлучной палкой: револьвера и шашки он никогда не носит. Вчера он сильно кутнул с «отцом Паисием». Ему захотелось посмотреть лошадей.

Минаков раньше всех заметил командира и следит за ним зоркими глазами.

— Ездовые смирно, равнение направо!

Дежурный фейерверкер Малков, поддерживая на ходу шашку, торопливо спешит навстречу. За четыре шага он ловко вытягивается во фронт и бесстрастно громко рапортует:

— Ваше высокородие, за время моего дежурства происшествий никаких не случилось.

— Здравствуй, Малков.

Тем же бесстрастным голосом:

— Здравия желаю, ваше высокородие.

Глеб командует ездовым «вольно» и направляется к лошадям в сопровождении почтительной группы: фельдфебеля, Ильи Васильевича, Круглова и дежурного. Глеб в хорошем расположении, он чисто выбрит, на пухлых щеках играет румянец.

— Круглов, твоя Лансада еще десять лет пробегает, а? До победного конца. Верно? Ха-ха-ха. Ну и лошадь. А Орел все в обозе? Надо завтра же вернуть: таких лошадей в обозе держать нечего.

Пройдя по коновязи, Глеб останавливается у кухни и пробует борщ из котла. Помощники кашевара режут порции мяса и втыкают их на деревянные палочки.

— Ребята, вы хоть руки-то вымыли бы.

— Ваше высокородие, да они и так чистые.

Глеб весело хохочет:

— Чистые, как у трубочиста — ведь самим есть придется, а не свиньям давать. Минаков, посматривай там, чтобы почище... того...

— Слушаю, ваше высокородие,— вытягивается исполнительный, ничему не удивляющийся Минаков.

«Спичка» разжигается у землянки каптенармуса. Слышно на весь резерв, как Глеб распекает в чем-то провинившегося солдата:

— Я тебя, мерзавец, в пехоту загоню! Безобразие, лодыря здесь гоняете. Привыкли здесь...

Глебу подают экипаж, и он уезжает в шестую батарею, приказывая каптенармусу немедленно сделать что-то без всяких разговоров, а иначе...

После уборки лошади отведены в конюшню и вкусно хрустят сеном. Резерв затихает перед обедом. У кухни, как алхимик, работает кашевар, ворочая черпаком борщ. Облако ароматного пара стелется над котлом. Наконец, дежурный сообщил фельдфебелю, что все готово, и звонко командует от денежного ящика:

— За о-бе-дом!

Со всех сторон вприпрыжку выбегают из землянок с баками, котелками и ведрами. Перегоняясь по узким тропинкам, прыгая через кочки, солдаты окружают кухню лентой живой очереди.

Начинается веселая, шутливая перекличка:

— А ну давай, Аксенов, давай на команду разведчиков.

— Засыпь ездовым-то погуще.

— Подходи, телефонисты, не задерживай.

— Кто получил, откатывайся,— кричит кашевар.

— Чепраком-то ему, Ваня, по кумполу, что ты смотришь,— добродушно посмеивается дежурный.

— Это что за безобразие? Пятнадцать нарядов без очереди, на шесть часов под ранец! В пехоту заломаю,— кричит Яшка Денисов, подражая Глебу.

— Дать пробу его превосходительству!

— Крой, Брусилов!

— Гасп-да!

Вебра и котелки осторожно плывут от кухни и растекаются по землянкам.

В команде телефонистов все в сборе. Москалев с торжественным выражением лица режет длинными ломтями хлеб. Из принесенного ведра борщ переливается в медный бак. Москалев откладывает порции и для дежурных, которые через час сменяются с наблюдательного пункта, а

остальное мясо режет на мелкие куски и «крошонку» засыпает в бак.

— Ну, начинай, ребята!

Ложки дружно опускаются со всех сторон, черпая горячий борщ. Во время обеда не полагается шутить и «выражаться» — так требует неписанный древний закон. Обязательно для всех и другое правило: сначала черпай ложкой один борщ, а для мяса будет своя очередь. Сигнал брать крошонку имеет право дать каждый, независимо от звания и общественного положения в землянке.

За обедом все равны: и Москалев, и Карабаш, и молодой телефонист Завитаев, даже скромный, уступчивый Костя — каждый из них с одинаковым правом может постучать ложкой о край бака и объявить равнодушным тоном, как будто это сущий пустяк, о котором и говорить не стоит:

— Валите со всем, что ли!

Или:

— Ну, берите порции-то, что же вы?

Только тогда начинает разбираться мясо. Сегодня эту команду дает Валет, который недавно из номеров переведен в телефонисты:

— Пошли в атаку-то, время уж.

Он первый опускает ложку, вылавливая без выбора кусочек мяса. За ним послушно следуют все, без лишней торопливости, но быстро и дружно разбирая крошонку, которая исчезает в несколько минут.

С наблюдательного уже торопят в телефон:

— Скоро там смена-то собирется? Насиделись — терпенья нет!

Шесть телефонистов быстро собираются, застегивают ремни, надевают ловкие карабины и уходят на смену в наблюдательные пункты.

В резерве ленивая тишина. Сменился караул у денежного ящика. Заведующий хозяйством Сорокин, без пояса и с палкой, подражая Глебу, проходит вдоль землянок с властным, недовольным лицом. Он останавливается у лошадей и грубо кричит на дневального за рассыпанное сено:

— Безобразие... Для чего ты здесь поставлен? Мух гоняете, сволочи!

Дневальный безропотно вытянулся во фронт.

— Дежурный, приказать Круглову поставить этого на четыре часа под ранец.

Сорокин проходит в цейхгауз и с вещевым каптенармусом Васильевым осматривает полученные из интендантства белье, шинели и сапоги.

Серой тенью опускаются на лес ранние сумерки.

В землянках затапливают печи. Дым низко стелется по земле. Через узкие щели дверей дрожат слабые огни.

В землянке ездовых чувствуется оживление по случаю приезда из отпуска одного товарища. Народу набилось человек двадцать. Возвратившийся отпускник Петрищев расположился на нарах у печи, разбирая свои «вещи».

— Ну, Гриша, рассказывай, какого ты хорошего слушку привез?

— Слушку тебе? Первым делом — хлеба в России нет...

— Как же так?

— На станциях нипочем не достанешь.

— Хлеба нет, а воевать все лезем!

— Как у нас в селе Ванька Кривой: в кулачном бою на Крещение стоит, вся ряшка в крови, весь в синяках, а знай кричит: наша берет! Уж его и с ног сбили, ему и голову проломили, из драки чуть ползет, а все бормочет: наша берет!

— Герой, нечего сказать. Разрази его в дурака!

— Одно долбят: будем воевать до победного конца, а иначе никак не согласны.

— А с чем воевать-то, они подумали?

— Им, брат, об этом ломать голову нечего: ты двадцать шесть месяцев воевал, ты и еще будешь воевать.

— А мы не желаем! Солдаты не хотят.

— Да вот только у них не спрашивают-то, а то бы...

— Добьют до ручки, сволочи!

— Теперь пропали...

— Кругом шестнадцать.

— Так и этак пропадать: я здесь пулю в лоб получу, а семья там с голодудохнет. Вот попали в собачий ящик...

— А по железным дорогам что делается — Гаврила крутит. Ни пройти, ни проехать. Все поезда набиты нашим братом, а вольных в вагоне и не увидишь, разве что бабы. В городах посмотришь, сколько же народу окопалось — страсть! Ходят чисто, шинель на нем новенькая, погоны блестят, сапоги наскипидарены, и сам на тыщу двести! Куда ни плюнь, все их благородие.

— Был, говорит, извозчик — звали его Володя, а началась война, стал он прапором и теперь его благородья!

— Только и делов.

— Хлеб по восемь гривен за фунт, а они: до по-бе-дно-го!

— С ума сошли, вот что.

— И платют за хлеб-то?

— Скажи спасибо, дорогой, если за такую цену тебе дадут, а с Киева ни на одной станции куска не достанешь.

— Теперь, ребята, кто в отпуск поедет, хлеба у каптера обязательно бери на дорогу побольше, а то наголодаешься, почем зря.

— Ну и дела.

— Воевали-воевали, бились-бились и дошли до ручки.

— Должно, мир так и застрянет на волах...

— В грязи увяз, сучья отравы.

— Теперь цельный год из трясины не вылезет!

Около землянки наверху раздаются звуки гармоник: разведчик Матвеев прогуливается по резерву.

— Матвеев! Слышь, что ль, Колька? Заходи сюда с гармоньей-то.

— А что у вас тут за свадьба?

— Да иди, черт, не упирайся. Чаем напоим.

Из отпуска Петрищев приехал не с пустыми руками, из недр своего мешка он достает бутылку денатурата, кусок домашнего сала, пышек и раскладывает угощение на доске, заменяющей стол. Молчаливый ездовой Качалов, с копной сине-черных цыганских волос, режет перочинным ножом хлеб и сало. Из деликатности никто не смотрит на медленную работу Качалова, словно это никого не касается, а на синюю бутылку каждому в высокой степени наплевать:

— Пусть себе стоит — э-ка невидаль!

Матвеев пробует голоса гармоника, ничего не замечая. А приготовления идут своим чередом: откуда-то появляется зеленая толстая рюмка с обломанной ножкой. Петрищев наливает в нее до половины фиолетовый спирт, потом доликает водой, и спирт на глазах превращается в неопределенно-густую жидкость молочного цвета.

— Ну-ка, ребята, подходи,— приглашает он.

— Да пей сам-то, что ты?

— С дороги-то!

— Ну, будьте здоровы: за тот несчастный мир, что ли, выпьем,— Петрищев быстро опрокидывает рюмку, смачно кряхтит и закусывает салом при благодушных сочувствующих взглядах гостей.

Вторая рюмка подносится Матвееву, который сначала из вежливости отказывается, но довольно быстро позволяет себя уговорить. После того приветливая рюмка обходит всех гостей, издавая сногшибательный дух спирта, керосина и лака. Хмель ударяет в голову сладким ядом.

Петрищев достает невымытую кружку, наливает в нее остатки спирта и хозяйски распоряжается:

— Ванька, беги за Андрей Акимовичем!

Но в этот момент дверь открывается, и через узкую щель пролезает боком Минаков,— о волшебной бутылке он уже знает по «беспроволочному телеграфу».

— Вот где народу-то, как людей,— скрывая легкое смущение, пытается шутить он.

— Ну-ка, Андрей Акимович,— говорит Петрищев,— покушайте, от чего автомобили бегают.

— Что такое? Божья водица? Ну, будьте здоровы: за всех пленных и нас военных!

Фельдфебель принимает кружку торжественно, как драгоценную влагу, подносит ее ко рту и неуловимо быстрым движением туловища глотает одним духом:

— Сильна, проклятая. И где добыл такую?

— Силь-на!

Забытый в углу Матвеев неожиданно берет на гармонике несколько аккордов, заполняя густыми басами тесную землянку. Угадывая общее настроение, он начинает знако-

мую песню, которую подхватывает один голос, потом другой, и буйным вихрем разрастается общий хор:

Трансвааль-трансваль, страна моя.
Ты вся горишь в огне!
Под деревцем развесистым
Задумчив бур сидел.

О чем задумался, старик?
О чем горюешь ты?
Горюю я по родине
И жаль мне край родной.

Сынов всех девять у меня.
Троих уж нет в живых,
А за свободу борются
Шесть юных остальных.

А старший сын — старик седой,
Убит был на войне.
Он без молитвы, без креста
Зарыт в сырой земле.

А младший сын — двенадцать лет,
Просился на войну,
Но я сказал, что нет, как нет!
Малютку не возьму.

Отец, отец, возьми меня
С собою на войну!
Я жертвую за родину
Младую жизнь свою.

Я выслушал малютки речь,
Обнял, поцеловал,
И в тот же день и в тот же час
Пошли на вражий стан.

Однажды при сражении
Отбит был наш обоз,
Малютка на позицию
Ползком патрон принес.

Настал-настал тяжелый час
Для родины моей.
Молитесь вы, женщины,
За наших сыновей.

Сантиментальная мелодия звучала, как трагедия. Солдаты любили трогательно-простой рассказ о несчастном старике, потерявшем своих сыновей. Вспоминались покинутые семьи, прощание с отцом, «Последний нынешний денечек» и неизжитое отравленное горе войны. И с чувством затаенной печали неслись последние слова:

Настал-настал последний час
Для родины моей.
Молитесь вы, женщины,
За наших сыновей.

Эй, вольные, счастливые люди, солдат тоскует о своей горькой судьбе!..

Гармоника поднялась в вольном разбеге и круто остановила свою последнюю волну. Матвеев посмотрел на тенора, ездового, что-то сказал ему, и они начали бравурную веселую на мотив «Что за говор, что за ропот»:

Церковь золотом облита.
Пред оборванной толпой
Проповедывал с амвона
Поп в одежде парчевой...

И буйным потоком понеслась через плотину вскипевшая удаль молодых голосов:

Измождены и унылы
Были лица прихожан,
Их в мозолях были руки—
Поп был гладок и румян.

Братья,— он взывал к народу,—
Не противьтесь властям,
Все вы ропщете на бога,
Что живется плохо вам.

Это дьявол соблазняет
Вас на грешные дела,

В свои сети заплетает,
Чтоб душа его была.

В это время мимо церкви
Черт случайно проходил...

Дальше следовала поучительная история, как возмущенный черт проучил попа, схватив его за бороду:

Что ты, отче толстопузый,
Расскажи-ка, людям врал?
И какие муки ада
Беднякам ты обещал?

Песня рвалась из землянки на простор. Боясь потухнуть, коптилка мигала слабым огоньком, освещая смутные, странно-похожие друг на друга лица.

В дрожащем пещерном полумраке неслась гармоника упругой беззаботно-веселой волной.

11. ПЕРЕД ЗИМОЙ

Война вступала в спокойные зимние берега. Работа шла своим чередом. Гуще обматывались окопы колючей проволокой, появлялись новые блиндажи, ходы сообщения, и раскидывал тонкую паутину телефон. Через полотна покрытых неровным снегом полей залегли тонкими змейками запасные окопы.

Штабы неподвижно оседали на места, располагаясь подомашнему. Склады фуража и продовольствия разгружали свое нутро, вырастая в питательные базы. Близость противника, застывшего в зимних окопах, теряла свою остроту. Будни позиционной войны засасывали тиной, растравляя старые раны. Тяжелым работам по устройству оборонительной полосы не предвиделось конца. Из штабных канцелярий присылались все новые и новые задания, словно кто-то упрямый и ненасытный хотел лишить солдат последнего отдыха.

Штаб дивизии разместился в деревне Смоляве, в шести верстах от передовой линии. Артиллерия противника

свободно доставала деревню, о чем свидетельствовало несколько зияющих воронок на улице и огородах. Но снаряды посылались редко, и штаб с обозами, учреждениями, полевым лазаретом был спокойным тылом, где можно отдохнуть от безнадежно унылой скуки окопов. Странно было видеть этот недоступный комфорт: как люди помещаются не в землянках, а в обыкновенных халупах, где столько света и тепла: что под рукою находятся колодцы и можно в любое время стирать белье.

Солдат в распоясанной гимнастерке наливает воду в грязно-желтый самовар, а две женщины в накинутых платках спешат через улицу к соседке.

Большие санитарные повозки в серых полотнах загромождали широкий двор. Проезжают забрызганные грязью конные ординарцы, медленно ползут возы с сеном на позицию, а навстречу печальные двуколки везут раненных вчерашней ночью. Вдали бухает несколько ударов, как из огромной глухой хлопушки. Люди в сером заполняют деревню, чувствуется, что фронт близко и вот-вот плеснет незатухшим грозным вулканом.

От Смолявы к позиции по оврагам, в лощинах и в лесу притаились полковые обозы и батарейные резервы с передками. Под деревьями дымит кухня и мелькают крутые спины лошадей.

За штабом полка начинается район артиллерийских позиций. Нужно осторожнее идти по кустам, чтобы не попасть под удары своих орудий, которые нелегко заметить на закрытых местах. Ударит выстрел через голову, и обожжет горячим воздухом.

На фронте полное затишье. Жизнь начинается только с вечера, когда нужно сторожить противника в ожидании ночной тревоги. Из окопов поднимаются ракеты и медленно падают, рассыпаясь в искрах, как неловкие ночные птицы. Стреляют редкие винтовки. Миномет неожиданным взрывом раскалывает в осколки застывшую ночь.

В темноте выползают из окопов осторожными группами:

— Пошли на разведку!

Ложатся серыми пятнами при вспышках ракет, сливаются с землей.

Вчера полковая разведка напоролась между окопами на немецкую. Испуганно лопнули винтовки, а ручные гранаты разорвали смутную тревогу ожиданий. Густым басом бухнул миномет, и залаяли железными голосами пулеметы.

Тревога нарастающей волной понеслась через телефоны:

— Штаб полка, штаб полка, штаб полка!

— Слушает штаб полка.

— На участке третьей роты наступление.

— Что такое, кто стреляет?

— Наступают против третьей роты. Разведка открыла огонь.

— Где противник?

— Густыми цепями идет на проволоку!

— Приготовить ручные гранаты.

— Третья батарея — заградительный огонь!

У орудий подхватило вихрем:

— Бат-таря к бо-ю! По цели номер восемь. Левее ноль-двадцать. О-гонь!

Воздух загудел от частых ударов. Бухнула чугуном раскатом мортира. Открыла огонь шестая батарея. Лес осветился вспышками белых огней.

— Два патрона — беглый о-гонь!

Винтовки стреляли частым огнем, сливаясь в нарастающем сплошном треске. Захлебывался в железной истерике пулемет.

Не слышно впереди заглушенного удара пушки, но неожиданно близко сверкает короткая молния, и трах — тяжелым взрывом по вздрогнувшей земле. Вихрем летят невидимые осколки, шлепаясь в деревья.

— Усилить огонь!

— Еще усилить!

Выстрелы гудели железной октавой. Лес дрожал.

Взметнуло пружиной:

— Амуничить лошадей.

— Приготовить передки!

Сейчас настанет решительный момент. Готовится неизбежное. В окопах будет невообразимая трагедия штыковой атаки...

Но незаметно утихает бой, становится тише, меньше выстрелов, замолкают батареи, реже и спокойнее стучат пулеметы.

Приходит желанная команда:

— Сто-ой — отбой!

Встревоженный муравейник успокаивается.

Наутро солдатский вестник сообщил:

— Ничего не было: наша разведка напоролась на ихний секрет, ударили гранатами, а там сообщили в роту, да в горячке не разобрались, и пошла. Только снаряды пошвыряли!

На фронте стояла тишина.

Без перемен, поиски разведчиков.

* * *

После ужина как убить скуку последних часов, чтобы забыться сном до утра? Мигает тусклым светом коптилка. Черная тоска лежит на сердце.

— А наш заведующий и нажился,— говорит Валет, снимая мокрые сапоги.

— Да-а, сюда положил.

— А я так думаю — вряд: потому человек он непьющий, в карты не играет.

— Ну-к, что же: вот больше и соберется.

— Да куда собирать-то? На книжку он не откладывает ничего,— у него и книжки-то нет,— сомневается осторожный Карабаш.

— Не-ет? Ты знаешь?— возмущается Валет,— здесь нет, там есть!

— Прапорщик Попов только пять месяцев заведовал и две тысячи отложил — сам хвалился. У него и книжка была в полевом казначействе.

— То Попов — сравнил! Энтот на фураже экономил. Он в переходах-то много овса купил? Я сам в езовых косил, а кому он за тот овес платил — Пушкину? Спроси у писарей,— Шушпанов-то все знает!— как они на этот овес счета

писали: куплено столько-то пудов и деньги получены сполна. Иван Ветров расписался, ревизия утвердила и хорош.

— Чистое дело!...

— Людям счастье.

— А тут страдаешь-страдаешь и хоть бы...

— Нет, ребята: наш заведующий себе не берет.

— Опять свое: купи его за рупь за двадцать. А я тебе говорю: не нет, а так точно, берет.

— А если не берет, значит, есть он полный дурак.

— Нашел глупенького — деньги в карман лезут, а он будет отказываться.

— Святой какой нашелся, да ум-то у человека есть?

— Половину себе, половину Глебу и прав.

— Концы в воду и шито-крыто.

— Они всегда правы, а мы всегда виноваты, — в бога, в веру, в войну...

— Ты много за это время нажил? Сколько жалованья-то огребаешь, — сорок пять копеек?

— И те к свиньям в двадцать одно спускаешь.

— Семь копеек на табак не останется.

— А он сто пятьдесят в месяц, как одну копеечку, получит, да еще у тебя же хватает... К примеру, за продукты офицерам полагается платить — вот! А наши берут у каптера, сколько хотят и ни разу ни... матери не платили!

— На то они начальство, а мы с тобой земляки!

Кирюша Дегтерев, не принимавший участия в споре, сердито бросает недокуренную цыгарку:

— А ты почему необразованный, какое ты имеешь право? — Неожиданно нападает он на Валета, делая злые глаза на безусом, неулыбающемся лице.

Кирюше сорок лет, он отличный мастер, материалист, безбожник, обличитель и мудрец. У него ясная отточенная мысль, его интересно послушать, — этот знает:

— Все на свете и топор. Искусственный человек!

— Какое ты имеешь право, — притворно-сердитым тоном продолжает Кирюша. — Ты почему, сукин сын, твою мать, не учился в емназии? Почему у нас с тобой мозговая оболочка не работает и уши холодные? Эх, Валет, Валет, мы

с тобой только и знали, как над землей спину гнуть, уши у нас лопухами отросли, а умные и обалтывают. Ведь они образованные, тилигентные,— они в емназии-то были еще в то время, когда мы свиней пасли,— вот. Мы хворостиной у свиней мух отгоняли, а они французские слова наизусть учили. Понял? Они-то в люди вышли, а тот человек так и остался Иванушкой-дурачком и уши холодные. Знай только лоб крестить да поклоны отбивать, а попы ему внушают: «Терпи, свет, на том свете в рай попадешь». Дурачки-то рады до смерти, уши развесили, глазами хлопают, а умные под з....цу лопатой их подгоняют и свое: идите, говорят, ребятушки, на врагов — это не-при-я-те-ли, бей их беспощадно! Ваняки и поперли вгрудную: крестик им обещали, они и ошалели, как тот баран: мы-то! яво-то! А как встретили такого субчика жареным петухом по морде, он и летит назад, как угорелый, за ж..у держится:

— Ой-ей-ей!...

— Ты что, земляк, получил? Говоришь, давай не надо? А против него ты с чем шел, голова садовая, с блинами? Поехали на фронт, в Виленскую губернию, Варшаву защищать, а спроси у него, видал он, какая это есть Варшава и с чем ее едят? И она ему нужна, как летошний снег. Наш фронт в Калужской и Тамбовской губернии, дорогой, а ты черт-те куда занесся — вот за чем шел, то и получай.

— Хлеб уж почти до рубля за фунт догнали, а подожди, будет и по десять. Иначе нашего брата не прошибешь. Голова-то совсем пустая, и все мечтают, как бы потише, да начальству угодить, да «слушаю», да «так точно». И правильно записали на красных вагонах — «сорок человек и восемь лошадей». Значит, нашего брата восемь человек одной хорошей кобылы не стоят. Верно в книжке напечатано, что Карабаш прочитал: серая скотинка. Так оно и есть. Помнишь, в Варшаве на садах чего написано: солдатам вход и собак вводить запрещается. Раскумекиваешь, что это значит-то?

— Ну, Кирюша, ты и мутный,— говорит Костя,— тебе бы грамоте учиться, ей-богу, архиереем стал бы, верное слово!

— Или начальником дивизии.

— Подожди, Костя, болтать — архиереем. Время придет, за ум землячки возьмутся и знаешь, по какому месту и попам и архиереям, и начальству намахают.

— Терпи, ребята, терпи, дурачки, до чего-нибудь дотерпиться.

— Кирюша, человек ты искусственный, а вот не знаешь одного: когда ж война кончится?

— Вой-на? Когда рак свиснет, да мы с тобой немножко поумнеем, тогда воны к нам из Сибири и дотянут — встречай тогда.

Глазков и Костя, лежа на нарах, запевают высокими голосами:

Умер бедняга, Ванюшка Кронштадский.
Долга-а, родимый, страдал.

И дружно подхватывается знакомая песня:

В этой болезни мучительной-тяжкой
Черту он душу отдал.

Кирюша мрачно смотрит на угли не улыбающимися светлыми глазами. Он не любит песен.

12. «ГАЗОВЫЕ АТАКИ»

В землянках пасмурное настроение. Вчера убит номер пятого орудия Антонов:

— Отпахался вчистую.

Никто этого не ожидал в прозрачный морозный день. С утра не было слышно ни одного выстрела. Хотелось забыть о войне.

Номера грелись у костра. Вода начинала бурлить в котелках, ожидая щепоток чая. И вдруг засверлило в воздухе неприятно-знакомым зловещим гулом. Глаза заблестели тревогой.

Бац! Раскупорилась железная бутылка, и шрапнель с жалобным удивленным визгом рвется низко над костром.

— Пью-ю-ю!...

Воздух зазвенел, как разбитое стекло. Антонов ходил в передки стирать пару белья и возвращался на батарею. Он был в нескольких шагах от костра и повалился, как сноп. Он лежал на спине, раскинув руки, серая папаха откатилась в сторону, и на лбу сочился кровью укус шрапнельной пули. Убило наповал.

Выстрел был первым и последним за весь день. Несмотря на близкий разрыв, пострадал только один Антонов, словно он был назначен в жертву залетевшему снаряду.

Вечером Антонова схоронили в передках под звуки самодельной панихиды. Грустно было расходиться по землянкам и думать, что убит славный товарищ, который еще вчера играл с нами в пять листиков. Вспоминался его ласково-внимательный спокойный характер, как он уговаривал номеров, затеявших шумную ссору из-за чайника:

— Да будет вам, ребята,— экая безделица, чайник: мы новый наживем без отца. А то из пустяков стоит галдеть.

С какой затаенной тоской мечтал он о мире, надеясь возвратиться домой. Он участвовал в самых тяжелых боях и оставался невредим. И нужно же было попасть ему под этот несчастный выстрел!

— Такой парень и пропал — за что?

Не хотелось говорить, и вечер затухал в невеселых думах. Не пришел на огонек Ванька Сергеев поболтать и подурачиться, как раньше, в неистощимых забавах изобразить балалайку и лихо спеть:

Жил на свете мужичок,
Маленький, горбатый—
Но до девок он такой,
Очень тароватый.

После ужина сразу легли на привычных местах, но никто не просил Муравлева рассказать новую сказку. А любили слушать его ладную речь, незаметно засыпая, пока Муравлев с негодованием не убеждался, что спит вся землянка:

— Петька, ты спишь?

— Нет, говори.

— А Карабаш?

— Энтот спит.

— Ну, чего ж тогда?

— Да говори, пожалуйста.

На другой день надо было долго уговаривать Муравлева рассказать новую сказку. Он отказывался, изобличая всех во лжи:

— Ну, чем вчерась-то кончил? Вот и никто не знает, а просите новую. Я сказку-то не кончил, ее еще часа на два хватит.

— Трофим Степанович, — ласково убеждают его, — говори, пожалуйста, с того места, как солдат поехал к двенадцати разбойникам. Это все слышали, а уж дальше только рассказывай, и спать никто не будет, верное слово.

— Ладно, черти, уговорили, — скажет Муравлев и начнет свой плавный рассказ.

Сегодня сказка не шла на ум, и засыпали молча. Несколько дней назад фельдфебель предупредил в резерве, что может быть газовая атака. Противник приготовил баллоны с газами и при ветре в нашу сторону мог пустить удушливую волну. Передовые наблюдатели были предупреждены, чтобы смотреть в оба, чтобы держали связь с пехотой и при появлении газов сейчас же сообщили по всей линии условным немим сигналом — длинное многоточие:

— Та-та-та-та-та-та.....

Осмотрели маски, заготовили хворост и сухие ветки для костров и начали забывать о газах:

— Если все помнить да думать, тогда от одной заботы вши съедят.

Ночью дежурный телефонист принял тревожный сигнал.

— Москалев, вставай, скорее. Тебе говорят: газовые атаки!

Страстный шепот, как молния, разбил сон. Телефонная трубка будила, звала и настойчиво кричала гудками многоточий:

Та-та-та-та....

Вскочивший Москалев громким отчетливым шепотом:

— Глазков, вали к фельдфебелю: газовая атака! Ребята, вставай!

Землянка закипела встревоженным ульем. На нарах обувались серые фигуры. Коптилка мигала сиротливым глазом. Телефон настойчиво колотил частоколом, задыхаясь тревогой. Охваченные страхом, в землянках спешат разобрать маски, надеть шинель и наскоро положить в ранец забытую вещь.

Уже по резерву покатилося:

— А-му-ни-чи-вай!

— Ездовые по коням.

— Намочи торбы.

В торопливой суете движений остывает чувство страха. Что-то делать, спешить, дорожить секундой,— иначе надвинется тяжелое, как свинец, беспощадное и закроет последний выход. Ездовые с мокрыми торбами выводят недоумевающих лошадей, у повозок, кухни и зарядных ящиков мелькают серые тени. Закаленной пружиной сжимается глухая тревога.

У хвороста собираются телефонисты с готовыми масками через плечо. Ожидается сигнал — зажигать костры. В передовой линии не слышно ни одного выстрела, но сейчас начнется буря... Томительно ползет ожидание, застывает на месте, останавливается и снова ползет.

Москалев кричит:

— Спроси там, Костя, не пора ли маски-то надевать, и где газ пускают?

Карабаш осторожно нюхает воздух.

— Чегой-то вроде как завоняло.

— Где?

— Вроде оттуда.

— Ничего не чую.

— А ну, Валет, повернись задом-то, ну нагнись, субчик.

— Ступай, покрути хвост мерину,— отшучивается Валет.

Он натягивает на голову резиновую маску и сразу превращается в серого дьявола из забытой сказки. Валет прыгает через хворост, хватая молодого Настенко:

— Эх, я милого любила!

Но дышать в маске трудно, и Валет спешит освободить себя от противогаза. Он глотает снег и ругается:

— В этой маске не от газов спастись, а чертей душить.

— Надышался, валетина?

— Главная вещь — ничего не видать, глаза застилает, а в грудях воздуху нет.

Кто-то говорит злым безнадежным голосом, проходя к землянкам:

— Ну и газовые атаки, ну и удушат, а я все на свете драть хотел, и самого себя... Разве я теперь человек? Все нутро гнилое.

Фельдфебель носился по резерву из конца в конец. Он успевал проверить кухню и зарядные ящики, осмотреть повозки канцелярии и двуколку телефонистов, подогнать нестроевых, усилить заготовку хвороста и послать бочки за водой. Тоска ожидания не коснулась его.

Из землянки выбежал Костя, — он дежурил у телефона:

— Ми-на-ков!

— Ты что, — спрашивают из темноты.

— Где Андрей Акимыч?

— Сейчас: фельдфебеля к телефону!

И понеслось:

— Фельдфебеля к телефону!

— Минакова к телефону!

— Ми-на-ко-ва!

— Кто там зовет? — невидимкой откликается Андрей Акимович.

— Командир батареи требует к телефону.

Фельдфебель скользнул высокой тенью и скрылся в землянке телефонистов. Через минуту вихрем покатилося, поднимая волну буйной радости:

— По местам! Нет газовой атаки — ложная тревога! Опра-вить-ся!

— Пошел.

— Гаврила, крути!

— Убирай торбы!

— Вали на печку!

— По землянкам.

— Сторонись война — мир приехал.

— Накру-чи-вай!

Солдаты растекались по землянкам с шутками, с веселым матом, снимая ненужные маски, мокрые сапоги и амуницию. Снова засветились потухшие огоньки.

Костя рассказывает на успокоенных нарах:

— Спать мне захотелось невозможно. Я проверку по всей линии сделал, все правильно и думаю: дай прилягу около трубки, авось не просплю. И только я лег, вдруг слышу та-та-та-та. Как черт горохом засыпал. Я шуметь: Москалев, газовые атаки!.. И пошла.

— А я спросонок никак не пойму, что и почему? А потом уж, как все повскакали, мне в голову сразу ударило. Кинулся маску искать, никак не найду — ребята ее под катушки завалили. Ну и жара.

— Так и думал, всех подушит.

— Это пока пробу делают: землячки, будьте готовы!

— А чего пробовать? Наши маски и без пробы никуда не годятся, вроде коровьего хвоста. В пять минут задыхаешься — нет терпенья.

— У кашевара немецкая маска хороша. В ней дышать легко, как через сито.

— А ты знаешь, чего на ней написано? Я сам читал: 1911 год. Вот когда они обдумали и сработали эти маски, — у нас тогда не знали, что такое газы и какие они есть!

— Плохое дело, братишки. Как наставит баллоны, как по ветру пустит, да из грязных саданет — все на свете перемешается.

— Нет спасенья.

— Пропадем, как таракан на сковороде.

— Эх, жизнь, — это не жизнь, а жестянка!

На смену усталой ночи поднималось мутное, холодное утро.

13. НА ЛЕВОМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ

Дежурить на левом наблюдательном пункте сплошная тоска. Нас трое: Чудиновский — молодой солдат из Вятской губернии, Матвеев и я. Мы заступили на дежурство после обеда на целые сутки. Наблюдательный пункт нахо-

дится в ходах сообщения между первой и второй линиями окопов: под непроницаемой крышей в пять накатов тесная могила полтора аршина высоты. Печь сложить не успели, а вместо двери мы закрываем вход палаткой, через которую прорывается холодный злющий ветер.

Днем нельзя было разводить костер на глазах противника, и мы ждали вечера. Но полил назойливый мелкий дождь, и мы остались на дне окопа, в своей могиле, безнадежно лишенные тепла.

В телефоне спокойно. Редко переговариваются телефонисты:

— Поверочка, дорогой.

Глазков дежурит на батарее; для удовольствия своих друзей он начинает петь в трубку:

Почему я безумно люблю,
Я сама разгадать не умею...

— Эй, Глазков, я не забыл твоих песен, разгонявших тоску улетевших ночей! Слушатели приветствуют концерт по телефону:

— Браво, Глазков!

— Молодец, Титка!

— Ему прямо в театрах играть, как артисту.

— Спой еще, дорогой, здорово слышно.

Чудиновский безнадежно ворочается на мокрой соломе, стараясь завернуться в шинель:

— Пропали, как мыши: у меня все кишки застыли.

Матвеев жметя от холода и свертывает новую цыгарку.

— Нужно, братишки, чегой-то делать,— предлагает он с мужеством старого солдата.— Давайте костер разводить и согреем чай.

Предложение принято. Мы поканались на поясе, кому что делать. Чудиновскому досталось идти за дровами, Матвееву за водой, а мне дежурить у телефона.

Первобытный огонек, сжимаясь от ветра, слабо освещает трубу Цейса в темном углу.

— Та-та-та, та-та!

— Батарея слушает.

— Поверочка.

Время остановилось, и холодом наливаются неподвижные пустые минуты.

Вспоминается почему-то учитель немецкого языка, добродушный Федор Фридрихович...

Остановись, мгновение, ты прекрасно!

С каким наслаждением остановил бы я сейчас такое прекрасное мгновение: широкая лавка в какой-нибудь избе и завалиться на ней спать до утра, а еще лучше на печи согреть застывшие кости. Но я согласен расположиться и прямо на полу, только чтобы была сухая солома и можно было бы накрыться дерюжкой.

Из сеней похрюкивает миролюбивая свинья, у дверей ворочается теленок и где-то стрекочет уютный сверчок. И, засыпая, я сказал бы от всего сердца:

... Ты прекрасно!

Но счастье на земле невозможно...

— Матвеев еще не приходил? Что он там? — сквозь шум ветра кричит Чудиновский, бросая сверху в ход сообщения связку кольев.

— Дрова на складе получил, — смеется он.

— В лесу?

— Охота была: в проволочных заграждениях у второй линии кольев нарубил. Все руки исцарапал. Жечь их все к чертовой матери, скорее война кончится.

После долгих усилий над мокрыми непослушными дровами, с помощью керосина из коптилки, нам удастся развести костер у самого входа в блиндаж. Матвеев приносит воду в двух котелках, расплескав половину по дороге.

Становится теплее от горячих углей, но едкий дым заполняет нашу землянку. Через несколько минут начинает так резать глаза, что Чудиновский не выдерживает и, зажмурившись, матерясь в веру и войну, выползает на четвереньках на мокрые земляные ступени. За ним следую я.

Матвеев стойко держится, пытаюсь использовать маску. При свете костра, в мутных волнах дыма, он сидит, как водолаз на морском дне. Но долго выдержать он не может, начинает задыхаться и стягивает с себя маску.

Просидев в блиндаже еще несколько минут, Матвеев вылезает в проход, разворачивая ногами ненужный костер. У него слезятся глаза, а лицо испачкано сажей.

Пока блиндаж медленно очищается от дыма, мы бегаем по ходу сообщения, чтобы разогреть застывающую кровь. Назойливый дождь не утихает. Надо спастись в блиндаж.

Чудиновский растирает мокрые ладони:

— Уйду я когда-нибудь, вот святой крест уйду,— говорит он.

— Куда ж ты собрался уходить, Сёма? — спрашивает Матвеев с ласковой усмешкой.

— Куда? К немцам уйду. Ночью проползу под проволокой, доберусь до окопов и шумну: вот есть русс — пленный, забирай.

— Да там с голоду уморят — не посмотрят, что ты по своей охоте.

— Ну что же? Мне теперь все одно. А тут какая жизнь, скажи, пожалуйста: вот лежишь на мокрой соломе и пропадаешь, как собака. Нет больше моего терпения! Что мне сдалась эта война, и на кой ляд пригнали нас сюда,— ну, скажи мне?

— Сёмка-Сёмка,— задумчиво говорит Матвеев.— Нечего зря болтать: никуда ты из серой шинели не вылезешь, как лошадь из оглоблей, а вот конец нам всем пришел — это верно. Я третий год воюю, два раза раненный и застудил ноги под озером Нароч. Всю свою здоровью потерял я на войне, а для чего и за что, того не могу понять. Вот слушай: земли у нас с отцом на две души по десять сажень и кормиться тем невозможно И теперь я так располагаю: к примеру, если Россия победит немцев или они нас победят, что мне от того будет и какая разница? Земли у нас все равно не прибавится, и домой я приеду в одной шинели, как есть. Помещик мимо наших дворов пашню, как ножом, отрезал, и за победу-то нашу, за страдания мои земли-то нам задаром не даст. Для чего ж я страдаю здесь и могу своей жизни лишиться? Выходит, что пользы от того мне никакой нет и воюю я не за себя, а за Ивана Ветрова, и ему от того большая нажива. Вот почему и есть это не жизнь, а самая жестянка, и пускай бы убил меня тот сна-

ряд в первом бою. чем дрожать вот так по землянкам. Что теперь я за человек и какой из меня работник? Из меня такой же работник, как из коровы рысак.

Трубка запищала слабым гудком:

— Та-та, та-та.

— Левый наблюдательный слушает.

— Поверочка, дорогой.

— Сколько время?

— Третий час. Как дела?

— Молчи лучше, Титушка, холодно...

Я продолжаю держать трубку. Слышатся карликовые глухие голоса. Доносятся отрывки разговоров:

— Пятая рота слушает?

— Слушаю.

— Принимай телефонограмму: командир батальона приказал завтра к десяти часам дать точные сведения о наличии нижних чинов, строевых и обозных, числе винтовок, патронов и пулеметов, адъютант Веселкин. Передал Трофимов, кто принял?

— Та-та, та-та, та-та.

— Слушает девятая.

— Как там скрипите, Ваня?

— Да ничего: печку растопили, — сидим разувши.

— Вот здорово-то, а у нас стыдь...

— Надо печку делать, браток.

Матвеев с головою завернулся в шинель и не поймешь: спит он или делает вид спящего. Ночь переливается в вечность, и кажется, что не будет ей конца. Застывают ноги в мокрых сапогах, и холод медленно пробирается к костям.

— Эх, куда пойдешь, кому скажешь, — грустно шепчет Чудиновский солдатскую поговорку.

Я решаюсь выйти на воздух. Дождь ослаб. Через клочья тумана показалась бледная луна. А ветер злыми хватками мечется над обессиленной усталой землей.

По линии окопов взвиваются с шипеньем ракеты, чертят синим и красным огнем, вспыхивают, горят и гаснут. Лопаются редкие винтовки, разрывая черную ткань ночи.

Близко раздается глухой топот ног. Из темноты вырастают темные фигуры. Они идут прямо по верху, не спуска-

ясь в ход сообщения. Передний натывается на обгорелые колья у нашего блиндажа и спрашивает сам у себя:

— О, дьявол, кто это здесь? Артиллеристы?

Восьмая рота сменилась и пошла на отдых. Вот кому сегодня лучше, чем нам. Солдаты по одному человеку прыгают через ход сообщения и, шлепая по скользкой грязи, исчезают в темноте. Кто-то загремел котелком о винтовку и тяжело повалился в ход сообщения, проклиная злым голосом:

— Тут пропадешь к свиньям, как...

— Подожди—дождутся и они.

Поддерживая винтовки, солдаты быстро проходят и исчезают в тени.

Низко пролетает одинокая пуля с жалобным тонким гулом, словно заблудившаяся пчела.

Тоска сжимает сердце.

— Куда пойдешь, кому скажешь?

14. ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА

День «Зимнего Николы» 6 декабря считался батарейным праздником, но в честь какого именно события, почему и кем это было заведено, никто из солдат не знал.

В 1916 году праздник совпадал с временем полного затишья на фронте, когда война остановилась в зимних берегах. Во всех землянках курились печи, выдавался керосин и солома для плетения «матов».

Глеб приказал фельдфебелю подготовиться:

— Чтобы все было чисто, понимаешь?

— Так точно, слушаю, ваше высокородие.

В резерве и на позиции легли ровные дорожки, в землянках убрали «веща», конюшни очистили от навоза. Батарея принимала праздничный вид.

К общему неудовольствию солдат, за две недели до праздника началось строевое учение. Каждый день приходилось маршировать, перестраиваться, становиться во фронт, репетировать «ура» и «здравия желаем».

Глеб готовил блестящий вечер, приглашая многочисленных гостей. У «отца Паисия» было забронировано ведро чистого спирта из запасов бригадного ветеринара.

Рано утром было получено угощение: по полфунту белого хлеба, по одной селедке и фунту подсолнухов.

В котел была положена фунтовая порция мяса, а к обеду ожидалось красное вино — полбутылки на трех человек.

К десяти часам утра Андрей Акимович построил всех в резерве; мы проделали несколько построений и получили разрешение стоять вольно. Крепко забирал мороз. Снег хрустел под ногами.. Задымились ароматные цыгарки.

Андрей Акимович удачно разрешил для себя спиртовой вопрос и весело прогуливался перед фронтом.

Ванька Сергеев на своем неподражаемом Волчке крупной рысью выехал из-за деревьев и круто остановил горячую лошадь:

— Идут, господин фельдфебель.

Минаков скомандовал:

— Ста-но-вись!

По дороге подходила группа: Глеб в новой шинели, «отец Паисий» с синим крестом на рукаве, начальник пулеметной команды, командир батальона капитан Носков, худощавый, мрачный, с давнишним сабельным шрамом через левую щеку, офицеры соседних батарей, гости из полка и управления бригады...

— Смирно, равнение направо!

— Здорово, молодцы,— приветствовал Глеб.

— Здравия желаем!

— Стоять вольно, шапки долой!

Бригадный священник надел золотые доспехи и начал служить молебен. Из задних рядов слышен злой шепот:

Что ты, отче толстопузый,
Расскажи-ка, людям врешь.
И какие муки ада
Беднякам ты отдаешь?

В хрустальном воздухе неслось протяжное, монотонно-торжественное пение во имя успокоения жестокого и не-

насытного бога. Выполнялся бессмысленный, потерявший свою душу обряд. Непослушная риза упрямо топорщилась на спине священника, и был он похож сзади на расшитую золотом восковую куклу. Глеб крестил подбородок, наклонив коротко остриженную голову и опустив пышные, праздничные усы.

Мороз крепчал под негреющим солнцем. Пушисто-белый неподвижный лес поднимался вокруг холодной декорацией.

Пропели победу христолюбивому воинству, провозгласили многолетие коронованному ничтожеству, и все стали подходить к кресту. Это было как раз кстати, чтобы немного согреться от равнодушного к человеческим праздникам мороза.

Мягко зашуршали шапки по команде «накройсь», и торжество должно было кончиться, но не тут-то было: священник неожиданно вышел на середину и начал речь:

— Сегодня мы празднуем день Николая Чудотворца, великий день для всех православных, и это торжество совпадает с вашим батарейным праздником. Преисполнимся же радостным настроением, забудем обиды, что получали мы от ближних, будем смиренны и терпеливы, как отец наш небесный...

Полилась длинная напыщенно-пустая речь, мелькавшая, как бесконечное полотно. Заикаясь, растягивая слова, священник увлекся, забыл о морозе и не замечал утомления солдат. Глеб нетерпеливо поглаживал пышные усы, мысленно посылая «батьку» ко всем чертям.

— Если этот день,— продолжал оратор,— мы проводим на фронте, в боевой обстановке, то мы должны помнить о чувстве ответственности перед родиной. Вы, солдаты, и ваши доблестные начальники выполняете священный долг, защищая отечество от сильного и опасного врага. Нужно довести до конца тяжелую войну, нужны еще жертвы, но мы будем кротки, терпеливы и мужественны и будем с божьей помощью переносить все невзгоды. Будем воевать до победы, до окончательной победы, пока не слошим неприятеля. Да благословит вас бог!

Довольный своей речью, священник отошел в сторону.

— Поздравляю славную третью батарею с праздником,— громким уверенным голосом сказал Глеб.— Мы уже третий раз встречаем этот день на позиции, но я знаю, что дух славной батареи не падает, что с каждым годом мы становимся все сильнее и крепче. Недавно получили новое обмундирование, у всех есть телогрейки и теплое белье, я вижу на всех новые папахи, и вот стоит мороз, а он нам не страшен. Родина думает о нас. Пусть немцы еще держатся два-три года,— нам они ничего не сделают, и как ни старайся, а им нас не осилить. К нам придут новые пополнения, и как раньше мы исполняли свой долг, так будем исполнять до конца. Нужно будет защищаться, мы не отступим шагу, а если прикажут наступать, мы пойдем все, как один. Аэропланы, колючая проволока и газы нас не остановят, потому что с такими солдатами, как в нашей батарее и во всей русской армии, воевать можно до конца. Ура!

Казенным шумом прокатилось по рядам:

— Ур-ра-аа-а!... Ур-ра-а-а...

— За здоровье нашего славного командира бригады генерала Скерского,— разошелся Глеб.— Ура!

— Ура-а-а... Ура-а-а...

Командир бригады, низенький добродушный старичок, сделал несколько шагов. В большой фуражке и длинной шинели он был похож на гриб. Пожав руку Глебу, он повернул к строю бритое улыбающееся лицо.

— Ребята, я рад присутствовать на вашем празднике и хочу сказать вам несколько слов. Третья батарея всегда была образцовой, но я вижу теперь, что она такой останется до конца. Мы воюем вот уже почти три года, а духом у нас никто не падает, и все готовы воевать дальше, пока не победим. Вот я смотрю на вас: экие все молодцы, один к одному, настоящие богатыри, чудо-богатыри... Никакой враг нам не страшен! Да что там три года,— воодушевился Скерский,— нужно будет, мы не то что три, а еще будем воевать пять, десять, три... тридцать лет,— сорвался он вы-

сокой нотой,— и останемся такими же вот молодцами и добьемся победы. За славную батарею, за победу, ура!

И опять покорно пронеслось в бесстрастных рядах:

— Ура-ура-а-а...

В офицерской группе оживленно приветствовали генерала.

— С песнями по землянкам,— скомандовал Глеб.

Если бы Глеб, или отец Паисий, или Скерский знали «Солдатский вестник» и узнали бы, какое впечатление произвели на солдат воинственные речи, у них мог бы испортиться аппетит. Но солнце играло на снегу, молебен кончился, спирт «отца Паисия» был готов к употреблению и казалось, что у солдат такой же настоящий веселый праздник.

— По фунтовой порции сегодня получают, это первое удовольствие, да белый хлеб, да вино,— что еще нужно человеку? Домой захотелось, ну, простите, на то война, а мы солдаты!

В просторной землянке у Глеба начался шумно-праздничный и звонко-веселый обед. Пружинясь по низким порогам гитары, неслась беззаветная удалая песня:

С времен давным-давно минувших,
С преданьев Иверской земли,
От наших предков знаменитых
Одно мы слово унесли...

В солдатских землянках стлалась злая печаль — молебен отравил больные сердца.

— Как, сукины дети, над нашим братом издеваются!— страстно возмущался Москалев, которого особенно взволновали речи.— А Скерский-то разошелся: вы, говорит, доблестные солдаты, чудо-богатыри, вроде, значит, Суворова, и еще тридцать лет повоюете... Ах, сволочь такая! Тоже за голенищу залезает:— чудо-бо-га-ты-ри... А какие тут богатыри, когда все силы мы растеряли и кровей тех уж нет!

— Это ты виноват, Васяка,— усмехается ласковый Костя.— И еще поп. У тебя ряшка-то здоровенная, в три дня

не оплывешь, и на морозе стоишь, как мартовский кот, а попу балакать захотелось. Вот с этого и пошло.

— Брось о пустячках, Костя: тут душа болит, понимаешь? Терпенья нет!

— А я смотрю — поп речь начал: то да се, да праздник, да Христос велел, а куда подвел, длинногривый черт!

— Прямо насмешку делают над нашим братом, и лучше бы мне в глаза прямо наплевали, чем слушать такие речи: это что, говорит, три года, это пустяк, а вот обратно тридцать лет еще повоюете и всегда будете молчать...

— Это нашего брата на пушку берут: что, мол, как они? А они, как овцы: ура и ура.

— Ну, а что ж ты будешь делать? Куда ж теперь деваться?

— Ку-да? Надо, братишка, головой ворочать и мозгами шевелить.

— А ты ура не кричал?

— Я-то? Мы, дружок, с тобой оба серые, а я к тому говорю, что тут надо чегой-то мозговать...

— Думка у каждого солдата одна: кончать войну, и мы так желаем, а они, слышал, о чем напевали?

— Поднесли к праздничку, нечего сказать. Главная вещь, я думал, они чего хорошего скажут — какого-нибудь слушку, или чего обдумали насчет замиренья, а тут как вякнул Глеб про победу, так все нутро у меня замутило. Значит, три года страдали и теперь обратно начинай с того же места...

— С таким командиром кашу не сваришь: им нужна война, а мне нужно домой. Выходит, значит, так: до свиданья, ваше благородие, и пусть с вами бог, а со мной баба на печке. Я зальюсь на Курск, и ваших нет. А мне говорят: так часто не ездь, а поворачивай оглобли и становись до победы...

— А мы не желаем!

— А им на тебя начхать!

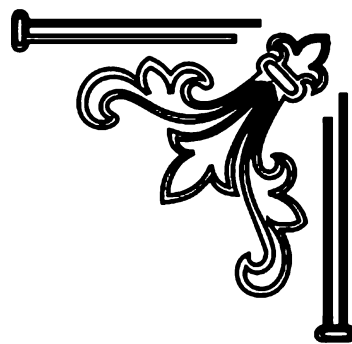
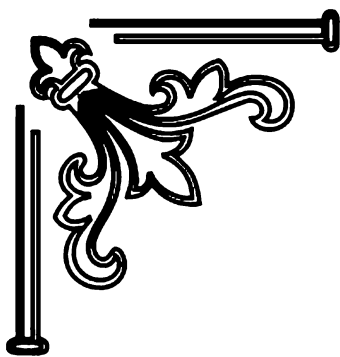
— На одном месте плясать все здоровы,— мрачно говорит Кирюша, кашляя от крепкого табаку.— До тех пор ничего не будет, пока дурачки сами за ум не возьмутся. И найдется такой умный человек — там, брат, есть! Скажет он настоящее слово: тогда у всех дурь из головы выйдет —

и войне крышка. Побрехать-то каждый умеет, а как дело делать, так в кусты. Но послушайте мою дурацкую речь: чегой-то скоро будет. Вот и все. Тогда вспомните Кирюшу-кузнеца!

Плавал от махорки голубой дым, и кружила по землянкам гнетущая злая печаль.

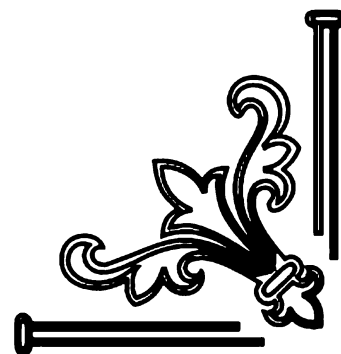
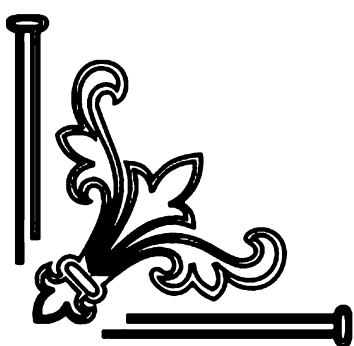
Над лесом раскинулась темная ночь. Редкими хлопьями падал снег, отливая серебром в полосе дрожащего огня.

Надвигалась неслышными шагами первая сокрушающая метель...



Д. ОСЬКИН

ЗАПИСКИ ПРАПОРЩИКА



ГЛАВА I

ЛОДЫРИ СО ЗВЕЗДОЧКАМИ

1916 г. Февраль

Опять в роту, в тот же Сапанов, только на другой участок, чем в октябре. Любопытно маленькое обстоятельство: несколько дней тому назад командир 9-го полка Самфаров, на участке которого находится теперь наша рота, донес в штаб дивизии, что лихой разведкой 9-го полка, проникшей в австрийские окопы, выбиты австрийцы и занят участок около двухсот метров. Полк закрепил за собой занятый участок и спешно возводит новые проволочные заграждения.

Это донесение Самфарова было сообщено в штаб армии, и в оперативной сводке штаба мы читали о геройском подвиге 9-го полка. Теперь как раз на этом месте помещается 12-я рота. Обходя участок роты после прочтения сводки по армии, я поинтересовался, какое же «лихое» наступление произвел 9-й полк, о котором прокричали по всей армии.

Окопы 9-го полка левым флангом упирались в реку Икву, а другим находились в соприкосновении с 11-м полком. На стыке полков, шагах в 30 от первой линии окопов, находился брошенный австрийский окоп. Командовавший этим участком командир батальона отдал распоряжение по ночам копать до этого окопа ход сообщения. В течение недели велась работа. Когда ход сообщения был окончен, то в бывший австрийский окоп посадили караул 9-го полка.

Это и дало основание Самфарову донести, что его «лихая» разведка произвела «лихую» атаку. Я набросал кроки местности, где происходила «геройская» атака, и показал товарищам по роте. Мои кроки быстро обошли весь батальон и сделались известными в штабе полка.

Стоит хорошая погода. Снега мало. Легкий морозец. Австрийцы почти не стреляют, сосредоточив свое внимание главным образом на обстреле переправы, которая по-прежнему остается открытой.

Савицкий — любопытный человек. Все получаемое жалованье отправляет в Тулу. Здесь живет на всем готовом. А на выпивку и на посещение Кременца добывает средства весьма своеобразным способом.

Обычно часов в десять утра звонит по телефону ротным командирам явиться к нему с докладом. Являются: вернувшийся из эвакуации Осипов, поручик Соколов и Ханчев. В течение десяти-пятнадцати минут Савицкий ведет с ними деловые разговоры, а затем вынимает из кармана несколько колод карт и предлагает сыграть с ним в шмэн-де-фер. Предложение начальника сыграть в карты почти равно приказанию. Ротные садятся за железку. Если Савицкому известно, что у какого-нибудь из офицеров имеются деньги, то приглашается и этот офицер. При случайных проигрышах всегда просит записать за ним, ибо в настоящий момент «не при деньгах». Но если проиграет прапорщик или поручик, расчет требуется наличными.

Недавно Савицкий в сопровождении Осипова ездил в Кременец. Савицкий застрял у мадам Сташевской, а Осипов попал в городской клуб и выиграл около тысячи рублей. Перед концом игры в клуб явился Савицкий. Увидев Осипова с выигрышем, попросил у него триста рублей, чтобы присоединиться к игре. Осипов дал. Савицкий продулся, попросил у Осипова еще, Осипов снова дал. Савицкий проиграл и эти деньги.

На следующий день игра продолжалась. Осипов проиграл весь свой предыдущий выигрыш и все свои деньги. Савицкий, наоборот, на этот раз оказался в выигрыше.

По возвращении из Кременца Осипов обратился к Савицкому с просьбой вернуть данные займы деньги. Савицкий возмутился.

С тех пор Осипов с Савицким не играет.

Наши наблюдатели доложили, что ночью слышали подозрительный стук перед окопами, точно ведется подкоп. Установили специальное наблюдение. Я лично выходил за бруствер, прикладывал ухо к земле и очень отчетливо слышал стуки кирки-мотыги, работающей под землей. Ведут сапу. Сообщили о замеченном в штаб полка с просьбой выслать к нам командира саперной роты, ведущей подрывные работы в дивизии. Явился прапорщик инженерных войск Свинтецкий. С наступлением темноты вместе пошли на подозрительный участок. Свинтецкий тоже признал — ведут сапу.

— Что же вы будете делать?— спрашиваем мы Свинтецкого.

— Мы производили уже разведку,— ответил он.— Думали повести встречную сапу, но у нас не хватает на это технических знаний. Я доложу командиру инженерного батальона и о результате сегодня или завтра уведомя.

— А нас не взорвут до завтра?

— А черт их знает, может и взорвут.

Получили указание штаба,— не имея возможности воспрепятствовать австрийцам вести сапу, рекомендуется разредить угрожаемый участок от людей, чтобы в случае взрыва жертв было меньше.

Снова прибыл прапорщик Свинтецкий в сопровождении нескольких саперов и подрывников.

Мы сегодня же проведем встречную сапу.

Действительно, ночью начали рыть глубокий подземный ход. Но через два-три шага земля обвалилась и всю сделанную работу засыпала.

— Вот видите,— говорил Свинтецкий, зайдя к нам в землянку,— как мы не подготовлены. Нам нужно иметь специальные подпорки для того, чтобы не обвалилась земля, а их сейчас нет, надо готовить.

— Разве это так сложно?— возмутился Ханчев.— Лес от позиции не так далек, в течение одной ночи можно нарубить и сделать эти подпорки.

— Мы подумаем.

И Свинтецкий ушел.

Разредили роту, оставив на угрожаемом участке лишь один пост, и тот поодаль от стуков. Поставили на флангах пулеметные гнезда, чтобы в случае взрыва можно было в прорыв направить сильный огонь. Стук под землей все продолжается. Офицерская землянка находится на расстоянии примерно ста метров от первой линии окопов и от угрожаемого участка почти в безопасности. Жалко солдат. Установили систематический обход первой линии. Вся рота в большом напряжении, особенно те солдаты, которым приходится становиться наблюдателями по соседству с роящейся сапой. Никаких технических указаний и содействия от инженерного батальона не получаем.

Съев обед, принесенный денщиками из офицерского собрания перед сумерками, офицеры роты в полном сборе сидели в своей землянке, толкуя: взорвут нас или не взорвут. Вдруг почувствовали колебание почвы под ногами, и через мгновение раздался оглушительный взрыв. Со всех сторон на землянку посыпались комья земли. Сильный ветер распахнул прикрывавшую вход в землянку палатку, мы были сброшены с сидений на пол. Несколько мгновений не могли прийти в себя, не понимая, что произошло.

— А ведь это взрыв минной сапы! — первый промолвил Новоселов, быстро выбегая в окопы.

Мы за ним. Солдаты из первой линии по ходам сообщения бежали назад.

— Куда? Обратно!— закричал Новоселов, бежавший впереди нас.

Солдаты остановились. Новоселов, давая подзатыльники одному, другому, продолжал бежать вперед. Мы не отставали.

Посередине ротного участка от бывших проволочных заграждений не осталось и следа. Все они разметаны далеко в стороны. На месте окопов первой линии зияла огромная воронка, диаметром метров в двадцать и глубиной метров в

шесть. По сторонам воронки выкарабкивались из-под земли придавленные солдаты. На флангах роты, где были установлены пулеметные гнезда и специальное наблюдение на случай взрыва,— молчание. Я бросился на левый фланг к пулеметчикам. Застал обоих пулеметчиков настороженных у бойниц с приготовленными к стрельбе пулеметами, трясущихся от нервного напряжения.

— Почему молчите?

— Не по ком стрелять, ваше благородие. Австрийцев не видно.

Я посмотрел в сторону австрийских окопов: там полное безмолвие.

Вернулся к месту взрыва. Ханчев, Новоселов и группа солдат помогали разрывать землю, чтобы вытащить засыпанных бойцов.

К счастью, взрыв произошел до постановки ночных наблюдательных постов. Несколько человек взрывом отбросило назад и некоторых засыпало, но убитых нет, лишь несколько человек получили тяжелые ушибы комьями земли. Отделались счастливо.

Срочно донесли в штаб полка, прося немедленно прислать саперов для восстановления проволочных заграждений. Непонятно, почему австриец не перешел в наступление.

1916 г. Бело-Кернец

Зима кончилась. Вокруг начинают распускаться деревья. Солдаты сняли зимние шинели и начинают ходить в гимнастерках.

Я снова отозван из роты к штабу полка для временного исполнения должности начальника саперной команды.

Постоянный начальник прапорщик Ущиповский уехал в трехнедельный отпуск. Поместился я в здании сельскохозяйственного училища.

В 12-й роте оставались Ханчев, Новоселов и Никитин.

На фронте затишье, изредка прерываемое взрывами минных сап на всем участке Сапановской позиции. Но таких сильных взрывов, как в 12-й роте, больше не было.

Австрийцы не успели довести сапу до наших окопов.

Зато наши саперы оживились. Группа саперов под руководством Свинтецкого в нескольких местах роет сапы под австрийские окопы. Теперь научились при рытье сап устанавливать деревянные подпорки. Наши офицеры смеются над медленностью работ, говоря, что взрывы будут тогда, когда австриец прогонит нас или, наоборот, мы прогоним австрийцев.

Несмотря на то, что саперные части являются на фронте привилегированными и их офицерский состав более развит и технически подготовлен по сравнению с пехотными частями, сапы вызывают язвительные насмешки со стороны пехотных офицеров:

— Вам бы рогатки строить в тылу, а тоже в минную войну лезут!

Рогатки строят, действительно, саперные части, хотя за последнее время сама пехота делает их, пожалуй, с большим искусством, чем профессионалы-саперники. Не любят саперные офицеры появляться на наших передовых позициях.

Дивизионный инженер ни разу не удосужился пригласить меня для инструктирования. Вся работа саперной команды сводится к устройству дорог по селу Бело-Кернец и, в частности, к улучшению дорожек вокруг сельскохозяйственного училища, чтобы командиру полка Радцевичу было удобно совершать свои прогулки с живущей вместе с ним женой и делать поездки в изящном, недавно выпитом из Петрограда экипаже. Сто двадцать человек команды на 75% нагружены обслуживанием штаба полка и командирских удобств. То надо отремонтировать лишнюю комнату в сельскохозяйственном училище для командира полка или его жены, произвести побелку, окраску, начистить пол, то устроить запасную походную кровать для командирши, починить шарабан, покрыть его лаком. От командира не отстают и другие штабные офицеры.

Лишь незначительная группа саперов занята работой по устройству рогаток для позиции и по особому инструктированию солдат-рабочих, как надо устанавливать проводные заграждения перед окопами или устраивать «лисьи норы».

«Лисьи норы» — новшество на наших позициях. Прислышали, что на Западном фронте против самых тяжелых снарядов, которых существующие землянки не выдерживают, саперный батальон устроил специальное убежище под названием «лисыя нора». Это яма метров в шесть глубиной, в которую вставляется лестница. Затем на шестиметровой глубине начинают делать расширение в стороны. Как в угольных шахтах от обвалов, устанавливаются крепкие сваи. Убежище делается человек на 15—20. Снаряды, попадающие в вершину норы, не в состоянии пробить шести метров земли.

В первую очередь «лисыя норы» делаются для батальонных командиров, во вторую очередь начнутся работы по постройке убежищ для офицеров рот и уже потом начнут делать их и для солдат.

Зимой, когда вода вымерзла, можно было ходить по нашему ходу сообщения, над которым, ввиду его незначительной глубины, наставили снежных баб, прикрывающих движение пешеходов от взоров противника. Теперь, когда зима окончилась, болотистая равнина залита водой и ходить по ней абсолютно невозможно. Трудно проходить и около хода сообщения. Приходится класть легкие тесины, чтобы нога не вязла в болоте. Надо что-то придумать.

Вызвал к себе на «военный совет» унтер-офицеров моей команды. Старший унтер-офицер Кириллов служил перед призывом в армию рабочим на одном из машиностроительных заводов в Питере, — теперь он являлся старшим в команде — своего рода фельдфебелем. Вместе с ним два других молодых унтер-офицера, Смирнов и Васильев. Первый — плотник, второй — слесарь. Вот из них-то под моим председательством и состоялось заседание «инженерного военного совета». Усадив их за стол, я заговорил:

- Вам приходится бывать в Сапанове?
- Бывать там ничего, но ходить мерзко.
- Что сделать, чтобы люди до самой позиции ходили скрытыми от взоров противника?

Кириллов задумался.

- Дело-то простое, только хворосту надо много.
- Лес недалеко, нарубить можно. А зачем хворост?

— Фашины можно из хвороста сделать.

— Фашины?— удивленно переспросил я.— Ведь фашины мы используем для дорог, чтобы колеса в грязь не уходили, причем же тут ход сообщений?

— Именно фашины, ваше благородие.

— Вы не зовите меня «ваше благородие», когда бываете наедине со мной, зовите просто или «господин прапорщик», или «Дмитрий Прокофьевич».

— Фашины, какие мы применяем для дорог, конечно, сюда не подойдут, но мы можем сделать фашины типа корзин, поставить их вдоль хода сообщений, засыпать землей, чтобы пули не могли пробить корзины, и у нас получится прекрасный надземный ход.

— Давайте подсчитаем, что выйдет. Идея прекрасная.

Подсчитали, сколько хвороста надо потратить на одну корзину, расстояние корзины от корзины, количество времени для заготовки материала, потребное количество времени на насыпку этих корзин землей. В результате получили: надо доставить пятьдесят возов хвороста, затратить свыше ста человеко-дней на плетение корзин и на подготовку кольев, на которые корзины должны надеваться для прочности. Сама установка и засыпка землей потребует не больше трех ночей.

Подсчитав, мы выяснили, что в течение десяти дней можно соорудить сухой и безопасный подземный ход сообщения.

— Ладно! Ход сообщений у нас будет прекрасный, а вот как с переправой? Австрийцы по-прежнему будут расстреливать в упор солдат, перебегающих по открытым доскам.

Кириллов призадумался.

— Можно в этот же срок обеспечить и переправу надежным укрытием.

— А как мы это сделаем?

— Надо сделать хороший мост через речку. Самый мост мы сделаем здесь при нашей команде, в ближайшие же дни, в реку забьем сваи, на которые затем и уложим мост.

— Но ведь оттого, что устроим хороший мост, австрийцы не перестанут стрелять.

— Никак нет-с, господин прапорщик, дослушайте до конца. Если будет прочный и широкий мост, то мы сможем на него наложить насыпанные землей мешки, которые будут скрывать проходящих по мосту и защищать от пуль.

— Прекрасно, Кириллов! Давайте так и делать, только скорее.

— Слушаюсь, давайте нам рабочих.

— Я снесусь с ротными командирами, они дадут в помощь солдат из резерва.

— Вот это хорошо; мы их поставим на заготовку хвороста и на насыпание землей корзин, а более сложные работы поручим людям саперной команды.

Возвратясь поздно вечером с саперной командой с места производства работ по устройству хода сообщений, я поделился с Ханчевым своим настроением:

— Смотрю и с каждым днем все более убеждаюсь, что большинство офицеров на различных полковых командах буквально лодырничают. Мне пришлось быть заведующим оружием полка, и моей обязанностью было заслушать вечером рапорт старшего оружейного мастера и подписать написанную им рапортичку в интендантство дивизии. Все остальное время некуда девать, был казначеем полка, и там служебные занятия не превышали получаса в день. В роте только во время боев приходится руководить солдатами. В обозе 2-го разряда и при штабе — сплошное лодырничество офицеров. Кто много занят, так это лишь те, которым приходится самим вести канцелярскую работу. Например, Моросанову, на обязанности которого лежит составление сводок, да еще полковому адъютанту, который завален грудой запросов, проектирует приказы и т. д. Все же остальные чины штаба — это балласт, содержимый неизвестно в чьих интересах. Вот здесь, в саперной команде, старшой в команде Кириллов знает в сто раз больше, чем начальник команды. Само собой разумеется, что я совершенно не приспособлен к руководству саперным делом, как, в свою очередь, абсолютно к этой работе не приспособлен и прапорщик Ущиповский. Можно упростить и сэкономить на числе офицеров в полку, если бы предоставить большие права лучше нас понимающим дело солдатам.

— Ну, ты ересь плетешь,— возразил Ханчев.— Солдатам нельзя поручить командные должности,— их слушать никто не станет, просто пошлют к черту, так что для дела получится не польза, а вред.

Мой денщик Ларкин часто заходит в комнату с предложениями:

— Не испить ли вам чайку, может быть, устроить яичницу?

— Ты чего, Ларкин, так часто ко мне пристаешь, ты же знаешь, когда я захочу чаю, то позову тебя.

Ларкин уходит.

Наконец, не выдержав, Ларкин заговорил о деревне:

— Весна, Дмитрий Прокофьевич!

Я приказал Ларкину, когда он останется со мной наедине, не называть меня «ваше благородие».

— В деревне пахать небось выезжают.

— Вряд ли,— возразил я.— Сейчас еще только половина марта, в Тульской губернии снег еще аршина на два на полях лежит.

— Оно так-то так, Дмитрий Прокофьевич, но все-таки, пока соберешься туда, уже и пахать время будет.

— Как соберешься, кто же нам позволит туда собратся?

— Все едут в отпуск, и нам пора бы ехать.

— Моя очередь будет в конце апреля.

— Возьмите меня с собою,— внезапно слезливо произнес Ларкин.

— Ладно, возьму, если позволят.

— Позволят, если вы захотите. Ущиповский с денщиком поехал. Старые офицеры все со своими денщиками ездят да еще и конюхов прихватывают.

— Возьму, Ларкин, возьму.

Ларкин радостно убежал к себе.

В один из вечеров я один составляю программу работ саперной команды по улучшению типа солдатской землянки. Зашел Ларкин.

— Дмитрий Прокофьевич,— обратился он ко мне,— Опарин приехал, в деревне только что был.

Опарин — односельчанин Ларкина, которого и я знал в мирное время.

— Позови его ко мне, пусть расскажет, что в деревне делается.

Вошел Опарин. Вытянулся передо мной, как полагается перед офицером.

— Здравствуй, Опарин! Давно из деревни?

— Недели две.

— Ну, как там живется?

— Плохо, в деревне никого нет, Дмитрий Прокофьевич, бабы одни остались, все на фронте. Призывают совсем почти мальчишек. Видел ваших родителей. Сестра Катерина Прокофьевна была на Масленице дома. Она кончает учиться. Мамаша ваша приказала благодарить за присланные деньги. Корову теперь купили. Живут как будто ничего, только мамаша часто плачет, что сын на войне. Кланяются вам все. Просили сказать, что будут ждать вас весной.

В это время в комнату вошел прапорщик Завертяев. Сидевший на табуретке Опарин быстро вскочил.

— Ничего, ничего, не пугайся,— успокоил я Опарина.— Можешь идти к Ларкину, там с ним потолкуй, а если что надо, то заходи. А пока до свидания,— протянул я ему руку.

По выходе Опарина и Ларкина Завертяев возмущенно обратился ко мне:

— Как вы можете, прапорщик, быть фамильярным с солдатом?

— То есть как фамильярным?

— Подавать руку.

— Разве он не человек?

— Я вас не понимаю. Солдат есть солдат, который не должен рассуждать. Фамильярничанье, подача руки их возвращает.

— Знаете что, прапорщик Завертяев, я не знаю, какого вы происхождения, но я того же самого, как и эти солдаты, и когда мне говорят, что солдаты — это серая скотина, то я отношу это на свой личный счет.

— Вы офицер!

— А вы, по-моему, мальчишка, если не понимаете простых человеческих отношений.

Завертяев вскочил:

— Я доложу командиру полка!

— Хоть самому господу богу или черту!

На следующий день меня вызывает командир полка.

— Что у вас за столкновение вышло с прапорщиком Завертяевым?— сухо обратился он ко мне.

— Ничего особенного не было, господин полковник, просто мне не понравилось его вмешательство в чужие дела.

— Он был обязан вам напомнить, что офицер должен с солдатами и на службе, и в неслужебное время держать себя, как подобает офицеру.

— Может быть, вы и правы, господин полковник, но когда я встречаю своего товарища, друга детства, то не могу к нему подходить иначе, как к моему бывшему товарищу.

— Значит, у вас в комнате ваш товарищ был?

— Это мой односельчанин, друг детства.

— Ну, это другое дело. Я полагал, что к вам вообще заходят солдаты.

В тот же день при встрече с о. Николаем я завел разговор о происхождении Завертяева.

— О, это отличный молодой человек, прекрасный офицер. Из хорошей семьи, в нем сразу воспитание чувствуется,— говорил поп.— Его отец — директор крупного предприятия в Средней Азии, в чине действительного статского советника.

Теперь понятно, почему Завертяев сидит делопроизводителем полкового суда.

К моему удивлению, вскоре после разговора с попом Завертяев снова появился в моей комнате.

— Простите меня, прапорщик Оленин, что я допустил у вас неуместную выходку.

Я насторожился.

— Я считаю, что вы совершенно правы, когда, встречаясь со своими старыми знакомыми, в каком бы они звании ни были, принимаете их в дружественной форме. Я посту-

пил бы точно так же, если бы встретился с каким-нибудь школьным товарищем хотя бы и в солдатском платье.

— Я вам тогда же сказал, Александр Исаич, что это мой земляк.

— Я поступил по-мальчишески, просто не подумал, прошу извинить меня.

— Я человек не злой, ничего особенного не произошло. Если я сказал вам грубость, то прошу в свою очередь извинить меня.

Кириллов предложил мне пойти на следующий день вместе с людьми моей команды, а по возможности и с офицерами 12-й роты в Сапанов.

— Почему завтра? — спросил я.

— Сегодня заканчиваем мост, и с завтрашнего дня ход сообщений будет так же безопасен от пуль австрийца, как обоз 2-го разряда.

Пригласил Ханчева, Моросанова. Пошли. Увидели прекрасный надземный ход сообщений, широкий, устланный тонкими досками, чтобы нога не утопала в грязи. Построен зигзагообразно и с учетом направлений летящих от противника пуль. Корзины в один метр, наполненные землей, представляли из себя непроницаемую для пуль броню. Особенное восхищение Моросанова, Ханчева и других вызвал устроенный мост. Широкий, на крепких основах, глубоко забитых в дно реки, с устланными по краям моста мешками с землей, он представлял из себя, по выражению Ханчева, «Сапановский проспект».

— Прямо хоть с сестрами прогуливаться!

С этого дня связь с Сапановом усилилась.

Приехал прапорщик Ущиповский. Передав ему саперную команду, я отправился к командиру за получением дальнейших распоряжений.

— Сегодня должен уехать прапорщик Боров,— сказал Радцевич.— Я прошу вас на время его отпуска принять на себя заведование газовой командой.

— Слушаюсь, господин полковник.

Газовая команда помещается рядом с саперной. Солдат было в четыре раза меньше, всего тридцать человек. Но для меня это дело представляет интерес, хочется поближе познакомиться с газовой обороной. Нашел прапорщика Борова. Молодой добродушный украинец ускоренного выпуска Алексеевского военного училища.

— А, Оленин, душа моя!— приветствовал он меня.— Я так и думал, что тебе придется газовой обороной ведать. Пойдем, познакомлю с моим химическим арсеналом.

Построив свою команду, Боров объявил, что он уезжает на три недели в отпуск,— плюс дорога,— хитро добавил он, и за время его отсутствия по распоряжению командира полка начальником команды будет прапорщик Оленин.

— Прошу его слушаться лучше, чем меня. Если я лодырничал и вас мало подтягивал, то уж прапорщик Оленин этого не допустит.

Отношение прапорщика Борова к солдатам показалось мне товарищеским.

Вгляделся в лица солдат. Заметно, что они не считали меня хуже Борова.

— Будем работать, ваше благородие!— закричали солдаты в ответ на слова Борова.

После этого прапорщик Боров повел меня в химический склад.

По сути дела никаких химических принадлежностей в этом складе не было, если не считать несколько десятков сваленных в кучу противогазов Куманта-Зеленского, являвшихся учебным материалом для газовой команды. Тут же была отложена и сухая древесина, вернее, крупная щепа.

— Для чего противогазы, я знаю, а вот для чего щепа — не понимаю.

— Хэ!— хитро прищурился Боров.— Химическое дело — тонкая штука. Нужно быть подлинным химиком, чтобы понимать. Щепа...— протянул он.— А вдруг ежели газовая атака, как газ будешь отгонять?

— Не щепой, надеюсь.

— погоди, слушай до конца. Солдаты, конечно, противогазы наденут, но в противогазе просидишь недолго. Надо газ выкурить. А как?

— Щепу надо зажигать.

— Хэ, смекалистый ты парень, из тебя химик будет. Теперь погляди вот это.

Боров подвел меня к большой мачте, на которой болтался флюгер.

— Это, друг мой, материологическая станция.

— Какая же это «материологическая станция»? Просто флюгер, у нас такие в деревне на мельницы вешают.

— На мельницы... А для чего вешают?

— Вероятно, для определения направления ветра.

— Хэ... Ну, и здесь для того же. Вот ежели, скажем, ветер идет с нашей стороны в сторону австрийца, как сейчас флюгер показывает, то можно спать спокойно, газ против тебя не выпустят. Если же ветер в нашу сторону, то держи ухо востро.

— Мудреная штука! — рассмеялся я. — Покажи, что еще есть.

— Пойдем в помещение команды.

Вошли в большую землянку, специально вырытую для размещения газовой команды. На земляных нарах лежало два солдата.

— Вы тут чего валяетесь? — набросился на них Боров.

— Живот болит, ваше благородие.

— Опять наверное шлялись по деревне, нажрались чего-нибудь.

— Никак нет, ваше благородие, чечевица вечор была, так от ей и несет.

— Знаем мы эту чечевицу! Так вот смотри, — обратился ко мне Боров, проводив в один угол землянки, где было свалено несколько небольших колоколов и здоровых толстых литровых бутылок.

— Это тоже химия? — рассмеялся я.

— Хэ...

— Я тут ничего химического не вижу.

— Эх, какой ты дурень! Ты вперед послушай, что я тебе скажу, а потом делай вывод. Ну вот, скажем, мой материологический пункт показывает, что ветер в нашу сторону.

— Допустим, что так.

— Вообрази, что австриец выпустил газ.

— Воображаю.

— Как создать тревогу, чтобы люди надели противогазы?

— Да просто-напросто крикнуть.

— Крикнуть... А если в это время стрельба, услышат они?

— По цепочке передать.

— Пока передавать будешь, перетравятся все. Так вот, чтобы люди вовремя узнали о газе, надо им дать сигнал такой, который далеко был бы слышен, для чего у каждого наблюдательного пункта надо повесить колокола, а так как на все пункты колоколов не хватит, то можно повесить бутылки. Услышат звон, значит газ, надевай противогазы.

— Очень хорошо ты придумал, — расхохотался я. — Только боюсь, что звон твоих бутылок слышен еще менее, чем голос.

— Пойдем попробуем.

Взяв бутылку, Боров вышел из землянки, привязал ее к стоящему против землянки столбу и со всего размаха ударил лопаткой. Бутылка издала действительно сильный звук.

— Может быть, хочешь посостязаться? Ты кричи, а я буду бить по бутылке. Узнаем, чей звук сильнее.

— Верю, верю, бутылка будет звенеть сильнее.

— Теперь я тебя проинструктирую, что в ротах должны делать. Наблюдатель, заметивши выпущенный газ, дает установленный сигнал. Люди надевают противогазы и тотчас же зажигают костры из щепы, заранее приготовленной и находящейся в окопах.

— Вся беда в том, — сказал Боров, когда закончили осмотр его имущества, — что люди в полку обращаться с противогазами не умеют. Не тренируются. Наденет солдат на свою физиономию эту резиновую штуку и через полминуты уже задыхается. Если пустить газ, то никаких колоколов не надо, все равно добрая половина солдат сорвет с себя противогазы, а если не сорвет, то задохнется в масках.

— Чего же ты смотришь? Должен настаивать, чтобы тренировались.

— Я уйду в отпуск, а ты этим делом займись. Хотел бы по возвращении видеть, чтобы полк по два часа в масках ходить мог.

— За три недели это сделать трудно, но все же попытаюсь.

— Свечку поставлю, если удастся. Кроме того, сильно портят противогазы... Знаешь, кто портит?

Боров осмотрелся кругом и, приблизив лицо ко мне, шепотом произнес:

— Командный состав армии портит.

— Что ты чушь мелешь?

— Не чушь, а факт. По армии издан приказ:

Замечено, что солдаты во многих частях используют противогазы для очистки через активизированный уголь, в них содержащийся, денатурата лака и других спиртных суррогатов. Предлагается командному составу установить наблюдение и не портить противогазов для очистки спиртных суррогатов.

— Ну что ж, приказ вполне законный.

— Эх, какой ты дурень! Сразу видно, что кацап. У нас в полку никто этим не занимался, так как никто не знал, что противогаз может служить хорошим фильтром для очистки денатурата, а как прочли приказ, теперь все, кто достает денатурат, очищают его через противогаз, и первый начал это Земляницкий. Понял?

Апрель, май

Перед Пасхой Радцевич-Плотницкий уехал в отпуск. Его замещает вернувшийся из тыла после длительного лечения полковник Хохлов.

Хохлов зимой заболел холерой. Считали его положение безнадежным, но, к удивлению всех, он выздоровел и вернулся на фронт без всяких следов перенесенной болезни. Радцевич-Плотницкий оставил Хохлова при штабе как бы в качестве своего помощника.

В мирное время полковник Хохлов был командиром Усть-Двинской крепости и во 2-й полк получил назначение уже во время войны.

Хохлов терпеть не мог прапорщиков. Хотя у нас в полку уже много поручиков, произведенных из прапорщиков на основании приказа о льготах офицерскому составу, тем не менее Хохлов при встречах с такими поручиками продолжал упорно называть их прапорщиками.

В сопровождении попа, с которым Хохлов оказался приятелем, он часто обходит тыловые команды, делая резкие замечания офицерам из прапорщиков по поводу тех или иных дефектов. Был у меня в газовой команде. Я объяснил Хохлову назначение команды, проводимую работу по инструктированию рот, какие меры надо принимать в случае газовой атаки. Он иронически выслушал меня, заставил команду продемонстрировать стрелковые упражнения в масках, произвел несколько походных движений также в масках и напоследок заставил произвести бег на месте на протяжении почти десяти минут. Люди команды, хотя и натренированные за последнее время к пользованию масками, тем не менее обливались потом и буквально задыхались к концу упражнения. После упражнений Хохлов сделал мне замечание, что если люди команды плохо выдерживают какой-нибудь час занятий в масках, то чего же требовать от рот.

— В ротах совсем не упражняются, господин полковник,— доложил я.

— Почему же вы их не заставите?

— Мною об этом доложено командиру полка.

— А почему мне об этом не известно?

— Не могу знать.

— Вы должны были тотчас же после моего вступления в обязанность командира полка доложить об этом.

— Я считал, господин полковник, что командир полка сделал соответствующие распоряжения.

Раздраженность Хохлова действует не только на мои нервы, но также на людей команды.

Скоро вернулся из отпуска Боров.

Теперь моя очередь ехать на три недели в отпуск.

В несколько мгновений мы с Ларкиным уложили чемодан.

Ларкин едет со мной. Доволен до чрезвычайности.

Радости стариков не было предела...

Три недели промелькнули незаметно.

За время отпуска в полку произошли перемены. Штаб переведен из Бело-Кернеца в Судовичи, ближе к Дубно, по соседству с 8-й дивизией. Бело-Кернец занял другой полк. Самая опасная и наиболее скверная Сапановская позиция продолжала заниматься одним из батальонов нашего полка.

Перевод в Судовичи объясняли тем, что высшее командование делает перегруппировку частей, вводя ближе к позиции новые резервные полки, находившиеся в непосредственном распоряжении армейского командования. В половине мая, рассказывали мне в полку, ожидается общее наступление по всему фронту. Главный удар намечается на Западном фронте, которым командует Эверт. Наш же, Юго-Западный, возглавляемый генералом Брусиловым, должен вести лишь демонстративные атаки с целью отвлечения неприятельских сил от основного места удара.

Представившись по приезду в полк командиру полка Радцевичу-Плотницкому, я ждал нового назначения.

— Побудьте несколько дней при штабе полка, — сказал Плотницкий. — На этих днях должен уехать в отпуск штабс-капитан Мокеев, и на время его отсутствия я предложу вам исполнять его должность — командира нестроевой роты.

— Слушаюсь, господин полковник.

Съездил к Мокееву для предварительного ознакомления с обязанностями командира нестроевой роты. Сейчас ее задача — образовать запасы зернового фуража, консервов, сухарей на случай быстрого движения вперед, если предполагаемое наступление окажется удачным.

— Вам особенно беспокоиться нечего, — говорил Мокеев. — Рота имеет прекрасного фельдфебеля, отлично знающего свое дело. Вам лишь останется иметь общее наблюдение.

Нестроевая рота помещалась в небольшом лесочке, расположенном позади Рижских казарм. От командира полка поступило распоряжение тяжелую часть обоза первого разряда и все запасы перебросить ближе к Судовичам в деревню Переросли. На месте же стоянки нестроевой роты

остается лишь обоз, имеющий непосредственное боевое значение, как то: патронные двуколки и походные кухни.

Переехал в Переросли. Занял отличную хату. В деревне, кроме моей нестроевой роты, других частей нет. Ежедневно, после 12 часов, ездил в Судовичи разузнавать о предстоящих действиях полка. День офицеров в Судовичах тот же, что и в Бело-Кернеце. С утра до ночи преферанс или шмэн-де-фер, а в перерыве между игрой выпивка, добываемая или в Кременце, или через Шарова, который наладил связь с киевскими виноторговцами и систематически получал для нужд офицерского собрания вино и водку.

Интересно, что в то время как в тылу, например, в Москве, Туле, продажа спиртных напитков воспрещена, в ближайшем к фронту столичном городе — Киеве — идет открытая торговля винами.

Наиболее интересные фигуры из офицеров, которых я раньше не знал, поручик Казаринов и штабс-капитан Вишневский. Казаринов — болезненного вида, еще молодой офицер, чрезвычайно мистически настроенный. Он в Судовичах открыл гадалку и чуть ли не каждый день ходит к ней угадывать свою судьбу по линиям руки, по картам и даже по кофейной гуще.

Вишневский, в противоположность Казаринову, разухабистый, жизнерадостный офицер, все мысли которого направлены к добыванию водки и женщин. Вишневский долгое время лечился в тылу от гонореи, залечив, получил вновь и сейчас еще продолжает ходить на осмотр к врачу.

Встретился с Блюмом, который теперь стал старшим врачом полка. Он очень радушен, журил меня за то, что долгое время к нему не являлся, предложил для моего пользования ресурсы своей походной аптечки, свои книги, просил навещать его почаще.

— Очень рад,— говорил он,— что теперь вы выбились из своего прежнего положения и, как я слышал, завоевали себе достаточное уважение не только со стороны солдат, которые по-прежнему вас любят, но также и со стороны офицеров. На вас не смотрят, как на других прапорщиков, произведенных из фельдфебелей и унтер-офицеров. Все почему-то считают, что вы имеете высшее образование и

отбывали воинскую повинность простым рядовым по неизвестным для них обстоятельствам.

— Как идут дела насчет подготовки к наступлению?— спрашивал я.

Блюм часто встречался с командиром полка и был в курсе всех, даже секретных сведений.

— Наступление намечается на 15 мая,— ответил Блюм.— Причем, по словам Радцевича-Плотницкого, наш полк будет на наиболее спокойном участке. Главная тяжесть боя должна пасть на части 35-й дивизии, которые подведены к Кременцу и должны на этих днях занять Сапановские позиции.

Главные силы наступления сосредоточатся на Западном фронте, в Брест-Литовском направлении. На Юго-Западном же фронте, на Ковельском направлении будут развивать лишь демонстративные операции.

15 мая ждем с нетерпением. Однако это число прошло, подошло 16, 17, а наступления все нет. 18 мая вечером ко мне в Переросли заехали Ханчев и Моросанов.

Благодушествуя в хате за чаем, Моросанов поделился последними сведениями о предстоящем наступлении.

Наступление задержалось из-за неготовности Эверта. Сейчас происходит совещание в штабе верховного командующего о том, какое из направлений нужно признать решающим и где следует сосредоточить главный удар.

— А наш полк,— спросили мы с Ханчевым,— будет во время наступления сидеть на этих второстепенных позициях, какими являются Судовичские, или введен в дело?

— Трудно сказать, пока никаких данных о том, что нас отсюда передвинут куда-либо, еще нет. Плотницкий говорит, что имеется намерение перенести центр тяжести нынешнего наступления на фронт генерала Брусилова и будто бы Брусилов от этого не отказывается. Но это лишь слухи, точных данных нет. Немцы, конечно, знают о готовящемся наступлении и со своей стороны принимают контрмеры. Так, на Западном фронте, по данным разведки, немцы перебросили со своего Западного фронта целый ряд новых корпусов. Это обстоятельство и смущает Эверта. Кроме того, вообще боятся наступления на участ-

ке, где находятся немцы. Считают более удобным перейти в наступление на австрийские позиции, так как австрийцы более слабы в боевом отношении и поэтому больше имеется шансов на успех.

Моросанова вызвали к телефону из штаба. Я передал ему трубку. Говорил Радцевич-Плотницкий. Окончив разговор, Моросанов повернулся к нам со словами:

— Ну вот, теперь дело решено.

— Что решено?— нетерпеливо спросили мы.

— Решено наступление. Назначен день, и уже известны те части, которые будут наступать.

— Какие же?

— Не знаю. Командир полка приказал мне немедленно явиться в штаб для подготовки распоряжений, сообщив лишь, что имеются все данные, необходимые для дальнейших действий.

Моросанов тотчас же уехал. Ханчев остался у меня ночевать. На следующий день утром вместе с Ханчевым поехали в Судовичи. Зашли к Моросанову в надежде получить более точные сведения.

— Ничего сказать не могу. Секрет. Скоро узнаете из приказа,— уклонился от прямого ответа Моросанов.— Вам-то, Оленин, нечего беспокоиться. Сидите себе в своих Перерослях, а вот Алексею Павловичу немедленно надо отправляться в свою роту.

21 мая штаб полка срочно покинул Судовичи, переехав в Рижские казармы, находящиеся напротив Сапановских позиций. Туда же двинут находившийся в резерве при штабе полка 3-й батальон. Все офицеры полка, бывшие по тем или иным причинам при штабе для исполнения мелких поручений или для отдыха, разосланы по своим местам в роты. У командира полка непрерывные совещания с начальником хозяйственной части, полковым врачом Блюмом, заведующим оружием, начальником связи и другими, имеющими отношение к подготовке боя. Я получил распоряжение продолжать оставаться в нестроевой роте, в Судовичах, установив тесную связь с боевой частью обоза,

подтянутой также в Рижские казармы. От писаря оперативной части штаба удалось выведать, что из штаба дивизии получен приказ: в ночь на 22 мая 11-му полку полностью занять Сапановские позиции, сосредоточив весь полк на небольшом и тяжелом участке.

9-й полк остановился рядом с 11-м. 12-й непосредственно в затылок 11-му и 9-му полку, а 10-й полк с ночи должен сосредоточиться в усадьбе сельскохозяйственного училища, в Бело-Кернеце.

Позади Рижских казарм, в лесочке за Бело-Кернецом, под Кременцом и непосредственно в Кременце, а также в Бело-Кернеце сосредоточено огромное количество артиллерии. Сюда подвезены не только пушки дивизионной артиллерии, но и все корпусные и еще несколько отдельных артиллерийских бригад, присланных из армейского резерва.

Настроение нервное. Развитие операций начнется в ближайшие дни. Судя по подготовке, по числу подвозимых артиллерийскими транспортами снарядов, можно предположить, что именно под Сапановом разовьется настоящий генеральный бой.

В нашем корпусе все силы подтянуты к Сапанову.

ГЛАВА II

САПАНОВСКИЕ БОИ

Часа в три утра, когда только что начал брезжить рассвет, я проснулся от артиллерийских разрывов. Канонада настолько сильна, что в моей хате звенят стекла.

Оделся. Ларкин кипятил чай.

— Хорошо, Дмитрий Прокофьевич, что мы с вами в Перерослях находимся. Много сегодня наших недосчитаются.

— Да, Ларкин, но нам с тобой должно быть немного совестно, что мы отсиживаемся здесь, когда другие в бою находятся.

— А какая нам польза там находиться?— возразил Ларкин.— И без нас хватит. Чего ради? Что, мне за это земли,

что ли, прибавят или новую хату построят? Иscalечить или убить могут.

Я промолчал.

Выпив наскоро стакан чаю, я направился к Рижским казармам. Шел непрерывный гул артиллерийской канонады. Выехав на возвышенное место, при лучах восходящего солнца, увидел жуткую картину боя под Сапановом.

Окопов ни русских, ни австрийских не видно. Над ними густой столб свинцового дыма и непрерывно полыхает огонь от снарядов, разрывающихся над неприятельскими и нашими окопами.

Получил телефонограмму от Моросанова экстренно перебраться с обозом в лесок, позади Рижских казарм. Быстро уложили повозки. 18 километров до новой стоянки проделали на рысях в течение одного часа. Наскоро соорудили землянки для укрытия от снарядов,— замаскировали повозки свежесрубленными деревьями, лошадей увели в ближайший овражек.

На фронте непрерывная канонада. Залпы снарядов настолько сильны, что чувствуется колебание почвы в землянках обоза в шести километрах от поля битвы. Дежурный телефонист непрерывно принимает телефонограммы о подвозе патронов, о высылке телефонного кабеля, о приготовлении в Сапанове походных кухонь. В промежутки между приемами телефонограмм телефонист успевает обмениваться несколькими словами с телефонистом, находящимся при полевом штабе полка:

— Наступление развивается успешно.

— Первая линия окопов взята. Артиллерийский огонь перенесен на вторую линию австрийцев и сметает сильные проволочные заграждения. Сведения об удачном наступлении бодрят солдат обоза.

Поздно ночью в обоз за телефонами прибыл грязный, оборванный телефонист.

— Ты ли это, Сафонов?

— Я, ваше благородие. Досталось сегодня. С двух часов утра неотлучно находился при командире полка, непосредственно в Сапанове.

— Расскажи, как началось наступление.

— В два часа ночи,— начал Сафонов,— пришло распоряжение командира бригады Музеуса перебросить полевой штаб полка из Бело-Кернецкого училища в Сапанов, в землянку, где когда-то помещался Измайлов. Сам Музеус к двум часам прибыл в Бело-Кернец и в моем присутствии рассказывал полковнику Радцевичу о плане наступления:

— Атака нашей дивизии носит демонстративный характер, мы должны оттянуть на себя внимание австрийского командования. Переброска в нашу сторону австрийских войск с других участков даст возможность успешному наступлению войск в районе Буска. Для успешности руководства операцией и для подъема масс надо, чтобы командиры были ближе к окопам. Я,— говорил Музеус,— расположусь около хода сообщения на железной дороге, а вы,— предложил он Радцевичу,— немедленно отправляйтесь в Сапанов, проследите за тем, чтобы командиры батальонов были все на своих местах и ни на шаг не отставали от движения батальонов. То же должны сделать и ротные офицеры. Всякий отставший офицер будет строго наказан.

Начинающиеся бои, по словам Музеуса, после сокрушения австрийцев на Юго-Западном фронте должны решить исход войны. Пришли в Сапанов на рассвете. Батальонные командиры были уже предупреждены о начале наступления немедленно вслед за ураганным огнем, который должен начаться в три часа утра и кончиться к пяти. Телефонистам пришлось много работать, устанавливать телефонную связь командиров батальонов с ротными командирами. Мне, в частности, пришлось обслуживать 3-й батальон и в течение нескольких часов быть около капитана Савицкого.

Ровно в три часа начался артиллерийский обстрел. Стреляли так, как еще никогда во время войны мы не слышали. Артиллерийские снаряды летели буквально со всех сторон, не делая одной минуты перерыва. Окопы австрийцев против 3-го батальона в течение часа были буквально засыпаны землей. Проволочные заграждения разбиты до основания. Начатый было австрийцами против 3-го батальона оружейный и пулеметный огонь был прекращен в какие-нибудь полчаса. 9-я и 12-я роты к пяти часам утра были уже у австрийских окопов. Наши телефонисты, со-

проводившие эти роты, передавали потом, что в австрийских окопах они не встретили никакого сопротивления. Австрийские офицеры и солдаты не были подготовлены к такой мощной атаке с нашей стороны и к такому сильному артиллерийскому обстрелу. Австрийцы, прижавшиеся вплотную к земле на дне окопов, при появлении русских солдат сразу сдались. В течение нескольких часов огромные толпы австрийских солдат выводились из занятых позиций в тыл. Взята масса пулеметов.

После занятия первой линии окопов артиллерия перенесла свой огонь на вторую линию. Австрийская артиллерия в свою очередь начала сильный обстрел Сапановской позиции. Многие снаряды рвались вокруг землянки полевого штаба. Не раз засыпало землей окоп телефонистов.

К девяти часам покончено и с окопами второй линии, где захвачено много траншейных орудий, бомбометов, минометов и пулеметов. Пленных оттуда волокли в продолжение нескольких часов.

После взятия второй линии окопов огонь со стороны австрийцев прекратился и наши солдаты получили передышку.

В окопы пришли Радцевич с Музеусом. Ходили, осматривали устройство окопов, проволочные заграждения; удивлялись, насколько у них все благоустроено. Вместе с Музеусом был командир саперной роты Зенкевич, который особенно интересовался устройством «лисых нор».

Капитан Зенкевич, желая узнать внутреннее расположение «лисых нор», спустился в одну из них. Прошло минут десять — Зенкевич не выходит. Музеус, торопясь идти дальше, стал кричать в «лисыю нору», чтобы Зенкевич скорее выходил. Ответа не было. Заподозрили, что с Зенкевичем что-то случилось.

Музеус распорядился, чтобы в «лисыю нору» спустить несколько солдат с винтовками. Полезшие в нору солдаты с первой же ступеньки стали кричать, что в норе газ. Шедшего впереди солдата им удалось вытащить наверх с признаками отравления. Тогда Музеус приказал пойти в «лисыю нору» в противогазах. Вошедшие в нору солдаты

нашли Зенкевича мертвым от отравления газом. Оказалось, что внутри «лисей норы» лежал баллон с открытым газом.

После этого Музеус распорядился не входить в «лисей норы» без противогазов.

В австрийских окопах мы видели горы бутылок из-под различных минеральных вод, массу консервных коробок. Видимо, австрийские солдаты не имели походных кухонь и не всегда получали горячую пищу. Зато у них не было и таких ходов сообщений, как наш сапановский, в котором за зиму так много было перебито народу. Правда, местность за австрийскими окопами не такая болотистая, как перед нашими, а пересеченная, позволяющая скрывать не только приходящих, но даже и привозить продукты. К самой второй линии окопов подходит узкоколейная дорога, по которой подвозились припасы, снаряжение и продовольствие.

До часа дня полк был занят учетом потерь, ознакомлением с австрийскими окопами, установлением трофеев, а после часа наша артиллерия снова открыла ураганный огонь по третьей позиции австрийцев, которая проходила около Вербы.

С третьей линией пришлось повозиться, так как артиллерийский огонь стал более слабым, чем утром. Тяжелые орудия перенесли свой огонь на артиллерийские батареи, находившиеся за третьей линией. К вечеру наша артиллерия заставила молчать артиллерию австрийцев, после чего перенесла свой огонь на окопы, и вскоре эти окопы оказались в наших руках. Пленных взяли видимо-невидимо. Думаю, что не меньше десяти тысяч. Их гнали до самой поздней ночи.

— А у нас потеряли много?— спросил я.

— Как будто не особенно. Во всяком случае в 9-й и 12-й ротах, в которых мне пришлось быть лично, не говорили, что у них много побито. Правда, шло очень много раненых, которые могли двигаться на перевязочные пункты сами, немало раненых я встретил и в самих окопах. Убитых же как будто не так много. Пока своих потерь полностью еще не подсчитали. В австрийских окопах трупов много, много и раненых, но живых взято в плен несравненно больше.

В 12 часов ночи нашим телефонистом подслушана телефонограмма штаба полка, адресованная в штаб дивизии, в которой сообщались результаты боя 22 мая. Телефонограмма гласила:

Лихим ударом 11-го и 12-го полков Сапановские укрепленные позиции австрийцев взяты. Полки заняли первые три линии австрийских окопов. Взято в плен 120 офицеров, 3000 нижних чинов. Захвачено 30 минометов и бомбометов, 12 орудий и 85 пулеметов. Кроме этого, большое количество ручного оружия. Наши потери: офицеров убитыми — 8, ранеными и контуженными — 17, нижних чинов убитыми — 350, ранеными и контуженными — 800. Дальнейшее наступление предполагается с утра следующего дня.

Смотря на число убитых и раненых, можно сказать, что из двух полков, принимавших участие в наступлении на Сапановские позиции, выбыло свыше одной четверти их штатного состава, а так как обычно в бою принимают участие штыки и сабли, т. е. лишь строевые части, находящиеся в окопах, то надо признать, что полк потерял добрую половину своего состава.

Следующие два дня прошли в относительном затишье. Войска 3-й дивизии продвинулись вперед на расстояние всего лишь трех-четырех километров, встретив дальше на своем пути новые, сильно укрепленные австрийские позиции, перед которыми и застряли до момента, пока наша артиллерия не передвинется ближе к Сапанову. Саперные части и команды брошены на устройство гати по сапановскому болоту для продвижения артиллерии непосредственно к Сапановской позиции, ибо с того места, с которого стреляла артиллерия 22 мая, обстрел австрийских позиций, встреченных на пути за селом Верба, за дальностью расстояния невозможен.

Новую, чрезвычайно сильную канонаду пришлось услышать на рассвете 26 мая. Так же, как и 22-го, в три часа утра поднялся бешеный ураганный огонь, сотрясший землю даже у нас в обозе.

Наши войска перешли в наступление.

С большим нетерпением ожидали мы окончания обстрела, чтобы узнать о результате сегодняшнего боя.

К полудню стрельба притихла.

Мимо Рижских казарм по шоссе в сторону Дубно, с одной стороны, и к Кременцу, с другой, тянулись колонны раненых и австрийских пленных. Появление огромных толп пленных свидетельствовало об успехе наших войск. Значит, и эту позицию полки 3-й дивизии взяли...

В шесть вечера неожиданно прибыл поручик Ханчев. Вид Ханчева показывал о его непосредственном участии в бою. Грязный изорванный мундир и штаны от лежания в окопах, следы грязи на лице. Бледный, измученный.

— Что с тобой, Алексей Павлович? Ранен?

— Нет, контужен только. Дай, отдохну, а потом поговорим.

Я предложил свою кровать. Приказал Ларкину срочно вскипятить чай. Добыли в аптечном складе спирта. Выпив спирту и несколько стаканов чаю, Ханчев пришел в себя и рассказал о пережитом за последние четыре дня.

— Тебе хорошо,— начал он,— что застрял в обозе. Меня же из Судовичей с места в карьер бросили в Сапанов, на тот самый участок, на котором мы с тобой сидели зимой. Не успел я пробыть в роте и нескольких часов, как поступило распоряжение приготовиться к атаке. В двенадцать ночи мы снялись с первой нашей линии, сменившись резервными солдатами, и стали ожидать артиллерийской стрельбы. Артиллерия начала стрелять на рассвете. Близость австрийских окопов заставляла нас бояться, что наши снаряды могут попадать в своих солдат. К счастью, этого не случилось. Артиллерийский обстрел был настолько силен, что австрийцы были совершенно парализованы.

На наших глазах на расстоянии нескольких десятков шагов происходило разрушение австрийских проволочных заграждений. Тяжелые снаряды, разрывая проволоку в клочья, образовывали широкие проходы для продвижения наших солдат. Австрийские окопы заваливались землей.

Пытавшиеся бежать из первой линии окопов австрийцы настигались нашими снарядами на полпути и здесь же рвались в клочья.

К половине пятого со стороны австрийцев не было признаков жизни. Обстрел продолжался лишь с нашей стороны. Около пяти, вслед за окончанием артиллерийской стрельбы, мы быстрым налетом захватили первую линию окопов. Сопротивления никакого не было.

Первая линия нами занята почти без потерь. Что только представилось глазам в этих окопах! Огромное количество убитых австрийцев, масса разорванных в клочья. Тут же совершенно обалдевшие, растерявшиеся люди, лишенные разума, не понимающие, что вокруг них происходит. Я думаю, что из всей первой линии не осталось ни одного полностью уцелевшего человека.

Вскоре перешли в наступление на вторую линию. Разрушений проволоки перед второй линией было меньше, и нам пришлось пустить в ход ручные ножницы. Я сам застрял в первой линии, руководя действиями своих взводов через посыльных. Но видел, как расстреливали наших солдат, застрявших перед неразбитыми проволочными заграждениями, почти в упор.

Но вот взята и вторая линия. Некоторый интервал во времени. Затем наступление на третью линию. Во время этого наступления у меня убили прапорщика Плохотного, ранили Патютко, сильно контужен Жуков, убили Лапшина (подпрапорщика) и много старых солдат.

Когда мы стали к концу дня подсчитывать свои остатки, то я недосчитался половины людей роты. Правда, мы взяли много австрийцев в плен, много захватили трофеев, значительно больше захватили, чем потеряли, но все же велика потеря и в роте.

После этого боя мы сидели сравнительно спокойно три дня, пока наша артиллерия меняла свои позиции и продвинулась ближе к Сапанову. Но что произошло сегодня, я сейчас передать не в состоянии. Было что-то кошмарное. Сегодня мы перешли в дальнейшее наступление, но совершенно неожиданно 12-я рота благодаря идиотству Савицкого попала в исключительно скверное положение. Есть еще спирт?

Я налил еще стакан разведенного спирта. Ханчев выпил. Пролежал несколько минут молча. Попросил сделать ему

на голову компресс. Старался собраться с мыслями, чтобы продолжить свой рассказ.

— Спи, потом расскажешь.

Не желая утруждать Ханчева дальнейшим рассказом, я вышел из землянки. Вернувшись часа через два в землянку, я застал Ханчева сидящим за чаем, разговаривающим с Ларкиным и своим денщиком Хабидулиным о хозяйственных делах.

Ханчев спрашивал, где находятся повозки, в которых хранятся вещи третьего батальона (они находятся в обозе второго разряда), сколько времени надо пройти пешком до Лутовищ, чтобы принести оттуда белье и другие вещи. Я просил его не беспокоиться посылкой денщика за двадцать километров, взять белье у меня и пойти вымыться в импровизированной бане, которую мои солдаты устроили при обозе.

Ханчев сходил в баню, надел чистое белье, новую суконную солдатскую гимнастерку и штаны и через час вновь сидел со мной за чаем. Шутливый оттенок был в его голосе.

— Спасибо, что накормил и напоил, особенно за последнее,— смеялся он.— Теперь я совершенно здоров. Я думаю, что я не столько контужен, сколько измучен и издерган. Сейчас шум в ушах прошел, голова посвежела, лишь чувствую себя несколько разбитым. Думаю, что, прожив у тебя несколько дней, смогу обратно вернуться в роту.

— Живи сколько угодно, а главное — сколько позволят,— пошутил я.

— Расскажу все по порядку. Наступление 22 мая велось более организованно, чем когда-либо. Это мы приписываем непосредственному руководству Музеуса, который разместился по соседству с наступающими частями. Офицеры были вместе с частями, и даже Савицкому не удалось изловчиться застрять где-нибудь при штабе. Радцевич находился на расстоянии каких-нибудь четырехсот метров от первой линии окопов.

Таким образом, первый день прошел хорошо. Солдаты видели, что офицеры не отстают, находятся близко и подвергаются такой же опасности. Зато в последующие дни стало по-иному. Первые три дня мы сидели в третьей ли-

нии австрийских окопов, затем подошли к их следующей оборонительной линии, проходившей за деревней Вербой. Музеус к этому времени перешел в Сапанов, там же остался и Радцевич. Савицкий, сославшись на сильную контузию, тоже застрял в сапановских окопах и дальнейшим наступлением решил командовать через ординарцев, находясь в трех-четырех километрах от рот. Вечером Савицкий передал по телефону, что он плохо себя чувствует и поручает мне старшинство над третьим батальоном. Я созвал ротных командиров, распределил между ними роли и решил, что, поскольку 12-я рота уже достаточно потрепана, наступление на впереди находящуюся новую линию австрийцев поведут первые три роты батальона, а 12-я будет при мне все время в резерве.

Точно по расписанию, вслед за артиллерийским обстрелом первые три роты двинулись в наступление, оставив при мне своих связистов. Роты начали наступать на правый фланг австрийских позиций, находившийся далеко влево, примерно за полкилометра от участка моей роты. Левый фланг австрийцев упирался в Судовические болота, откуда, как мне казалось, ожидать каких-либо сюрпризов оснований не было.

На всякий случай я выставил караул для наблюдения за левым флангом австрийцев. То ли мои наблюдатели прозевали, то ли условия местности таковы, но вскоре после выхода в наступление прибежавший ко мне Шурыгин испуганно доложил, что на нас с фланга наступают немецкие колонны. Я выскочил из землянки. Вижу, действительно, на расстоянии 500—600 шагов движется немецкая часть в количестве 250—300 человек. Позвал к себе пулеметчиков Махова, Шурыгина и Коптева.

Затаив дыхание, ждали мы приближения немцев. При только что взошедшем солнце нам был заметен каждый немец. Они шли равномерно, четко, сомкнутой колонной. Подпустив их шагов на 300, мои пулеметчики одновременно из трех пулеметов открыли по ним огонь. Немцы шарахнулись, бросились на землю окапываться. Но пулеметы так резали, что через какие-нибудь десять минут вся колонна осталась пригвожденной к земле. Тут я бросил на немцев

свой первый взвод, который целиком захватил уцелевших, разоружил и в сопровождении нескольких солдат направил в Сапанов.

Прошло полчаса. Видим опять со стороны Судовических болот новую группу немцев. Повторяем тот же маневр и через полчаса забираем почти полностью ее в плен.

Прождали еще с полчаса. Снова оттуда же выходит колонна людей, численностью значительно больше предыдущих. Тут мне пришлось ввести в бой, кроме своей роты, еще оттянутую от наступления полуроту 9-й роты. Новая немецкая колонна шла с большими предосторожностями и уже не сомкнутым строем, а врассыпную. Бой с ней продолжался не меньше двух часов. Положение 12-й роты стало в высшей степени угрожающим. Немцы упорно накатывались и шаг за шагом продвигались вперед. Звоню по телефону Савицкому о высылке резервной роты на помощь. Савицкий отвечает, что в его распоряжении ничего нет. Звоню непосредственно Моросанову. Моросанов отвечает, что сделал распоряжение Савицкому обеспечить разгром наступающих на 12-ю роту немцев. От Савицкого ни звука. Приходится выводить еще одну роту из расположенных на австрийском правом фланге. В это время к немцам подходит подкрепление.

Я даю поручение Шурыгину срочно добежать до 11-й роты, передать, чтобы Осипов обратил свою роту на наступающих немцев и взял в обстрел с фланга.

Ты можешь себе представить, какое волнение пришлось пережить в ожидании подкрепления. На наше счастье, австрийская артиллерия в это время молчала. Немцы продолжают упорно, хотя и медленно продвигаться вперед. Расстояние между 12-й ротой и немцами дошло до 150—200 шагов. Стволы наших пулеметов накалились докрасна. Пулеметчики говорят, что еще несколько минут такой интенсивной стрельбы — и пули будут разрываться в канале ствола. Отступать поздно и некуда. Выход из положения один: перейти в контратаку, хотя и небольшими силами, задержать немца на этом месте до подхода 11-й роты. Приказал 12-й роте перейти в наступление. С отчаянным криком «ура» люди бросились на немцев. Те оторо-

пели. Произошло замешательство, длившееся около пяти минут. Мои люди напали на немцев со штыками наперевес, а в это время справа, позади левого фланга, слышим звуки нашего «максима».

Ура! — 11-я рота подошла вовремя.

Стесненные немцы бросились отступать.

Наскок 12-й роты, энергичное наступление 11-й — и немецкий батальон в наших руках. Захватили в плен одних офицеров не меньше пятнадцати. Оказалось, это был Баварский егерский батальон, только что прибывший из центра Германии для подкрепления Сапановского участка австрийской армии. Этот батальон был брошен в бой почти из вагонов. Весь батальон в полторы тысячи человек захвачен, можно сказать, одной 12-й ротой, — с гордостью закончил Ханчев. — Я не помню, когда был контужен, но после допроса немецких офицеров и отправки всего захваченного в тыл со мной сделалось дурно. Мой денщик привел меня к тебе.

Телефонист принес телефонограмму из штаба полка за подписью Моросанова, в которой сообщалось:

Нашими войсками очищена от австрийцев их позиция у Каменной Вербы. Австрийцы в беспорядке отступают к Бродам. Полку приказано повести энергичное наступление на отступающего австрийца. Командиром полка приказано вам сдать обоз 1-го разряда фельдфебелю, а самому срочно явиться в штаб для получения нового назначения.

Прочел телефонограмму Ханчеву.

— Теперь ты отдохнешь вместо меня. Я сейчас донесу в штаб полка, что обоз сдал не фельдфебелю, а отдыхающему здесь поручику Ханчеву.

Сапановские окопы неузнаваемы. Это пустынные катакомбы средневековых времен без всякого признака каких-либо живых существ. За Сапановом — Малый Сапановчик, бывший ранее районом расположения австрийцев.

Глазам представилась картина глубоких австрийских окопов, в значительной своей части разваленных нашими снарядами. Повсюду следы большого разрушения, произ-

веденного артиллерийскими обстрелами. Тут и там можно было наткнуться на куски проволоки, рогатки с проволочными заграждениями, выброшенные с мест их установки тяжелыми снарядами. Не удержался, чтобы не заглянуть в землянки австрийских офицеров, в «лисьи норы» около этих землянок.

Лишь на карте были знаки, что в этом месте стоял когда-то Сапанов, да по отдельным развалинам и обломкам кирпича и глинобитных стен можно было предположить, что в этом месте было селение.

Жители этих деревень еще осенью прошлого года были выселены в другие районы. Но они уже здесь, хотя всего несколько дней назад здесь происходили кровавые бои.

Группа крестьян человек в 20—25 с лопатами рылись на месте бывших окопов в поисках, может быть, зарытого здесь их имущества.

За Малым Сапановчиком, по дороге, ведущей к селению Каменная Вербка, встречались сооружения, устроенные австрийцами за период зимней стоянки. Узкоколейные дороги, благоустроенные гати, огороды с посевами различных овощей — все это свидетельствовало о большой внимательности к своему тылу со стороны австрийцев.

К моему удивлению, я совершенно не замечал варварского отношения к местным природным ценностям со стороны австрийцев. Простояв больше полугода на позиции Иквы, австрийцы, очевидно, были уверены в прочности своего положения, что не производило сколько-нибудь бросающегося в глаза разрушения. Скорее можно заметить большую хозяйственную работу, какую ведет добрый хозяин в своем собственном имении.

В сумерки въехал в Каменную Вербку, большое селение, насчитывающее свыше тысячи крестьянских домов, утопавшее в типичной украинской зелени, т. е. в вишневых и фруктовых садах. Жителей в селении достаточно. Правда, не видно взрослого мужского населения.

Выехав на середину селения, на большую площадь, на которой расположена церковь и школа, я остановился навести справку о моем дальнейшем маршруте. На мое счастье, навстречу показалась повозка, в которой сидел пору-

чик Попов. Обрадованный встречей, я соскочил со своего скакуна к поручику с вопросом, как проехать к полку.

— Штаб полка отсюда километрах в восьми-десяти,— сказал Попов.— Около него все роты, чтобы завтра с рассветом двинуться к Радзивиллову. Я только сейчас оттуда, еду в обоз, чтобы передохнуть от боев и полученной контузии. А ты откуда?

— А я из обоза, вызван в штаб полка для назначения на новую должность. Догоняю полк.

— Далеко ли до обоза 2-го разряда?

— Был в Лутовищах, а теперь не знаю.

— А обоз 1-го разряда?

— Я его оставил за Рижскими казармами вместе с Ханчевым, который прибыл туда на отдых.

— Я страшно устал и боюсь, что не смогу проехать этих десяти километров. Уже темнеет. Давай остановимся здесь, заночуем.

— Мне не особенно удобно,— возразил я.— Телефонограмма от Моросанова гласит, чтобы я как можно скорее прибыл в штаб полка.

— Эка важность! Я говорю, что штаб полка остановился на ночлег в деревне Торжинской и лишь завтра с рассветом пойдет к Радзивиллову. Ты можешь переночевать здесь, а с рассветом выехать и догнать его.

Я согласился.

Вошли в одну из ближайших хат, показавшуюся нам наиболее приличной по своему внешнему виду. Были встречены несколькими крестьянками, любезно предложившими нам занять чистую горницу. Пока я расспрашивал Попова о ходе боя, в котором он принимал участие, и выслушивал его рассказ, аналогичный тому, что знал уже от Ханчева, молодая крестьянка внесла большой горшок с кипяченой водой, так называемую «баняку», в котором мы заварили чай.

— Ты помнишь, Николай Алексеевич,— обратился я к Попову,— за время стоянки в Сапанове нам все время твердили, что австрийцы чрезвычайно скверно относятся к пленным и к мирному населению и что в местах, зани-

маемых австрийскими и немецкими войсками, не остается ни одной женщины, ими не изнасилованной.

— Помню.

— А ты не пробовал спрашивать: действительно это так или все это было вранье?

— Не спрашивал я, да и некогда было спрашивать. С 22 мая и до сих пор я не имел возможности по-человечески не только поесть, но и поспать.

— Давай сейчас спросим.

Я вышел в другую половину хаты, где находились три молодых крестьянки-украинки, стряпавшие себе ужин из картофеля и молока.

— Можно кого-нибудь попросить зайти к нам в горницу?

Одна из женщин, высокая, стройная, лет двадцати шести-семи, с приятным, открытым лицом, ответила:

— Зараз буду.

Я вернулся обратно в горницу. Минут через пять она вошла в сопровождении, очевидно, своего сынишки, лет шести-семи.

— Садитесь,— обратился к ней Попов.— Не хотите ли кружку чая?

— Спасибо, барин, я пойду сейчас ужинать.

— Мы хотели вас спросить,— продолжал Попов,— правда ли, что австрийцы плохо обращались с вами?

— Конечно, правда. Чего же ждать от них хорошего. Коняку забрали, быдло одно забрали, жита половину забрали. Дида с повозкой увели уже месяца два, и сейчас нет.

— Так плохо, значит, жилось?

— Очень, барин, плохо. Дюже плохо, а ниц не зобишь — война.

— Ведь коняку, быдло, жито и русские берут,— заметил я.

— То верно, но то свои бы брали, а то австрияки.

— Ждали вы, что русские придут?— снова начал спрашивать Попов.

— О... нет, не ждали. Все говорили, что русским капут, больше не придут, а когда мы увидели, что австрийцы утекают, то нам стало ясно, что они брехали.

— Что же, рады вы русским?

— Как же не радоваться, мой мужик в армии, авось придет, если жив еще.

— А скажите,— обратился я к ней,— австрийцы с женщинами действительно плохо обращались?

— Как плохо?— не поняла она.

— Да так, что лапали вас, заставляли с собой ночевать.

— Ой, что вы, барин, разве это можно!

— А вот мы слышали, что там, где австрийцы появляются, они сейчас же девиц и жинок гонят в баню, а потом к себе спать тащат.

— Э, нет, у нас такого не бывало.

— Может быть, в других местах было?

— Не знаю, было ли в других местах, а у нас были очень обходительные. Если какая жинка сама захочет, то ей ничего не поделаешь, а чтоб силой тащить, так этого не было.

— А много было таких жинок, которые сами хотели?

— Какое много, разве непутевая какая. У нас на селе одна Зоська этим занимается, так у нее всегда было полно и офицеров и солдат, а к другим ни-ни... — и она энергично замахала головой.— Австрияки плохие, хуже наших, особенно мадьяры, с ними не поговоришь, от них ничего не поймешь, но когда наступала весна и надо было сеять жито, то они своих коней давали на посев, а у кого своего жита не было на обсеменение, то и жито давали.

— Ну, спасибо вам за рассказ, идите себе ужинать.

— Ну, что,— обратился я к Попову,— значит, брехали в наших газетах, что австрийцы и немцы насилуют баб?

— Черт их знает, может быть, и брехали, да и нельзя не брехать,— война, а во время войны надо разжигать инстинкты. Как заставить солдата идти в наступление, если не говорить, что неприятель надругался над верой, над женами и детьми? По совести говоря, у нас в тылу, пожалуй, больше безобразий творится, чем тут. Все-таки австрийцы и немцы куда культурнее русского воинства,— произнес он иронически последние слова.

Утро свежее, напоминающее ранние весенние заморозки. Неприятно щекотало не пробудившееся от сна тело. Проехав рысью километра четыре-пять, я опустил поводья, предоставив скакуну двигаться шагом, по его усмотрению. Проехав еще около часа, очутился на мало заезженной тропинке, пролежавшей среди леса.

Задумался, потерял ощущение времени.

Солнце уже высоко. Странно, что до сих пор я не только не догнал полк, но даже не встретил никаких признаков нахождения здесь русских войск.

Достав из сумки карту, установил, что я отвлекся от пути вправо, километра на четыре. Взял вперед к дороге. Отъехав метров двести, я заметил на правой опушке леса несколько всадников и направился в их сторону. Проскакав небольшой участок пшеничного поля, неожиданно понял, что это не русские, а австрийцы. Они остановились и тоже смотрели в мою сторону, стараясь разобрать — русский я или австриец.

Я стоял как раз посередине поля, в ста метрах от ближайшего лесочка.

Вперед или назад? Впереди группа австрийцев из шести человек. Назад... Будут стрелять в спину... Спешиться, бросить своего скакуна — жалко.

Пригнулся к луке седла, пришпорил скакуна — к лесочку, около которого находились австрийцы, но влево от них, стремясь выиграть время, ибо до этого лесочка расстояние было короче. Мой скакун, точно угадав опасность, понесся галопом.

Жду стрельбы — нет. Выглядываю в сторону австрийцев и вижу, что последние снимают с плеч карабины.

Успею ли добраться до леса?

Еще больше пришпориваю скакуна. Последний делает все возможные с его стороны усилия, чтобы быстрее скрыться во впереди лежащих деревьях.

Вот и лес. К досаде, на пути широкая канава, и я боюсь за своего скакуна: сможет ли он ее осилить. Но скакун не выдает, делает отчаянный прыжок — и я по ту сторону канавы.

Ну, теперь посчитаемся. Хотя их и шестеро, а у меня только один наган с семью патронами, но в кобуре имеются еще запасные. Спрыгиваю с лошади, становлюсь за одно из крупных деревьев. Выжидаю, что будет дальше. Прислушиваюсь — нет ли преследования. Молчание. Бросив поводья на один из сучьев, сам потихоньку пробираюсь к опушке посмотреть, что делают австрийцы. К моему удивлению, шесть человек удирают в противоположную сторону.

Опасность миновала.

Австрийцы, очевидно, подумали, что я один из разведчиков и что позади меня движутся колонны русских.

Вернулся к скакуну, вытер листвой его вспотевшую спину, передохнув несколько минут, вышел потихоньку к полю, но — увы! — препятствие. Широкая канава, через которую перескочил мой скакун, теперь не дает возможности выбраться из леса. Пришлась с полкилометра вести скакуна на поводу, чтобы наконец добраться до просеки, где канава мельче.

Снова смотрю на карту. Ехать вперед уже не рискую. Направляюсь обратно на торную дорогу, чтобы встретиться с полком. И только что выехал из леса, как перед моими глазами предстал во всем своем вооружении наш полк,двигающийся в сторону Малой Креницы. Оказывается, я его перегнал на целый час. Пришпорив скакуна, я бросился почти галопом к штабу.

Первыми попались на глаза полковой поп, о. Николай, и Моросанов.

— Чего это, прапорщик, вид у вас такой торжественный?— обратился ко мне поп.

— С австрийцами дрался, батюшка, только сейчас от них вырвался.

— Картой надо пользоваться, прапорщик, а так не только к австрийцу, но еще похуже куда угодить можно.

Подъехал к Моросанову. Тон его повышенный:

— Теперь мы гнать будем австрийцев до самого мира и получать кредиты, не то, что раньше было, когда под Сапановом сидели.

Вскоре подъехал Радцевич-Плотницкий, выехавший с места ночевки полка позже его выхода больше чем на час.

Я представился полковнику, заявив, что сдал обоз 1-го разряда поручику Ханчеву.

— Отлично сделали, прапорщик, я думаю вас назначить младшим офицером 12-й роты. Там сейчас безлюдь. Рота находится на руках одного фельдфебеля. Вы сегодня же вступите во временное командование ротой впредь до прибытия Ханчева, а потом видно будет.

— Слушаюсь.

Радцевич посмотрел на часы и распорядился двинуть полк дальше.

Прошли еще километра три. Лес окончился. Перед нами расстиралось широкое поле, засеянное хлебами. На самой опушке леса приютилось несколько хат селения Малая Креница.

Дальше за этим селением началась песчаная почва, чрезвычайно тяжелая для пешеходов и для повозок. Ноги вязли в песке, и солдаты с трудом продвигались вперед.

За Малой Креницей, километрах в трех — Радзивиллов, пограничное русское местечко, за которым через небольшое расстояние должен быть австрийский городок Броды. Радзивиллов — пограничный пункт, через который в мирное время русские путешественники ездили в Австрию.

За все время пути со стороны австрийцев не было никаких признаков жизни. Подошли к самому Радзивиллову. При входе в город полк был встречен старейшими жителями во главе с местным городским самоуправлением и духовенством с иконами и хоругвями, с хлебом-солью. Радцевич выехал вперед полка, принял хлеб-соль от депутации и сказал, что русское войско несет освобождение великого славянского народа и ждет в этом смысле содействия со стороны местного населения.

Церемония с поднесением хлеба-соли, а также ответная речь командира продолжалась не более десяти минут. Депутация стала расходиться, как вдруг со стороны австрийцев в сторону нашей колонны пронеслось несколько артиллерийских снарядов и откуда-то справа понесся пулеметный огонь. Полк, находившийся в походных колоннах, дрогнул, порядок колонн немедленно нарушился. Люди в поисках защиты от летящих снарядов и пулеметных пуль бросились

прятаться за близприлегающие здания. Командир полка с адъютантом Моросановым, а также попом укрылись в ближайшем крупном здании, оказавшемся гминным правлением. Я вместе с прапорщиком Завертяевым спрятался за одно из нежилых строений, неподалеку от гминного правления.

Около часа продолжался жесточайший обстрел нашего полка. Радцевич-Плотницкий, придя в себя от неожиданного обстрела, отдал распоряжение выслать первый батальон вперед в наступление на стреляющий по нам арьергард противника.

Первый батальон под командой подполковника Нехлюдова, рассыпавшись редкой цепью, пошел в сторону австрийских позиций. Обстрел прекратился лишь после того, как первый батальон выбил австрийских разведчиков с юго-западной окраины Радзивиллова и принудил сняться высланную австрийцами к самому Радзивиллову батарею.

Избрав себе в гминном правлении одну из комнаток, обращенную окнами в сторону противника, я завалился спать и спал почти до самого вечера.

Часов в шесть вечера — я был разбужен Завертяевым.

— Вставай! — толкал он меня в плечо. — Вставай — дела скверные!

— Почему? — не понимал я, протирая слипавшиеся от сна глаза.

— Мы попали в окружение.

— В окружение?

— Да посмотри только, что кругом творится.

Я быстро вскочил на ноги и подбежал к окну. Радзивиллов горел в нескольких местах.

— Где же окружение? Просто пожары!

— Смотри — горит справа, слева, прямо.

— А позади горит?

— Позади нечему гореть, мы на окраине. Позади поле.

— Какое же окружение, коли горит впереди и по сторонам? И из-за этого ты меня разбудил?

— Все встали, все на ногах. Ты посмотри, у нас уже лошади запряжены.

— Не понимаю, почему!

— Я всегда считал, — разозлился Завертяев, — что прапорщик, не окончивший военного училища, не офицер.

— А я считаю, — разозлился я в свою очередь, — что прапорщик, окончивший военное училище и вдающийся в панику при виде одного пожара — хуже курицы.

— Ты, вероятно, не проснулся?

— А ты пьян, что ли?

И мы, как два петуха, стояли друг против друга, готовые вцепиться. В это время в комнату вошел Земляницкий. От него здорово разило спиртом.

— Здорово, Оленин, и тебя пригнали?

— Не пригнали, а вызвали.

— Это все равно. Ты малый хороший, а вот эта шпана, — показал он на Завертяева, — так въелась в штаб, что никак не оторвешь. Выпьем! — и он похлопал висевшую у него сбоку фляжку.

— Откуда это у тебя?

— Э, брат, недаром я временно командую 4-м батальоном, хотя и получаю жалованье как младший офицер.

— Почему такая тревога, Квинтилиян Аполлинариевич?

— Какая тревога, где?

— Да вот Завертяев прибежал, разбудил меня, говорит, что все горит, что мы окружены.

— Э, плюнь ты на него! Давай выпьем!

— Спасибо, что-то со сна не хочется.

— Ну, значит, ты дурак. Пьешь ли ты или нет — все равно убьют. Уж лучше пусть меня убьют пьяным. Стакан есть?

Я раскрыл свой саквояж. Из фляжки потянулся аромат коньяка. Завертяев презрительно смотрел на Земляницкого:

— И это офицер русского воинства: в момент решительных боев налимониваться!

— Я предпочел бы, чтобы воинственное офицерство в момент боев было в боях, а не пропадало при штабах, — не менее презрительно отчеканил Земляницкий. — Ты зна-

ешь,— обратился ко мне Земляницкий,— вот эти штабные остолопы,— кивок в сторону Завертяева,— вообразили, что евреи подают знаки о нашем приходе в Радзивиллов, делая этот вывод потому, что в нескольких местах города начались пожары. Совершеннейшие ослы! Забыли, что при нашем вступлении в город нас ошарашили артиллерийским и пулеметным огнем. Вероятно, они думают, что стреляли не по полку, а по свиньям,— конечно, я не отрицаю, что и свиней в полку достаточно. Ну, вот, видите ли, теперь они боятся, что евреи донесут противнику о прибытии полка в Радзивиллов. Дураки!

Он налил полстакана коньяку, выпил его залпом, закурил папиросу и затем, обращаясь к Завертяеву, снова начал:

— Скажи, пожалуйста, юноша, с какой стати евреи станут дома поджигать, когда австрийцам и так великолепно известно, что русские уже заняли город и что третий батальон стоит впереди Радзивиллова в окопах? Разве евреи жгут? Русские жгут! Ведь как, стервы, набросились на винные лавки и на подвалы! Перепились, мерзавцы, и спьяну разводят костры прямо в хатах. А если развести костер прямо на полу, вот в этой комнате? Как ты думаешь,— иронически смотрел он на Завертяева,— загорится комната или не загорится, или, может быть, ты, господин Заверткин,— Земляницкий иначе не называл Завертяева, как Заверткин,— прибежишь заливать из своей кишки?

— Вы, господин поручик, пожалуйста, не ругайтесь. Я пришел по распоряжению адъютанта полка предупредить Оленина, чтобы он не остался здесь спящим, если вдруг полк отступит.

— А, от Моросанова, точно такого же остолопа, как и ты!— и Земляницкий налил себе еще из фляги коньяку.

Оставив Земляницкого в самочинно занятой мною комнате, я пошел проведать своего скакуна, оставленного на привязи у одного из сараев, позади гминного правления. Скакун, не получавший со вчерашней ночи фуража, понуро глодал деревянный столб. Я разыскал и попросил полкового фуражника дать фуража для скакуна и поставить его в конюшню штаба.

Окончив заботы о лошади, пошел к Моросанову.

— Был у меня Завертяев,— начал я,— пугал, что мы находимся в окружении, о чем свидетельствуют, мол, пожары в городе. В каком положении мы действительно находимся?

— Что пожары в городе, это верно, и, конечно, это дело рук австрийских шпионов. А вообще о нашем окружении не может быть и речи. Мы настолько сильно тесним австрийцев, что они еле успевают улепетывать. Я только что говорил с командиром полка, он находится в полной уверенности, что австрийцы не позднее, как сегодня ночью, очистят и Броды.

— А, по-моему, все же пожары не оттого, что шпионы сигналы подают, а потому, что наши солдаты неосторожно обращаются с огнем.

— Конечно, тут и солдаты виноваты, однако командир прав, считая, что пожары — дело рук шпионов, а евреи — это основная шпионская масса австрийцев.

— Что же вы собираетесь дальше делать?

— Командир еще два часа тому назад говорил по телефону с командиром дивизии Шольпом о необходимости очистить весь город от жителей.

— Весь город очистить от жителей?— удивился я.

— Как же вы не понимаете, если мы здесь задержимся на позиции, то ведь жители нас будут стеснять.

— А вы представляете себе, что здесь будет тысяч пять жителей?

— По-моему, даже больше.

— И как же вы очистите город от них?

— Очень просто. Прикажем выселиться, и больше ничего.

— Куда же они пойдут?

— В Кременец, Дубно, куда угодно... В тыл.

Я удивленно пожал плечами.

Справился, когда будет подписан приказ о моем назначении в роту, и, получив ответ, что оформление состоится не позднее завтрашнего дня и что я смогу еще ночевать при штабе, вернулся к себе.

Перед сумерками пошел посмотреть Радзивиллов. Первое, что бросилось в глаза — это рассыпавшийся по всему городу батальон под руководством полицейской команды, оповещающей жителей о немедленном выезде из Радзивиллова. Плач, стоны, ругань, мольбы, крики — неслись из каждого дома. Полицейская команда твердо проводила полученный приказ очистить город к ночи.

Через какой-нибудь час мимо штаба потянулись жители на три километра от Радзивиллова, до Малой Креницы. За Малой Креницей в лесу выселяемое население расположилось табором. Я задержался почти до рассвета около этого табора, переходя от одного костра к другому, стараясь прислушиваться к разговорам. Понял мало, — речь велась преимущественно на непонятном мне еврейском языке. По отдельно вырывавшимся фразам можно было слышать проклятия, посылаемые по адресу русского войска. Огромные толпы людей, навьюченные домашним скарбом, с маленькими детьми, большинство из которых — босые, двигались к лесу, останавливаясь около костров, разведенных пришедшими сюда ранее.

В Радзивиллов вернулся утром. Там уже не было ни одного мирного жителя. Все здания заняты людьми полка, которые не только являлись простыми квартирантами, но и мародерами оставленного населением имущества. Почти на каждом дворе летал пух из вспоротых подушек и перин. Ни в одной квартире не остались не вскрытыми сундуки и шкафы. Мебель, посуда — все это ломалось, коверкалось. Обшивку мебели — плюш, бархат, кожу — сдирали: одни на портянки, другие на одеяла, третьи просто так себе, озорства ради.

Офицерство всех батальонов, пользуясь тем, что позиция проходила по самой окраине города, расположилось не в окопах, как это обычно делалось, а в домах, производя там ревизию оставленного имущества.

Придя в третий батальон и явившись к командиру батальона Савицкому, я застал его в шикарном особняке сидящим на корточках около большого комода за разборкой дамского белья.

— Зачем вам все это, Николай Федорович? — спросил я.

— В хозяйстве всякая вещь годится.

Во втором батальоне подполковник Приезжев, считавшийся в мирное время интеллигентным офицером, нагрузил вещами несколько повозок и дал инструкцию своим денщикам, как с этими повозками добраться до Тулы.

Если в первую ночь из Радзивиллова вереницами выходили нагруженные домашним скарбом жители, то с утра следующего дня отсюда же потянулись повозки с награбленным имуществом, сопровождаемые денщиками.

Маршрут небольшой. Всего полторы тысячи верст.

Савицкий созвал у себя ротных командиров, рассказал множество анекдотов и в конце зачитал полученное им из Острога письмо старшего по сопровождению повозок, отправленных офицерами батальона в Тулу с награбленным в Радзивиллове имуществом.

— Ха, ха, ха! — острил Савицкий. — Острог проехали, и, будьте уверены, мы с вами в острог не попадем. Одно досадно — уж больно мы торопились тогда и лишь чистое выбрали. А ведь в чистых-то шкапах остались второстепенные предметы, зато в корзинах с грязным бельем, когда я покопался, — такие шедевры обнаружил, которых моя жена да и ваши тоже и во сне не видели. У себя в квартире я все осмотрел и все закопал. Придется просить Мокеева еще лошадку дать. Правильна пословица: «Поспешность нужна только при ловле блох».

Савицкий вызвал денщика и приказал притащить корзину, поднял крышку и демонстративно начал выбрасывать оттуда ее содержимое.

— Вот видите, — потряхивал он панталонами, — из тончайшего полотна. Или вот рубашка, смотрите — кружева одни.

И он одну за другой вытаскивал принадлежности дамского туалета, причем некоторые из них были настолько грязны, что было противно смотреть.

— Николай Федорович, зачем вам все это? — возмущенно спросил я.

Савицкий ответил примирительно:

— Вы, прапорщик, еще холостой и детишек не имеете. Вы получали полгода тому назад шесть рублей, а теперь получаете сто пятьдесят. Вам, конечно, незачем это, а я уже пятнадцать лет офицерскую лямку тяну, и если на войне не заработать, то где же заработаешь? Ведь я не подрядчик и не архитектор. Унеси корзину!— озлобленно крикнул он денщику.

ГЛАВА III

РАДЗИВИЛЛОВ—БРОДЫ

Июнь, Радзивиллов

Живу в особняке вместе с Никитиным и Новоселовым. Ханчев продолжает быть на отдыхе.

Занятый нами особняк основательно разрушен.

Близость позиции позволяет австрийским пулям долетать до нашего дома. Стекла выбиты в окнах, обращенных в сторону окопов. Из обстановки сохранилась лишь ободранная мебель, наиболее же ценные предметы расхищены. В одной из больших комнат помещается библиотека, где я устроился со своей походной кроватью. Множество книг религиозно-богословского содержания, беллетристика, немного по экономике. Очень много изящных изданий по искусству, технике и литературе.

Радзивиллов быстро разрушается. Почти каждый день происходят то в одном, то в другом конце города пожары от неосторожного обращения наших солдат с разведением костров и топкой печей, в которых они готовят пищу, не довольствуясь получаемыми обедами из походной кухни.

Очистка квартир от ценного имущества производится поголовно всеми людьми полка. С легкой руки некоторых офицеров солдаты в свою очередь набивают вещевые мешки всяким барахлом.

— Куда это вам?— спрашивал я некоторых солдат.— Неужели до конца войны вы будете таскать всю эту дрянь в вещевых мешках?

— Ничего, ваше благородие, потаскаем. Австрийца разбили, небось теперь и мир скоро.

В ряде подвалов солдатами обнаруживаются запасы водки и вина.

Пока о них не стало известно офицерам, солдаты напиваются сами, но по мере обнаружения вино и водка забираются в офицерское собрание.

О. Николай обходит наиболее зажиточные дома под предлогом поискать книг для полковой библиотеки, оставшейся в Туле. Попутно с книгами забираются гравюры и картины. Все это грузится на повозки и отправляется в обоз 2-го разряда, откуда попечением начальника хозяйственной части отправляется в Тулу.

На позиции затишье. Слухов о наступлении нет, да и не с кем наступать. С 22 мая полк потерял три четверти своего состава и теперь ожидает со дня на день пополнения.

На всем Радзивилловском участке изредка небольшая перестрелка, главным образом в полдень, когда противник старается мешать раздаче пищи солдатам.

Через две недели вышел приказ оттянуть 12-ю роту к штабу для охраны полкового знамени. На самом деле оттянули для охраны штаба.

Офицеров разместили в гминном правлении. Солдаты же вырыли себе землянки. Мне выпало занять комнатку, выходящую окнами в сторону окопов.

В качестве наблюдательного пункта избран дом таможни, огромное пятиэтажное здание, с шестым чердачным этажом, с которого расстилается большой вид вперед на десятки километров. К дежурству на наблюдательном пункте привлечены младшие офицеры штаба и знаменной роты, т.е. нашей, 12-й. Приходилось сидеть с трех-четырёх часов утра до сумерек через каждые шесть дней.

Первый день моего сиденья на наблюдательном пункте прошел спокойно. Далеко из-за Брод австрийцы ежедневно посылали по несколько двенадцатидюймовых снарядов. Обычно эти снаряды рвались позади Радзивиллова. Во второе мое дежурство около часа послышался очередной выстрел двенадцатидюймовки. Снаряд пролетел около таможни, минут через пять второй. Третий... В страхе при-

таился за выступом каменной стены. Новый полет снаряда. Дверь в комнату распахнулась даже от сильного ветра.

Я отбрасываюсь в сторону, ударяюсь плечом о стену. Поднялся через несколько мгновений в полном недоумении. Разрыва снаряда не слышно. Переждав несколько минут, я выглянул в окно, но ничего не увидел. Тогда выбежал из занимаемой мною наблюдательной комнаты к слуховому окну, обращенному во двор здания, и увидел на дворе большое смятение. Быстро спустился вниз.

Полковник Иванов и бывшие около него офицеры были бледны, как полотно.

— В чем дело?— подбежал я к одному из них с вопросом.

Иванов смотрел непонимающими глазами.

В прилегающем к зданию таможенном сарае скопилась группа солдат. Подбежал к ним.

— Что случилось?

— Двенадцатидюймовый снаряд упал,— произнес один из них.

Я увидел стоящий посредине сарая огромный неразорвавшийся снаряд-чемодан.

— Посмотрите,— сказал один из унтер-офицеров,— как он пролетел.

Я увидел в основном здании таможни над вторым этажом огромную дыру, пробитую снарядом. На земле валялась осыпавшаяся в большом количестве штукатурка.

— Снаряд пробил здание,— докладывал солдат,— попал в подвал сарая, рикошетиловал, пробил пол и стал стоя на полу сарая.

Тут только я сообразил, что сильный шум, треск и ураган ветра, пронесшийся в чердачных комнатах, были вызваны полетом этого снаряда, пролетевшего на расстоянии семи-восьми шагов от меня.

Вскоре в сарай пришел Иванов в сопровождении ряда офицеров и приказал немедленно вызвать артиллеристов для разрядки снаряда, чтобы он случайно не взорвался и не поднял на воздух не только здание сарая, но и прилегающего здания таможни.

Лично мне больше попасть на наблюдательный пункт не пришлось, но через три дня двенадцатидюймовый снаряд еще раз пробил здание таможни и разорвался во дворе, убив несколько солдат. Воронка была глубиной в два с половиной метра при диаметре в десять метров.

Поручик Закржевский, временно командовавший 13-й ротой, рассказывал, какое действие произвел полет этого снаряда на Иванова. Иванов сидел со своими партнерами, ротными командирами, за игрой в преферанс. При приближении звука летящего чемодана Иванов, державший карты в руках, неожиданно и для себя, и для других съехал со стула под стол и там просидел минут пятнадцать после взрыва.

Ларкин, принеся из офицерского собрания обед, попросил разрешения отправиться в обоз в Малую Креницу. Я разрешил. Съев обед, я поставил металлические судки на окно и затем, написавши на родину несколько писем, прилег на койку отдохнуть. Койка приходилась на одном уровне с подоконником. Задремал. Вдруг на меня с шумом посыпались стоявшие друг на друге судки. В испуге вскочил. Но, видя, что кроме судков, на меня ничего не падает, подумал, что шутит кто-нибудь из офицеров роты. Однако по соседству никого не было. Осмотрел судки. В одном из них оказалась пуля. Австрийская пуля продырявила переднюю стенку, не пробив второй, столкнула судки, и они полетели на меня.

Неделю назад прибыло около тысячи солдат для пополнения полка. Командир приказал ротам спешно ознакомить вновь прибывших с условиями позиционной жизни и, для того чтобы вновь прибывшие быстрее освоились с обстрелом, приказал наряжать их в полевые караулы и вообще держать в первой линии окопов.

11 июля стало известно, что на следующий день нашему полку предстоит перейти в наступление на Броды. Нашу 12-ю роту у знамени успели сменить другой и отправить на присоединение к другим ротам 3-го батальона.

Перспектива идти в наступление не из приятных. Снова, как и раньше перед каждым наступлением, припоминал я все случаи своей жизни, подводил итоги, ибо неизвестно, удастся ли выйти из этого наступления живым.

Австрийские позиции находились от нашей на расстоянии восьмисот шагов. Чтобы до них добраться, надо было пересечь большой луг по совершенно открытой местности. Австрийские же окопы помещались впереди опушки леса, шагах в ста. Прикрытием их тыла служил Бродский лес, который скрывал продвижение подкреплений и подвоза к австрийским окопам огнеприпасов и продовольствия.

В диспозиции было сказано, что наше наступление будет поддерживаться сильнейшим артиллерийским огнем, который должен смести проволочные заграждения перед австрийскими позициями.

Увы! Тщетно мы ждали этого «сильнейшего артиллерийского огня». Артиллерия стреляла «через час по чайной ложке». Несколько отдельных, редких выстрелов из тяжелых орудий — и затем обычная трехдюймовая шрапнель. Австрийцы со своей стороны ответили гораздо более мощным обстрелом нашей позиции и нашей артиллерии.

Часов в шесть утра, по всем правилам рассыпного строя, мы выбежали из окопов, делая одиночные перебежки, накапливаясь постепенно на встречающихся небольших холмиках или межах, и, передохнув здесь несколько минут, двигались дальше.

Вот австрийские окопы! Бешеный пулеметный обстрел — точно град над нашими головами. Уткнулись в землю, боясь поднять головы, так как казалось, что жужжащие, точно рой пчел над головами, пули немедленно пронзят. Солдаты дрогнули. Некоторые сделали было попытку вернуться назад, но эту попытку пришлось решительным образом пресечь, вплоть до обращения своего револьвера по дрогнувшим трусам. После часа лежания стрельба несколько стихла.

Уловив удобный момент, наша цепь снова поднялась и стремительными прыжками бросилась к проволоке. К нашему счастью, проволока не была сплошной — были в отдельных местах проходы, которые позволили направить в

них отдельные группы солдат. Шедшая позади резервная цепь влилась в передовую, и совместно более густыми рядами мы преодолели проволоку.

Австрийцев в окопах застали немного. Они отошли к самому лесу, где у них была вторая линия окопов.

Думать о наступлении на вторую линию было трудно. Множество людей выбито из рядов. Многие остались на пройденном поле убитыми и ранеными. Остановились в ожидании распоряжений начальства — из штаба полка передали приказание приостановить наступление и окопаться на достигнутом рубеже. До ночи успели выкопать ручными лопатками небольшие окопы, в которых можно укрыться лишь лежа. С наступлением же темноты углубили окопы до колена, будучи твердо уверенными, что с утра придется снова перейти в наступление.

Подсчет потерь показал, что из 12-й роты выбыло 30 человек из 150. Собравшись вместе с другими офицерами батальона позади залегшей нашей цепи, мы стали обсуждать возможности дальнейшей атаки и ее успеха.

Общее мнение таково, что нужно этой же ночью продолжить наступление, чтобы не дать возможности австрийцам подвести к себе подкрепления и за ночь укрепить свою вторую линию.

О наших предположениях позвонили в штаб Моросанову, на что получили ответ, что новое наступление не предполагается и нам надо закрепиться на занятом рубеже, причем саперная команда полка и приданные ей в помощь команды других полков дивизии в течение ночи поставят перед нашими цепями рогатки с проволочными заграждениями.

До самого рассвета наши полковые саперы с помощью резервных рот таскали рогатки, которые устанавливали шагах в пятидесяти перед залегшими солдатами в одну линию.

Поверив Моросанову, что наступления не будет, мы со своей стороны начали приспособливать для себя одиночные окопы, стремясь превратить их в более надежные убежища и землянки.

Весь следующий день прошел за приспособливанием окопов, за устройством хода сообщений и за пополнением

патронных сумок солдат патронами и имеющихся пулеметов — пулеметными лентами.

Ночью 13 июля неожиданно поступило распоряжение вновь перейти в атаку.

— Какое идиотство!— ругались мы.— Австрийцы успели за эти два дня значительно укрепить свои позиции, ввести резервы. Мы же должны наступать с тем же составом людей, значительно поредевшим в результате истекшего боя.

Вопреки установившейся практике, на этот раз наступление приказано произвести не утром, а в час дня. Очевидно, в расчете на то, что в этот час австрийцы заняты получением обеда и будут захвачены врасплох.

Наше предположение, что австрийцы смогут за время этой передышки укрепиться, оправдалось. При первом же выступлении нашей цепи из окопов мы были встречены ураганным обстрелом со стороны австрийцев. Правда, в свою очередь и наша артиллерия на этот раз стреляла значительно энергичнее, чем накануне.

Однако взять быстрым наскоком позиции неприятеля оказалось невозможным. Потоки свинца, направленные в нашу сторону, сдерживали всякое продвижение. Поодиночке и отдельными группами удалцов приближались мы к проволочным заграждениям, разбить которые артиллерия не успела. Чтобы перебраться через проволоку, надо сначала разрезать ее ручными ножницами, надеваемыми на штык. Штыковые ножницы, однако, оказались неудобными для резки проволоки, и солдатам приходилось, лежа под проволокой, правой рукой стрелять по австрийским окопам, а левой медленно перерезать проволоку за проволокой, чтобы образовать свободный проход.

Лежание под проволокой продолжалось не менее трех часов, в течение которых наша цепь щедро поливалась свинцовым дождем, как пулеметными пулями, так и шрапнелью. Наконец на левом фланге нашей роты образовался проход, и 4-й взвод с прапорщиком Берсеновым ворвался в окопы австрийцев. Вместо обычной сдачи австрийцев в плен на этот раз ворвавшийся взвод встретил отчаянное сопротивление.

Вслед за 4-м взводом прошел в этот же проход третий, за ним второй, вскоре вся 12-я рота. В самих окопах и позади них начался штыковой бой, впервые наблюдаемый мною за все время войны. Австрийцы дрались отчаянно. Наши солдаты, в свою очередь, с остервенением перли на австрийцев, причем последние отступали в лес, где работа штыком была не совсем удобна, и озверение дошло до такой степени, что солдаты пустили в ход шанцевые инструменты, лопатки, которыми раскраивали головы австрийцам.

Рукопашный бой продолжался не менее двух часов, причем, в то время когда 12-я рота вела штыковой бой, соседние еще не успели пробраться за проволоку и продолжали вести огневой бой под проволочными заграждениями. Это ухудшало положение 12-й роты, придавая мужество австрийцам, которые смотрели на нас как на изолированную часть, не могущую принести им серьезного ущерба.

Счастье! Правее нас прорвали проволоку и заняли окопы солдаты 1-го батальона 12-го полка. Лишь после этого австрийские позиции очистились и бой перенесся непосредственно в лес, перейдя почти по всему участку в штыковое сражение. Лишь наступившая темнота прекратила резню. Люди рот перепутались между собой. Я видел мелькающие перед глазами озверелые лица то русских, то австрийских солдат, причем среди русских солдат я не узнавал людей своей роты.

Ночь внесла успокоение.

Быстро приспособили австрийские окопы, повернув бойницы в сторону леса, выслав туда сильный полевой караул, который должен был предупредить, если бы австрийцы предприняли контратаку.

Вся ночь прошла в тревожном ожидании наступления австрийцев. Рука все время держалась за винтовку, которой пришлось заменить ничего не стоящий в бою револьвер.

Рассвет.

Наступления со стороны австрийцев не заметно, и мы осторожно начали осматривать впереди лежащий лес. Глазам представилась кошмарная картина: перед окопами лежали груды тел русских солдат, позади окопов не меньшие

груды австрийских, пораженных как огневыми ранами, так и штыковыми. В значительном количестве были трупы с головами, рассеченными шанцевыми инструментами.

Австрийцы отступили за Броды.

Наш полк к семи часам утра вошел в город. Потери колоссальные.

Характерное явление: из всех влившихся в наш батальон новых прапорщиков,— а их влилось двенадцать человек, в живых остался только один, и тот контужен и отправлен в тыл без надежды когда-либо вернуться обратно. Это значит, что старые офицеры, как равно и старые солдаты, более приспособились к военной атмосфере, лучше ориентируются, используют местные особенности, вовремя укрываясь за складками местности, чего не знают ни новые солдаты, ни новые прапорщики

Единственной наградой оставшимся в живых была масса захваченных в Бродах наливок, настоек, ликеров. Три-четыре дня стояния в резерве все офицеры полка были пьяны. Пили беспробудно, пока не уничтожили всего запаса.

Командир полка дал мне новое назначение — начальника похоронной команды и по сбору оружия. Я должен был немедленно отправиться на Радзивилловские позиции вместе с доктором Блюмом, чтобы прибрать трупы, похоронить их, а также собрать разбросанное в огромном количестве на поле сражения оружие, как оставшееся после убитых и раненых солдат, так и брошенное противником.

16 июля мы с Блюмом с раннего утра начали обход недавнего места боя. Нами зарегистрировано свыше пятисот трупов солдат 11-го полка. Подобрано около пятидесяти человек тяжело раненных солдат, не замеченных непосредственно после боя по причине их бессознательного состояния. Закончив очистку участка окопов, мы перешли в лес. На глубине не более полукилометра мы находили большое количество австрийских трупов и тяжело раненных австрийских солдат. Имевшихся в нашем распоряжении двух санитарных двуколок явно не хватало, и Блюму пришлось обратиться к расположившейся в Бродах 14-й дивизии за помощью. Из дивизионного лазарета нам было прислано

около десяти санитарных повозок, которые два дня перевозили раненых на перевязочный пункт.

В лесу, на расстоянии полукилометра от окопов, как раз против участка 12-й роты, мы с Блюмом наткнулись на брошенную австрийцами гаубичную батарею.

О найденной батарее я доложил командиру полка.

— Это мой батальон взял,— заявил присутствующий на докладе 2-го батальона Хохлов.

— Ну, нет, это 3-й батальон,— вступился в свою очередь Савицкий.

Разгорелся спор, пока, наконец, не вмешался Плотницкий, заявивший, что за удачную операцию под Бродами он и того и другого командира представит к крупным наградам.

— Ну, а что же, 12-й роте дадут что-нибудь?— возникал невольный вопрос.

Ханчев имел все основания получить за шесть рот немецких егерей Георгиевский крест, однако Савицкий так составил рапорт, что роль 12-й роты в разгроме егерского батальона была совершенно смазана.

Дело было представлено таким образом, будто эту операцию проделал весь батальон в целом под непосредственным руководством Савицкого, и Савицкий — а не Ханчев — за это дело был представлен к Георгиевскому кресту и к производству в полковники.

По всему фронту идет наступление на австрийцев. Главное командование Юго-Западного фронта поставило задачу в ближайшее время овладеть Львовом.

Наш полк простоял в резерве всего одну неделю, а затем направлен на позицию левее Брод.

Однако мне предстояло сначала закончить работу по составлению регистрационных карточек на убитых под Бродами, зарегистрировать подобранное оружие, отсортировать негодное для отправки в армейские мастерские, годное же оружие сдать в обоз 2-го разряда.

Но не успел я переночевать и одной ночи после выступления полка на позицию, как получил распоряжение срочно прибыть в деревню Маркополь в штаб полка.

Пока Маркополь не был еще полностью освобожден от частей и штабов Финляндской дивизии, наш полк расположился в километре от Маркополя бивуаком около небольшого крестьянского хутора. Солдаты раскинули палатки в лесочке. Офицеры расположились вблизи хат.

В одной хате, владелицей которой была восьмидесятилетняя старуха, находилась еще молодая женщина, муж которой служил в австрийской армии офицером. Эта хата превратилась в своего рода клуб, ибо в ней непрерывно находились офицеры полка, не потому, что была в этом какая-нибудь необходимость, а потому, что в этой хате помещалась интересная молодая женщина.

Двадцать офицеров полка, оставшиеся в полку после Бродского боя, наперерыв ухаживали за этой дамой.

Савицкий распорядился перенести его походную кровать из раскинутой было для него офицерской палатки в дом. Но его приготовления пропали зря: на протяжении всей ночи до самого выступления полка на позицию хата была наполнена офицерами, не дававшими возможности Савицкому остаться одному.

С большим неудовольствием на следующий день Савицкий говорил о том, как подлый народ в полку помешал ему выспаться.

Радцевич отдал распоряжение мне немедленно отправиться в 1-й батальон и произвести очистку окопов и позиции от трупов.

Захватив с собой нескольких санитаров, приказав остальным ожидать моих распоряжений в Маркополе, я направился к бывшим позициям финляндцев.

То, что я видел под Бродами, бледнело перед тем, что я встретил тут. Окопы австрийцев были сильно укреплены и малодоступны. Расстилавшееся впереди окопов километра на полтора чистое поле было усеяно русскими трупами. В самих же окопах не осталось ни одного свободного места,

на котором не лежали бы убитые австрийские солдаты или офицеры. Трупы лежали во всевозможных позах, причем за четыре дня, прошедшие с момента боя, трупы начали разлагаться. Пройти по окопам стоило большого труда.

В течение трех дней моя команда провела огромную работу, зарывая трупы и составляя на них списки по тем медальонам, которые имелись на груди у каждого австрийского солдата и офицера. Очисткой окопов от трупов дело еще не кончилось. Каждый день со всех участков позиции полка шли требования об уборке трупов в маленьких перелесках, в хлебных посевах. Сильный трупный запах обнаруживал их.

Списки зарытых австрийцев достигли полутора тысяч.

В ближайшие дни намечено наступление на Звыженские позиции. В полк снова прибыло большое пополнение. По сведениям, идущим из канцелярии полка, в наших полковых списках уже зарегистрировано 16 000 солдат, причем налицо находится не более 1500, остальные за два года войны выбыли из жизни.

Если в других полках дело обстоит так же, то какое же количество истреблено на фронте людей?!

Накануне предполагавшегося наступления на Звыжен австрийцы в обеденный час открыли сильнейший артиллерийский огонь по Маркополю. Начавшая было играть в офицерском собрании музыка быстро смылась, смылись и обедающие в сильные убежища вроде «лисьей норы», устроенной перед помещением, занимаемым командиром полка. Снаряды рвались большими пачками над всей деревней.

Мы с Остроуховым остановились около моей хаты, при которой, к сожалению, не было никакой землянки, в раздумье, куда бы укрыться. Чем дальше, тем обстрел все более и более усиливался. Оставаться в закрытом помещении становилось опасным. Снаряды рвались поблизости от штаба полка и от нашей хаты. Отдельные шрапнели рвались непосредственно над хатой. Решили пойти в поле.

Стоя за хатой, мы минут пятнадцать выжидали и обдумывали, в каком направлении можно пойти, чтобы выйти

из-под ожесточенного обстрела. Снаряды рвались кругом, и выхода как будто не было. Один из очередных снарядов разорвался непосредственно над хатой и зажег ее. Волей-неволей приходилось покидать укрывшую нас стену, чтобы не сгореть. Бегом спустились к речке. Вдогонку рвались снаряды.

Жители побросали свои хаты и с плачем и криком бежали в поле. Останавливаясь на несколько минут около встречавшихся на пути укрытий, переводили дыхание и бежали дальше.

Вправо от нас, рассыпавшись на мелкие партии, бежали офицеры штаба, среди которых особенно выделялась фигура священника, бежавшего с развевающимися волосами и подобранными полами рясы.

И смешно, и скверно.

Австрийцы, точно увидев бегство жителей и офицеров из деревни, перенесли огонь на поле. Стало безопаснее вернуться назад в Маркополь, чем бежать дальше, но возвращаться было страшно.

За какие-нибудь полчаса я вместе с Остроуховым очутился вне обстрела в следующей деревне, названия которой не помню.

Часа через два, после серьезной передышки, закусив у одной из крестьянок, мы вернулись с Остроуховым обратно. В Маркополе за это время выгорела треть домов.

На следующий день началось наступление на Звыжен. Наша артиллерия должна была развить ураганный огонь по австрийским окопам, и при этом не просто артиллерийскими снарядами, а химическими. Я вместе с Остроуховым отправился в расположенную в полукилометре от деревни батарею, которая к моменту нашего прихода уже начала стрельбу. Батарея стреляла не торопясь, причем первые два снаряда из каждого орудия были простые, а третий химический. В ответ скоро началась австрийская стрельба. Я с Остроуховым забрался в блиндаж командира. Большая очередь из двенадцати снарядов разорвалась, не долетев до батареи шагов сто, следующая очередь разорвалась, пролетев батарею примерно на таком же расстоянии.

— Попали в вилку,— сказал командир батареи.

Следующая очередь снарядов разорвалась непосредственно на батарее. Из шести пушек две повреждены.

— Огонь!— командует командир батареи.

Артиллеристы снова начинают стрельбу беглым огнем.

— Перейти исключительно на химические!— командует опять командир батареи.

Стреляют химическими снарядами.

В блиндаже командира телефонный звонок:

— Говорят с позиции, из Звыжена. Просят прекратить стрельбу химическими снарядами, ветер относит газ в сторону наших окопов.

Еще несколько очередей тяжелых снарядов со стороны австрийцев по батарее, и на батарее действующими остаются только два орудия.

— На передки! — командует командир.

Спешно подводят стоявших неподалеку в укрытии лошадей, берут орудия на передки и галопом отъезжают на новые позиции примерно в полукилометре от этой. Батарея действует теперь только двумя пушками.

Вернулись в Маркополь. Около штаба встретил идущего, прихрамывая, всего в поту Хохлова.

— Контузили меня,— говорит он, обращаясь к нам.

— Где, господин полковник?

— В голову и в ногу,— не разобрав вопроса, отвечает Хохлов.

Командир полка отдал ему распоряжение отправиться на участок Звыжен и в качестве старшего штабного офицера руководить наступлением. Хохлов, не дойдя до позиции, оказался контуженным.

Я заболел. Поместился в перевязочном отряде у Блюма. В Хокулеовском лесу спокойно. Отряд надежно укрыт, и пули и снаряды не долетают. Пролежал больше недели.

По настоянию Блюма командир разрешил мне отправиться в трехнедельный отпуск. Еду на родину.

ГЛАВА IV

НА ЗИМНИХ ПОЗИЦИЯХ

Сентябрь 1916 года

Пока я был в отпуску, полк перебросили еще левее Звыжен километров на десять. Теперь позиция полка проходит по опушке Хокулеовского леса, упираясь правым флангом в селение Манаюв. Штаб полка помещается в деревне Лапушаны. Под штаб занят дом священника и находящаяся рядом с ним школа. Полковые команды, в том числе и моя, разместились по крестьянским хатам.

Осень. Всюду грязь. Лапушаны представляют непролазную трясину.

Бывшее на месте теперешних Хокулеовских позиций селение Хокулеовцы снесено наголо, и материал, оставшийся от разрушенных хат, использован на землянки. В каждой землянке устроены небольшие окошки. Стекло добыто в деревне Хокулеовое и в соседних тыловых селениях: вынуты стекла из икон, которых уйма в каждой крестьянской хате.

— Святые подождут, — шутили солдаты, — проживут без стекол до окончания войны, а пока пусть нам послужат.

— Святые тоже на оборону работать стали, — шутили другие.

Примеру 2-го батальона последовали и другие. В радиусе десяти километров от позиции нет ни одной хаты, иконы которой сохранились бы за стеклами.

За дни резерва солдат пропустили через баню, а обмундирование через вошебойки, устройством которых занимается полицейская команда под руководством санитаров доктора Блюма. Для моей команды отведено помещение при штабе полка, а лично для меня выделена комнатка в барском доме.

С утра до вечера ко мне, как к только что прибывшему из отпуска, заходят офицеры, сохранившиеся от перенесенных за летний период боев, с расспросами о настроении в тылу. Чаще всего бывает Земляницкий. Это один из ста-

рых ветеранов полка, другие сослуживцы успели уже растеряться. Одни перебиты, другие устроились где-либо в тылу.

В связи с большими потерями кадровых офицеров, по приказу Верховного главнокомандующего, застрявших в тыловых запасных частях офицеров направляют на фронт, а на их место командируются наиболее уставшие и наиболее заслуженные офицеры фронта.

— Жизнь в тылу становится чрезвычайно дорога, — говорю я приходящим ко мне офицерам. — Десяток яиц в деревне стоит семьдесят копеек, белой муки нет, масла тоже, сахар добывается с трудом. Поговаривают, что в городе скоро перейдут на отпуск хлеба по карточкам. В городе Козельске, где мне пришлось часто бывать, магазины пусты, товаров нет. В поездах встречается множество спекулянтов, разъезжающих из города в город, в одном месте подешевле купить, в другом дороже продать. Население устало от войны, ждет с нетерпением мира. Большие надежды возлагают на Думу, которая должна вскоре собраться. Ругают правительство, говорят, что дело не обходится без измены. Особенно достается Штюмеру. Много разговоров о Распутине, что он назначает министров по своему усмотрению. Государь находится под влиянием императрицы, а последняя в свою очередь — под влиянием Распутина. В вагонах можно слышать разговоры, что где-то за кулисами готовится заключение сепаратного мира.

— Что же, и хорошо было бы, — говорили Земляницкий, Боров и другие. — В тылу скверно, но и у нас не легче. Солдат начинают кормить черт знает чем. Вместо крупы, вермишели и тому подобных продуктов, сейчас в изобилии снабжают чечевицей. Солдат, в каком виде ее съест, в том же виде и выпустит. Было несколько случаев в четвертом батальоне, когда солдаты выливали привезенные им обеды на землю, отказываясь от чечевицы. С мясом тоже неладно. Присылаемая солонина часто с душком. Солдаты больше сидят на хлебе и чае плюс картошка, за которой они лазают в деревенские огороды. С фуражом скверно. Лошади еле волочат ноги. Правда, мы сейчас не можем жаловаться на отсутствие снарядов, но зато в области обмундирования дело дрянь. Те сапоги, которые теперь посылаются

солдатам, носят неделю, а потом вдребезги рассыпаются. Вместо суконных гимнастерок — ватные телогрейки. Шинели сплошь из малюскина. А посмотрите, что осталось от офицерского состава. Прапорщиков гонят пачками, и так же пачками они возвращаются обратно ранеными, контуженными, больными. Мало того, что они совершенно не обучены, но и абсолютно не развиты. Унтер-офицеры, прошедшие учебную команду или получившие это звание за отличия на фронте, в пять раз стоят выше этих прапорщиков. Пора кончать.

По окончании резерва полк должен занять позицию впереди Манаювского леса.

Ноябрь

В двенадцать часов дня 20 ноября над Манаювскими позициями, на стыке нашего полка с девятым, австрийцы открыли сильнейший артиллерийский огонь. Через десять минут связь с 3-м батальоном, занимавшим этот участок, была порвана. Попытка штаба полка восстановить связь увенчалась успехом до окончания обстрела.

Обстрел продолжался не более часа и когда кончился, то из батальона поступило неожиданное срочное донесение, гласившее:

В двенадцать часов пятнадцать минут 20 ноября австрийцы открыли ураганный огонь по левому флангу третьего батальона против участка 12-й роты. Огонь был столь силен, что люди, занимавшие передовую линию окопов, были вынуждены укрыться в землянки. Под прикрытием своего огня австрийцы произвели атаку на участок 12-й роты, прорвали позицию, прошли в тыл роты, захватили временно командовавшего ротой прапорщика Новоселова, трех телефонистов и два взвода солдат, которых увели с собой. Благодаря пересеченной местности своевременной поддержки соседними ротами не было оказано ввиду быстроты, с какой была произведена атака. Кроме пленных, австрийцы унесли два пулемета.

Смятению временно командовавшего полком Хохлова не было предела. Он в течение суток не решался сообщить о случившемся в штаб дивизии. Однако скрыть

происшедшее невозможно, и Хохлов принужден в мягких тонах донести штабу дивизии о произведенной на наши окопы атаке австрийцев и о том, что, «несмотря на упорное сопротивление», 3-й батальон понес потери пленными в таком-то количестве.

В дивизии назначили специальную комиссию для расследования этого случая.

Ввиду отъезда Ущиповского в отпуск мне приходится временно исполнять обязанности начальника саперной команды, и я принужден был направиться на разрушенный участок — восстановить проволочные заграждения.

Подавая мне ужин, Ларкин, переминаясь с ноги на ногу, заговорил со мной:

— Хорошо, Дмитрий Прокофьевич, что Федор Лукьянович в плен попал.

— Чего же хорошего?

— Да как же не хорошо: сиди здесь, мерзни, а в плену, сколько бы война ни продолжалась, наверное живым останется.

— Как сказать, голубчик.

— Что ни говорите, ваше благородие, — перешел Ларкин на официальный тон, — а пленным хорошо живется. Взять хотя бы австрийцев, которые в наших деревнях размещены. Балуются себе с нашими бабами.

— Так и ты, может быть, в плен хочешь?

— Не отказался бы, — чистосердечно произнес Ларкин. — Давеча ко мне заходили двое земляков, в околоток шли, говорили, что в роте жалуются, что не всю в плен взяли.

— Чего же жаловаться? Сейчас зима наступает, на фронте тихо. До весны-то, я думаю, спокойно можно сидеть.

— Да как же спокойно... Ведь каждый день к нашему фельдфебелю Харину сведения присылают из рот об убитых. Нет ни одной ночи, чтобы в роте одного-двух человек не убили. Шестнадцать рот — шестнадцать человек. Это в день, а сколько до весны-то перебьют! Солдаты жалуются, ваше благородие, что кормить стали плохо. Уж больно эта чечевица опостылела.

— А не все ли равно, Ларкин, с чечевицей сидеть в окопах или с рисом?

— Ну, не все равно, если умирать, все-таки сытым приятнее.

— А я думаю, один черт.

— А скоро война кончится?— неожиданно спросил Ларкин.

— Трудно сказать.

— В деревне плохо стало. Баба пишет, что не сможет и половины земли засеять. Лошадь кормить нечем, а тут еще заставляют натурой мясо сдавать. У нас в деревне по пять пудов со двора обложили. А где его взять? Своего нет,— значит покупай. Солдаты в газетах читали, что американский президент мир предлагает.

— Американский-то президент предлагает, да вот немцы не соглашаются.

— Чего им, св... надо, да и нашим тоже. Зачем нам эта самая Галиция нужна, своих земель, что ли, мало?

— Ты что это, Ларкин, сам надумал или слышал где-нибудь?

— В команде у нас разговаривают. Только я вам по секрету говорю. Ежели узнают, что я вам рассказал, ругаться будут.

— Чего же ругаться, я смогу сам с ними поговорить.

— Вам-то, ваше благородие, неудобно, все-таки, как-никак, вы офицер.

— Числюсь только.

— Ну, положим, не только числитесь, а и жалованье получаете.

Декабрь

Саперную команду сдал вернувшемуся Ущиповскому. Хохлов распорядился возложить на меня обязанность начальника полицейской команды.

Полк должен отойти на семь дней в резерв в Олеюво. Хохлов приказал мне лично отправиться туда и принять от штаба 9-го полка штабные помещения, в которых должен расположиться Хохлов со своим штабом.

Поехал.

Дом штаба знаком уже по предыдущим здесь стоянкам. Явился к командиру полка Самфарову. Самфаров, как бывший офицер 11-го полка, встретил меня необычайно любезно. Предложил разделить с ним ужин. Я поблагодарил, обещая прийти к назначенному часу.

Объехав вместе с комендантом полка селение, разбил его на батальонные участки, разметил помещения для команд и для штабных офицеров. К восьми часам вернулся к Самфарову.

Самфаров сидел не один.

Ведя непринужденный разговор, рядом с ним сидел молодой вольноопределяющийся. Познакомились.

— Поручик Оленин,— сказал я.

— Анна Николаевна,— ответил вольноопределяющийся.

— Анна Николаевна столь любезна, что разделяет со мной мою скудную трапезу и скучные часы пребывания в резерве. Для нас, боевых русских офицеров,— галантно наклонился к Анне Николаевне Самфаров,— чрезвычайно тягостны дни, какие приходится проводить вне боя. Та неделя, которую я провел в резерве, была бы очень для меня тосклива, если бы не ваше милое общество.

Анна Николаевна мило улыбалась, показывая ямочки на щеках, щебетала:

— Конечно, вам здесь скучно, Николай Иванович. Я очень благодарна вам за ваше милое общество.

— Искусством занимаетесь, поручик?— обратился ко мне Самфаров.

— Какое имеете в виду, господин полковник?

— Вокальное, хореографическое.

Я недоумевающе посмотрел на полковника.

— Искусство вообще я люблю, господин полковник, но вам, вероятно, неизвестно, что за два года пребывания на фронте, кроме как в боевых делах, в постоянных наступлениях и отступлениях, кроме вечной заботы о солдатах, ни о чем другом не приходилось и думать. Я отучился даже вспоминать о подобных вещах. Когда побываешь в отпуску, стараешься использовать короткий срок для посещения театра.

— Вы напрасно не бываете в нашем полку. Анна Николаевна может засвидетельствовать, что в Олеюве мы ни одного дня не пропустили, чтобы не поставить спектакля или не организовать музыкально-вокального вечера.

— Вы прямо-таки чудесник, Николай Иванович,— прошептала Анна Николаевна.— Как это у вас все быстро получается! Чудесный вы организатор! Вы знаете,— обратилась она ко мне,— полк только что прибыл в резерв, а на другой день уже был спектакль для всего полка. Приспособили большую конюшню под зрительный зал и сцену. Музыканты и артисты нашлись в самом полку.

Николай Иванович весь сиял. Его сплошная лысина блестела, точно масляный блин.

— Анна Николаевна замечательная актриса,— снова обратился ко мне Самфаров,— у нее такой чудесный голос, она так великолепно им владеет.

— Что вы, Николай Иванович,— скромно опустив глазки, произнесла Анна Николаевна.

— Нет, нет, вы не скромничайте, Анна Николаевна, ваше место, как только окончится война, на большой сцене.

— Я знаю господина полковника очень давно,— обратился я в свою очередь к Анне Николаевне.— Я имел счастье служить с ним в одном полку перед войной, и весь полк восхищался господином полковником за его артистические таланты и умение дать солдатам полка разумное развлечение. В Тульском народном доме не проходило ни одной недели, чтобы под руководством Николая Ивановича не был поставлен спектакль.

От моих похвал Николай Иванович расцвел еще больше.

Вошел конюх Самфарова с докладом, что лошадь готова ехать на позицию.

— Грустно покидать вас, Анна Николаевна, но я надеюсь, что вы заглянете к нам в Гнидавские выселки.

— Если позволите, то я и сейчас с удовольствием проехала бы с вами, Николай Иванович.

— Чудесно, чудесно, очаровательно!— потирал от удовольствия руки Николай Иванович и несколько раз приложился к ручке Анны Николаевны.

Оставшийся со мной начальник полицейской команды 12-го полка, прапорщик Чистяков, рассказал, что Анна Николаевна — доброволица 12-го полка, пробыла около месяца в полку и неотступно находится при штабе.

— Не люблю я баб на позиции. Их дело с горшками воевать. А тут от них только совращение одно.

Я вспомнил, что у нас в полку тоже имеется две добровольцы, одна в 3-м батальоне, Маруся Туз,— последнее не фамилия, а прозвище, данное солдатами за ее чрезвычайно округленные формы,— а другая Ольга Ивановна — в 1-м батальоне.

Маруся Туз откуда-то из-под Киева и, если верить «Солдатскому вестнику», чуть ли не из публичного дома. Живет при роте, старается нести исправно службу, но этому мешают ее физиологические особенности. Хотя и в солдатском одеянии, но женщина... Вместо того чтобы с людьми своего взвода идти на разведку или на работу, или в полевой караул, ей приходится чаще всего направляться в землянки офицеров, которые приглашают ее затем, чтобы позубоскалить, а злые языки говорят, что еще кое за чем...

Эта Маруся Туз месяц тому назад выбыла из полка будто бы по беременности.

Ольга Ивановна — другой тип.

Гимназисткой была влюблена в какого-то прапорщика, своего жениха, который был убит в первые месяцы войны. Тогда она надела солдатское платье и отправилась на фронт «мстить» немцам. Исправно ходит в караул, в разведки, имеет уже Георгиевскую медаль, и солдаты про нее ничего дурного не говорят. Находится в полку по сие время.

ГЛАВА V

ГРОЗНЫЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ

Пребывание в резерве хорошо тем, что дает возможность очистить себя от грязи и пожить в человеческих условиях. Солдаты приводят себя в человеческий вид, стригут волосы, бреются, надевают чистое белье, чинят обмундирование, поправляют амуницию и т. д.

Питание за время пребывания в резерве более регулярно, пища получается в горячем виде, на позицию же подается в остывшем.

Офицеры все дни резерва проводят в кутежах, игре в карты. Снаряжают своих денщиков далеко в тыл за самогонкой,— а то скупают в аптеках тройной одеколон, который сходит за водку.

Читать почти нечего. Газеты приходят старые, и то в большинстве это — «Московские ведомости». За последнее время московские газеты, как, например, «Раннее утро», «Русское слово», стали приходить с большими перебоями.

На этот раз пьянства было меньше, но за картами люди просиживали с утра до утра. Некоторый диссонанс внес Боров, откуда-то достававший целые пачки газет с речами думских ораторов. Кроме газет, Боров достал запрещенные к опубликованию речи Милюкова, Пуришкевича и других думцев. В этих речах правительство обвинялось в подлости, бездействии, тайных сношениях с немцами, правительственной чехарде и т. п.

Речи Милюкова и других читались по секрету.

Присутствовавший при чтении Земляницкий апатично говорил:

— Черта ли им там ни говорить! Послать эту самую Думу сюда под Манаюв, глядишь, совсем бы другое запели. А в общем плохо, братцы, войну надо кончать.

— Как эго кончать? Отдать Польшу, захваченную немцами?

— А на кой черт нам нужна Польша?— продолжал Земляницкий.— Что мы от этих «панов» получим? Сволочь они, больше ничего. Взять хотя бы нашего Мухарского, чистейший поляк, а кто считает его порядочным человеком? Подлиза!

— Ну, батенька,— возражали ему,— нельзя же по Мухарскому судить обо всем польском народе.

— А ну вас к черту! Давайте лучше в железку продолжим.

И Земляницкий тянулся за картами.

Перед окончанием резерва в Лапушаны прибыло новое пополнение для полка, состоящее в большинстве из украинцев. В первый же день прибытия с ними произошли недоразумения. Еще с разбивки по ротам для вновь прибывших был приготовлен обед отдельно, из получавшей уже права гражданства чечевицы.

Выстроились перед походной кухней с котелками за получением пищи. Повар стал разливать. Первые получившие пищу солдаты, отойдя в сторонку, попробовали похлебку и демонстративно начали бросать котелки на землю.

— Эту бурду у нас свиньи есть не будут!— закричало несколько человек.

— Что такое, чем плоха?— спрашивают другие.

Один из солдат, выше двухметрового роста детина, поднял свой котелок и начал медленно сливать из него чечевицу, которая была, как и при всех предыдущих варках, не разваренной.

— Это не крупа, а дробь!— громко кричал один из них.— Австрийцы на позиции пулями кормят, а здесь дробью начиняют! Не будем есть!

— Долой! — закричали другие.

Поднялся невообразимый шум, гам. Несколько солдат набросились на кашевара. Стащили его с кухни, другие, подпирая плечами, опрокинули котел, и все содержимое котла вылилось на землю.

К месту происшествия немедленно прибыл Хохлов в сопровождении попа и адъютанта.

Собрав всех вновь прибывших, он произнес резкую речь о воинской дисциплине, о том, что на фронте всякое действие, несоответственное со званием солдата, повлечет за собой отдачу виновных под полевой суд. Понуро и молчаливо слушали солдаты. Вслед за Хохловым священник, призвав божье благословение на головы вновь прибывших, начал разъяснять волю и милосердие божье, ведущее к победе русское воинство и государство Российское.

В заключение мне было приказано немедленно разбить солдат поротно и предупредить ротных командиров об установлении за ними наблюдения.

Вернувшись к себе в комнату, где сидела группа офицеров, я рассказал о происшедшем.

— Это не первый случай,— сказал Боров.— Солдаты категорически отказываются есть чечевицу. Но дело, надо думать, не только в чечевице, а в том, что пора кончать.

Те запрещенные речи, которые показывал Боров офицерам, распространяются среди солдат.

Появилось сообщение об убийстве Распутина. Офицеры говорят, что это злой гений царской семьи и что с его убийством дело пойдет лучше. Все беды и напасти, постигавшие до сих пор нашу армию, и все затруднения в тылу сваливались на голову Распутина. Солдаты отнеслись к убийству совершенно равнодушно. Я попросил Ларкина специально послушать разговоры на эту тему в команде и в ротах. Но ему так ничего и не удалось услышать.

— Но все же как к нему относятся?— настойчиво спрашивал я Ларкина.

— Да как относятся, говорят, что способный был мужик до баб, а царица, вестимо, тоже баба, чай и ей надо, муж-то на фронте находится. Ведь и наши бабы в деревне смотри, как балуются с австрийцами. Окончится война, так сколько маленьких немцев и австрияков в деревне появится... у них в свою очередь — русских. В будущем авось и воевать не придется.

— У тебя тоже австриец в хозяйстве?

— Ну, нет!— энергично протянул Ларкин.— Если баба возьмет австрийца, так я ее, стерву, уколошу.

— А почему ты знать будешь?

— Как же не знать! Сейчас же земляки напишут. Дмитрий Прокофьевич, солдаты все справляются, когда же стариков увольнять будут? У нас в команде сорокапятилетних много. Полк сам не может, а приказа такого нет. Чего же их тут держать?— продолжал Ларкин.— По закону можно до сорока трех лет призывать, а людей призывают черт знает каких, стариков совсем. Шестнадцати лет берут, сорока пяти лет берут, что же, скоро баб, что ли, брать станут?

— Ты же сам недавно говорил, что много убивают, надо же кем-нибудь замещать.

— Так-то оно так, да только вы посмотрите, сколько лоботрясов разных в тылу околачивается, все на «оборону» работают, на тульских-то заводах все наши богатеи устроились. У кого сотня лишняя найдется, тот на «оборону» работает, а у кого нет, того сразу на фронт.

— Винтовки тоже надо делать.

— Так вот и посылай тех, кому больше сорока лет.

— Чего ты-то волнуешься, ведь тебе еще сорока нет?

— Я о себе не беспокоюсь, я при вас, а ежели при вас, значит, целым буду. А посмотрите в нашей команде — Стишков, Валенкин, Гремячкин, у них у всех по два сына на фронте и сами тут, а дома, говорят, старуха с малыми детьми с голоду помирает.

— Ничего не могу поделать.

— Мы это, ваше благородие, знаем. Может, слухи у вас какие имеются на этот счет?

— Нет, Ларкин, пока ничего не слышно.

В полку установлена свирепая цензура. Я не получаю ни одного письма, которое не было бы перлюстрировано. То же и с письмами солдат. Они, прежде чем попасть на почту, передаются полковому цензору, прапорщику Завертяеву. Так как сам Завертяев прочесть несколько сот писем, отправляемых ежедневно из полка, не в состоянии, то ему дан целый штат писарей. С наиболее характерных писем снимаются копии и отмечаются фамилии посылающих, а также и адреса. Эти сведения передаются от Завертяева в цензуру, находящуюся при полевой почтовой конторе корпуса.

Завертяев показывал несколько сводок. В письмах из полка солдаты жалуются на скверную пищу, тяготы окопной жизни, плохое обмундирование, на отсутствие возможности поехать в отпуск. Большинство писем монотонно, однообразно, начинаются миллионами поклонов всем родственникам, от мала до велика, и обыкновенно оканчиваются просьбой о посылках, и в некоторых пись-

мах высказываются желания получить небольшое ранение или попасть в плен. Есть и такие, в которых сообщается об односельчанах, товарищах по полку, которым «пофартило», т. е. удалось получить легкое ранение или перебежать в плен, или же произвести удачное саморанение. Но каждое письмо проникнуто одной мыслью, одним желанием: скорее выбраться на родину.

В письмах с тыла от жен, матерей или близких родственников звучит безумная тоска, беспокойство об отсутствующем. Пишут о разных хозяйственных и семейных делах, о том, что не хватает хлеба, что не удастся полностью обработать землю, жалуются на сильную дороговизну и т. д. В заключение следует приглашение как можно скорее прибыть домой или последовать примеру соседей, которым удалось отделаться от службы путем дачи взятки тому или иному лицу. Григорий Давыдов, пишут в одном письме, приехал с фронта раненный в ладонь, пролечился два месяца, а потом сходил на завод, дал мастеру сто рублей — и теперь работает на заводе. Или Дежин лечился в лазарете, получил такую болезнь, с которой на фронт не посылают... И тут же следовал совет последовать их примеру.

ГЛАВА VI

РЕВОЛЮЦИЯ

Март 1917 года

Утром 27 февраля, простившись с родителями, отправился на станцию Епифань, чтобы ехать из отпуска на фронт. От Епифани до Тулы ехал с товаро-пассажирским поездом, в вагоне четвертого класса.

Разговор в вагонах — вокруг хозяйственных недостатков и о затянувшейся войне.

В Туле пересадка. Пошел к коменданту станции получать разрешенную визу для проезда в пассажирском поезде; они ходят с большим сокращением, по случаю продолжающейся «товарной» недели.

Комендант станции, капитан Черторийский, сообщил, что транзитных поездов до Киева нет и не будет еще недели две.

— Могу вам устроить,— говорил он,— проезд до Курска в минераловодском поезде. В Курске сделаете пересадку и снова зайдете к коменданту.

Получив нужную на моем документе отметку, пошел в кассу станции покупать билет.

В шесть часов вечера подошел поезд.

Вошел в вагон второго класса. Толкнулся в одно купе — занято, другое — тоже занято, наконец, в третьем оказалось одно свободное место. Внес свой чемоданчик, уложил его на верхнюю полку, сел на диван и начал осматривать присутствующих. Пассажиров трое. Один из них — пожилой чиновник в форме Министерства внутренних дел, другой — лет тридцати пяти, полный упитанный мужчина, штатский, немного подвыпивший. Третий пассажир — девушка лет двадцати трех, изящно одетая, кокетливо оживленная. Мой приход прервал беседу. Несколько минут молчания, которое, однако, скоро было прервано штатским. Грузно повернувшись в мою сторону, он спросил:

— Что, прапорщик, из отпуска?

Я молча кивнул головой.

Штатский неожиданно ударил меня ладонью по коленке и весело произнес:

— Люблю военных, особенно офицеров. Пьете?

— Бывает, но сейчас не хочется.

— Напрасно, у меня коньяк чудесный.

— Благодарю вас, нет желания.

Мой собеседник нагнулся и из стоявшей под вагонным столиком корзинки достал бутылку депресского финьшампань.

— Выпьем с вами, Зинаида Рафаиловна,— обратился он к находящейся в купе девушке.— Бросьте вы о революции думать. Знаете, поручик,— обратился он ко мне,— Зинаида Рафаиловна едет из Питера и вот уже целые сутки такие страхи нам рассказывает, что без коньяка никак не обойдется.

— Не страхи, Виталий Осипович,— задорно тряхнула девушка кудряшками,— а сущую правду. Вы знаете, поручик,— быстро повернулась она ко мне,— этот поезд вчера уходил из Питера без звонков, при полной темноте на вокзале. Никто не знал, пойдет поезд или нет. Я в Питере села в этот вагон почти одна и только лишь в Москве эта компания подсела.

— Что же там случилось?— заинтересовался я.

— Несколько дней в Питере были большие хвосты у всех продуктовых лавок. Хлеба совсем не было. Люди простаивали с утра до поздней ночи за получением хотя бы полфунта. В очередях происходили большие скандалы. Били стекла магазинов. Вмешалась полиция, разгоняли очереди чуть ли не с пулеметами. А вчера днем сама слышала, ей-богу, сама,— повернула она голову к двум пассажирам и перекрестилась,— как стреляли в целом ряде мест. Я с Мойки еле доехала до вокзала. Боялась, что попаду под обстрел. Электричество погасло, газ — тоже. На улицах солдаты, городовые, казаки. У вокзала патрули, никого не пропускают. Мне пришлось соорудить глазки драгунскому ротмистру, чтобы на перрон пройти. Какой-то железнодорожный служащий указал, как добраться до поезда. А в поезде, представьте, почти ни души. Перед отходом поезда слышалась пушечная стрельба.

— По вам наверно стреляли,— расхохотался штатский.

— Да ну вас! Кому это надо по нам стрелять? Мы сами подстрелим, если захотим,— кокетливо играя глазками, возразила Зинаида Рафаиловна.— Все рабочие забастовали, гвардейский полк, говорят, перешел на их сторону.

— Почему же здесь до сих пор ничего не известно?

— Газет вчера не было,— торжествующе развела руками Зинаида Рафаиловна.

— Теперь, положим, часто газеты не выходят,— буркнул чиновник.— Избаловали больно народ. Стали им платить больше раз в пять, чем в мирное время получали, вот и зазнались.

— Не говорите, что избаловали,— в Питере хлеба нет, ни к чему не приступишься. Куда ни взглянешь: солдаты, солдаты и солдаты...

— А солдаты чего ни сожрут,— смеясь, подтянул ей Виталий Осипович.

— Господа,— вполголоса, таинственно заговорила девушка,— я вас уверяю совершенно серьезно, что в Питере самая настоящая революция, и, говорят, царя свергнут.

— Ну, голубушка, вы такие страхи да еще к ночи рассказываете, что не заснешь. Лишнего хватили, вот и кажется вам бог знает что.

— И вовсе не лишнее! И если хотите, еще могу выпить. Налейте!— капризно топнула она ножкой, обращаясь к Виталию Осиповичу.

Тот услужливо налил ей полстакана. Девушка залпом осушила коньяк, вытерла изящным кружевным платочком губки и, повернувшись ко мне, снова затараторила:

— Я не знаю, может быть и врал, но все, что я сама видела, дает мне основание думать, что слышанное не вранье. Говорят, Думу царь распустил, а Родзянко не захотел распускать. Штюрмеру не доверяют. Солдаты на их стороне. И пошло...

— Действительно стрельба была?— спросил я.

— Честное слово, ей-богу!— и она опять перекрестилась.— Своими ушами, собственными ушами слышала пулеметную стрельбу, а когда села в поезд, пушки стреляли,— горячилась девушка.

— Поручик, выпьем!— еще раз обратился ко мне штатский.— А то спать будете плохо.

— Сон-то у меня, положим, хороший, но раз так уговариваете, давайте выпью,— соблазнился я.

Выпил несколько глотков обжигающей жидкости. Стало клонить ко сну.

— Извиняюсь, что не могу поддерживать столь интересную беседу, очень устал, хочется спать.

С этими словами забрался на верхнюю полку, но заснуть сразу не смог.

Наконец-то революция! С ней конец войне! Конец нашим мытарствам! А, может, это скверно? Враг на подступах к России. В армии и так со снабжением скверно, а революция внесет еще большие перебои.

Курск. Поезд на Киев пойдет лишь в двенадцать.

Никаких признаков событий в Петрограде.

«Наврала девушка», — думал я, смотря на спокойно работающих железнодорожников.

Хотя и «товарная неделя», т. е. все поезда под товарными перевозками, хотя разрешения на проезд в пассажирских вагонах выдаются только через военное начальство, тем не менее поезд на Киев забит до отказа.

Киев. На вокзале среди железнодорожников заметно оживление, подъем, порывистость в движениях, действиях и разговорах. В комнате дежурного по станции случайно подслушал разговор, что в Питере революция почти восторжествовала.

От Киева к фронту народа едет немного. В моем купе несколько штабных офицеров, знакомых между собой, разговаривают о перспективах весенней боевой работы.

— У нас в штабе, — говорил один из них, — производится интенсивная разработка плана генерального наступления, чтобы с весны одновременно с союзниками ударить по немцам на всех фронтах.

— Солдаты, — говорил другой, — будут вполне подготовлены к этому времени. Выступят на позицию новые корпуса. Немцы истощены, а армии союзников и их боевые запасы растут с каждым днем. Вступление Америки в войну обеспечивает нам полную победу. Еще несколько месяцев — и победный мир.

В Казатине офицеры сошли с поезда. В купе я остался один.

На каждой большой станции я выходил из вагона в надежде услышать от железнодорожников о последних новостях из Петрограда.

На станции Жмеринка услышал разговор машиниста нашего паровоза о новой кондукторской бригаде.

— Значит, крышка? — спрашивал машинист.

— Крышка, — ответил старший по бригаде.

— Что же говорят они?

— Скрывают.

— Чего же скрывать, когда не сегодня-завтра все будет известно?

— Черт их знает, почему. Может быть, думают задушить.

— Не удастся!— энергично тряхнув головой, вымолвил машинист.

После третьего звонка почти на ходу поезда в наш вагон вскочил молодой прапорщик в форме железнодорожных войск.

— Ух! Еле поспел! Еще полминуты — и жди следующего дня!— тяжело дыша, заговорил прапорщик, войдя в мое купе.— Ну и дела, ну и времена! Вы слышали? Знаете о революции?

— Мельком слышал. В Питере забастовки.

— Какое там забастовки! Революция, самая настоящая доподлинная революция! Ах, как прекрасно!

Я выжидающе посмотрел на прапорщика.

— Мой отец заведует телеграфом в Жмеринке. Через него идут все депеши. Я читал каждую телеграмму и из-за этого чуть не опоздал на поезд.

— Что же сообщают?

— Погодите, дайте отдышаться. Сейчас все расскажу по порядку.

Прапорщик поставил на полку свои вещи, устроился поудобнее на диване и, улыбаясь радостной улыбкой, заговорил:

— Царь приказал распустить Думу. Правительство Штюрмера подготовило сепаратный мир. Дума об этом прослышала. Родзянко собрал лидеров партий, которые решили Думу не распускать, продолжать вести заседания. Вы понимаете? Дума решила не подчиняться царскому указу!

Выбрали специальный Комитет под председательством Родзянко. Комитет предложил царю назначить новое правительство. Тот не согласен. В Питере забастовки. Войска переходят на сторону рабочих. Дума рекомендует его брата Михаила Александровича. Избрано Временное революционное правительство. Рабочие Питера организовали Совет рабочих депутатов. К рабочим присоединились солдаты. Даже гвардия перешла на сторону Думы. Родзянко с Милуковым поехали в Ставку к царю требовать отречения.

Сейчас только была депеша ко всем главнокомандующим фронтам, что Николай II отрекся за себя и за сына в пользу брата Михаила. В Питере войска присягают Временному правительству.

Тарнополь. На станции спокойно. Никаких признаков революции нет. На вокзале встретил повозку обоза 2-го разряда нашего полка. Ездовой с охотой согласился довезти.

По дороге он рассказывал, что полк уже дней десять как отошел в резерв, а его позицию под Манаювом и Хокуле-овцем заняла Финляндская дивизия.

— Говорят, месяца два в резерве простоим,— говорил Селин.— Идут усиленные занятия. Готовятся с началом весны к большому наступлению. Что в Туле нового, ваше благородие? Насчет мира что слышно?

— Насчет мира ничего не слышал, а вот насчет революции слух идет.

— Революции?— быстро повернулся ко мне Селин.

— Да, революции. Иль боишься?

— Никак нет, ваше благородие. Ведь немцы не заберут нас в свои руки.

— Конечно, нет. Раз революция, то у власти будут новые люди — более умные, энергичные, способные отстаивать свободную Россию.

— Значит, скоро и землю от помещиков получить можно будет?— задумчиво, думая о другом, произнес Селин.

— Раз революция, то ясно, что народ землю получит.

— За землю-то мы постоим: по совести говоря,— повернулся ко мне Селин,— воевать нам не из-за чего. Зачем нам земля Галицкая? Там свои люди живут. А вот землю у помещиков забрать, надел увеличить — это другое дело. У нас в Калужской губернии мужики почти совсем без земли. В нашей семье четыре брата, да отец старик еще жив,— и на пять человек всего полторы десятины.

— Чем же живете?

— Каменщики мы. Как наступит весна, так один брат остается в деревне пахать, а остальные трое — на сторону по деревням кирпичные избы класть. Все лето и работаешь

с зари до зари, а потом целую зиму спину не разогнешь. А заработаешь-то, что... на рыло не больше как рублей по семьдесят, по восемьдесят. Да это еще крепиться надо. Не выпивать. А если грех попутает, выпьешь, так домой в тех же портках, в которых вышел, вернешься.

— Помещиков много у вас в Калужской губернии?

— А где их мало? У нас, мужиков, земля — глина настоящая. На ней ни черта не растет, а у помещиков лучший чернозем. Правда ли, что революция?— недоверчиво посмотрел на меня Селин.

— Правда, Селин. Я слышал это в дороге. Скоро всем солдатам будет известно. А если неправда, так надо сделать правдой!

— Справедливо изволите говорить, ваше благородие!

Я вошел в благоразумно приготовленное Ларкиным помещение. Вымывшись с дороги, начал разбирать свой чемодан. Вскоре зашел Воропаев. Канцелярия полка на время пребывания полка в глубоком резерве переселилась в Омшанец.

— Привез что-нибудь?— обратился ко мне Павел.

— Многое кое-что, только не того, чего ты спрашиваешь.

— Что же ты? Так выпить хотелось!

— Остепенись, Павел, пьяницей сделаешься.

— Да уж лучше пьяницей, чем на фронте торчать!

— В окопах тебя никто не заставляет сидеть, сидишь ты в канцелярии, и пить основания нет.

— Давно это ты нравоучения читать начал? Надел погоны... кичишься.

— Да разве я кичусь?— удивился я.— Я говорю, что пьешь ты много.

— Много пьешь?! Уж не ты ли подносишь?

Видя ворчливое настроение Воропаева, я попробовал его успокоить привезенной новостью о революции.

Однако на Павла мои сообщения подействовали слабо.

— Если бы ты мир привез, я рад бы был. А то революция! Эка важность, если нас по-прежнему здесь держать

будут! Мир нужен. Осточертела война!— истерично прокричал Воропаев.

— Какой ты чудака,— успокаивал я Павла,— раз революция, то и мир скоро. Посиди здесь. Я на минутку схожу к командиру с рапортом.

Оставив Воропаева пить чай, я оделся, прицепил револьвер и направился к штабу.

В одной из больших комнат штаба уже собралась группа офицеров, прибывших за получением жалованья. Среди офицеров я увидел Земляницкого, Борова, Остроухова и несколько других знакомых товарищей.

— А, Оленин! Вернулся... Что хорошего?

— Много. Такие, господа, интересные новости!

— Что такое, говори, говори!— обступили меня.

Молокоедов прикрыл свою шкатулку с деньгами и в свою очередь вытянул голову в мою сторону.

— Революция, господа!

— Что? Что? Как ты сказал?

— Революция, господа!

— Какая, где?

— Самая настоящая, красная.

— С зелеными ушами,— вставил Земляницкий.

— И уши красные и руки длинные!

— Довольно шутить!— крикнул Боров.— Говори толком, что знаешь.

— Свергнуты министры. Государственная дума взяла власть в свои руки. Созданы Советы рабочих депутатов. Войска на стороне Думы. Слышно, что Николай отрекся...

— Чего вы здесь болтаете, прапорщик!— раздался за моей спиной резкий голос.

Я оглянулся. Позади стоял полковник Хохлов.

— Рассказываю новости, господин полковник, могу повторить: образовано Временное правительство, свергли власть старых министров, царю предложили отречься от престола...

— Вы что, прапорщик, сумасшедший или пьяны? — резко закричал Хохлов.

— Ничего подобного. Передаю верные слухи.

— Если, прапорщик...

— Поручик, господин полковник.

— Если, поручик, вы будете распространять такие вещи, то я немедленно отправлю вас на гауптвахту!

— Ваше дело, господин полковник.

Молодые офицеры, затаив дыхание, слушали мои пререкания с Хохловым.

— Я думаю, господин полковник,— обратился я к Хохлову,— что вам все это уже известно. В Петрограде произошла революция, и о ней на фронте не могут не знать.

— Когда фронт будет знать, вас не касается. А сейчас я вам воспрещаю, прапорщик...

— Поручик, господин полковник.

— ...воспрещаю распространять подобные нелепости!

— Истинные факты, господин полковник.

— Петр Маркович,— обратился Хохлов к Молокоедову,— я вас прошу перейти для раздачи жалованья в мой кабинет, а вам, господа офицеры,— обратился он к присутствующим,— стыдно слушать всякие нелепости от солдатского прапорщика.

Я упрямылся:

— Господа офицеры слушают рассказ офицера о том, что последний слышал в тылу, и господа офицеры должны знать, что там делается.

— Кончится тем, что я отдам распоряжение, чтобы вас посадили на гауптвахту!

Хохлов резко повернулся и быстро вышел из комнаты.

— Ты где остановился?— спросил меня Боров.

— Рядом с Блюмом.

— Я к тебе зайду.

Земляницкий:

— Я тоже.

Получив от Молокоедова жалованье, я направился к Блюму.

— Новости большие, Владимир Иванович,— начал я прямо с порога.— Революция!

Блюм недоверчиво посмотрел на меня.

— Хохлов так сейчас разозлился, что грозил на гауптвахту отправить. Все время называл «прапорщиком», а под

конец даже «солдатским прапорщиком» назвал, у него внутренности перевернулись от слова «революция».

— А у вас откуда такие сведения?

— Я ехал в поезде, который последним отошел из Петрограда. Пассажиры рассказывали. Затем слышал разговоры железнодорожников в Киеве, Жмеринке. Я думаю, что в штабе полка уже известно, только молчат.

Рассказал Блюму все слышанное в пути.

— Не вовремя,— задумчиво проговорил Блюм.— Только было силы накопили. Америка в войну вступила, еще несколько месяцев — и немцам крышка. А ведь революция несет за собой развал фронта.

— Почему развал фронта?— возразил я.— Солдаты с большой охотой будут драться в чаянии получить землю от помещиков.

— Дадут ли землю-то мужику?

— Революция! Нельзя не дать!

— Вы говорите, что Родзянко с Милюковым предложили другую кандидатуру в цари — Михаила Александровича. А раз будет царь, то насчет земли вопрос сложный.

— Поживем — увидим.

Поговорив около часа с Блюмом, я пошел к себе, где застал пришедших Борова и Земляницкого.

— Расскажи, хлопче, подробнее, что ты знаешь. Этот сукин бис Хохлов помешал давеча.

Я повторил уже рассказанное Блюму.

— Ох, хорошо, друже, что революция! Только как фронт к этому отнесется?

— Фронт — это мы!

— Ну, не совсем «мы». Между солдатами запасных полков и солдатами фронта большой антагонизм. Фронтные солдаты не любят тыловики. Если там совершается революция, а фронту ничего не пообещают, то это может вызвать плохие последствия. Во всяком случае нам надо быть начеку. Безусловно будут попытки со стороны кадровых офицеров настроить солдат против революции. Подождем до завтра. Какие будут сведения. А потом обдумаем, что надо делать.

На следующий день с раннего утра всему полку стало известно о происшедшей революции.

Через шоссе, по обе стороны которого расположено село Омшанец, протянулись красные плакаты с надписями:

ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДНАЯ РОССИЯ!

В ротах ликование. Офицеры несколько испуганы, не зная, как себя держать с солдатами. Чувствуется напряженность.

ГЛАВА VII

БРАТАНИЕ

После манифеста об отречении Николая поступил второй манифест об отречении Михаила до созыва Учредительного собрания. В предписании штаба армии предлагалось объявить манифесты по ротам и командам.

Во всех ротах и командах митинги. Офицеры разъясняют содержание манифестов, говоря, что образование Временного правительства является актом, направленным на мобилизацию всех живых сил страны для успешного завершения войны, т. е. победного конца.

Манифест Михаила Александровича несколько туманен.

Блюм говорит, что здесь скрытый смысл: мол, ежели Учредительное собрание выберет Михаила Александровича царем, то он примет императорский престол без возражений. А до этой поры он не хочет возиться с «грязным делом».

Так или иначе, царя нет.

Получены первые газеты.

Зачитываемся речами Милюкова, Керенского.

Интересует фигура Родзянко, этого маститого председателя Государственной думы, безусловно монархиста, который с непокрытой головой приветствует восставшие полки, приходящие к Таврическому дворцу.

Кадровые офицеры иронизируют над речами Милюкова, Керенского. Особенно отличается Хохлов, который презрительно подчеркивает каждую революционную фразу.

Вчера сидел с Блюмом за чтением свежих газет, причем Блюм обратил мое внимание, что хотя и революция, хотя и свергли царя, образовали революционное правительство, но в этом революционном правительстве нет ни одного социалиста.— Все это показывает,— говорил Блюм,— что произошла буржуазная революция и у власти поставлены представители капитала.

— Керенский — социалист,— возразил я Блюму.

— По-моему, он был народником,— ответил Блюм,— разве теперь стал социалистом-революционером. Львов, председатель министров — крупный буржуа, Гучков, назначенный военным министром, определенный монархист, лидер Союза октябристов. Милюков — кадет. Терещенко — крупный сахарный фабрикант и т. д. Лишь Керенский — адвокат и бывший народник. Я думаю,— говорил Блюм,— что это только начало. Революция безусловно расширится.

Я смотрел на Блюма непонимающими глазами, так как в политических вопросах и в партиях смыслил мало.

— Весь вопрос,— продолжал Блюм,— сейчас в армии. Если офицерство действующей армии поддержит новое правительство, то возможно, что война будет продолжаться с немцами именно до победного конца. Но, судя по настроению кадровых офицеров, они склонны потребовать обязательно монархии. Старым офицерам невыгодно не иметь верховного вождя армии, а верховным вождем армии всегда является император.

Из штаба сообщили, что Радцевич-Плотницкий приглашает офицеров на прощальный ужин. Пошел и я. Собрались почти все офицеры полка, находившиеся в Омшанце. Вместо традиционного офицерского приличествующего в таких торжественных случаях первого тоста за императора на сей раз Хохлов, открывая ужин, поднял бокал за доблестную русскую армию. Затем кадровые офицеры выступали с тостами за Радцевича-Плотницкого, перечисляя его таланты и заслуги по работе в 11-м полку. Ни звука за все время ужина о происшедших событиях. А ужин затя-

нулся до четырех часов утра. Много вина. Несколько раз при магии снимали участников ужина. Под конец качали Радцевича-Плотницкого. Желали ему дослужиться до командующего фронтом. Почти на рассвете разошлись по своим хатам.

Ранним утром Радцевич уехал. В тот же день, шестого марта, прибыл новый командир полка, генерал Протазанов. Уже пожилой, лет за пятьдесят, с Георгиевским крестом, полученным им еще в Русско-японскую войну. С ровными движениями, спокойным голосом, он производил благоприятное впечатление. В первый же день приезда пригласил к себе офицеров, чтобы познакомиться. Каждого офицера расспрашивал об образовании, о времени прибытия на фронт, имеющихся заслугах и наградах и заканчивал беседу словами: будем работать вместе на благо родины и доблести русской армии.

На другой день Протазанов приказал собрать весь полк, к которому обратился с приветственными словами. Полк для встречи командира был построен в Ветерлецком лесу, километрах в четырех от Омшанца. Весь полк настороженно следил за каждым движением и словами командира. Его вступительное слово сразу приковало внимание.

— Товарищи!— начал он.

Это слово впервые было произнесено в полку за все двухсотлетнее его существование.

— Товарищи! — повторил Протазанов.— Волею высшего начальства я назначен командовать доблестным 11-м полком. У вас до сих пор были прекрасные командиры, которые вели вас к победе. Со своей стороны я приложу все усилия, чтобы славный 11-й полк и впредь был таким же геройским. Моя задача облегчается тем, что мы сейчас вступили в новую эпоху жизни нашей великой матушки России. Русский народ, как могучий богатырь, поднялся и стряхнул со своих плеч многовековое иго русского царизма, свергнул деспотическую монархию, на смену которой пришла свободная демократия. Отныне наша матушка святая Русь стала свободной страной. Чтобы эту свободу закрепить, надо прикончить с исконным врагом — немцами. От своей армии русский народ требует доведения войны до

победного конца. Мы должны разбить немцев. Призываю вас, товарищи солдаты и офицеры, к дружной боевой работе на славу полка, для счастья свободной России. Ура!

— Ура! — закричали роты. — Качать товарища командира!

И близстоящие солдаты, подхватив Протазанова на руки, начали подбрасывать его вверх.

Пропустив мимо себя роты церемониальным маршем, Протазанов отдал распоряжение выдать в этот день солдатам удвоенные порции и не производить занятий. Они и так несколько дней уже не велись.

На следующий день Протазанов пошел осматривать помещения рот и команд. Он заходил в каждую хату. Осматривал и обмундирование, пробовал пищу, расспрашивал солдат об их нуждах. При подходе к построенной для осмотра той или иной роте он называл солдат «товарищи».

С легкой руки Протазанова офицеры тоже стали обращаться не «здравствуйте, братцы», а «здравствуйте, товарищи».

Через несколько дней поступил приказ о введении льгот для солдат, в частности, офицеры обязывались говорить солдатам «вы», а солдат получил право титуловать офицера не «ваше благородие» или «высокоблагородие», а «господин поручик», «господин капитан», «господин генерал» и т. д. Солдатам предоставлялись гражданские права, одинаковые со всем населением страны. Например, раньше солдатам запрещалось ехать в вагоне первого и второго класса, а также бывать в залах 1-го и 2-го классов на вокзале. Теперь солдаты одинаково со всеми гражданами могли посещать театры, собрания, участвовать в союзах, быть членами партий. Офицеры военного времени отнеслись к этому приказу как к должному. Зато с ненавистью встречен этот приказ кадровыми офицерами.

— Развал дисциплины! Подрыв авторитета офицеров! Разложение армии! Разве русский Михрютка будет понимать какие-либо распоряжения, если к нему будешь обращаться на «вы»? Чтобы в вагоне второго или первого класса вместе с офицером ехал солдат, и, может быть, из одной и

той же роты! Как я могу сидеть в театре рядом со своим денщиком?

О. Николай, полковой священник, недоволен реформами.

— Нельзя допускать,— говорит он,— обращение офицеров к солдатам на «вы». Офицер является солдатам отцом. Как родитель говорит своим детям «ты», так и офицер не должен говорить солдату «вы». Так поведено веками,— говорил поп.— Плохо, когда освященные веками традиции рушатся.

Хохлов и Савицкий в ярости, что приказ разрешает производство в офицеры евреев.

— Мы не допустим их в свою среду!— вопил Хохлов.

— Я первый плюну в морду такому офицеру!— вторил Савицкий.

— Позвольте,— возмущались мы.— Вы же руку подаете врачам евреям? Чем они лучше евреев-офицеров?

В тот же день по вопросу о текущем моменте в хате Ущиповского собралось человек двадцать прапорщиков и поручиков. Открыл собрание Ущиповский заявлением о расслоении среди офицеров, в связи с приказом о даровании гражданских прав солдатам.

— Нам надо сейчас,— говорил Ущиповский,— больше, чем когда-либо, иметь полное единение с солдатами, чтобы стойко держать фронт. Я согласен с Калиновским, чтобы собрать на сегодня молодых офицеров для обсуждения текущего момента, для выработки своей тактики.

После Ущиповского взял слово Калиновский.

— Революция только что началась,— заговорил он,— есть все основания предполагать, что революция будет углубляться. Мы на фронте не знаем, что творится в тылу. Сведения, которые пропускает Ставка Верховного главнокомандующего, неудовлетворительны, газеты, получаемые на фронте,— исключительно буржуазные.

— А вам что же надо еще — социалистическую революцию? — закричал с места Петров.

— Да, надо социалистическую,— спокойно ответил Калиновский.— На армию сейчас смотрит вся страна. Противник постарается использовать революционное движе-

ние в нашей стране для своих целей. Эксцессы в армии недопустимы. Со стороны злейшего врага революции, приверженцев монархии, возможны всякие провокационные действия. Все это накладывает большие обязательства на нас, молодых офицеров, на нас, которые надели офицерский мундир по необходимости.

Сейчас, больше чем когда-либо, молодое офицерство должно сплотиться с солдатами, должно иметь с ними общий язык, разъяснять действительный смысл происшедших событий, не допускать провокационных действий со стороны кадрового офицерства, блюсти армию в полном порядке. Мы знаем, как резко отрицательно относится кадровое офицерство к предоставлению солдатам гражданских прав. Хохлов, Нехлюдов и другие говорили, что не могут служить в армии, если права гражданства будут за солдатами сохранены. Савицкий демонстративно подчеркивал: «Пусть меня разжалуют в солдаты, если я позволю себе обратиться к солдату на «вы».

Нам надо усилить бдительность. Постараться быть вместе с солдатами и в ближайший день устроить общее собрание офицеров с участием кадровых, на котором изложить нашу платформу и предложить им или к ней присоединиться, или убираться из полка.

Кроме того, я думаю, что в настоящий момент абсолютно необходимо избрать специальный комитет из солдат и офицеров, которому можно дать название совета офицерских и солдатских представителей.

За Калиновским выступил Боров.

— Що бачил Калиновский, то видно,— начал он, по обыкновению, на украинском языке и затем, перейдя на русский, уже серьезным тоном продолжал: — Кадровые офицеры це такие уж гадюки, которым, кроме батюшки царя, ничего и не надо.

— А чины, а жалованье?— зашумели присутствующие.

— Так они чинов и жалованья и ждут от царя. Смотреть надо в оба. Но не следует сразу проявлять по отношению к ним резкость. Надо попробовать их убедить поддержать Временное правительство. Я за общее собрание всех офицеров, на котором необходимо поставить все эти вопросы

ребром. А затем, если не удастся договориться, то можно поставить вопрос об их изоляции. Насчет комитета я согласен.

Выступил и я. Высказал мнение, что предложение Калиновского надо принять и созыв общего собрания не откладывать, а теперь же уполномочить из нашего состава Калиновского и Борова отправиться к командиру Протазанову за разрешением образовать комитет.

Проговорили часов до двенадцати ночи.

Протазанов дал согласие и просил нас поставить в повестку дня вопрос об отношении офицеров к гражданским правам солдат. О мнении офицеров его запрашивал штаб дивизии.

— Кто будет председательствовать на собрании офицеров?— спросили мы Протазанова.

— Старший из офицеров штаба. Так как Хохлов вызван в дивизию, значит, будет председательствовать Савицкий.

На собрание собралось человек пятьдесят. Савицкий, не привыкший к руководству собраниями, вел себя нервно, прерывал ораторов, бросал циничные реплики и, видимо, не придавал никакого серьезного значения собранию.

По вопросу об отношении офицерства к происшедшей революции выступил Калиновский.

— Я думаю,— начал он,— что выскажу точку зрения большинства здесь присутствующих, а именно, что офицеры должны полностью и безоговорочно поддержать Временное правительство. Это первое. Второе, целиком одобрить распоряжение о даровании гражданских прав солдатам. Третье, создать совет офицерских и солдатских представителей для разрешения как бытовых, так и политических вопросов в жизни полка.

— Это что же, я должен солдат на «вы» называть или, может быть, своему денщику обед из офицерского собрания носить? — возмутился Савицкий.

— Не утрируйте, господин полковник,— бросил ему Калиновский.

— Я должен сделать внеочередное заявление,— сказал Савицкий.— Мы поддерживать Временное правительство не можем, как и оно не может поддерживать офицеров и

гарантировать спокойствие и неприкосновенность их семьям. Я сегодня получил из Тулы письмо. Безусые гимназистышки, студенткишки и другая сволочь ходят по офицерским квартирам и производят обыск. У меня забрали коллекцию оружия. У полковника Нехлюдова даже грозили арестовать жену, которая не хотела отдавать оружия, а вы говорите о «поддержке». Нам надо предъявить категорические требования Временному правительству, чтобы нам гарантировали неприкосновенность наших семей, а для того, чтобы это было выполнено, нам надо послать своего представителя в Тулу, который бы наблюдал и защищал интересы наших семей, не допуская по отношению к ним никаких актов, подобных тем, о каких мне сообщают. Нам нужно также от полка послать своего представителя в Петроград, который защищал бы интересы офицерства. И вот, когда мы увидим, что правительство справляется с защитой интересов офицерства, тогда мы можем говорить о том, чтобы беспрекословно подчиняться и проводить все его распоряжения.

Поднялся большой шум.

Подполковник Нехлюдов, старик лет шестидесяти, брызжа слюной, визгливым голосом начал кричать, что он тоже получил из Тулы письмо, в котором пишут, что совершенно нет никакой уверенности в безопасности семьи, что на дню по пять раз приходят спрашивать, нет ли оружия, а тут всякие глупости преподносят вроде того, что солдатам надо говорить «вы».

Выступил Боров:

— В нашем полку сейчас до пятидесяти человек офицеров, из этого числа не более шести человек приходится на Тулу. Нам не хватит офицеров в полку для того, чтобы в каждый город послать своих представителей. Послать представителя в Петроград — тоже нелепо. На фронте пятьсот полков, и если каждый пошлет своего представителя, это будет пятьсот человек. Мы знаем, что в Петрограде образован Совет рабочих и солдатских депутатов, причем среди депутатов имеются и офицеры. Этот совет и будет защищать интересы военнослужащих и в тылу, и на фронте. Не поддерживать и не выполнять беспрекословно и

полностью распоряжения Временного правительства мы не можем. Это — то правительство, которое выведет страну из тупика и которое доведет войну до победного конца. Это не правительство Штюмеров и Распутиных.

Затем Боров, приняв более примирительный тон, обратился в сторону кадровых офицеров:

— Братья, старые кадровые офицеры, зачем нам иметь рознь между собой? Все мы служим одному делу, делу войны с немцами, делу обеспечения победы для новой свободной России. Бросьте деление на прапорщиков и не прапорщиков, на окончивших военное училище и на произведенных из унтер-офицеров. Мы должны слиться с солдатами и сообща делать общее дело. Мы просим вас, кадровые офицеры, принять нас в свою семью и сообща вести дальнейшую работу.

Последняя часть речи Борова меня возмутила. Я выступил с резким заявлением.

— Призыв Борова к кадровым офицерам,— несколько волнуясь, начал я,— был произведен лично от его имени. Никто не уполномочивал его так говорить. Совершенно дикими кажутся просьбы и мольбы Борова от имени пятидесяти некадровых офицеров к имеющимся здесь пяти-шести кадровым о приеме нас в их семью. Я думаю, что более верно отражу точку зрения большинства, если скажу, что сейчас кадровые офицеры должны просить нас принять их в нашу семью, а никак не мы их.

— Дерзость! Безобразие! — закричал Савицкий.— Неуважение к нашим чинам! Я отказываюсь дальше председательствовать! — и он выскочил из-за стола.

Петров, Боров и несколько других бросились к Савицкому, уговаривая вести собрание.

— Зачем вы его уговариваете! — крикнул я вместе с Калиновским.— Пусть себе идет, а вместе с ним могут отправляться и другие. Для того, чтобы сидеть во время боев за пять верст от окопов, найдутся люди. Не они солдат в бой ведут.

— Ты не имеешь права так говорить,— подступили ко мне Ущиповский и Петров.— Вчера еще говорили о со-

блюдении максимальной дисциплины, а сегодня ты же ее нарушаешь.

— Я тут ни при чем. Это все Боров напутал. Зачем ему нужно было с такими мольбами выступать? Эка важность, пять кадровых офицеров.

Савицкий вернулся к столу.

В эту минуту в офицерское собрание вошло несколько солдат. Один из них протиснулся к столу председателя и, обращаясь в сторону офицеров, сказал:

— Господа офицеры, мы пришли сюда по выбору наших рот, чтобы узнать, о чем вы здесь разговариваете, чтобы потом рассказать солдатам.

Лица кадровых офицеров выражали растерянность.

— Кто их сюда пустил?— закричал Савицкий.

— А почему же и не пустить?— закричали другие.

— Я закрываю собрание!

Калиновский подошел к Савицкому:

— Николай Федорович, не делайте этого. В присутствии солдат скандалы устраивать не следует. Мы должны сказать, о чем мы здесь толкуем, и разрешить им присутствовать. Подумайте, какие могут быть последствия, если солдаты перестанут доверять офицерам.

Савицкий остыл. Сел на свое председательское место и сказал, обращаясь к солдатам:

— Мы здесь собрались по распоряжению командира полка, чтобы обсудить некоторые свои вопросы. Если они вас интересуют, то я могу их вам передать.

— Очень интересуют, господин полковник,— настойчиво произнес солдат.

Савицкий растерянno посмотрел по сторонам, не зная, что собственно он должен сообщить солдатам.

— Разрешите мне, господин полковник, я объясню,— попросил Калиновский.

— Пожалуйста, прапорщик,— понуро согласился Савицкий.

— Мы здесь собрались, товарищи солдаты, затем, чтобы сказать, что мы целиком и полностью поддерживаем Временное правительство и обязуемся выполнять все его требования и распоряжения. Потом мы полагаем организовать

совет офицерских и солдатских представителей, которые должны находиться при штабе полка. Наконец, мы высказываем пожелание, чтобы между солдатами и офицерами было возможно более единения.

Солдаты внимательно выслушали Калиновского, и один из них попросил слова.

— Господа офицеры,— начал он,— я так думаю, что теперь прошли те времена, когда царь Николашка (Савицкого передернуло от этих слов) гнал нас на убой, как серую скотинку. Николашке дали по шапке и его министрам, и еще многие получают, если к солдатам будет старое отношение. Новое правительство знает нужды солдат, потому уравнило нас в гражданских правах. За это мы обязуемся блюсти дисциплину не хуже чем до сих пор. Революционная дисциплина у нас будет во какая!— энергично помахал он кулаком.— Крепче некуда. Мы считаем, что немца мы побьем и теперь воевать будем лучше, чем раньше. Теперь мы знаем, за что воюем, чего не знали раньше. У нас будет свободная Россия, у нас будет земля, которой до сих пор владели помещики. Для наших детей будут школы, не будет полиции, которая издевалась над нами и над рабочими. Никакой контрреволюции мы не допустим. Винтовку мы держим крепко, как против неприятеля внешнего, так и против врага внутреннего. А за то, что вы хотите выбрать совет солдатских и офицерских представителей, мы вам скажем солдатское спасибо.

Молодые офицеры дружно зааплодировали выступившему солдату.

Что оставалось делать Савицкому?

— Братцы,— начал он,— товарищи, вы все знаете меня, Савицкого. Разве я когда-нибудь был плохим офицером, разве я не заботился о вас, как и все другие кадровые офицеры, разве я не болел вашими нуждами? Мы с радостью приветствуем приказ о предоставлении гражданских прав солдатам. Мы сами решили образовать совет солдатских и офицерских представителей, чтобы офицеры и солдаты совместно осуществляли общее дело. Если кто-нибудь среди нас позволит себе плохо обращаться с солдатами, тот будет с корнем вырываться из наших рядов,— с пафосом

закончил Савицкий.— Я предлагаю, господа,— принять те предложения, какие внес прапорщик Калиновский, и доложить командиру полка на утверждение.

Ну и Савицкий! Ну и прохвост же!

Весь полк ходит в красных бантах. Но самый большой и самый красный на груди у Савицкого. Посещая роты своего батальона, он собирает вокруг себя солдат, шутит, рассказывает анекдоты, называет каждого на «вы», говорит «товарищ» и т. д. Один Хохлов по-прежнему ходит озлобленный. К общему удовольствию всего полка, он получает назначение в другую дивизию.

Назначена присяга Временному правительству.

Весь полк созван для принятия присяги в Ветерлецкий лес. Я во главе своей команды по сбору оружия и похоронной построился на левом фланге. Каждая рота и команда имела красный флаг с надписью: «Да здравствует свободная Россия!» У всех солдат в петлицах красные ленточки. Настроение повышенное. Кругом шутки, смех, говор.

В девять утра полковой священник на устроенном посередине выстроенного полка аналое разложил Евангелие, крест, отслужил молебен и готовился уже читать присланный текст присяги.

По статуту положено, что во время присяги перед проходящими для целования креста и Евангелия должно быть склонено полковое знамя. При поднесении знамени к аналою раздалась команда:

— Смирно! По-о-д знамя! С-л-у-ш-а-й! На караул!

Полк исполнил команду, а оркестр заиграл Марсельезу.

Новая команда:

— К но-ге!

Вдруг из рядов рот раздалась крики:

— Долой вензель Николая со знамени!

— Долой! Долой!— подхватил весь полк.

Крики неслись настойчивые и упорные. Командир приказал закрыть вензель красным платком. Наступило успокоение, и священник приготовился к чтению присяги.

Однако успокоение было недолгим. Вновь раздались крики:

— Убрать знамя совсем! Не надо нам его, под ним грязные дела совершались в 1905 году!

— Долой! Долой! Долой!— неслось со всех сторон.

Командир полка вызвал к себе офицеров и предложил им разъяснить в ротах значение знамени, как полковой эмблемы, и убедить, что требование солдат убрать знамя является необоснованным. Офицеры стали разъяснять в своих ротах, что факт присутствия знамени ничем не хуже факта присутствия полкового священника при присяге, что знамя олицетворяет собой боевые традиции полка и принимать присягу не под знаменем — неудобно. Однако разъяснение не подействовало, солдаты продолжали стоять на своем. Разъяснение тянулось более часа. Несмотря на морозный день и на то, что приходилось стоять на снегу, несмотря на пронизывающий холод, солдаты не соглашались приступить к присяге, пока не уберут знамени.

Протазанов распорядился заменить знамя красным флагом.

Когда полковой знаменосец выносил знамя из круга, солдаты сопровождали этот вынос шиканьем, свистом и улюлюканьем.

— Одну грязь выбросили, надо приниматься за другую!— раздались отдельные выкрики.

Поп начал читать текст присяги, но как только он дошел до слов: «государство Российское», поднялся ужасающий шум. Раздались крики:

— Долой попа! Арестовать его!

Чтение приостановили. Вызвали делегатов из каждой роты, чтобы узнать, в чем дело. Солдаты заявили, что слова: «государство Российское» они понимают как присягу «государю российскому». Пришлось снова объяснять значение этого слова делегатам, которые в свою очередь шли передать объяснение в роты.

Эта процедура протянулась еще дольше, чем объяснение значения знамени. Холод давал себя чувствовать, и, очевидно, не без его влияния крики протеста стихали. Понимались отдельные выкрики:

— Черт с ними! В конце концов все от нас зависит!

Вечером того же дня ко мне явилось несколько солдат из третьего батальона с приглашением прийти на собрание представителей рот и команд.

Оказывается, каждая рота в отсутствие офицеров имела свое собственное собрание и выделила своего представителя в будущий полковой совет солдатских и офицерских представителей.

Пошел.

Народу человек пятьдесят.

— Расскажите нам, что офицеры замышляют,— был мне задан вопрос.

— Почему вы ко мне с подобными вопросами обращаетесь, а не к кому-либо другому? Я ведь тоже как будто офицер,— указал я на свои погоны.

— Мы вас знаем. Вы были долго среди нас. И с ними мало якшаетесь. Правда ли, что кадровые офицеры не хотят свободы?

— Неверно, товарищи. Были отдельные недовольные, но это везде бывает. А во всей массе офицеры безусловно за свободу.

— А почему до сих пор комитета не создают?

— Комитет будет создан, и если задерживается его создание, то лишь потому, что новый командир знакомился с полком, а потом была присяга.

— Долгое ли дело комитет собрать?

— Думаю, что на этих днях он будет собран.

— Мы вас просим заявить на офицерском собрании или командиру, что мы никаких контрреволюционных действий не допустим. Солдатский глаз зорек, и мы видим, что вокруг нас творится. Разговоры, что мы дисциплину не будем блюсти, мы тоже слышали. Но это неверно. Мы теперь будем работать на совесть, раз теперь не будет ни грубости, ни мордобития. Мы хотим поставить требование, и наши ребята связались уже с делегатами других полков, чтобы начальником дивизии нам назначили другого. Пусть назначают Музеуса.

Вечером Ларкин рассказал, что во всех командах и ротах идут тайные собрания, намечаются списки офицеров,

которых можно выбрать в полковой комитет. Из кадровых офицеров никого не включают, им не верят. Думают, что в комитете будут работать хорошо Ущиповский, Калиновский и я.

— Война скоро окончится?— неожиданно спросил Ларкин.

— Когда немцев побьем.

— Не побьем мы их, Дмитрий Прокофьевич. Австрийцев туда-сюда, еще, может быть, побьем, а немца — не побьем. Кому охота теперь умирать, когда свободу получили и землю возьмем у помещиков? Да пошлите вы меня теперь в роту, я там дня одного не пробуду — сбегу.

— Ты только свое мнение говоришь или другие тоже так рассуждают?

— Другие так не говорят, но я думаю, что про себя каждый так же думает. Слава тебе, господи, дождались светлых дней, а тут тебя под расстрел поведут! Надо мириться.

— Да ведь без союзников мы не сможем закончить войну.

— А на кой черт нам эти союзники? Пусть они себе дерутся с немцами, а нам хватит!

15 марта в полк приехал генерал Яковлев, командир корпуса. Война тянется около трех лет, я вижу командира корпуса первый раз.

Офицеры рассказывают, что Яковлев страстный любитель музыки и всю войну с утра до ночи сидел у себя в штабе, играя на скрипке.

Кажется, доигрался. Носятся слухи, что на его место назначают генерала Огородникова.

В этот же день состоялось общее собрание, на котором был избран совет, пять солдат и пять офицеров. Офицеры: Мухарский, Ущиповский, Боров, Калиновский и я. От солдат 2-й роты Васютин, энергичный унтер-офицер, бывший раньше слесарем на одном из тульских заводов. Харин, старший моей команды по сбору оружия. Васильев из 3-й роты, пресимпатичный парень, рязанский крестьянин. Игнатов от 14-й роты, бывший приказчик, весельчак,

с признаками галантерейности. И от 6-й роты — Смирнов, бывший учитель.

Первое заседание комитета было посвящено вопросу, чем наш полк должен отметить революцию.

По предложению Смирнова решили учредить в одном из университетов стипендию имени 11-го полка. Деньги отчислить от прибылей полковой лавочки, хозяйственных сумм полка (а их у нас до ста тысяч рублей) и, кроме того, пустить подписной лист среди офицеров и солдат для сбора пожертвований.

Апрель

В ближайшие дни наш полк должен сменить финляндцев, и штаб из Олеюва перейдет в Лапушаны.

Из Тарнополя идут слухи, что там в первые дни революции убит начальник гарнизона, растерзано несколько комендантских адъютантов. Сильно досталось некоторым командирам специальных частей за их жестокое обращение с солдатами.

Начальник Финляндской дивизии, генерал Сельвачев, подобно нашему Протазанову, обхаживает полки, выступает с речами на тему о революции. И здоровается с ними за руку.

Такое поведение генерала вызывает со стороны солдат восторженное отношение к своему командиру, и финляндцы при встрече с нашими особенно подчеркивают положительные качества своего начальника дивизии. Наши солдаты в свою очередь наматывают себе на ус и еще энергичнее начинают требовать замены начальника дивизии генерала Шольпа—Музеусом.

Смена высшего и старшего состава идет по всему фронту. В составе 14-й дивизии снят ряд командиров полка по требованию солдат. В эту дивизию на должность командира полка выдвинут Савицкий, который в связи с этим ходит фертом.

Быть командиром полка — мечта всей жизни Савицкого.

Однако полковой комитет категорически воспротивился его назначению.

Бедный Савицкий!

Хохлов, командированный три недели тому назад на должность командира 16-го полка, неожиданно снова появился у нас.

Формальной причиной для отвода Хохлова было его резко отрицательное отношение к полковому комитету, а также обращение к своему денщику по-прежнему на «ты».

Прибыл Музеус. Еще более поседевший, сутулый, с толстой палкой-тростью. Обходя полки дивизии, в своем обращении к солдатам он называл их по-прежнему «братцы», «орлы», «псковцы» и т. п. Требовал сохранения дисциплины, выполнения распоряжений, обещая со своей стороны делать все возможное, чтобы жизненные условия солдат не ухудшались.

Солдаты хорошо настроены к Музеусу и верят ему. Особенно ценят в нем то, что он не принимает к слепому исполнению распоряжения высшего начальства. Музеус всегда взвешивал полученные распоряжения, анализировал их и, если сомневался в их целесообразности, — вносил предложение о пересмотре распоряжения или о присылке дополнительных сил, с помощью которых можно было наверняка разрешить операцию успешно.

Казалось бы, факт смены высшего начальства должен был отрицательно повлиять на дисциплинированность наших частей. Однако этого нет, солдаты независимо от приказов подтянулись сами собой, понимая всем своим нутром важность происходящих событий. Больше порядка в районе расположения полка, больше чистоты в хатах, землянках, кухнях, чем до революции. Нет бывшего до того времени ворчания по адресу чечевицы. Даже кашевары подтянулись. Один из кашеваров 2-го батальона изобрел рецепт приготовления чечевицы. Он добавлял в котел с чечевицей шестьсот грамм очищенной соды, получалась великолепная разваристая каша. За этим кашеваром потянулись другие, и за последнее время чечевица вошла даже в фавор.

Наши квартиры и представители рот уже отправились в Лапушаны и Хокулеовский лес принять помещения и землянки от 13-го Финляндского полка.

Протазанов на одном из общих обедов с офицерами заявил, что дня через три мы оставим Олеюв и перейдем в Лапушаны. Из 13-го Финляндского полка к нему обратился прапорщик Крыленко за разрешением сделать доклад общему собранию солдат и офицеров полка по текущему моменту.

— Этот прапорщик, кажется, социал-демократ,— говорил Протазанов,— и генерал Сельвачев о нем отзывается весьма одобрительно.

Этот разговор происходил за два дня до праздника Пасхи.

На другой день, накануне Пасхи, ординарцы полка сообщили, что в шесть часов вечера роты должны прибыть к штабу на митинг. Протазанов, присутствовавший при подходе рот, сам распоряжался расстановкой людей как можно скученней, чтобы оратора можно было хорошо слышать всем прибывшим на митинг.

В сопровождении прапорщика Миленина из здания штаба полка вышел подпрыгивающей походкой, маленького роста, с проседью, в кожаной тужурке, с погонами прапорщика незнакомый нам человек, взял под козырек и быстрым прыжком вскочил на стол.

В глаза бросилась маленькая фигура этого человека, забрызганный грязью кожаный пиджак, грязные стоптанные сапоги и нервное подергивание рукой стека. Прежде чем начать говорить, прапорщик снял с головы фуражку и погладил левой рукой растрепанные на затылке волосы. С первых же слов своей речи Крыленко приковал к себе всеобщее внимание. Он говорил о том, что мы присутствуем при событиях всемирно-исторической важности. Революция всколыхнула миллионы людей в тылу и на фронте. К революции приковано внимание всего мира. От хода этой революции зависят судьбы и жизнь многих миллионов. Мы на фронте, перед нами находится враг, нами резко осязаемый. Мы слышим выстрелы, несущие за собой смерть. Это враг явный, и этому врагу мы противопоставляем наши винтовки и пушки. Этот враг открытый, честный, который прямо говорит и делает то, что необходимо в его интересах. И его действиям мы противопоставим свои действия.

Но у революции не один только этот враг. Есть другой враг — не окопавшийся в глубоких окопах, не защитивший себя проволочными заграждениями, более опасный благодаря своей скрытости. Этот второй враг — враг русской революции, сторонник монархии, сторонник реставрации старого режима. Он находится всюду. Он сейчас не выступает открыто, он сейчас придавлен грандиозностью совершившейся революции, он потихоньку собирает свои силы, скрыто мобилизует своих приверженцев с тем, чтобы всадить нож в спину революции, как только к этому представится случай. Как распознать этого второго врага? Если первому врагу мы открыто противопоставим свое вооружение, технику, силу свою, энергию, храбрость, мужество, то второму врагу нам нужно противопоставить прежде всего нашу стойкость, нашу выдержку, монолитность, стремление до конца защищать завоевания революции. В стане этого второго врага бывшие полицейские, помещики, дворяне, чиновники, попы, капиталисты и другие элементы, которые сейчас оделись в шкуру ягненка, прикидываются кроткими овцами, надевают на свою грудь красные банты и произносят подчас почти революционные речи. Этот второй враг не только и тылу, но и на фронте. Он среди офицеров, вышедших из аристократических кругов, среди генералов, которых теперь хотя и чистят, но еще далеко не очистили.

Надежды контрреволюции перенесены в данный момент на армию, забитую, униженную палочной дисциплиной. Враги ищут послушных старому режиму, которые могли бы слепо пойти на выполнение их дьявольских планов. Но мы должны быть одинаково стойкими в отношении обоих врагов, и против тех,— жест в сторону фронта, которые открыто стреляют в нас, и против тех, которые шпионят, которые разлагают, которые провоцируют, которые рисуют в самых отрицательных чертах революционные события, происходящие в стране.

Речь Крыленко продолжалась два часа.

Он кончил возгласом:

— Да здравствует русская революция! Да здравствует восьмичасовой рабочий день! Да здравствует грядущая мировая революция!

Окончив речь, Крыленко спрыгнул со стола и вытер грязным платком вспотевший лоб. К нему подошел Протазанов. Крепко пожал руку, притянул к себе и расцеловал. После этого Протазанов в свою очередь забрался на стол и произнес краткую речь.

Вечером в мою хату зашли два члена полкового комитета, Васильев и Анисимов.

— Дмитрий Прокофьевич,— заговорил Васильев,— нам надо доклад Крыленко обсудить в комитете.

— Что же, давайте обсудим, а что именно?

— О внутреннем враге. Хоть командир и сказал в своем выступлении, что наше дело бороться с внешним врагом, но мы на это дело иначе смотрим. Мы понимаем, что внутренний враг — наиболее опасная вещь. Ведь противник что: сегодня мы в него стреляем, завтра он в нас. Допустим, мир скоро.

— Не понимаю, товарищ Васильев, откуда у вас взялось представление, что у нас с австрийцами скоро мир будет?

— Нельзя, Дмитрий Прокофьевич, не быть миру, потому как теперь мы более сознательные, ясно понимаем, что австриец-мужик, что русский-мужик — все одно. И нет нам никакого резона друг с другом воевать. Австриец уйдет к себе на родину и будет жить, как доселе жил, а мы, уходя на родину, жить так, как раньше, не можем. Нам надо новые порядки заводить и урядников и земских и станowych выкуривать. Революция им небось не очень по душе пришлась. А мы свою линию твердо гнуть должны и внутреннего врага сломить.

— Ну, это в тылу,— говорю я.

— А здесь-то, вы думаете, их нет?— продолжал Васильев.— Многие ли из офицеров на нашей стороне? Раз, два, да и обчелся. А кто они в прежнем? Ведь это бывшие земские начальники, те же пристава, становые — вот кто. Нужно в оба смотреть за офицерами.

— Тогда, товарищ Васильев, этот вопрос надо обсудить не в полковом комитете, а отдельно, не вмешивая сюда офицеров.

— Ну, что же, давайте обсудим отдельно. Как это сделать?

— А вот как: на этих днях полк уходит на позицию.

Полковой комитет будет оставлен при штабе полка, и мы тогда на свободе сможем по этому вопросу потолковать.

— Хорошо, согласны.

Васильев и Анисимов было ушли, но через минуту вернулись:

— Слышали еще новость, Дмитрий Прокофьевич?

— Какую?

— Только сейчас телефонограмма передавалась, что послезавтра собирается собрание офицеров и представителей от рот при штабе дивизии. Туда приезжают члены Государственной думы для разъяснения текущего момента.

— Кто именно, вы не знаете?

— Нет, об этом ничего не сказано. Вы пойдете?

— К сожалению, не могу, я должен завтра поехать в обоз к Максиму, чтобы условиться о получении ряда вещей для моей команды, а послушать хотелось бы.

— Я вам тогда расскажу, что они будут говорить.

Приехал в обоз к Максиму. После делового разговора Максимов пригласил обедать. За обедом было много народа — Пасха.

К концу обеда приехал командир нестроевой роты Мокеев в сопровождении своего шурина, солдата Рожнова, который до призыва в армию имел в Туле крупную торговлю.

— Говорят, вчера какой-то социал-демократ большую речь держал на митинге,— обратился ко мне Рожнов.

Я передал вкратце содержание речи Крыленко.

— Ну, это социал-демократические утопии. Жизни они не знают. Напрасно хвастунишку Керенского в правительство пустили.

— Чем хвастунишка?— возмутился я.— Он социал-революционер.

— Хвастунишка он, а не социал-революционер. Болтает черт его знает что, ни к селу, ни к городу. Истеричные бабенки бегают за ним с букетами, и он возомнил себя чуть ли не спасителем отечества. Настоящая партия, которая может вести дело,— это конституционно-демократическая.

— Конституционно-демократическая? — переспросил я.— Это что — кадеты?

— Да, кадеты. Скоро в Петрограде открывается кадетский съезд, и от решений этого съезда будет зависеть дальнейшее направление политики. Они установят такой же порядок и образ правления, какой существует, например, во Франции.— Теперь еще новые появились,— обратился Рожнов к соседу,— большевики действовать начинают.

— Что за большевики?— спросил тот.

— Социал-демократы большевики. Ведь социал-демократы делятся на два лагеря, на меньшевиков и большевиков

— Что же, большевики это — те, которые большинство имеют?

— Нет, это те, которые больше требований предъявляют. Так вот они и требуют введения восьмичасового рабочего дня, немедленное социалистическое правительство и т. д. Их газета — «Социал-демократ», так чего только в ней не пишут. Уже кричат: «Долой Временное правительство».

— Я не читал этой газеты. Она на фронт не пропускается.

— Из всех социал-демократов только Плеханов на правильной линии стоит,— продолжал Рожнов.— Он говорит, что все партии должны объединиться, пока происходит война. Надо добить немцев в полном единении с союзниками, а потом, покончив с войной, можно переходить к осуществлению внутренних реформ.

— «Сначала успокоение — потом реформы», так, кажется, Столыпин в 1906 году говорил,— шутливо заметил я.

— Конечно, сначала кончить войну, а потом делать революцию,— солидно произнес Рожнов.

— Грешный я человек, слаб насчет всевозможных партий. А надо познакомиться.

Я лично смутно представляю себе разницу между социал-революционерами и социал-демократами. Одно мне ясно: что социал-революционеры за то, чтобы земля была немедленно от помещиков взята и передана крестьянам, а социал-демократы за то, чтобы установить восьмичасовой рабочий день.

Но вот что такое большевики, надо будет познакомиться подробнее.

Огромна тяга солдат к чтению. Литературы на фронте никакой нет. Из газет получается главным образом «Армейский вестник», официальный орган прежде штаба армии, а теперь армейского комитета. Изредка доходит «Русское слово» и «Киевская мысль». Очень редко, отдельными экземплярами, газета «Вперед».

Полковой комитет нарядил специального человека в Москву для покупки литературы и программ различных партий. Целый ряд газет, как например «Социал-демократ», о которой говорил Рожнов, в полк совсем не попадают.

Все же, видно, фронт остается фронтом, и распускаться здесь не позволяют.

Когда я возвратился от Максимова, Ларкин сообщил мне, что уже несколько раз заходили Васильев и Анисимов справляться о моем приезде. Разговор идет — следует ли идти в окопы.

— Вот тебе на! Если мы не пойдем, так кто же пойдет? Значит, наш полк будет лодырничать, а финляндцы сидеть?

— Другие полки не идут, г-н поручик,— перешел Ларкин на официальный тон.

— Какие другие?

— 611-й полк не идет.

— Откуда ты знаешь, что он не идет? Ведь до этого полка верст шестнадцать.

— Солдаты знают, у них связь установлена.

— Расскажи поподробнее, что ты знаешь.

— Я ничего не знаю, ваше благородие.

— Во-первых, я не благородие, а во-вторых, что ты за идиотский тон принимаешь?

— Простите, господин поручик.

— Опять поручик...

— Дмитрий Прокофьевич. Наши ребята послали по соседним полкам своих представителей узнавать, как там делается. Пришли и говорят: 611-й полк отказался третьего дня на позиции идти. Заявили, что с этим командиром они не пойдут.

— Может быть, командир у них сволочь...

— Если бы не был сволочь, то пошли бы... Что там было, Дмитрий Прокофьевич! Два батальона, которым нужно было идти на позицию, построились в полном снаряжении. Поп отслужил молебен, а потом солдаты вдруг открыли стрельбу. Стреляли вверх — острastки ради. Некоторые целились прямо в офицеров. Полковой комитет этого полка смещен. Офицеров из комитета по шапке.

— Значит, и меня скоро по шапке погонят?

— Ну, что вы! Вас никто за офицера не считает.

Минут через двадцать после подачи Ларкиным чая зашли Васильев и Анисимов.

— Мы вас ждали весь вечер, уж три раза приходили, — обратился ко мне Васильев, протягивая руку. — Видите ли, Дмитрий Прокофьевич, настроение становится тревожным.

— В каком смысле?

— Боюсь, как бы завтра у нас эксцессов не было: идти на позицию солдатам не хочется. Нам надо заблаговременно обсудить, как реагировать на действия солдат, ежели они откажутся идти.

— Бросьте, тов. Васильев, чего заранее морочить голову и себе и другим над тем, чего, может быть, и не будет. Откажутся выступить на позицию, тогда поговорим. Если бы вопрос шел о наступлении, ну, тогда было бы понятно, что предварительно обсудить следует, насколько серьезно операция подготовлена. А сейчас дело простое: сменить финляндцев на знакомой уже нам позиции. Лучше расскажите, что было на митинге с членами Государственной думы.

— Особого ничего. Собрали человек тысячу солдат, массу офицеров. Командовал митингом командир Финляндской дивизии генерал Сельвачев. Вы его видели когда-нибудь?

— Нет, не видел.

— Чудной такой, череп у него словно сахарная голова — высокая, узкая. Вышел он на возвышение и сказал, что прибыли господа члены Государственной думы, которые хотят разъяснить текущий момент. Скомандовал «смирно», потом «вольно». Рядом с ним стал член Государственной думы, князь Шаховской, а другой Макагон... Говорил на-счет необходимости защищать свободную Россию, что немец делает попытки использовать нашу революцию в своих интересах и разбить нашу армию с тем, чтобы снова поставить у нас царя. Рассказывал, что, когда у нас произошла революция и немцы об этом узнали, повели газовую атаку и пало несколько тысяч наших солдат.

Потом выступил Крыленко. Его солдаты слушали как своего. Он хлестко отделал и Шаховского, и Макагона.

Он говорил, что Дума состоит сплошь из помещиков и капиталистов, что не она революцию делала, а рабочие. Словом, так их сконфузил, что солдаты хохот подняли. Крыленко поставил вопрос о жалованье, сколько они получают? Ответа не было слышно.

В штабных канцеляриях поговаривают о том, что союзники нажимают на Временное правительство, чтобы оно отдало приказ о переходе в общее наступление по всему фронту. Это вопрос серьезный. С какой стати нам вести наступление? Нам дай бог удержать то, что мы захватили полтора месяца назад. А чтобы немцы и австрийцы в свою очередь не провоцировали своих солдат на выступление, нам надо установить тесные сношения с немецкими и австрийскими солдатами, стараясь разъяснить этим солдатам цели нашей революции. Это будет понятно нашему противнику, вернее его рядовой массе, и рядовая масса не пойдет в наступление.

— Немцы не такие дураки,— сказал Боров, обращаясь к Калиновскому.— Если мы будем сидеть, не сходя с места, то они тоже, думаешь, будут сидеть? Я стою за то, чтобы вести наступательную оборону.

— Ты можешь быть сторонником чего угодно, но солдат наступать не станет,— возразил Калиновский.

— А я тебе говорю, что станет!— вскипел Боров.

— Нет, не станет. Солдат теперь спит и видит, как бы поскорее поехать домой землю делить.

12 апреля полк в полном спокойствии выступил из Олева на позицию. Протазанов уехал в отпуск, оставив временно командовать полком Соболева.

По словам Блюма, это — маневр. Он хочет поставить солдат перед фактом командования Соболевым. Соболев изменился до неузнаваемости. У него появилась некоторая ровность в голосе, солидная медлительность в движениях, внимательность к солдатам и младшим офицерам.

15 апреля неожиданно прочел в приказе по полку, что я назначаюсь младшим офицером в 10-ю роту и свою команду должен сдать поручику Конаковскому.

Конаковский — кадровый офицер, проторчавший всю войну в Туле в запасном батальоне, откуда был выслан на фронт лишь после революции, так как окопавшихся в тылу теперь гонят на фронт.

Соболев, очевидно, решил порадовать своему товарищу по полку и устроил его на мое место в команду по сбору оружия и похоронную.

10-я рота встретила меня хорошо, солдаты приветствовали мое появление, ибо, будучи ранее в этом же батальоне, знали меня в бытность мою солдатом. Правда, таких старых солдат осталось немного.

Капитан Соколов, командир роты, встретил меня с видимым дружелюбием:

— Вы возьмете под свое наблюдение работы по укреплению проволочных заграждений перед окопами, на участке всей роты, а в случае каких-либо действий вы будете руководить третьим и четвертым взводами. Обедать приходите ко мне. Пусть ваш денщик приносит обед ко мне.

Идет усиленная подготовка к наступлению. Все солдатские комитеты, начиная от полкового и кончая фронтовым, высказывают опасение, что общее наступление может не удался. Передают, что вопрос о наступлении будет поставлен на съезде Совета солдатских депутатов в Петрограде в

конце мая. Но упорно говорят, что военное командование готовится, чтобы наступление начать до съезда.

На позиции акклиматизировался быстро. Встаю почти с рассветом, делаю обход окопов, проверяю сторожевые караулы, дежурных пулеметчиков, задерживаюсь иногда около солдатских землянок.

На фронте тишина. Стрельбы ни с нашей стороны, ни со стороны австрийцев почти нет. Лишь ночью изредка перестреливаются остратки ради выставляемые на ночь передовые цепи караулов.

По вечерам у себя в землянке беседую с прапорщиком Зубаревым. Ему кажется, что в связи с революцией крупных боев, какие были раньше, больше не будет, и он жалеет, что ему вряд ли удастся отличиться на фронте и получить Георгиевский крест.

Вчера, 25 апреля, ко мне в землянку неожиданно зашло несколько солдат 11-й и 12-й рот:

— Расскажите нам, правда ли, скоро наступление будет?

— Мы думаем, что наступать нам не следует. С какой стати теперь вести наступление? Мы и без того находимся на австрийской земле.

— Но не забывайте, что у нас есть обязательства перед союзниками.

— А за каким чертом нам союзники?— горячо возразил Никаноров.— Пусть они там у себя на Западном фронте дерутся.

— Если мы изменим союзникам, то союзники могут открыть против нас новый фронт. Японцы могут выступить на Дальнем Востоке, англичане и французы могут послать свои войска в Архангельск и Одессу и, кроме австро-немецкого фронта, мы получим дополнительно ряд новых фронтов. Я так думаю,— продолжал я,— что еще несколько усилий, сломим немца, а там и всеобщий мир.

— Мы думаем все-таки начать братание с австрийцами.

— Как братание?

— Очень просто. Помните, в прошлом году на Пасхе, под Сапановом, мы вместе с австрийцами сходились между окопами.

— Так вот и теперь будем сходиться и беседовать. Чего нам друг в друга стрелять? Ведь как нашего брата мобилизуют и гонят на войну, так и австрийцев и немцев. Если мы не захотим наступать, так этого может не захотеть и австриец.

— Не знаю, что вам посоветовать, товарищи. Я думаю, что лучше всего этот вопрос предварительно обсудить в полковом комитете.

— Нет уж, товарищ Оленин, мы думаем сами по себе, без комитета начать брататься. А вас просим об этом пока никому не говорить.

Я дал слово, что никому не сообщу о нашем разговоре.

На следующий день после обеда из окопов 12-й роты вышло на бруствер три солдата, один из которых держал надетый на штык винтовки белый флаг. Со стороны австрийских окопов на протяжении нескольких минут не было никакого ответа. Отсутствие стрельбы ободрило других солдат, сидевших в окопах, и через мгновение весь бруствер заполнился людьми 12-й роты. Люди были без винтовок, за исключением солдата, который на свою винтовку нацепил белый флаг.

Вскоре со стороны австрийских окопов последовало ответное действие, и в свою очередь на бруствер вышло несколько человек тоже с белым флагом. Во главе австрийцев был молодой офицер, который по-русски крикнул в сторону 12-й роты, что он предлагает выйти на середину поля между окопами трем представителям русской стороны. От 12-й роты отделилось три солдата, первоначально вышедших на бруствер. Со стороны австрийцев им навстречу в свою очередь направилось три австрийца. Делегаты с той и другой стороны сошлись посередине поля. Мы увидели, как австрийцы пожимали руки русским солдатам, о чем-то беседовали, оживленно жестикулируя, и затем наши делегаты пошли вместе с австрийцами в их окопы.

Минут через десять они в сопровождении густой толпы австрийцев направились в сторону наших окопов и, не

доходя шагов пятидесяти, уселись на лужайку, приглашая присоединиться к ним солдат, остававшихся в окопах.

Это зрелище наблюдали солдаты всего полка. Через какие-нибудь полчаса весь 3-й батальон был впереди окопов, причем со стороны австрийцев народу было значительно меньше. Видимо, часть австрийских солдат осталась в своих окопах с оружием, будучи настороже.

Капитан Соколов, наблюдавший около меня эту своеобразную картину, отдал распоряжение, чтобы офицеры и подпрапорщики к братающимся не присоединялись. По телефону Соколов сообщил в штаб полка, что солдаты 3-го батальона по инициативе 12-й роты братаются с австрийцами, и просил указания. В штабе полка, видимо, растерялись и никакого распоряжения не дали, предписав лишь наблюдать за происходящим братанием и о его результатах вечером донести в штаб.

Часа три продолжалась беседа русских с австрийцами. Разошлись лишь тогда, когда ротные кухни привезли к окопам обеды.

Вечером я пошел в 12-ю роту узнать о результатах этого братания. Моросанов, командующий ротой, рассказал, что австрийцы угощали наших солдат ромом и спиртом, меняли у наших солдат свои перочинные ножи, бритвы и другие предметы на хлеб и сало. Беседа относительно революции и наступления не имела места, ибо люди плохо понимали друг друга.

— А ведь интересная история,— говорил Моросанов.— Если так весь фронт начнет брататься, то, пожалуй, с наступлением ни черта не выйдет; раз солдаты сговорятся между собой не стрелять друг в друга и не идти в наступление, то офицеры тут мало что смогут сделать.

— Откуда появилась эта идея брататься?— спросил я.

— Из большевистских газет.

В роте получена телефонограмма из штаба полка, сообщающая, что 28 апреля при штабе дивизии состоится собрание офицерских депутатов по одному от полка для выбора представителя от дивизии на устраиваемый при

Ставке Верховного главнокомандующего в Могилеве съезд офицеров, георгиевских кавалеров.

— Ведь вы георгиевский кавалер? — спросил меня Соколов.— Вас не послать ли?

— Я — солдатский георгиевский кавалер, господин капитан, а в Ставке организуется, очевидно, союз кавалеров офицерского Георгиевского креста.

— Ладно, пошлем Кочаковского, он георгиевский кавалер еще по Русско-японской войне.

На этом согласились.

Спустя несколько часов новая телефонограмма, что при штабе дивизии состоится совещание о выборе депутатов, командируемых в Тулу для связи с нашими запасными полками.

Соколов вызвал меня опять:

— Кого послать? Поезжайте вы, давайте вас выдвинем. Там, очевидно, придется на митингах речи держать.

— Да ведь я не оратор.

— Ну, батенька, я помню, как вы на офицерском собрании Савицкого чистили.

— Одно дело Савицкого обругать и другое дело выступать на митингах, где несколько тысяч человек присутствует.

Поехал я. Кроме меня, были кандидатуры Шурыгина, выдвинутого мною, Борова, выдвинутого от 16-й роты, Калиновского от 14-й роты, остальные все роты высказались за меня.

В штабе дивизии в одной из комнат, прилегающих к оперативной части штаба, назначено собрание полковых делегатов. Выборы должны производиться одновременно и в союз георгиевских кавалеров при Ставке и для командирования в Тулу.

Генерал Музеус произнес несколько слов о важности выборов.

— Союз офицеров георгиевских кавалеров,— говорил Музеус,— будет тем союзом, на который все русское офи-

церство сможет опереться в дни тяжких испытаний, непосланных на нашу родину.

О командировке в Тулу Музеус сказал:

— Тыл стал забывать фронт. В тылу больше митингуют, чем думают о положении в армии. За последнее время совершенно прекратилась посылка пополнений в войска. Действующая армия предоставлена сама себе, ряды ее тают. Надо сказать солдатам запасных полков и их офицерам, что так продолжаться не может. Должно наступить полное единение между действующей армией и войсками, находящимися в тылу. Желаю вам, господа, выполнить ваш священный долг.

Пополнений нет. Полк редет с каждым днем.

Начали увольняться достигшие сорокатрехлетнего возраста. Значителен процент самовольно отлучающихся. За эти полтора месяца из полка выбыло не менее тысячи человек, взамен которых не прибыло ни одного.

29 апреля новая телефонограмма из штаба полка, гласящая о том, что в Петрограде созывается Всероссийский съезд крестьянских депутатов и что от каждой дивизии действующей армии должно быть командировано по одному депутату от солдат-крестьян.

Для выбора депутата от дивизии предписывается командировать от каждой роты и команды представителя на общее дивизионное собрание.

Соколов вызвал меня к себе в землянку, ознакомил с содержанием телефонограммы и предложил обойти взводы, опросить, кого они желают послать своим представителем на дивизионное собрание.

— Можете опросить через фельдфебеля.

Через час фельдфебель вернулся с докладом, что солдаты единодушно просили командировать на дивизионное собрание — меня.

Я удивился.

— Они говорят, — докладывал Покалюк, — что поручик Оленин знает крестьянский вопрос, сам из крестьян, и что лучше его депутата не найти.

Я не успокоился заявлением фельдфебеля и сам отправился во вторую линию окопов к первому и второму взводам.

— Почему вы меня избираете? Надо выбрать солдата-крестьянина.

— Некого, господин поручик, мы думали. Решили, что лучше вас никто наши интересы не защитит. Поезжайте вы.

Часам к одиннадцати около штадива собралось около полутораста солдат. Из всех собравшихся в офицерских погонах был один я. Переживал ощущение страшной неловкости, так как солдаты смотрят подозрительно, не зная, что я являюсь представителем роты.

Долго мялись, не зная, как приступить к выборам. Шофер штаба дивизии Игнатов, молодой кудрявый парень в кожаном костюме, в заливхватски надетой фуражке, взял на себя инициативу.

— Товарищи,— начал он, энергично жестикулируя руками,— нам надо избрать на Всероссийский крестьянский съезд своего представителя, солдата-крестьянина, который мог бы на этом съезде отстаивать интересы крестьян, оторванных от мирной жизни своим пребыванием на фронте. Нам надо избрать такого, которого мы знаем как истинного защитника интересов крестьян, который не предаст нас буржуям. Я предлагаю избрать президиум собрания, который наметит дальнейший порядок,— закончил Игнатов.

— Избрать его председателем! — закричали депутаты.

— Я предлагаю президиум, а не одного председателя. Можно по одному от полка. Пусть каждый полк выделит.

Так как ротные представители каждого из полков держались кучно, то выборы в президиум больших трудностей не составляли. От 11-го полка в президиум выбрали меня. Когда я появился за столом, притащенным откуда-то из канцелярии штаба дивизии, то слышал позади возгласы.

— А поручик зачем сюда попал? Кто его выбрал?

— Это от 11-го полка, они его знают,— примирительно отвечали другие.

— Какой же он крестьянин теперь? Чего их сюда вмешивать?— ворчали другие.

— Ладно, помалкивай, знаем, какой он крестьянин.

Сидя на табуретке за столом президиума, я усиленно напрягал свою мысль, что бы такое сказать собравшимся делегатам, чтобы вызвать с их стороны к себе больше доверия, стараясь вспомнить те отрывочные сведения, какими я располагал по аграрному вопросу. Но увы! Ничего путного в голову не приходило.

— Прошу ораторов записываться!— прокричал Игнатов. Молчание.

Никому первому говорить не хочется. Набравшись храбрости, я попросил слова.

— Слово предоставляется поручику Оленину!— громко сказал Игнатов.

Делегаты насторожились.

— Товарищи,— начал я.— Нам действительно надо избрать такого делегата, который смог бы отстаивать интересы крестьян. Происшедшая революция выдвинула в порядок дня осуществление заветной мечты крестьянина: получить землю и волю. Освобождение крестьян в 1861 году не дало крестьянам того, чего они ожидали. Крестьянин получил худшую землю, а лучшие оставили за собой помещики. В целом ряде мест крестьянину курицу выпустить некуда. Надо, чтобы крестьянский Всероссийский съезд обсудил вопрос об отобрании помещичьей земли и о равномерном ее распределении среди крестьян.

Войдя в пафос, я даже начал импровизировать, почему необходимо, не ожидая окончания войны, объявить землю общенародным достоянием, отобрать немедленно от помещиков и передать до возвращения солдат с фронта в ведение земельных комитетов, избираемых на местах при каждой волости.

В самый разгар моей речи к нашему собранию подошла группа штабных офицеров во главе с начальником дивизии Музеусом.

Игнатов прервал меня и скомандовал:

— Смирно!

Солдаты, рассеявшиеся на траве, вскочили для отдания чести.

Музеус поздоровался. Велел продолжать вести собрание, а сам присел около стола. Присутствие Музеуса меня

смutilo. Я потерял нить начатой речи, но затем взял себя в руки, выправился и продолжал говорить дальше, причем как раз в этот момент коснулся образования крупных помещичьих землевладений в период царствования Екатерины.

Когда я кончил, со лба градом катился пот. Но наградой мне были дружные аплодисменты солдат, отчего я почувствовал большое удовлетворение.

Выступило еще несколько солдат, соглашавшихся со мной.

— Правильно,— говорили они,— что землю надо немедленно отобрать от помещиков, с разделкой повременить, чтобы не было никаких осложнений.

Проговорили часов до двух дня.

По окончании прений одним из солдат было внесено предложение, прежде чем выбрать депутата, составить наказ от дивизии.

Избрали комиссию по составлению наказа. В состав комиссии вошел Игнатов и я, и по одному представителю от каждого из полков и артиллерийских частей.

Следующее собрание назначено на другой день в девять утра.

Сначала были заслушаны предложения солдат, что надо внести в наказ. Скупы на предложения были солдаты, но зато они все дружно высказывались за то, чтобы немедленно взять землю у помещиков. В конце концов, весь наказ пришлось составлять лично мне уже без комиссии, а на комиссии лишь доложить на следующее утро перед общим собранием.

На другой день в девять часов утра читали наказ. Громом аплодисментов утверждался каждый прочитанный пункт:

— Правильно! Верно! Вот это так и надо! Хорошо!

После чтения один из солдат внес предложение дополнить наказ пунктом, чтобы, кроме отобрания земель от помещиков, отобрать и заводы от капиталистов и дома от домовладельцев.

— Съезд крестьянский,— попробовал возразить Игнатов,— вряд ли эти вопросы станет обсуждать.

— Должен обсуждать!— упорно настаивал на своем внесший предложение солдат.— Какой же этот иначе будет Всероссийский съезд, если не затронет других сторон нового строя?

Решили дополнить наказ.

Приступили к процедуре голосования.

— Предлагаю избрать простым голосованием,— предлагали одни.

— Нет, простым нельзя,— кричали другие.— Надо тайным.

Согласились на последнее.

Заготовили кусочки бумаги, вырванные из блокнотов, раздали солдатам, на которых они должны были написать фамилию желательного кандидата, причем написанные записки должны были опускаться в принесенный откуда-то ящик; присматривать приставили специально двоих солдат.

— Давайте сперва обсудим кандидатов!

— Называйте фамилии!

— Оленин!— закричали представители 11-го полка.

— Игнатов!— кричали в противовес штабные.

— Морозов!— кричали артиллеристы и т. д.

Кандидатов набралось двенадцать человек.

Игнатов зачитал записанные им фамилии кандидатов, подлежащих баллотировке, и еще раз спросил у собрания:

— Может быть, полезно обсудить кандидатов, прежде чем за них голосовать?

— Ничего, мы теперь сами разберемся!— получил он в ответ.

Из урны вывалили на стол груду записок, которые президиум начал подсчитывать.

— Раз, два, три... десять... пятнадцать... тридцать... сорок пять... семьдесят... девяносто пять... сто двенадцать... сто тридцать четыре.

Пустых было одиннадцать записок.

— Сто тридцать четыре голоса за Оленина!— провозгласил Игнатов.

Солдаты снова вытянулись перед урной. Каждый подходил, крепко держа зажатую в кулаке записку, скрывая ее от других, осторожно вкладывал в ящик.

Открыли урну, считают. За Игнатова девять голосов, остальные записки пустые.

Голосуют Морозова. Тот получил три голоса.

— Довольно тянуть волынку,— закричали солдаты.— Ясно, что Оленин выбран. Ведь кто писал за одного, ясно, за другого писать не станет.

Игнатов проголосовал, стоит ли продолжать голосование. Единогласно приняли постановление закрыть баллотировку.

— Итак, выбран почти единогласно Оленин,— резюмировал Игнатов.

— Качать его!— закричали с разных сторон, и мое бедное тело несколько раз взлетало на воздух.

— Товарищи, пощадите, вы мне все кости переломаете! — взмолился я.

Не чувствуя под собою ног, дошел я до своей 10-й роты. Солдаты устроили мне бурную овацию, узнав, что я избран депутатом на крестьянский съезд.

— Смотрите, товарищ Оленин, не отрывайтесь от нас.

ГЛАВА VIII

ВСЕРОССИЙСКИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ СЪЕЗД

Май, Петроград

Сидя в вагоне поезда, везущего меня в Тулу, я обдумывал, как должен буду себя вести, как представитель солдат, на Всероссийском крестьянском съезде.

Надо организовать в единую группу всех представителей крестьян 11-й армии, чтобы от 11-й армии было объединенное выступление по вопросам о земле и о войне.

Съезд объявлен был официально на пятое мая, но надо думать, что делегаты с фронта запоздадут... Очень хочется

повидаться с родными, в особенности же повидать жену и захватить ее с собой в Петроград.

При посадке в Курске столкнулся с прапорщиком Трехсвятским, едущим из Тулы на фронт. Уже стоя на подножке вагона, я спросил Трехсвятского, что делается в Туле.

— И хорошо и плохо,— ответил Трехсвятский.— Хорошо, что идет чистка запасных полков. Плохо, что совершенно пала там дисциплина. Никаких занятий, ежедневное митингование, нежелание отправляться на фронт, прикрытое шкурными соображениями: мол, если нас отправят на фронт, то кто здесь будет завоевания революции защищать?

Третий звонок, гудок паровоза. Торопясь, я пожал руку Трехсвятскому и вошел в вагон.

Большинство пассажиров из Крыма.

Купе все заняты. Пришлось устроиться в коридоре.

В коридор вошла девушка лет двадцати-двадцати двух, в изящном лиловом платье, тоненькая, с карими глазами, немного вздернутым носиком. Осмотрелась по сторонам коридора. Нервно подернула плечиками, остановив свой взор на моей фигуре. Сделала несколько движений по коридору и громко позвала проводника.

Я заметил маленькую ножку, одетую в лаковую туфельку, и тонкий шелковый чулок. Внимательно посмотрел на ее стройную фигурку и поймал себя на грешной мысли, что девушка хороша.

Девушка прошла несколько раз по коридорчику, причем при приближении в мою сторону пытливно всматривалась в меня, стараясь осмотреть с ног до головы.

Я делал вид, что не замечаю взглядов девушки, задумчиво курия папиросу.

— Вы не знаете,— обратилась она ко мне,— скоро Тула будет?

— От Курска до Тулы около трехсот километров,— ответил я.— Этот поезд скорый. Делает в час в среднем километров сорок. Следовательно, часов через семь-восемь будет в Туле. А вы разве в Тулу?

— Нет, я еду из Симферополя. Имела глупость еще на Пасху поехать в гости к тетке. Туда ехала — мучилась, а сейчас еще больше.

— Какое же мученье?— удивился я.— Вы едете во втором классе, в купе.

— В купе,— передразнила она меня.— Если в этом купе одни только лоботрясы сидят, малое удовольствие с ними ехать.

— Если вам не нравятся спутники, можете в купе спать, а остальное время проводить в коридоре. Здесь меньше лоботрясов.

— Вы правы,— здесь только один!— и она расхохоталась.

Я укоризненно посмотрел на нее, не зная, обидеться мне или нет.

— Я очень просил бы вас не причислять меня к лику лоботрясов. Я еду с фронта, на котором, да будет вам известно, нахожусь почти три года. Для меня целое событие, когда удастся на непродолжительный срок выбраться в тыл.

— Вы с фронта, правда, а не так, как мои там,— она показала на купе,— из Крыма?

— Честное слово, с фронта. Если не верите, могу даже вам Георгиевский крест показать.— И из бокового кармана я достал свой Георгиевский солдатский крест и приколот булавкой к груди.

— Ах, какой вы интересный! Зачем вы такой нехороший бант сделали? Дайте, я вам поправлю. И потом, что это за булавка у вас такая? Это не булавка, а целая булавища. Подождите, я сейчас вам устрою.

Она отцепила у себя маленькую булавку, взяла в руки мой Георгиевский крест, поправила бантик и с милым кокетством избалованной девочки приколола мне на гимнастерку.

— Мне очень интересно, что наконец-то я встретила настоящего офицера, боевого и прямо с фронта. А почему у вас такой крест странный? Я не видала таких. Как будто бы Георгиевский крестик — беленький.

— Это у меня солдатский.

- Странно, у офицера и солдатский крест.
- Чего же странного? Я был солдатом, получил крест, а потом, за отсутствием других орденов, которыми можно было бы награждать солдат, меня произвели в офицеры.
- А вы совсем не похожи на солдата.
- Ну еще бы, слава тебе господи, почти два года, как я в офицерских чинах пребываю.
- В отпуск едете? К жене?
- Не в отпуск и не к жене. Еду в Питер
- В Петроград,— капризно протянула девушка.— Говорят, чудесный город, как бы мне хотелось там побывать, а тут изволь ехать в противную Самару. Вы себе представить не можете, что за гнусный город эта Самара.
- Нет, не знаю,— сочувственно ответил я.
- Гнусь, гнусь и гнусь! Только и есть хорошего, что Волга. А кроме Волги — купцы, прапорщики, Струковский сад, Николаевская улица и пыль, пыль, пыль...
- А что вы там делаете?
- Баклуши бью. Маменька мне женихов ищет, а я не хочу замуж выходить. Сама себе жениха найду.
- Теперь время революционное,— пошутил я,— и маменькам пора жениховье дело бросить.
- А какая у меня маменька! От такой тещи-то не поздоровится будущему муженьку!
- Почему вы своих спутников по купе лоботрясами назвали?
- Ну как же, молодые, здоровые — и все время в тылу околачиваются, а главное — они даже не офицеры, а как их там называют... в союзе работают...
- Земгусары.
- Вот, вот, земгусары, и со шпорами. Героями себя воображают. А если бы вы посмотрели на них! Жуть одна! И вы представляете себе, что я от Симферополя эту муку терплю, вот уже сутки!— и девушка нахмурила тоненькие бровки.
- А ведь в Туле и я выхожу.
- Вы, может быть, вперед в Самару заедете, а потом в Питер?
- К сожалению, не могу, тороплюсь.

— Зачем же вам в Туле выходить, раз поезд идет до самого Питера?

— Родных хочу повидать.

— Родных... знаю я этих родных!— погрозила она мне.

В этой болтовне доехали до Тулы. Я помог спутнице выбраться из вагона с ее многочисленными картонками.

Решил остановиться у своего брата Василия Никанорыча, слесаря в трамвайном парке.

Дом, в котором живет брат,— общежитие рабочих трамвайного парка. Большой, шестиэтажный, с квартирами в одну, максимум две комнаты. Лифта нет. Поднялся на пятый этаж по узкой крутой лестнице. Брата дома не было, встретила его жена, Елена. Она очень обрадовалась моему приезду. Немедленно стала готовить чай и закуску. Предложила мне почистить себя с дороги и помыться. Я рассказал о цели своего приезда в Питер и что придется пробыть не меньше месяца.

— Я бы хотел найти себе комнату.

— А зачем тебе комната, живи у нас,— оказала Елена.

— Нельзя, голубушка, жена, вероятно, приедет.

— А ты уж жениться успел?

— Успел, Елена.

— Ну тогда вот Вася придет, он скажет, где тут поблизости можно найти. А обедать милости прошу у нас.

— Очень благодарен. Если не будут кормить на съезде, то попрошу вас взять меня в нахлебники.

Пришел Василий. Разговор пошел о Петрограде.

— Сейчас хорошо, Дмитрий, рабочим — лафа. Не то, что раньше было. Одно плохо: хлеба нигде без карточек не достанешь, да и по карточкам не всегда дают.

— Однако я видел в магазинах не только хлеб, но и пирожные, и другие кондитерские изделия.

— Пирожное со щами есть не будешь. Его покупает буржуазная публика, а вот черного хлеба мало. Тебе придется прописаться и взять на себя карточку, иначе намучаешься.

— А зачем мне карточка? Я, вероятно, в столовой буду обедать.

— Зачем тебе в столовой обедать, обедай у нас, только карточку возьми, Елена будет на тебя хлеб брать.

— А настроение в городе какое?

— Да что настроение. Как революция произошла, так сначала все хорошо было. Потом финтить начали во Временном правительстве. Ты наверное читал, знаешь, что Милюков послал союзникам, что, мол, война до победного конца. Я так понимаю, что нам надо правительство свое, социалистическое, а министров-капиталистов долой.

— Ты мне вот что скажи, Василий: как у вас смотрят, какую нам республику надо иметь, и республику ли?

— Конечно, республику, и такую, при которой рабочим было бы хорошо, чтобы контроль над капиталистами.

— А я думаю, что нам хорошо бы установить такую республику, как, например, во Франции и Америке.

— Нет, нам надо другую республику — рабочую.

Я постарался перевести разговор на другую тему, так как чувствовал, что не могу спорить с Василием.

После обеда пошли искать квартиру. Во всем районе Васильевского острова, начиная 20-й линией, кончая 1-й, свободной комнаты не нашлось. Возвращаясь обратно, Василий предложил мне пройти к взморью. На 22-й линии, в одном из больших домов, на подъезде было наклеено объявление о сдаче комнаты.

Зашли.

Владелица квартиры, пожилая женщина, сказала, что сдается комната с мебелью, плата — пятьдесят рублей. Называя цифру, она смотрела на Василия Никанорыча, вид которого, очевидно, не внушал ей доверия.

— Я согласен,— заявил я.— Сколько вам задатку?

— За полмесяца вперед.

— Получите!— и я вручил ей двадцатипятирублевую кредитку.

На другой день я пошел на Всероссийский крестьянский съезд. Съезд помещался в Народном доме на Кронверкском проспекте.

Занимаются в помещении оперного театра, способного вместить до пяти тысяч человек. Фойе театра занято киосками, в которых продаются революционные книги и брошюры. Почти над каждым киоском висят надписи, какая партия обслуживает посредством этого киоска своих членов. Тут же объявление о приеме в партии. Бросились в глаза киоски с вывесками: «Партия народной свободы» (конституционно-демократическая, т. е. кадетов) без лозунга, партия народных социалистов, с лозунгом: «Все для народа и все через народ», партия социал-революционеров, с лозунгом: «В борьбе обретишь ты право свое», партия социал-демократов, с лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».

Я вступал в разговоры с людьми, обслуживающими киоски. Они спрашивали:

— Какой партии?

И, услышав, что беспартийный, предлагали немедленно записаться в члены их организации.

— Подожду,— смеялся я.— Дайте осмотреться.

— Лучше нашей партии нет,— говорил каждый из них.

В конце концов такие приглашения стали надоедать, точно находишься на каком-то базаре, где стараются всучить ненужные тебе вещи.

Разыскал регистрационное бюро, во главе которого оказалась длинная белобрысая девица лет тридцати пяти, с длинным носом, вспухшими веками и изумительно тощей фигурой.

Она посмотрела мой мандат, проверила в своих списках, полагается ли быть депутату от 3-й дивизии, и, найдя, что такому депутату быть положено и что это место еще никем не занято, написала мне сразу две карточки. Одну красную, гласящую, что я являюсь депутатом крестьянского Всероссийского съезда с правом решающего голоса, и другую зеленую, на право получения обедов и ужинов в столовой Народного дома.

От этой девицы я узнал, что делегатам можно получить и квартиру в общежитии.

Занятия съезда идут с десяти до двух часов дня, после этого перерыв на обед, затем опять с пяти и до восьми вечера.

Регламент и порядок съезда напечатан на отдельных листовках. В повестке дня — вопрос о войне, земле и выборы исполнительного комитета. К этому порядку дня добавлен еще вопрос о международном и внутреннем положении.

Этот доклад уже был сделан, и по нему шли прения.

Делегатов съехалось свыше тысячи. Кроме того, масса гостей и лиц с совещательными голосами. Оперный зал заполнен сверху донизу. На сцене президиум, позади которого — почетные гости. Партер для делегатов съезда с решающими голосами, а ярусы и ложи для интересующихся.

Председатель съезда с.-р. Авксентьев. Среди членов президиума бабушка русской революции Брешко-Брешковская, новый министр земледелия, социал-революционер Чернов, и видные члены партии эсеров: Бунаков, Чайковский и др.

Состав делегатов очень пестрый: человек двести солдат, пятнадцать-двадцать офицеров от прапорщиков до поручиков включительно. Многие делегаты в деревенских свитках, с намасленными волосами, точь-в-точь такие, как виденные мною в мирное время волостные старшины в нашем Епифанском уезде. Выделяются несколько сектантов. Один из них в длинной посконной рубахе, без штанов, с длинной гривой волос, босой. Про него рассказывают, что круглый год и зиму и лето он ходит в одном и том же костюме и что уже несколько десятков лет не надевает никакой обуви.

По партийному составу на съезде социал-революционеров почти пятьсот пятьдесят человек, народных социалистов около ста, беспартийных около пятидесяти.

В первое посещение мне пришлось быть свидетелем небольшого скандала, разыгравшегося между президиумом и партером.

Один из делегатов съезда, выйдя на трибуну для внеочередного заявления, обвинил президиум в нелояльном отношении к съезду и в превышении власти, ибо без доклада съезду и одобрения последнего председатель Авксентьев

отправил от имени съезда приветствие съезду кадетской партии.

— Кадеты — это крупная буржуазия,— говорил стоявший на трибуне оратор.— Их интересы чужды интересам крестьян. Посылать капиталистам и помещикам приветствие — вещь совершенно недопустимая и характеризует политическую физиономию руководителей этого съезда.

В заключение оратор предлагал выразить недоверие президиуму.

С ответной речью выступил Авксентьев. Среднего роста, несколько плотный, с вьющимися волосами, умеющий владеть собой, с прекрасными ораторскими приемами, горделиво покачиваясь, он бросал такие слова съезду:

— Удивляюсь, что отдельные делегаты выходят и выражают недоверие президиуму, который организовал созыв этого съезда. Недоверие тем самым людям, которые десятки лет вели борьбу за землю и волю, тем самым людям, которые многие годы сидели в тюрьмах и в ссылках. Если бы не эти люди,— Авксентьев делает величавый жест в сторону президиума,— то не было бы революции, не было бы настоящего съезда. Президиум прекрасно отдает себе отчет в том, что он делает. Президиум не может не приветствовать съезда кадетской партии, ибо эта партия есть партия народной свободы. Это не есть партия помещиков, не партия капиталистов, это — партия, которая наравне с нами стремилась к свержению царизма.

Голос Авксентьева повышается:

— И если говорить начистоту, то не столько свергли царизм присутствующие здесь делегаты, сколько те, которых от имени президиума я сегодня приветствовал.

— Свинство! Подлость!— раздались отдельные крики.

— Я вижу, что на наш съезд проникли чуждые крестьянству элементы,— продолжал Авксентьев,— но им не удастся сорвать ни работы съезда, ни тех решений, которые съезд примет под руководством настоящего президиума. Я предлагаю перейти к очередным делам, оставив без внимания сделанное перед этим внеочередное заявление.

На задних скамьях поднялся шум.

— Прихвостни кадетов!— раздались отдельные реплики.

Авксентьев, вернувшись с трибуны к председательскому месту, презрительно смотрел на кричавших.

— Я голосую, кто за переход к очередным делам, прошу поднять руки.

Поднялся лес рук.

— Кто против?

Меньшинство.

— Переходим к следующим делам. Слово имеет для доклада о продовольственном положении страны министр продовольствия Пешехонов.

Большинство находившихся в зале зааплодировали.

На трибуне показался Пешехонов, среднего роста, худощавый, невзрачный человек, который начал читать речь по написанной шпаргалке.

Я прошел в кулуары, т. е. в фойе, где бродило несколько делегатов, обсуждавших происшедший инцидент.

— Конечно, Авксентьев не имел никакого права выступать у кадетов от имени съезда. Он должен был хотя бы ради приличия получить разрешение съезда,— говорили одни.

— Авксентьев и другие кичатся своим революционным прошлым,— говорили другие.— Подумаешь, важность какая, многие из нас в тюрьмах сидели.

— Что вы, господа,— говорили третьи,— мы не можем действовать изолированно от партии народной свободы. Все же эта партия имеет колоссальнейшие заслуги. Может быть, Авксентьев и не соблюл формальности, но разве это так существенно?

— Прихвостни они!— слышались кое-какие возгласы.— Надо переизбрать президиум.

— Здесь не без провокации большевиков,— раздавались другие возгласы.— Люди, подобные Авксентьеву, достойны всяческого уважения. Нечего ставить вопрос перед всем съездом, коли президиум у нас авторитетный.

На следующий день я пришел на заседание с раннего утра. В кулуарах раздавали письмо главы большевистской партии Ленина, обращенное к делегатам крестьянского съезда. Около людей, раздававших это письмо, толпились кучки народа. Каждый старался поскорее добраться до

раздающего, чтобы удовлетворить нетерпеливое любопытство.

— Ишь ты,— говорил один из делегатов в золотом пенсне,— на какой бумаге написано, и чуть ли не золотыми буквами. У нас еле-еле газетной бумаги хватает, а тут, посмотрите, чуть ли не на слоновой. Что значит — денежки имеются от немецкого генерального штаба.

Я в свою очередь протиснулся, чтобы получить письмо, так волновавшее всех депутатов съезда. Письмо, действительно, написано на прекрасной бумаге. В этом письме Ленин сообщает, что он по своему нездоровью не может лично выступить на Всероссийском крестьянском съезде и в силу этого вынужден обратиться с письмом.

Вот что писал Ленин:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К ДЕЛЕГАТАМ ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА КРЕСТЬЯНСКИХ ДЕПУТАТОВ

Товарищи крестьянские депутаты!

Центральный комитет Российской социал-демократической рабочей партии (большевиков), к которому я имею честь принадлежать, хотел дать мне полномочие представлять нашу партию на Крестьянском съезде. Не имея возможности до сих пор, по болезни, выполнить это поручение, я позволю себе обратиться к вам с настоящим открытым письмом, чтобы приветствовать всероссийское объединение крестьянства и указать вкратце на глубокие разногласия, которые разделяют нашу партию, «социалистов-революционеров» и «социал-демократов меньшевиков».

Эти глубокие разногласия касаются трех самых важных вопросов: о земле, о войне и об устройстве государства.

Вся земля должна принадлежать народу. Все помещичьи земли должны без выкупа отойти к крестьянам. Это ясно. Спор идет о том, следует ли крестьянам на местах немедленно брать свою землю, не платя помещикам никакой арендной платы и не дожидаясь Учредительного собрания, или не следует.

Наша партия думает, что следует, и советует крестьянам на местах тотчас брать всю землю, делая это как можно организованнее, никоим образом не допуская порчи имущества и прилагая все усилия, чтобы производство хлеба и мяса увеличилось, ибо солдаты на фронте бедствуют ужасно. Учре-

дительное собрание установит окончательное распоряжение землей, а предварительное распоряжение ею теперь, тотчас для весеннего сева, все равно невозможно иначе как местными учреждениями, ибо наше Временное правительство, правительство помещиков и капиталистов, оттягивает созыв Учредительного собрания и до сих пор не назначило даже срока его созыва.

Предварительно распорядиться землей могут только местные учреждения. Засев полей необходим. Большинство крестьян на местах вполне сумеют организованно распорядиться землей, запахать и засеять всю землю. Это необходимо, чтобы улучшить питание солдат на фронте. Поэтому ждать Учредительное собрание недопустимо. Права Учредительного собрания окончательно установить всенародную собственность на землю и условия распоряжения ею мы нисколько не отрицаем. Но предварительно, теперь же, этой весной распорядиться землей должны сами крестьяне на местах. Солдаты с фронта могут и должны послать делегатов в деревни.

Далее. Чтобы вся земля досталась трудящимся, для этого необходим тесный союз рабочих с беднейшим крестьянством (полупролетариями). Без такого союза нельзя победить капиталистов. А если не победить их, то никакой переход земли в руки народа не избавит от народной нищеты. Землю есть нельзя, а без денег, без капитала достать орудия, скот, семена неоткуда. Не капиталистам должны доверять крестьяне и не богатым мужикам (это — также капиталисты), а только городским рабочим. Только в союзе с ними добьются беднейшие крестьяне, чтобы и земля, и железные дороги, и банки, и фабрики перешли в собственность всех трудящихся, без этого одним переходом земли к народу нельзя устранить нужды и нищеты.

Рабочие в некоторых местностях России уже переходят к установлению рабочего надзора (контроля) за фабриками. Такой надзор рабочих выгоден крестьянам, он дает увеличение производства и удешевление продуктов. Крестьяне должны всеми силами поддерживать такой почин рабочих и не верить клеветам капиталистов против рабочих.

Второй вопрос — о войне.

Война эта — захватная. Ее ведут капиталисты всех стран из-за своих захватных целей, из-за увеличения своих прибылей. Трудящемуся народу эта война ни в каком случае ничего, кроме гибели, ужаса, опустошения, одичания, не несет и принести не может. Поэтому наша партия, партия созна-

тельных рабочих, партия беднейших крестьян, решительно и безусловно осуждает эту войну, отказывается оправдывать капиталистов одной страны перед капиталистами другой страны, отказывается поддерживать капиталистов какой бы то ни было страны, добивается скорейшего окончания войны посредством рабочей революции во всех странах.

В нашем теперешнем новом Временном правительстве десять министров принадлежат к партиям помещиков и капиталистов, а шесть — к партии «народников» (социалистов-революционеров) и «меньшевиков» социал-демократов. По нашему убеждению народники и меньшевики делают глубокую и роковую ошибку, входя в правительство капиталистов и соглашаясь вообще поддерживать его. Такие люди, как Церетели и Чернов, надеются побудить капиталистов скорее и честнее кончить эту захватную войну. Но эти вожди партии народников и меньшевиков ошибаются: на деле они помогают капиталистам готовить наступление русских войск против Германии, то есть затягивать войну, увеличивать неслыханные тяжелые жертвы, принесенные русским народом войне.

Мы убеждены, что капиталисты всех стран обманывают народ, обещая скорый и справедливый мир, а на деле затягивая захватную войну. Капиталисты русские, имевшие в своих руках старое правительство и имеющие по-прежнему в своих руках новое Временное правительство, не захотели даже опубликовать тех тайных грабительских договоров, которые бывший царь Николай Романов заключил с капиталистами Англии, Франции и других стран с целью отвоевать у турок Константинополь, отнять у австрийцев Галицию, у турок Армению и так далее. Временное правительство подтвердило и подтверждает эти договоры.

Наша партия считает, что это — такие же преступные, грабительские договоры, как и договоры разбойников — немецких капиталистов и их разбойничьего императора Вильгельма с их союзниками.

Кровь рабочих и крестьян не должна литься из-за достижения таких грабительских целей капиталистов.

Надо скорее кончить эту преступную войну, и не сепаратным (отдельным) миром с Германией, а всеобщим миром, и не миром капиталистов, а миром трудящихся масс против капиталистов. Путь к этому один: переход всей государственной власти целиком в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и в России, и в других странах. Только

такие Советы в состоянии на деле помешать обману народов капиталистами, помешать затягиванию войны со стороны капиталистов.

И здесь я подошел к третьему и последнему из намеченных мною вопросов: к вопросу об устройстве государства.

Россия должна быть демократической республикой. С этим согласно даже большинство помещиков и капиталистов, которые всегда стояли за монархию, но убедились теперь в том, что народ в России ни за что не допустит восстановления монархии. Капиталисты направили теперь все усилия на то, чтобы республика в России как можно больше походила на монархию (примеры тому бывали во многих странах неоднократно). Для этого капиталисты хотят сохранения чиновничества, стоящего над народом, полиции и постоянной армии, отделенной от народа и находящейся под командой невыборных генералов и офицеров. А генералы и офицеры, если они не выборные, почти всегда будут из помещиков и капиталистов. Это известно даже из опыта всех республик на свете.

Наша партия, партия сознательных рабочих и беднейших крестьян, добивается поэтому иного рода демократической республики. Мы хотим такой республики, чтобы издевающейся над народом полиции в ней не было; чтобы чиновники были все, снизу доверху, только выборные и сменяемые в любое время по требованию народа, чтобы жалованье их было не выше платы хорошему рабочему; чтобы в армии все начальство было такое же выборное и чтобы постоянная армия, отделенная от народа, отданная под команду чуждым народу классам, была заменена всеобщим вооружением народа, все-народной милицией.

Мы хотим такой республики, чтобы вся власть в государстве, снизу доверху, принадлежала всецело и исключительно Советам рабочих, солдатских, крестьянских и проч. депутатов.

Рабочие и крестьяне—большинство населения. Власть и управление должно быть у их Советов, а не у чиновников.

Вот наши взгляды, товарищи крестьянские депутаты. Мы твердо убеждены в том, что опыт скоро покажет самым широким массам народа ошибочность политики народников и меньшевиков. Опыт скоро покажет массе, что спасти Россию, которая, как и Германия, как и другие страны, находится на краю гибели, спасти измученные войной народы нельзя путем соглашательства с капиталистами. Спасти все народы может

только переход всей государственной власти прямо в руки большинства населения.

4 мая 1917 года

В. Ленин

Письмо вызвало много толков среди делегатов.

— Как же так,— говорили одни,— что земля должна без выкупа отойти к крестьянам? Это невозможно. Ведь большинство земель помещиков заложены в банк. Если взять землю без выкупа, то произойдет финансовый крах.

— Какой там к черту крах!— говорили другие.— Мужик ждет более столетия, чтобы забрать то, что ему принадлежит исторически. На то и революция, чтобы земля была отобрана от помещиков. Куда же вы денете лозунг «земля и воля», основателем которого были и Чернышевский, и Лавров? Конечно, Ленин прав. Землю нужно немедленно забрать, не ждать Учредительного собрания. Учредительное собрание должно окончательно ликвидировать собственность на землю, как пишет Ленин в своем письме. Это совершенно правильно.

— Насчет войны Ленин загнул слишком,— слышалось в другой группе.— Легко сказать, что нам война не нужна. Ленин не понимает, что данная война имеет освободительный характер. Надо в конце концов освободиться от влияния тевтонов на славянские народности. Без Дарданелл развитие экономики России не может иметь места. Надо лишить турок права владеть проливом. Милюков прав.

— Свергать капиталистов необходимо,— слышалось в другом месте.

— Это у нас-то, ха, ха, ха, при нашей серости, дикости, некультурности — и без капиталистов! Ясное дело, что тут не без связи с нашим противником. Власть Советам. Это значит — нам всем власть отдать. Что же, так мы все и будем управлять? Вряд ли это возможно. Все равно придется избрать специальный орган для управления.

— А Ленин прогрессирует. Раньше говорил, что отрезки надо отобрать от помещиков, а теперь уже насчет всей земли.

— Политиканствует, политиканствует...

Прошел по киоскам, надеясь найти киоск большевиков, чтобы проверить, нет ли и там записи делегатов в их партию. Киоск есть, но записи в партию нет. Запись производится только в районных комитетах.

Идут прения по продовольственному вопросу. Делегаты осуждают политику старого правительства о натуральном обложении сельского населения. Много говорится о спекуляции с хлебом, железнодорожном транспорте. Указывают, что основная угроза не в хлебном кризисе, а в том, что железные дороги не могут доставлять хлеб в отдельные районы и в такие центры, как Петроград.

— На транспорте вакханалия, — говорили некоторые делегаты. В то время как для погрузки нет вагонов, для такой мерзости, как вода «кувака», составляются целые поезда. А кому эта самая «кувака» нужна и какая разница между «кувакой» и простой невской водой?

— Разница есть, — иронизировали другие. — Разница есть: невская вода берется просто из водопровода, а «кувака» сначала разливается по бутылкам, закупоривается, затем перевозится за тысячи верст.

— Гнуснейшая пропаганда! — кричали в других местах.

— Конечно, гнуснейшая!

20 мая съезд имеет торжественный вид. Авксентьев объявил, что на съезд прибыл министр бельгийского правительства Вандервельде.

Все в напряженном ожидании.

На сцене появился буржуазного вида человек, с самоуверенной походкой, движениями, осанистой фигурой. Стал около трибуны и прежде чем сказать слово вытянул вперед обе руки.

Из горизонтального положения руки перешли в вертикальное.

Вандервельде говорил на французском языке. 99% съезда этого языка не понимали, но внимательно следили за жестами и позой Вандервельде.

Речь была произнесена с большим пафосом, с самоуверенностью человека, который изрекает абсолютные истины, доселе никому из присутствующих не известные. Переводчик перевел речь следующим образом:

— Товарищи, товарищ Вандервельде приветствует русских рабочих и крестьян, уничтоживших царизм. Русский царизм являлся мировым жандармом, который подавлял развитие социалистического движения во всем мире. Теперь этот жандарм уничтожен, и все народы мира могут развивать свою революционную деятельность внутри своих стран, не боясь, что придет мировой жандарм — русский царь.

Товарищ Вандервельде говорит, что русская революция — самая великая из всех бывших доселе в мире. Она велика как по своему масштабу, так и потому, что она произведена искусной рукой и без жертв, без пролития крови, как это имело место при революциях в других странах.

Товарищ Вандервельде указывает, что иностранные социалисты с восторгом следят за развитием русской революции, но что иностранные социалисты, иностранные рабочие и крестьяне ждут, что русские революционеры в момент тяжелых мировых потрясений, связанных с мировой войной, солидарны со своими товарищами по мировому движению. Русские солдаты и крестьяне ни на минуту не должны забывать, что сильный враг революции стоит на границе нашей страны. Бельгия раздавлена тевтонами, великий и славный бельгийский народ, представителем коего является Вандервельде, не имеет крова, жилищ, не имеет территории, ибо немцы разрушили эту страну, ранее столь прекрасную и цветущую. В интересах всего мира необходимо разбить немцев. Вернуть свободу бельгийскому народу, дать последнему возможность культурного развития. Вандервельде выражает полную уверенность, что нынешний крестьянский съезд даст директиву своим сынам, находящимся в армии, вести войну в полном единении с союзниками до победного конца и тем самым обеспечить и процветание русской революции, и свободу других народов, в том числе и бельгийского, представителем которого является т. Вандервельде.

Депутаты съезда зааплодировали.

Авксентьев заверил от имени съезда, что русский народ, победно совершивший революцию, приложит все усилия, чтобы рука об руку в единении с союзниками покончить с

тем внешним врагом, который угрожает свободе народов и так бесчеловечно грубо, вопреки всем интернациональным правилам, вторгся и разорил маленькую Бельгию.

Вслед за Авксентьевым выступил один из делегатов съезда, невзрачного вида, в очках, в оборванном пиджаке, коротких брюках, не то Стенгауз, не то Остенгауз, который в течение предоставленных ему регламентом десяти минут успел сказать:

— Русская демократия сделает все возможное, чтобы обеспечить завоевания революции, но русский народ удивлен, как это выступивший здесь министр Бельгии, социалист, имеющий большой вес в своей стране, до сих пор терпит монарха, короля Альберта. Конституционный строй Бельгии вызывает и удивление, и возмущение в сердцах русских революционеров. Войну до победного конца надо вести,— продолжал оратор,— не столько с тем врагом, который по нам стреляет из своих окопов, из пушек, пулеметов, выпускает газ, сбрасывает бомбы, сколько со своим внутренним врагом. Нам было бы приятно,— закончил оратор,— если бы министр Вандервельде с этой трибуны сказал: «Товарищи, вы свергли Николая Кровавого, мы свергли Альберта Бельгийского».

Выступил еще один делегат, обрушившийся на предшествующего, обвиняя его в провокации и демагогии.

— Мы должны,— сказал этот оратор,— признать, что вместе с нами одинаково болеют за судьбы русской революции и наши иностранные товарищи-социалисты, из них первым является выступавший здесь Вандервельде. Альберт — это не Николай II. Альберт — это демократический государь. Его любит вся страна. Он искренно ненавидит немцев.

— При чем король, когда вопрос идет о революции?— раздались отдельные реплики с мест.

— А вот при чем,— повысил голос оратор.— В минуту опасности и наши социалисты сплотились вокруг трона. Я помню, как в 1914 году во время объявления войны русские социалисты, русские студенты пошли с иконами, с национальными флагами к Зимнему дворцу. При появлении мо-

нарха они стали на колени, приветствуя его как верховного вождя своей армии.

— Долой! Долой!— закричали в зале.

Поднялся невообразимый шум. Авксентьев энергично звонил колокольчиком, пытаясь успокоить разбушевавшийся зал.

— Долой! Долой!

— Объявляю перерыв!— прокричал Авксентьев.

Делегаты хлынули в кулуары.

— Какое однако нахальство!— слышались отдельные разговоры.— То приветствуют кадетов, то хвалят короля Альберта, то учат, что европейские цари не то, что русские!

— Ну, какая все-таки наглость и некультурность! — говорили другие.— Иностранного гостя, известного социалиста — и вдруг ругать с трибуны!

— Ни черта не разберу! Одно ясно, что и Авксентьев и Вандервельде одинаковые сволочи!

Написал десяток объявлений, приглашающих делегатов 11-й армии собраться после обеда в комнате рядом со столовой Народного дома для объединенного выступления от имени армии. Эти объявления расклеил в фойе, в столовой, на лестнице Народного дома и в других местах.

На следующий день в час, на который я назначил собрание делегатов 11-й армии, я не успел попасть. Меня задержали представители армейских частей, которые прибыли в Петроград за приобретением литературы и в первую очередь разыскали меня, чтобы узнать, как идут занятия съезда и что я предполагаю на этом съезде предпринять. Засидевшись с солдатскими представителями, я опоздал минут на сорок на назначенное мною совещание солдат 11-й армии.

Когда я приехал в Народный дом, то, к моему удивлению, застал в назначенной мною комнате уже происходящее заседание, причем председательствовал на этом заседании фельдфебель, казак Никитенко, объявивший, как я выяснил, что именно он и расклеивал объявления о созыве делегатов. Еще до моего прихода он успел изложить

целесообразность объединения солдат 11-й армии как для выступления при обсуждении земельного вопроса, так и для единства действий при выборах в будущий центральный комитет крестьянского съезда. Протискавшись к столу, возмущенно спросил я у Никитенко:

— Какое вы имеете право открывать собрание до прихода инициатора созыва?

— То есть как «инициатора»? — переспросил он меня.

— Так, инициатора, я вывешивал объявления, я ставил вопрос об организации солдат-крестьян. Меня случайно задержали солдаты из дивизии. Вместо того чтобы подождать меня здесь, вы начали заседание.

— Вы слышите? — разведя руками, обратился Никитенко к присутствующим. — Поручик хочет присвоить себе инициативу этого созыва, когда каждому известно, что сделал это я.

— Как вам не стыдно! — возмущенно крикнул я.

— Вот он, офицерский душок-то, сказывается! — сыронизировал Никитенко.

Вижу по физиономиям солдат, что они настроены не в мою пользу.

— Позвольте, товарищи, восстановить истину. Сейчас можно принести все те объявления, которые были мною развешены, и установить, чьей рукой они написаны.

— Я думаю, — выступил Никитенко, — что нам нет никакого смысла тратить на это время. Факт остается фактом. Собрание созвал я, я его открыл. Если вы имеете какие-нибудь конкретные предложения, прошу вносить, мы их обсудим.

— У меня есть одно предложение: признать Никитенко прохвостом и авантюристом!

— Вы меня оскорбляете, я не какой-нибудь беспартийный офицер, а член партии социалистов-революционеров.

— Ах, эсерь, — сделал я ударение на мягком знаке. — Прошу информировать меня, что здесь принято.

— Принято очень немного. Мы создали комиссию, которая должна разработать на основе наказов, имеющих у всех делегатов, тезисы выступления представителя 11-й армии при обсуждении аграрного вопроса.

Возмущенный наглым поведением Никитенко, я плюнул и ушел.

Однако мое выступление и выраженное возмущение по адресу Никитенко не прошли бесследно. Вскоре меня в фойе нашло несколько солдат, делегатов 11-й армии, у которых появилось сомнение; они спросили меня, что я имею предложить съезду.

Я им сказал:

— Объединить выступление делегатов, выделить одного докладчика, проинструктировать этого докладчика и дальше держать линию на включение в состав будущего центрального крестьянского совета своего представителя. А кто этот Никитенко?— спросил я.

— Да мы сами не знаем. Пришли, а он сидит за столом и говорит, что он собрал.

— Ну и прохвост же!

В промежутке между занятиями съезда я часто задумывался над вопросом просвещения солдат действующей армии. Литература на фронт доходит очень нерегулярно, зависит от целого ряда случайностей, между тем, казалось бы, само Военное министерство заинтересовано в том, чтобы солдаты получали правильную ориентировку и вместо отрывочных слухов пользовались бы правильной информацией.

Каждый корпус, находящийся на фронте, имеет свою коммуникационную линию, опирающуюся на железную дорогу. Можно на линии этой железной дороги создать в непосредственной близости от действующих частей специальный вагон-библиотеку с одним-двумя сотрудниками, которые будут информировать представителей корпусных и дивизионных комитетов по вопросу о текущем моменте и снабжать дивизионные и полковые комитеты нужной литературой. Это будет передовой передвижной культурно-просветительный пункт. Кроме того, может быть армейский узловой пункт, руководящий работой корпусных. При штабе фронта — центр библиотечных пунктов, с достаточным запасом литературы, газет, журналов и кадров работников по культурно-просветительной деятельности, имеющих не-

посредственную связь с центром. Центр же должен быть в Петрограде, при Военном министерстве.

Под влиянием этих мыслей я написал проект положения о культурно-просветительной работе на фронте, которое передал в Военное министерство как бы от частного лица, что давало мне право обратиться не по команде.

Несколько дней спустя зашел в организуемый при Военном министерстве культурно-просветительный отдел справиться об участии моей докладной записки. Мне сообщили, что мой доклад признан ценным, но так как он требует денежных средств, то составляется докладная записка в Совет министров о кредитах.

Вот что значит новая власть! Молодой армейский поручик, бывший солдат, а еще ранее мужик, выдвигает проект, и он сразу, благодаря его целесообразности, вносится на рассмотрение Совета министров!

Занятый вопросами организации культурно-просветительной работы, я позабыл об инциденте с Никитенко. Но не забыли меня солдаты.

Как-то в фойе, во время перерыва, меня окружило несколько солдат с просьбой зайти на предстоящее заседание всей группы делегатов от 11-й армии.

— А что такое будет? — спросил я.

— Будет обсуждаться, кто должен выступить от имени делегатов 11-й армии по аграрному вопросу.

Пошел.

Никитенко, на этот раз значительно менее развязный, чем раньше, предложил избрать меня заместителем председателя армейской группы, на что я ответил категорическим отказом.

— Нам нужно составить наказ, — говорил Никитенко, — причем из всех наказов самый лучший — это от 3-й дивизии.

Ага, этот наказ ведь я составлял!

Я крепился, но в конце концов не выдержал и предложил свои услуги — составить сводку всех наказов. Дня три просидел я дома, готовя наказ для нашего оратора. Подготовив материал, собрал армейскую часть делегатов — и мое творение было одобрено на все сто процентов.

— Кто будет выступать?

— Оленин! Оленин!— закричали солдаты.

На съезде по аграрному вопросу выступило несколько докладчиков: Очаковский, Пешехонов, Вихляев, Быховский и министр-социалист Чернов. Чернов, уже сидящий человек, несмотря на серьезность темы, внес в доклад ряд комических моментов. Каждую минуту он острил, что вызывало смех и аплодисменты.

Он говорил о программе партии эсеров, о социализации земли, о необходимости этой реформы после того, как будет созвано Учредительное собрание. Говорил, что он теперь же хотел бы передать землю помещиков в распоряжение земельных комитетов, но что это не удастся, ибо остальные члены Совета министров против этого возражают.

— Вообще по аграрному вопросу,— говорил Чернов,— наблюдается саботаж, но мы надеемся, что этот саботаж нами будет ликвидирован.

В общем речь его не внесла сколь-либо серьезной определенности. По докладу записалось много ораторов, так что прения по аграрному вопросу должны были занять не менее десяти дней.

26 мая в утреннем заседании наступила моя очередь. Справившись о времени своего выступления, я прибыл заблаговременно и, вместо того чтобы занять свое обычное место в шестом ряду партера, на этот раз прямо вошел на трибуну, где заседал президиум.

Жду, что при открытии заседания Авксентьев скажет: слово предоставляется Оленину. Однако пришлось услышать другое. Авксентьев сказал:

— Лидер партии социал-демократов большевиков, т. Ленин, просит предоставить ему слово вне очереди, ибо он настолько занят, что сможет выступить только сегодня.

— Просим! Просим!— зашумел зал.

На трибуну быстрыми шажками, торопливо вошел Ленин. Небольшого роста, коренастый, с лысой головой, высоким лбом, блестящими глазами.

Зал разразился громом аплодисментов.

Стоя позади президиума, я пробовал подсчитывать число присутствующих. В зале не было ни одного свободного места. Весь партер, проходы, ложи и все шесть ярусов заполнены народом.

Очевидно, о выступлении Ленина было известно раньше.

Ленин выждал окончания аплодисментов.

Совершенно простым, доступным простому крестьянину языком, несколько картавя, Ленин начал свою речь. Он говорил, что он предлагает проект резолюции по аграрному вопросу от имени социал-демократической фракции съезда, указывая, что проект этой резолюции заранее напечатан и уже роздан делегатам.

— Я не могу,— говорил он,— в кратком докладе развить все основные положения. Основные мотивы моей речи заключаются в том, что земля должна быть немедленно изъята от помещиков и передана без всякого выкупа крестьянам. Вообще собственность на землю должна быть уничтожена. Съезд должен категорически отвергнуть предложение крупной и мелкой буржуазии о том, что должно быть заключено «соглашение» с помещиками.

Ленин говорил немного более часа. Весь зал слушал его с настороженным вниманием. Я же не столько вслушивался в речь Ленина, сколько смотрел на него, стараясь проверить правильность утверждений и слухов, ходивших в армии и здесь, что Ленин является агентом германского генерального штаба.

Не похоже.

Простота речи, убедительность, с какой он говорил о необходимости ликвидации помещичьих землевладений,— все это выдавало в нем настоящего революционера, друга народа и никак не политикана, и тем более шпиона немецких властей.

Речь Ленина была покрыта бурными аплодисментами большинства зала.

Следующим оратором выступил эсер, кажется, Вебер, который пытался в своей речи разбить положения, выдвинутые Лениным. Вебер говорил, что он должен констати-

ровать большой прогресс в умах большевиков, в том числе и Ленина.

— Было время,— сказал Вебер,—Ленин рекомендовал изъять у помещиков лишь отрезки, остальное же должно было остаться в руках государства. Теперь же Ленин рекомендует взять от помещиков всю землю, и притом немедленно.

Долго и туманно говорил Вебер, стараясь разбить положения Ленина, но весь зал слушал его равнодушно.

По окончании речи Вебера Авксентьев предоставил слово представителю 11-й армии Оленину.

Подошел к кафедре. Осмотрелся, увидев направленные в мою сторону тысячи глаз, почувствовал такую робость, что даже колени задрожали. Выступать перед такой огромной аудиторией, с таким обилием умных и больших людей, старых революционеров, имевших за спиной каторгу, ссылку и тюрьмы, мне, бедному армейскому поручику, стало страшно. Легче идти в штыковую атаку на фронте, чем говорить по аграрному вопросу на этом съезде. Ко всему этому прибавилось ощущение неловкости от направленных в мою сторону лорнетов дам, сидящих в ложах.

«Какого черта баб-то сюда напустили»,— мелькнуло в моей голове.

Однако надо было говорить.

— Товарищи,— начал я,— солдаты-крестьяне одиннадцатой армии уполномочили меня заявить...

— Громче, громче, не слышно!— раздалось со всех сторон.

— Солдаты-крестьяне уполномочили меня... — резким фальцетом прокричал я.

— Не слышно!

— Солдаты-крестьяне... — уже начал басить я,— а в общем я прочту наказ.

И я по наказу прочел мою речь на первом Всероссийском крестьянском съезде.

Рядом, справа, за большим столом сидит целая дюжина стенографисток. Когда я начал читать наказ, то заметил, что стенографистки не записывают. Но как только окончи-

лось мое чтение, одна из них протянула руку, чтобы забрать у меня читанный мною документ.

Во время чтения наказа я успокоился, пришел в себя и решил кое-что добавить от собственного разума. И уже громким голосом, слышным всей аудитории, сказал:

— Мы, солдаты-крестьяне, крестьяне-военные, требуем немедленно объявить землю общенародным достоянием. Немедленно изъять ее из владения помещиков и передать в ведение местных земельных комитетов. Только это мероприятие, произведенное немедленно, может успокоить настроение солдат, сидящих с винтовками в руках в далеких окопах.

Взрыв аплодисментов.

Аплодисменты еще более повысили мое настроение, и я хотел говорить еще, но Авксентьев зазвонил в колокольчик и, обращаясь в мою сторону, произнес:

— Ваше время истекло, товарищ.

— Я повторяю еще раз, — воскликнул я, — земля должна быть немедленно объявлена общенародным достоянием.

Еще раз слышу аплодисменты.

Сразу вышел в фойе, куда немедленно выбежали делегаты 11-й армии.

— Молодец, хорошо, здорово сказал! Посмотри, что сейчас делается в зале заседания.

Взглянул в зал.

Ряд армейских делегатов других армий в партере выкинули несколько знамен с надписанными на них требованиями — объявления земли общенародным достоянием. Шум стоял невообразимый. Одни аплодировали, другие шикали, свистели, топали ногами. Кавардак был такой, что председательский колокольчик долго не мог успокоить эту разбушевавшуюся стихию.

Наконец, Авксентьев овладел собранием.

— Мы считаем, — заявил Авксентьев, — что здесь допущен демагогический лозунг. Объявить землю народным достоянием может только Учредительное собрание. Выставлять такие требования, а тем более выбрасывать знамена с подобными лозунгами — вещь недопустимая. Президиум

вынужден будет сложить с себя полномочия, если сейчас же из партера не будут убраны знамена.

— Пусть складывает!— слышались со всех сторон голоса.— Какой же это съезд, который не может потребовать объявления земли всенародным достоянием? Долой президиум!

Авксентьев, бледный, непрерывно звонил в колокольчик, призывая съезд к порядку. Президиум решил объявить перерыв, призывая делегатов спокойно обдумать неосмысленные требования.

— Долой! Долой!— кричал зал.

Перерыв.

В фойе меня окружило несколько кряжистых мужиков.

— Как же вы можете провозглашать лозунг объявления земли общенародным достоянием?— настойчиво пристают они ко мне.— Ведь вот вы офицер, кажется, человек с понятием, а идете на поводу у низменных инстинктов. Надо, чтобы все-таки был порядок. Вот будет Учредительное собрание, оно рассудит, скажет, как, на каких условиях взять землю у помещиков, как уравнивать землевладения.

— Словом, вы предлагаете: барин приедет, барин рассудит,— рассмеялся я.— Нет, господа, этот номер не пройдет. Землю надобно немедленно отдать мужику.

Почувствовав, благодаря пережитому напряжению, озноб во всем теле, решил поехать домой. Подойдя к трамвайной остановке, я от упадка сил не мог стоять, всего лихорадило. Подозвал извозчика, дал адрес на Васильевский остров.

Жена при виде меня испуганно вскрикнула:

— Что с тобой?

— Болит голова, нездоровится.

Она приложила руку ко лбу:

— У тебя сильный жар.

Она сбегала к квартирной хозяйке, взяла термометр, сунула мне под мышку и через десять минут констатировала:

— Температура сорок и две десятых.

Я заболел ангиной. Две недели пролежал я, съезд окончился уже без меня.

Денег осталось мало. Приглашать частного врача было не на что. Люся сбегала на съезд, сказала о моей болезни секретарю съезда Брусиловскому, получила от него записку к ближайшему врачу, который вскоре прибыл, осмотрел, прописал полный покой и различные лекарства.

Хозяйка говорит, что в Петрограде сильно свирепствует ангина.

Выздоровев, пошел в крестьянский совет. Съезд окончился, выбран ЦК Крестьянского съезда. В составе последнего образована специальная солдатская секция. Председатель Оцуп, старый эсер, никогда в армии не служивший. Он избран председателем только за свой продолжительный партийный стаж. От 11-й армии избран Грудин, делегат от специальных армейских частей.

Я познакомился с Оцупом, прося его дать мне поручение вести работы по пропагандированию идей Крестьянского съезда в армии.

— Вы член партии?— спросил Оцуп.

— Нет.

— А почему вы не запишетесь?

— Еще не осмотрелся, не знаю, в какую.

— Вы из крестьян? Я читал вашу речь. Вы настоящий эсер.

— Ну, положим, не совсем. А кроме того, среди эсеров три течения. Есть левые, есть центр, есть правые.

— Левые — чепуха,— поморщился Оцуп.— Кто там у них? Камков со Спиридонихой. Неврастеник, истеричка.

— А центр кто возглавляет?

— В центре Чернов, я — много нас.

— Не хочется мне пока связываться с партией, так свободней.

— Нет, нет, нельзя. Это дело простое, если не понравится, всегда сможете выступить.

— Все же подожду.

— Думайте, не думайте, а вы у нас будете зарегистрированы. Пишите с фронта. Обращайтесь за помощью, если потребуется. Мы всегда будем вам помогать.

Я простился с Оцупом и на следующий день выехал на фронт.

ГЛАВА IX

ИЮньСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

Июнь

До полка добрался без каких-либо приключений. В Тарнополе узнал, что полк находится на новой позиции, левее Хокулеовца километров на восемь, в Зборовском направлении, километрах в десяти правее от станции Езерно.

До Езерно доехал этапным поездом, а оттуда устроился на шарабане вместе с врачом 3-й дивизии Плавкиным.

За время моего отсутствия произошли перевыборы полкового комитета. Председателем теперь Блюм. Солдаты больше доверяют врачу, чем офицерам. Кроме Блюма, из офицеров в полковом комитете сохранились лишь Боров и Калиновский, как явно демократические в глазах солдат.

На следующий день вместе с Блюмом поехали в штаб дивизии.

Блюм рассказал новости. Соболев утвержден в должности командира полка, но вряд ли надолго. Он делает множество бестактностей. Открыто при солдатах говорит, что он не признает никаких прав комитетов. Блюму приходится нередко осаживать Соболева. Врачу или офицеру очень трудно быть председателем полкового комитета. Солдаты же отказываются избирать председателя из своей среды, боясь, что солдат не справится с этой работой.

Наступление ожидается со дня на день. Наша дивизия как будто будет иметь второстепенное значение. Всюду накоплены колоссальные запасы снарядов. Я видел, проезжая через Езерно, огромные штабеля снарядов всех калибров под открытым небом, прикрытые лишь брезентами.

— Как относятся к наступлению солдаты?— спросил я Блюма.

— У нас в дивизии ничего. Вопрос обсуждался в полковых комитетах и в дивизионном. Всюду единогласно приняли выполнить приказ о наступлении.

— Комитеты — это одно, а как смотрят в ротах?

— В ротах то же самое. У вас в полку только один человек против наступления. Это Калиновский, который за

последнее время смотрит большевиком. Если в ротах появляются отдельные люди, говорящие против наступления, их оттуда немедленно убирают. Братания пошли. Кажется, это общее явление для всего фронта.

— А офицеры в ротах как к этому относятся?

— Конечно, офицеры не ходят вместе с солдатами в братание, но если бы они активно стали противодействовать этому, то братание окончилось бы.

— Еще новость: в армии происходит национальное объединение солдат. На Украине идет Всеукраинский съезд, который обсуждает отношение украинского народа к революции. Петлюра, Винниченко, Обручев, проф. Грушевский издали «Универсал», своего рода манифест, в котором открыто заявляется о необходимости образования самостоятельной Украины. Теперь Украинский съезд обсуждает этот вопрос, причем приглашены для участия в работах съезда представители фронтовых частей, и от нас командирован туда прапорщик Боров. Он уже наряду с нашим полковым комитетом организовал украинский комитет.

— Но Боров человек разумный.

— Он-то да, но остальная братия не ахти разумна. Вместе с Боровым работает секретарем комитета Морозов, не украинец, но подделывается под украинца. В комитете же выгоднее сидеть, чем в окопах.

— Как местное население относится к революции?

— Совершенно пассивно. Мужики в тех деревнях, которые приходится нам занимать, больше всего заинтересованы в сохранении своих пожитков от расхищения солдатами, смотрят в оба, чтобы лошадь не увели, корову не сперли, не стащили что-либо из домашних вещей. Ведь все деревни битком забиты солдатами.

Музеус встретил меня ласково:

— Я очень внимательно следил по газетам за работой Крестьянского съезда. Вы, конечно, обязаны разъяснить через делегатов смысл постановлений. В отношении устройства собраний я даю вам разрешение производить их, когда вам будет удобно и нужно.

Я доложил Музеусу, что на основании принятого Крестьянским съездом постановления на мне лежит обязанность организовать собственный крестьянский комитет.

— Я не возражаю,— ответил Музеус,— только поговорите со Спудре.

Спудре — это дивизионный интендант, избранный в мае месяце председателем дивизионного солдатского комитета.

Пошел к Спудре.

— Мы таких распоряжений не имеем,— сказал Спудре,— чтобы создавать в дивизионном комитете специальную секцию. Если будет соответствующий приказ по военному ведомству, то исполним, а пока вы существуют отдельно и как хотите.

Я не возражал.

Назначил выборы крестьянского совета на 14 июня.

Солнечный день позволяет устроить собрание на открытом воздухе. В красивом парке усадьбы, занимаемой штабом дивизии, с помощью дивизионных ординарцев расставил несколько скамеек.

Жду прибытия делегатов.

Вместо ожидаемых мною примерно ста пятидесяти человек на мой отчетный доклад явилось более трехсот одних солдат. Кроме того, прибыла большая группа штабных офицеров, дивизионных врачей, сестер.

Открывая собрание, просил избрать председателя для руководства собранием. Выбрали солдата, артиллериста Лукашина.

Доклад продолжался около двух часов. Солдаты внимательно слушали мою речь, по окончании которой посыпался ряд вопросов:

— Что насчет наступления сказал Крестьянский съезд? Почему землю сразу не отдают в ведение крестьянских комитетов? Почему нет постановления, чтобы уборку хлебов на помещичьих землях производили не помещики, а волостные комитеты? Почему союзники не хотят немедленно заключить мир и т. д.

Я ответил на каждый вопрос в соответствии с постановлением съезда, сказав, что в отношении войны Крестьянский съезд считает необходимым полное единение с

союзниками; что сепаратный мир заключить нельзя, ибо это значит предать союзников; что земля не может быть передана земельным комитетам до Учредительного собрания; что вопроса об уборке урожая с помещичьих земель съезд совсем не обсуждал и т. д.

После этих ответов посыпался ряд новых вопросов, касающихся жизни армии, в частности, почему задерживают увольнение старших возрастов, почему не увеличивают пособия солдаткам и проч.

Ответить на всю сумму вопросов было чрезвычайно трудно. Я внес предложение, чтобы ротные делегаты у себя в ротах выявили все вопросы у солдат и затем сообщили их в крестьянский комитет, который мы сейчас должны избрать. А комитет ответит на эти вопросы и сообщит по всем ротам.

Предложение принято.

Комитет наметили из семи человек. Председателем единогласно избрали меня. Членами: от артиллерии — Лукашина, от штаба дивизии — Игнатова, от 12-го полка — Панкова, от 11-го — Анисимова, от 9-го — Чеботарева, от 10-го — Крушина.

По окончании выборов я предложил устроить сбор пожертвований на содержание комитета, покупку книг, выпуску газет и журналов.

На листе бумаги надписали: «Подписной лист пожертвований на содержание крестьянского комитета и культурные надобности». Люди один за другим стали подписываться. Сразу же собрали около двухсот рублей.

После собрания солдаты отдельных полков стали просить меня проехать по полкам и сделать доклад непосредственно солдатской массе лично, так как работами крестьянского совета солдаты заинтересованы до крайности.

Я обещал.

На первом же организационном собрании комитета мы распределили между собой обязанности следующим образом: Панков, делегат 12-го полка, избран казначеем, Крушин — секретарем, причем тройка из секретаря, казначея и председателя составляет своего рода президиум, который освобождается от работы в своих частях и находится по-

стоянно при штабе дивизии. Остальные делегаты в числе четырех являются на заседания комитета, которые будут происходить еженедельно.

Оставшись затем втроем, мы постановили немедленно командировать Панкова в Киев за покупкой литературы, столь необходимой сейчас, и за приобретением канцелярских принадлежностей, в частности шапирографа, на котором будем печатать статьи, воззвания, лекции.

Утверждать протокол общего собрания должен начальник дивизии, от него же зависит разрешение освободить от прямых обязанностей в своих частях избранных в комитет членов.

Музеус протокол утвердил. После этого я обратился к заведующему административной частью дивизии с просьбой дать комитету отдельную хату, в которой попутно буду квартировать и я.

На окраине деревни, километрах в полутора от штаба дивизии, хату отвели.

Всюду усиленно готовятся к наступлению. В штабе дивизии, куда я хожу ежедневно справляться о письмах, происходит совещание высших штабных офицеров, приезжающих из штаба корпуса и соседних дивизионных штабов. День наступления определен точно: 18 июня. Наступает стоящая левее нас дивизия 8-го корпуса, которой ставится задача взять станцию Зборов и после прорыва австрийских позиций закрепиться на указанной станции. Дальнейшее развитие наступления возлагается на Финляндскую дивизию, пока сосредоточенную на ст. Езерно, и гвардейскую дивизию, расположенную тоже вблизи Езерно. 3-я дивизия, т. е. наша, должна оказывать содействие наступающим дивизиям путем мелких демонстративных атак на своем участке.

В общем наступлении крупного участия наша дивизия не принимает.

В полках усиленно дебатруется вопрос об этом наступлении. В 12-м полку заколебались — идти или не идти. Туда лично поехал Музеус, председатель дивизионного комитета Спудре, председатель корпусного комитета Федоров и ряд других лиц. После долгого митинга, на котором

доказывали обязательность при оборонной войне вести наступательные действия, 12-й полк принял резолюцию о переходе в наступление.

Дня за два до ожидаемого наступления я поехал на позицию 11-го полка, чтобы повидаться с товарищами. Подъезжая к позиции, я встретил группу в четыре-пять человек, идущих в одних кальсонах и нательных рубашках, без сапог, фуражек и гимнастеров. Эту группу сопровождал конвой из двух вооруженных солдат.

— Кого это вы ведете?— спросил я,— шпионов, что ли?

— Никак нет, господин поручик, это солдаты, отказывающиеся идти в наступление.

— Почему же вы их раздели?

— По приказу: все, кто против наступления, должен быть немедленно раздет и в голем виде отправлен в штаб дивизии.

— Однако вы их ведете не в голем виде, оставили кальсоны.

— Да неудобно все же, господин поручик, совсем голых-то вести.

Зашел в 10-ю роту к Соколову.

— А, комитетчик,— иронически приветствовал он меня.— Присосался, вместо того чтобы сидеть в окопах и идти в наступление.

— Разве вы против наступления?

— А кому охота наступать-то?— осторожно оглянулся Соколов по сторонам.— Когда в штабах сидишь, ратуешь за всякие наступления, а здесь, когда тебя каждую минуту пульей или снарядом того гляди ахнет, не очень-то захочешь. Мы вот брататься думаем.

— Поздно, на днях наступать.

— Слышал, да только мы-то не наступаем, мы будем спокойно сидеть в своих окопах.

— Вряд ли долго посидеть придется, если слева будут взяты позиции, то, естественно, и вам придется идти вперед.

— Ну, тогда все-таки легче будет.

Прошел по ротам в окопах. Поговорил с солдатами. Бегло рассказал им об отношении Крестьянского съезда к войне и к аграрному вопросу.

— Будете в резерве, сделаю вам подробный доклад, а здесь на позиции трудно.

Возвращаясь обратно к штабу дивизии, я заметил на участке правее 12-го полка большое оживление перед окопами. Люди ходили совершенно свободно около проволочных заграждений.

«Что это? Очередное братание, по-видимому?» — подумал я.

Подошел поближе. Большая группа солдат на довольно большом участке, на протяжении с четверть километра, выступила из окопов, подошла к проволочным заграждениям. Австрийские солдаты в свою очередь выступили из своих окопов и остановились у своих проволочных заграждений. И те и другие без винтовок.

Не прошло и пяти минут, как над группой беседующих через проволоку людей разорвалось несколько очередей шрапнельных снарядов. В ответ через минуту над моей головой пролетело несколько снарядов, направленных австрийцами на русскую батарею.

Не дают брататься!

Дивизионные организации получили извещение, что в Езерно прибывает министр-председатель Керенский, и предлагается командировать своих представителей. От дивизионного комитета выехал Спудре, от крестьянского совета — я.

Часов в десять утра мы были в Езерно. На станции стоит шикарный поезд. Вокруг станции построено большое количество частей 8-го корпуса, а также представителей других корпусов и дивизий, которым предназначено в ближайшие дни наступать на австрийские позиции.

Около одиннадцати часов из вагона в сопровождении многочисленной свиты, состоящей из штабных офицеров, груди коих украшены аксельбантами, быстрой нервной походкой вышел Керенский. Я видел его впервые. Сухоща-

вый, среднего роста, одна рука заложена за борт пиджака-френча, стриженный под бобрик, с актерским лицом, он, сойдя со ступеньки вагона, отрывисто бросил:

— Здравствуйте, товарищи!

Выстроившиеся части недружно прокричали:

— Здравствуйте, тов. министр!

Другие:

— Здравствуйте, тов. председатель!

Третьи:

— Здравствуйте, тов. Керенский!

Керенский сделал несколько быстрых шагов по платформе, затем обратился с речью к выстроенным солдатам:

— Свободная Россия,— начал он пронзительным фальцетом,— может быть только тогда свободной, когда расправится с внешним врагом. Временное правительство, поставленное властью революции для обеспечения свободы Российскому государству, должно в единении с союзниками успешно закончить войну. Честный и справедливый мир на основе равноправия народов может быть заключен только в том случае, если мы в полном единении с союзниками распорядимся с основным врагом свободного Российского государства — немцами.

Я меньше слушал Керенского, чем смотрел на его внешность. Быстрая жестикуляция, метание из стороны в сторону, усиливающийся с каждым словом пафос — горячо и взбудораженно действовали на толпу.

Солдатская масса видела в Керенском вождя революции, министра, ведущего огромную страну к новому строю, героя, который своими подвигами поверг в пучину старый строй.

Чем дальше говорил Керенский, тем более зажигались солдаты и после его речи, законченной словами:

— Кто против наступления, тот враг революции! — посыпался гром аплодисментов.

Настроение солдатской массы было определено сочувственным, и вопрос о переходе в наступление становился бесспорным. Однако вслед за Керенским выступил пред-

седатель гвардейского дивизионного комитета, прапорщик Дзевалтовский.

— Временное правительство,— говорил Дзевалтовский,— стремится соблюдать договор с союзниками. Договор, заключенный старым царским правительством, которое преследовало цель захвата Дарданелл, уничтожение Турции, раздел Германии и т. д. Во имя чего заключались эти договоры? Во имя наживы капиталистов, благоденствия правящих классов, а вовсе не ради благополучия трудящихся России. В то время как министр Керенский призывает солдат к наступлению, русские капиталисты наживаются на продовольственных заготовках, на поставляемой в армию рухляди, барахле и всяком гнилье. Защита революции заключается не в наступлении и не в убийстве таких же трудящихся австрийцев и немцев, как и наши солдаты, защита революции заключается в том, что наши солдаты должны протянуть руку через окопы немцам и австрийцам и призвать их совершить у себя то же, что совершили питерские рабочие у нас. Кто за наступление, тот враг революции, тот за капиталистов, за реставрацию старого строя. Кто против наступления, тот истинный друг народа, тот истинный защитник революции!

За Дзевалтовским выступило еще несколько солдат и прапорщиков гвардейских и других частей.

После них опять выступил Керенский. Он обвинял выступавших ораторов, что они являются прямыми друзьями немецкого генерального штаба, что место им, как шкурникам и предателям революции, не в армии, а там же, где находятся бывшие министры и сторонники старого строя.

Керенский говорил страстно и своей речью захватил солдатскую массу. Результатом было единодушное голосование за наступление.

После митинга Керенский в сопровождении своих адъютантов направился в другие части, расположенные в окрестностях Езерно, чтобы лично агитировать за наступление. Мне потом говорили,— он неоднократно повторил фразу, что в предстоящее историческое наступление на

немцев он сам, министр-председатель, с винтовкой в руках поведет вперед наступающие войска..!

Дивизии 8-го корпуса перешли в наступление на Зборов. Слышался сильный гул артиллерийской стрельбы, интенсивно развитой с обеих сторон. Впечатление такое же, как в прошлое наступление под Сапановом. Артиллерия 3-й дивизии в свою очередь обстреливает австрийцев, помогая тем самым наступлению соседей.

Артиллерийская стрельба продолжалась в течение нескольких часов. По установленной прямой связи штаба дивизии с наступающей дивизией получено по телефону сообщение:

— Полки перешли в наступление. Взята первая линия окопов. Захвачены пленные.

Через полчаса:

— Взята вторая линия окопов, захвачена тысяча пленных.

Через час:

— Захвачена третья линия окопов. Весь Зборов в наших руках. Взято восемь тысяч пленных, несколько десятков орудий. Наступление энергично развивается.

Наступившая ночь прервала дальнейшее движение наших войск.

19 июня с раннего утра началась опять артиллерийская канонада. Музеус, волнуясь, ходил около штаба дивизии, нервно постукивая стеком по сапогам, ожидая с минуты на минуту извещения из корпуса о переходе в наступление частей нашей дивизии. Рядом стоит приготовленный мотоцикл с коляской для выезда Музеуса на позицию.

В девять утра ошеломляющее известие: Финляндская дивизия отказалась наступать. Вслед за ней отказались перейти в наступление и гвардейские части.

Срывалась атака вчерашнего дня и достигнутые успехи. Австрийские части, получившие за ночь подкрепление, перешли сами в контрнаступление и выбили русских из Зборова. Русские отступили с большими потерями. Полу-

чено распоряжение штаба армии прекратить наступление и обороняться на своих участках.

— Позор, предательство, подлость! — кричал Музеус, комкая полученную телеграмму об отказе финляндцев идти в наступление.— Хриstopродавцы, изуверы, предатели.

К вечеру в дивизионном комитете стало известно более подробно о поведении Финляндской дивизии. В этой дивизии, из которой в свое время приезжал к нам прапорщик Крыленко, оказалось большое количество большевиков. Большевики вели агитацию против наступления. Несмотря на то, что накануне наступления и полковой комитет, и общее собрание постановили идти в наступление, 18 июня, в день наступления, большевистские агитаторы настроили солдатскую массу таким образом, что, когда полк был построен, чтобы двигаться в Зборов, один из батальонов, возглавлявшийся прапорщиком-большевиком, громко заявил, что отказывается идти в наступление. К этому батальону присоединились другие части 13-го полка. Остальные полки Финляндской дивизии, узнав об отказе 13-го полка, в свою очередь отказались идти в наступление.

В дивизии всюду идут митинги. Из штаба армии грозят дивизию расформировать, как покрывшую себя позором — отказом от наступления.

В дивизионном комитете получены сведения, что один из корпусов, расположенный в Кременце, который должен был в свою очередь двинуться на позиции, отказался пойти. Один из полков этого корпуса расформирован, а люди рассылаются на пополнение в другие части.

Не понимаю, зачем производят расформирование? Если один полк или дивизия не хочет наступать, а другие наступают, то и черт с ней, пускай временно задержится в тылу. Но если из такой дивизии или отдельной части людей рассылают по всем другим частям, то этим самым вливают большое количество агитаторов в верные правительству войска.

25 июня наша дивизия продвинута на смену ведущей наступление дивизии 8-го корпуса. Заняли ее позиции под Зборовом. О дальнейшем наступлении пока не слышно.

Провал июньского наступления обсуждается во всех комитетах и делегатами рот.

— А ведь правильно,— говорят солдаты,— с какой стати нам сейчас наступать? Будем держать свои границы и не пускать неприятеля в Россию. Если немец пойдет на Россию, то уж тогда и будем защищать. А так как они сидят на своей территории, так чего же и нам лезть?

В этих рассуждениях была известная логика.

Пользуясь затишьем, я езжу по полкам нашей дивизии и делаю доклады о Всероссийском крестьянском съезде. Не проходит ни одного дня, чтобы я сидел спокойно в своей хате.

Панков привез большое количество литературы из Киева. У нас получилась приличная библиотека, для которой я выпросил в 11-м полку парную повозку для перевозки библиотеки при передвижении с места на место. Когда же останавливаемся на одном месте надолго, то книги выгружаются из повозки в хату, и представители полков могут приходить и свободно брать их для чтения.

По распоряжению штаба корпуса от нас убрали Калиновского «за вредный образ мыслей» и направили в распоряжение штаба Киевского округа. Некоторые офицеры завидуют такому обороту дела. Поговорил человек о том, что наступать не следует, и вот получил спокойную службу в тылу. Этак каждый рад будет в тыл отправиться.

Вернувшийся с Украинского съезда прапорщик Боров рассказывает об украинских настроениях.

— Русские газеты врут,— возмущался Боров,— ни о какой самостоятельности украинцы не думают. Была отдельная группа самостоятников, но их съезд осудил. Украинский съезд стоит на точке зрения федерации и в первом пункте принятого «Универсала» прямо говорит, что развитие Украины немыслимо без единения с Россией.

— А для чего формировать национальные части?

— Обязательно, необходимо. К окончанию войны у нас на Украине должна быть подготовлена самостоятельная армия.

А зачем иметь отдельную армию для Украины, когда можно иметь одну общую для всей федерации?

— А потому, что украинцы должны проходить военное обучение на своем родном языке.

— Не разделяю я вашего мнения, Боров, я думаю, что армия все же должна быть одна. А то при наших ста народностях в России будет сто различных армий. Черт знает что получится!

— Да, но другой такой народности, как украинцы, в России нет. На Украине тридцать миллионов жителей.

Дальше Боров передал, что в Киеве создана специальная организация, разрабатывающая положение об украинских частях. Имеется в виду организовать ряд украинских корпусов из частей Юго-Западного фронта, в которых преобладают украинцы.

— Из 17-го корпуса,— говорил Боров,— намечено превратить в украинский полк наш 11-й полк. Сначала предполагали всю дивизию, но потом решили, что сразу трудно справиться с крупным формированием.

— Куда же я-то денусь?— пошутил я.— В украинцы, что ли, мне обращаться или удирать из полка?

— Что же, можешь украинцем заделаться. Вот у меня Морозов — секретарь украинского комитета, а сам туляк. Нужно только язык знать.

Керенский издал приказ о присвоении частям, принимавшим участие в наступлении 18 июня, почетное название «Полков 18 июня». Наш 11-й полк этого звания не получает, так как из частей 3-й дивизии некоторое частичное участие принимал в наступлении лишь 12-й полк.

Введено новое высшее отличие для офицерского состава: офицер, отличившийся в войне за революционную Россию, будет награждаться солдатским Георгиевским крестом.

В 12-м полку чуть ли не все офицеры представлены к солдатскому Георгиевскому кресту.

ГЛАВА X

ТАРНОПОЛЬСКИЙ ПРОРЫВ

Июль

Пятого июля у меня состоялось очередное собрание крестьянского комитета с представителями от рот. Член комитета Лукашин поставил вопрос о нашем отношении к наступлению.

— Все комитеты,— говорил Лукашин,— выносят постановления о том, нужно ли наступать или нет. Наша организация, объединяющая вокруг себя солдат-крестьян, не может остаться безразличной к этому вопросу.

— Что же, прошу высказываться,— предложил я.— Кто хочет говорить по этому вопросу?

Молчание.

— Видно, вам, товарищ Лукашин, придется первому говорить по этому вопросу.

— Хорошо, буду я,— сбросив фуражку, согласился Лукашин.— Вот что, товарищи. У нас в артиллерии обсуждался вопрос об отношении к наступлению и к братанию, потому что нас, артиллеристов, заставляют стрелять по своей же братии, когда она выходит из окопов для братания. Первое время мы выполняли это распоряжение. Потом обсудили на своем комитете и решили, что стрелять мы не должны, потому что солдаты имеют право брататься. Солдаты братаются не с офицерами. Нам нужно, товарищи, объединиться с крестьянами всего мира. Да и как мы будем стрелять по противнику, когда он по нам не стреляет? Ну, уж если сами австрийцы начнут палить, то и нам волей-неволей придется, а отсюда, товарищи, значит, что наступления больше быть не должно. Оставайся на своих позициях — и только. А уж если на нас будут напирать, тут придется не жалеть ни снарядов, ни пуль, ни своих жизней. Правильно я говорю, товарищи?

— Правильно, правильно!— закричали со всех сторон.

— Кто еще хочет высказаться?— спросил я, но на меня стали напирать с криками:

— Чего уж тут говорить! Лукашин правильно сказал. Довольно стрелять!

Долг прапорщика заставлял меня выступить против предложения Лукашина, но втайне я чувствовал, что он прав. Стрелять по братающимся нельзя, а раз нельзя стрелять по братающимся, то с какой стати переходить в наступление? Совершенно ясно, что каждому из нас хочется остаться в живых и как можно скорее окончить войну. Все равно серьезного наступления, которое бы привело к окончанию войны, мы сделать не в состоянии. Это прекрасно показал опыт наступления 18 июня. И я предложил Лукашину составить резолюцию, но все решили, что напомним ее после и прочтем на следующем собрании.

Мигом облетела всех молва о решении крестьянского комитета и стала известна Музеусу. Он вызвал меня для объяснения.

— Так, значит, и ваша организация против наступления?

— Так точно, господин генерал.

— Не ожидал. Думал, что крестьянская организация будет более дисциплинированной и поведет линию, которую ведет их центральный комитет.

Я объяснил ему, что сейчас крестьянские комитеты почти по всей армии склоняются к тому мнению, что организовать наступление очень трудно. Солдаты устали, жаждут мира, и напрасно тратить средства и человеческие жизни.

— Но я должен доложить вам, господин генерал, что наш комитет постановил твердо держать оборону позиций и отстаивать их, не щадя сил и жизней, если австриец вздумает сам перейти в наступление.

Музеус покачал головой и молча протянул мне на прощание руку.

Шестого июня мне предстояло идти в район 35-й пехотной дивизии, где я договорился об устройстве митинга и организации там дивизионного крестьянского комитета.

Собрание было назначено на восемь часов утра. Но уже часа в три наша деревня подверглась ожесточенному артиллерийскому обстрелу. Снаряды рвались около самой хаты, занимаемой комитетом. Пришлось наспех одеться и укрыться в убежище.

Обстрел продолжался несколько часов. По выходе из убежища я увидел, что половина деревни сгорела. Стрельба продолжалась по линии окопов. Австрийцы вели ожесточенную бомбардировку по всему фронту, и были слышны разрывы снарядов на позициях правее нашего полка. Австрийцы, очевидно, что-то затевали. Идти в 35-ю дивизию было уже поздно, и часов в одиннадцать я решил отправиться в полковую канцелярию 11-го полка, чтобы получить пересланное туда из обоза 2-го разряда мое жалованье. Поднявшись в гору, я увидел картину артиллерийского обстрела наших позиций, над которыми далеко вправо были видны огромные клубы дыма и пыли. Наша артиллерия отвечала австрийцам. Не пройдя и половины пути до деревушки, где расположена канцелярия и обоз 1-го разряда, я увидел скачущего ко мне навстречу ординарца.

— Поручик, наши оставили деревню!

— Как оставили?

— Еще часа полтора тому назад обоз 1-го разряда срочно выехал по направлению к Тарнополю. Австрийцы прорвали фронт.

— Прорвали? Где?

— Около Манаюва. Захватили Олеюв. Обоз 2-го разряда под угрозой захвата. 35-я дивизия спешно отошла.

Досадуя на себя за то, что перед уходом не наведася в штабе дивизии о причинах такой ожесточенной стрельбы по всему фронту, я быстро повернул назад, в деревню, но оттуда уже выезжал штаб дивизии. Я бросился к своей хате в надежде пристроить свои вещи и библиотеку на какую-либо из подвод дивизионного обоза. Моя повозка только накануне была отправлена с Лукашиным за фуражом, и нельзя было рассчитывать на ее скорое возвращение.

В хате застал Панкова, спешно увязывающего книги.

— Куда же мы их положим?

— Я тоже думаю, куда их положить. Может быть, как-нибудь на себе дотащим.

— Да куда же к черту на себе тащить! У меня чемодан еще есть. Знаешь, Панков, бери переписку, а остальное будем живы — наживем.

Мимо окон замелькали повозки нашего перевязочного отряда.

Бросив чемодан на одну из санитарных повозок, я отправился к Блюму. Он разговаривал по полевому телефону с позицией, где в это время находился Соболев.

— Все уходят,— говорил Блюм.— Я на всякий случай свой перевязочный отряд тоже свернул и выслал из деревни. Какие будут распоряжения?

Соболев ему ответил, что об отступлении никаких сведений он не имеет и считает всю эту панику напрасной.

— Штаб дивизии уже выехал,— доложил ему Блюм.— Думаю, что вас просто забыли известить.

— Пусть его связывается с кем хочет,— сказал Блюм и бросил трубку,— а нам надо выезжать. Вы знаете, что произошло?

— Ничего не знаю. Говорят, что прорвали фронт где-то около Манаюва и уже взят Олеюв. Я это слышал от полкового ординарца.

— Я тоже ничего не знаю. Штаб дивизии снялся. Музеуса самого нет. Он вызван в штаб корпуса, и вот без него такая катавасия. Попробую все-таки еще раз спросить Соболева.— И Блюм опять нажал кнопку телефона, но никто не отвечал.— Ну, значит, или телефон перебили, или его снимают. Поедемте!

— А на чем?

Блюм ударил себя ладонью по лбу.

— А ведь ехать-то, действительно, не на чем! Отряд отправил, а мой денщик вчера уехал, кажется, с вашим Ларкиным в обоз за фуражом.

Он посмотрел на свои пожитки.

— Ну, черт с ним, пускай и самовар тут остается!

Блюм захватил с собой только маленький саквояжик, и мы направились с ним догонять перевязочный пункт и настигли его уже в конце деревни, где она упиралась в небольшое болото. У моста через речку получилось загромождение, ибо каждая из повозок стремилась выбраться из деревни первой. Образовалась пробка и страшная сутолока.

Объехать мостки не представлялось возможным, ибо по сторонам было хотя и небольшое, но топкое болотце, через которое не только нельзя проехать на лошади, но и перейти пешеходу.

Тяжелая брань висела в воздухе.

— Чего там передние канителят?— кричали сзади.— Австрийцу, что ли, хотят сдаваться?

А передние не могли пробраться с мостков, так как несколько повозок, въехавших одновременно на мостки, так крепко сцепились друг с другом, что никак не могли тронуться с места.

Мы с Блюмом протискались вперед. На самом мосту оказалась повозка с вещами Блюма, которой руководил его денщик Ерохин.

— Ерохин, чего ты тут путаешься?— в сердцах крикнул Блюм.

— Владимир Иванович, никак не отцеплюсь.

— Так к черту колеса, руби их!

— А как же дальше-то ехать без колес-то?

— Починишь!

— А когда чинить?

— Ну, не болван ли ты, Ерохин? Сколько времени стоишь на мосту?

— Почитай, что целый час.

— За час можно и новые колеса сделать.

— Подите-ка, сделайте. А ежели еще ось сломают, куда дальше тронешься? Ну, ты!— крикнул Ерохин на лошадь, изрядно постегивая ее кнутом.

Лошадь дернула, но повозка осталась на месте.

— Эх, Ерохин, Ерохин, чудака ты! Вместо того чтобы ругаться,— обратился Блюм к сопровождавшим повозки несколькими обозным солдатам,— вы бы попросту подняли одну из повозок на руки и расцепились.

— А ведь правду доктор-то говорит!

Несколько человек обозников подошли к застрявшим повозкам, подняли одну из них вверх. Запряженные лошади почувствовали облегчение, тронулись вперед и повозки легко перешли на другой берег. Ожидавшие разгрузки моста с гиком погнались свои повозки вперед.

— Тише, тише!— закричал на них Блюм.— Опять, черти, застрянете. По очереди переезжайте!

Серьезный тон Блюма подействовал отрезвляюще. Прежде чем въехать на мост, обозники слезли со своих повозок, бережно брали под уздцы свою лошадь и потихоньку переходили мосток. Мы в течение минут двадцати стояли около моста, помогая производить переезд обозников без излишней паники и затора.

Когда переезд был закончен, мы отправились пешком вслед за повозками, делясь друг с другом впечатлениями относительно происходящего отступления и тупости наших русских обозных, которые в самые критические моменты умеют устроить такую пробку и так застопорить движение, что лучше не смог бы сделать наш самый заядлый враг.

По пути попалась небольшая деревушка, в садиках которой были сложены запасы артиллерийских снарядов.

— Интересно, что со снарядами будут делать?— обратился ко мне Блюм.

— Давайте спросим у артиллеристов.

И мы подошли к группе солдат, охранявших запасы.

— Вы знаете,— обратился к ним Блюм,— что армия отступает?

— Никак нет.

— Разве у вас нет телефона?

— Телефон-то есть, да он не работает.

— Отступают,— сказал Блюм.— Вам тоже надо уходить.

— А со снарядами как?

— У вас же должны быть какие-нибудь инструкции, что делать со снарядами, если отступают.

— Инструкции нет. Распоряжение было, что в случае отступления — взрывать.

— Так взрывайте.

— Взрывать-то легко, а вдруг отступления-то нет никакого? Как же без распоряжения?

— Чудаки вы! Разве не видите, что мы уходим?

Но мы не убедили солдат в том, что лучше двести тысяч снарядов взорвать, чем отдать неприятелю, и опять стали нагонять наш обоз.

Вечерело. Солнце было большое и красное. С севера на-ползали дождевые тучи.

— До каких же пор идти-то будем?— обратился я к Блюму.— Связи нет, так можно, не останавливаясь, до самого, что называется, Волочиска докатиться.

— До Волочиска не дойдем. Очевидно, где-нибудь около Стыри застрянем.

Послышался звук мотора.

— Очевидно, штабные на автомобиле удирают,— сказал я Блюму, обращая его внимание на шум мотора.

— Какие там штабные,— обратился он ко мне,— штаб дивизии ушел раньше нас. Не аэроплан ли это?

Мы оглянулись и со стороны австрийских позиций заметили несколько аэропланов.

— Австрийские,— задумчиво произнес Блюм.— Видите, кресты на крыльях.

Для меня тоже стало ясно, что это — немецкие аэропланы, производящие разведку об отступлении русских войск. При приближении к нашим обозным колоннам аэропланы снизились настолько, что их можно было бы обстрелять ружейным огнем.

— Интересные птицы,— задумчиво проговорил Блюм.— Парят себе в воздухе спокойно. Видят далеко вокруг. Жаль, что у нас авиация слаба.

Мы остановились, подняв вверх головы, следя за полетом аэропланов. Два аэроплана, сделав несколько кругооборотов, начали быстро снижаться над нашим обозом и спустились настолько, что можно было видеть летчиков, сидящих за моторами.

— Жаль, что винтовки нет,— сказал Блюм.— Обстрелять бы.

Очевидно, австрийские самолеты убедились, что отступающий обоз не имеет возможности оказать им какое-либо сопротивление, и вслед за снизившимися двумя аэропланами начали снижаться остальные, кружась над обозом на расстоянии каких-нибудь трехсот-пятисот шагов.

Обозники повскакали со своих повозок, стараясь укрыться под ними от взоров неприятельских летчиков. С аэропланов затрещали пулеметы. Солдаты в испуге ша-

рахнулись в сторону. Лошади бешено понеслись. Люди побросали своих лошадей и рассыпались по полю мелкими кучками.

— Ложитесь!— крикнул мне Блюм и ничком бросился на землю.

— Лучше ли будет?— спросил я, следуя за ним и опускаясь на землю.

Шагах в десяти от Блюма я приник к земле в полной уверенности, что наступили последние минуты моей жизни, но обстрел с аэропланов продолжался недолго. Австрийские самолеты минут пятнадцать кружились, точно коршуны, над нашим обозом, выпуская ленту за лентой. Большое мертвое пространство, получающееся при вертикальной стрельбе, не позволило австрийцам развить меткий огонь. Пули ложились за ними далеко в поле.

Весь обоз рассыпался по полю. Обозники долго собирали лошадей с повозками.

— С аэропланным крещением!— говорил мне, смеясь, Блюм.

— Спасибо, и вас с тем же. По совести говоря, не хотел бы еще раз пережить подобные ощущения. А ведь и в штыковых атаках бывал...

— Я тоже переживаю в первый раз,— ответил Блюм.— В аэропланном обстреле интересно одно, что он приносит лишь моральный урон и почти никакого физического. Вы видели, сколько времени стреляли по нам? Однако не только нет убитых, но даже ни одного раненого. Нужно быть весьма и весьма метким стрелком, чтобы уязвить при вертикальном обстреле идущие надземные цели. Другое дело, если бы аэроплан стрелял в горизонтальном положении. В последнем случае пулемет пронзил бы нас, как и все, что встретилось бы на его пути. При стрельбе же сверху пулемет может поразить лишь тот объект, который попадает непосредственно в сферу его действия, точно град в летнюю пору.

— Что же, и град убивает иногда,— заметил я Блюму.

— Но для того, чтобы был пулеметный град, надо не шесть аэропланов спустить над нами, а по меньшей мере

сотни три, четыре. Вот тогда, действительно, был бы свинцовый град.

Наступила темнота. Мы с Блюмом шагали за повозками. Ни у меня, ни у Блюма карты местности не было. Чтобы ориентироваться, куда мы идем и сколько прошли, Блюм приказал обозному солдату забежать вперед и взять у старшего по обозу карту.

Минут через двадцать обозный притащил карту и электрический фонарь

— Уже двенадцать километров прошли,— сказал Блюм, разглядывая карту.— Еще километров восемь, будет река Стырь, за которой лежит Тарнопольское шоссе. Я думаю, что мы часа через два выйдем на шоссе, и там можно будет сделать привал.

Поплелись дальше.

Километрах в трех от реки мы попали под проливной дождь. Я был в одной гимнастерке. Шинели своей я не нашел, она, очевидно, осталась в повозке Ларкина, с которой он уехал за фуражом, и я промок до нитки. Блюм оказался предусмотрительнее, у него был плащ.

Но вот наконец и Стырь. На берегу реки расположена большая деревня. Вышедший из хаты старик сообщил, что часа три-четыре идут русские войска, главным образом обозы, и что жители удивляются поспешному отходу русских.

— Это наш маневр,— ответил Блюм старику,— чтобы вовлечь австрийцев в ловушку, которую мы для них готовили.

Старик недоверчиво посмотрел на Блюма.

Прежде чем зайти передохнуть в хату, я вместе с Блюмом прошел вперед остановившегося обоза к мосту через Стырь посмотреть на переправу.

Шум и крики стояли на переправе. Большой мост протяжением метров в четыреста был забит повозками так же, как это было при выезде нашем из деревни Хмельницкой.

— В чем тут дело? — спросил Блюм, протискавшись среди повозок.

— Впереди на мосту пушки застряли,— ответили нам.

— Да вы помогли бы им!

— Не пускают.

— Как не пускают?

Прошли в передний конец моста. Тяжелая шестидюймовая артиллерия в числе не менее трех батарей скопилась при съезде с моста.

— Почему не продвигаетесь? — строго спросил Блюм.

— Никак невозможно, господин полковник, — ответили Блюму, не заметив в темноте погонов врача.

— На руках бы попробовали.

— Да разве можно на руках двадцать пушек выкатать, лошади и те не берут, а тут еще Илья-пророк ишь как льет.

Дождь, действительно, шел вовсю.

От моста подымался высокий суглинистый берег. Колеса орудий застревали, и лошади не могли протащить их.

— В сторону бы съехали, — предложил Блюм.

— Если в сторону сойдем, то совсем застрянем. Тут все-таки гать.

— А что же так-то стоять? Вы видите, что делается позади вас?

— Что позади нас? Обоз. Черт с ним, пусть остается. Прежде всего надо артиллерию вывезти.

Видя, что наше вмешательство здесь бесполезно, мы с Блюмом вернулись обратно и обратились к старику галичанину с вопросом, нет ли другой переправы.

— Есть другая, — сказал старик, — только это в конце деревни, в полукилометре отсюда, и мост там неважный. Пушки там не пройдут.

— А ну-ка, Ерохин, — сказал своему денщику Блюм, возвратившись вместе со мной к обозу перевязочного отряда, — поворачивай вправо.

По топкой грязи мы проехали не полкилометра, как говорил старик, а добрых километра два, пока, наконец, в самом конце деревни не увидели протянутый через реку плашкоутный мост.

— Вот видите, совсем не занят. Здесь и переправимся.

Осторожно вывели лошадей на этот мост. Но не прошли и двадцати метров, как мост рухнул. Мост был старый, заброшенный, им не пользовались даже крестьяне.

Бросив намерение переправиться через мост, мы с Блюмом вернулись обратно на берег, потеряв две повозки с лошадьми и имуществом.

— Давайте здесь переночуем, утро вечера мудренее.

Дождь лил по-прежнему, и напрасны были наши усилия поддержать огонь в разведенном костре, хотя солдаты таскали сухие бревна из ближайших стодолов, пользуясь темнотой. Я забрался вместе с Блюмом под одну из повозок. Санитары притащили два снопа соломы, которые послужили нам постелями. Отсутствие шинели давало себя чувствовать. Холод и мокрое платье пронизывали до костей. Перед рассветом я встал, обшарил несколько повозок и нашел на санитарке брезент, прикрывавший медикаменты. На рассвете вместе с Блюмом отправился в деревню выпить чаю и согреться.

Жители не спали, проявляя к нашему отступлению живейший интерес.

— Пане, русские совсем уходят из Галиции?— спрашивали нас.

— Нет, не совсем.

— А как же не совсем, ежели вся деревня занята обозами и переправляется на ту сторону?

— Это маневр,— говорили мы.

Было ясно, что жители нам не верят.

Блюм отдал старшему по обозу распоряжение быть готовым к переправе по основному мосту, сами же мы отправились к основной массе обоза, застрявшего перед мостом.

Рассвело совсем.

Со стороны фронта слышались сильнейшие взрывы.

«Рвут снаряды»,— подумал я.

Взрывы продолжались почти в течение целого часа.

— А ведь, должно быть, артиллеристы выполнили свое назначение,— обратился ко мне Блюм.— Видимо, не дождавшись распоряжения, взрывать стали.

— От кого же они могли бы получить распоряжение?— в свою очередь ответил я.— Все удрали.

— Обратите внимание,— показал Блюм,— рвут снаряды вправо от нашей бывшей позиции, со стороны Езерно.

— Это верно.

Подошли к мосту. Застрявшие накануне ночью артиллеристы со своими орудиями успели вывезти их в гору. Мост был свободен для движения остальных обозов. Появились откуда-то распорядители, которые регулировали движение обоза через мост, не давая обозной публике рваться без удержу вперед, как это было накануне ночью.

Вскоре подъехал и наш перевязочный отряд.

— Что потеряно?— спросил Блюм у Ерохина.

— Три повозки, господин доктор. Одна с медикаментами и две с санитарным имуществом.

— Каким?

— Банно-прачечным.

— Ну, сейчас не до бани, и так жарко!

При восходе солнца мы с обозом переехали на другую сторону и минут тридцать ждали выезда на шоссе, пока впереди следовавшие повозки выравниваются для дальнейшего движения на Тарнополь.

Во время этой стоянки со стороны Залежец показалась новая колонна обоза. И, к нашему удовольствию, мы встретили едущих в повозках Максимова и Вишневого.

— Расскажите, Сергей Максимович, что было,— обратился к Максиму Блюм.

— Мы думали, что и не выберемся из Гайзаруды. Австриец прервал позицию около Звыжна (помните, в прошлом году там наш полк стоял), быстро занял Маркополь и оттуда пошел во фланг Манаювских позиций. Забрали Олеув, Тростенец. Чуть не взяли в плен штаб 35-й дивизии. Успел удрать. Австрийцы в сопровождении немецких частей прошли вдоль фронта, это-то нас и спасло. Если бы они прошли прямо на Залежцы, то нам бы не выбраться.

— Мы узнали о прорыве позиции после того, как уже были взяты Олеув, Тростенец и Лапушаны. Совершенно случайно в Гайзаруды прискакал ординарец 35-й дивизии. Ночью, сделав объезд километров на двенадцать севернее от Гайзаруд, мы, не дожидаясь никакого распоряжения от начальника дивизии и из штаба корпуса, решили по собственной инициативе двигаться на Тарнополь. Очевидно, отступление повсюду, раз мы вас здесь застали.

— Надо полагать, что повсюду,— ответил Блюм.

— Страшно жаль, Владимир Иванович,— так много пришлось бросить имущества, которое полк накопил на протяжении года. Мы смогли погрузить только самое главное. На всякий случай я оставил в Гайзарудах взвод нестроевой роты с несколькими фурманками, приказав охранять оставленное имущество и, если явится возможность, нанять крестьянских лошадей и с имуществом присоединиться к полку. Если же ничего не выйдет, то приказал все облить керосином и зажечь.

— А что же там оставили?

— Много, Владимир Иванович. Две тысячи одного суконного обмундирования. Около трех тысяч пар сапог. Шестьсот пудов сахара. Вагонов пять муки. На своих лошадей мы нагрузили только самое необходимое и что только было возможно. Ведь год целый накапливали.

В голосе Максимова слышались слезы. Видя нас мокрыми, грязными, Максимов спросил:

— А что же вы, разве пешком?

— Пешком, Сергей Максимович.

— Голубчики, как же это так? Садитесь с нами.

— Куда же к вам. Вас тут двое, да мы вдвоем.

— А мы потеснимся. Владислав, Владислав!— оборачиваясь назад, закричал Максимов.

Владислав, денщик Максимова, с медлительной важностью подошел к коляске Максимова.

— Где коляска капитана Степанова?

— Позади, господин капитан.

— Прикажи, чтобы сейчас же была здесь.

Пока мы стояли,— ожидая движения вперед стоящего обоза, подъехала коляска Степанова. Степанов, помощник командира полка, имел собственный экипаж.

Блюм поместился с Максимовым, а мы с Вишневым перешли в экипаж Степанова.

— Куда же мы едем, Оленин?— спросил Вишневский, покручивая свои гусарские усики.

— Вам известно, Федор Михайлович.

— Ни черта не понимаю. Я только что был в Киеве, привез оттуда вина для офицерского собрания, и вы знаете,

какая досада, успел захватить с собой только один ящик, все остальное пришлось там бросить.

— Но из оставшегося хватить успели?

— Хватил так, что и сейчас башка трещит.

— Не осталось ли чего-нибудь?

— Сейчас Владислава позову. Владислав, Владислав! Денщик Максимова вырос перед нашей коляской.

— Там в задке максимовского экипажа две бутылки портвейна, притащи-ка сюда.

Через мгновение Владислав притащил две бутылки вина.

— Как же пить, Федор Михайлович? Стаканов-то нет.

— А так, из горлышка.

— Неудобно, Федор Михайлович.

— погоди, сейчас раздобудем. Ездовой, у тебя фляжка есть? — обратился он к кучеру.

Солдат протянул фляжку.

— А вот что к фляжке полагается, — корытце это самое?

— У меня кружка есть, господин капитан.

— Давай кружку.

Вишневский налил в кружку немного вина, выполоскал и затем, наполнив до краев, протянул мне.

— Пейте сами.

— Я уже достаточно выпил. Гостя надо попотчевать.

Я отказываться не стал и выпил полную кружку, которая вмещала почти полбутылки. Остальное содержимое бутылки Вишневский выпил сам.

Почти бессонная ночь, холодный душ, мокрое платье — все это так подействовало, что от единого стакана вина меня стало клонить ко сну, и тут же в экипаже я заснул. Сквозь сон чувствовал, что мы потихоньку движемся вперед. Проснулся от толчка экипажа при остановке.

— Почему не едем? — обратился я к Вишневскому.

— А черт их знает! Там впереди какая-то катавасия.

Вдоль обоза мчался ординарец.

— В Тарнополь нельзя, — заявил он Максиму, останавливаясь около нашей коляски. — Приказано всем свертывать влево на Збараж.

Максимов посмотрел на карту.

— Збараж километрах в семи отсюда,— сказал он,— давайте не будем дожидаться движения всего обоза, выедем самостоятельно.

Мы не возражали. Максимов вызвал старшего по обозу 2-го разряда, приказал ему разведать впереди имеющиеся дороги, ведущие на Збараж, и протолкнуть обоз по этой дороге. Старший фельдфебель Петухов проехал вперед и вскоре вернулся доложить, что через две хаты от нашей стоянки имеется полевая дорожка, ведущая на Збараж.

— Поедем по ней,— распорядился Максимов.

Обозы свернули влево, оставив остальные тыловые части дожидаться распоряжений о дальнейшем движении. Не доехав до Збаража километра три, въехали в большое село, расположенное на большой, выющейся красивой лентой речке.

— Здесь остановимся отдохнуть,— предложил Максимов.— Пока остальные подойдут, еще успеем занять лучшие помещения.

Обозные верховые ординарцы вернулись с докладом, что, к сожалению, почти все селение занято частями гвардейской дивизии.

— Какой дивизии?— спросил Максимов.— Уж не теми ли христопродавцами, которые в наступление отказались идти? Гнать их к черту!

Ординарцы улыбнулись:

— Там целая дивизия, а нас только обоз, господин капитан, скорее нас смогут прогнать.

— Гнать к черту, к черту! Я сейчас пойду сам!

Максимов легко спрыгнул с коляски и торопливо зашагал к ближайшей хате, в которой размещалось несколько гвардейских солдат.

— На каком основании здесь живете? Марш на позицию! Я вас!

Солдаты не выдержали натиска Максимова, покорно собрали свои вещевые мешки и вышли из хаты.

— Здесь мы и остановимся,— заявил Максимов.— А обоз пусть построится за деревней на лугу. Пусть люди варят себе пищу.

Придя в хату, я не стал дожидаться приготовления завтрака, о котором распорядился Максимов, и сразу завалился спать. Проспав часа четыре сряду, я проснулся. На улице шумел Максимов, ругая гвардейцев:

— Гвардия,— кричал он,— гордость русского царя, шкурники, предатели, христопродавцы, сторонники немцев, видите, что делается на фронте?

Слушатели Максимова были одни солдаты. Вскоре к солдатам присоединились несколько гвардейских офицеров-прапорщиков.

— Чего вы кричите, господин капитан?— обратился один из них к Максиму.— Мы не шкурники и, когда надо, сумеем лучше постоять за революцию, чем вы.

— Вон вас надо гнать! Расформировать! Честь забыли, а еще офицеры, погоны носите!— набросился на прапорщика Максимов.

— Вы потише, капитан, ведь наша дивизия вооружена.

— А, ваша вооруженная дивизия может на одного капитана напасть? Стыдитесь, прапорщик!

Прапорщик пожал плечами:

— Чего вы, Сергей Максимович, волнуетесь?

— Св....., христопродавцы, антихристы, гвардейцы еще! Им на парадах только бы щеголять, а на войну поехали — сразу сдрейфили. Зато на парадах: пехота, не пыли!— возбужденно кричал Максимов.— К черту, к черту, немедленно очистить деревню!— кричал он вдогонку уходившим прапорщикам.— Я вас...

— Сергей Максимович, что вы с ними можете сделать?

— Что сделать? Выпороть их, мерзавцев!

То ли речь Максимова повлияла, то ли распоряжение было у гвардейских офицеров, но они вывели своих людей из хат, построили и двинулись куда-то дальше.

— Сергей Максимович,— обратился я к Максиму,— нельзя ли у вас шинель достать? Продрог я, как черт, сегодня ночью. Где моя шинель — не знаю. Все вещи потерял.

— Голубок, голубок, что же вы молчали? Владислав, Владислав!— закричал Максимов своему денщику, которого поблизости, однако, не было.

Вместо Владислава подошел один из обозных.

— Шинель поручику Оленину!

Обозный был знакомый.

— Ваш Ларкин здесь,— сказал он мне,— с повозкой и с вашими вещами.

— Так где же он, мерзавец, пропадает, чего же он меня не разыщет?

— Он, видимо, не знает, что вы здесь.

Вскоре появился Ларкин, торжественно восседая на моей повозке.

— Ларкин, где ты пропадаешь?

— Дмитрий Прокофьевич, если бы я был с вами, так и этих лошадей не было бы, а то видите, как хорошо, что я за фуражом уехал.

— Мерзавец, ведь у меня шинели нет,— дружески журил я его.

— А шинель здесь у меня, и шашка ваша здесь.

— К черту шашку! Зачем всякую дрянь берешь?

— Я думал, что пригодится, чего же бросать, когда все отступают? Сало у меня есть, Дмитрий Прокофьевич. Когда обозы все побросали, так я там два окорока стащил.

— Может быть, и яйца есть?

— Сейчас достану.

— Сделай яичницу.

Ларкин с повозкой подъехал к перевязочному отряду, выпряг лошадей, дал корму, поставил котелок на огонь и сам куда-то исчез.

— Ночуем здесь,— говорил Блюм,— пока наши части подойдут.

— А есть ли какие-нибудь сведения от полка?

— Нет. Я думаю, что они пошли западнее Тарнополя.

— Как же ночевать-то?

— Я думаю, что Тарнополь не сдадут, ведь тут сильные укрепленные позиции. Задержат наш полк.

Увы, предположения Блюма не оправдались.

Часов в шесть вечера над Тарнополем, километрах в восьми от нашего бивуака, поднялось огромное зарево пожара. Слышались взрывы артиллерийских снарядов. От-

дельные конные солдаты сообщили, что Тарнополь оставляется нашими войсками.

— Немцы прут,— говорили проезжавшие верховые,— потому и пожары.

Я вспомнил бывшее три дня тому назад собрание крестьянских депутатов, где по докладу Лукашина мы приняли постановление крепко держать свои позиции и не щадя своих жизней их защищать.

— Вот тебе и защитили!

Максимов, лишенный связи со штабом полка и дивизии, принял на себя командование обозом. Устроили нечто вроде военного совета из Блюма, меня и Вишневого.

— Нельзя, нельзя здесь оставаться,— скороговоркой, торопливо говорил Максимов.— Видите над Тарнополем зарево? Склады взрывают. А отсюда до Тарнополя всего каких-нибудь семь километров. Ежели из Тарнополя уходят наши войска, то через какой-нибудь час австрийцы могут быть здесь. Я думаю, двинуться нам дальше.

— Ну что же, давайте двигаться, только куда?

— Через Збараж на Волочиск.

— Ведь это очень далеко, Сергей Максимович,— вступился я.— До Волочиска пятьсот километров.

— Но ведь кавалерия делает не менее пятидесяти километров в сутки,— возразил Максимов.— А мы обозом не имеем права рисковать. Давайте двигаться. Владислав, позови ко мне фельдфебеля.

Явился фельдфебель.

— Прикажи запрягать лошадей и трогаться дальше. Маршрут: Збараж—Волочиск.

И наши повозки приняли вновь походную форму.

Пришли в Збараж, небольшое местечко, утопающее в зелени. В центре огромный замок польского магната.

— Может быть, переночуем здесь?— предложил Блюм Максиму.

— Спасибо, спасибо, а вдруг австрийская кавалерия нагрянет?

— Не может быть,— возразил Блюм.— Все-таки позади нас полевые войска. Ведь мы не видели ни одной отступающей пехотной части.

— Да вы их и не увидите, раз они через Тарнополь прошли.

— Разве могли все части идти по одной дороге?— возразил Блюм.

Доводы Блюма, очевидно, подействовали. Максимов согласился переночевать в Збараже. Чтобы быть готовыми каждую минуту к отступлению, Максимов приказал, чтобы ночевка была устроена в палатках под открытым небом. Мы же устроились в парке, в небольшом, так называемом охотничьем домике.

На следующий день с раннего утра к нам присоединилось еще несколько команд нашего полка, которые шли тоже без всякого маршрута и выбрали для своего движения те дороги, которые казались наиболее прямыми к отдаленному тылу.

Часов до десяти утра еще не было связи ни с полком, ни с дивизией. Над Тарнополем по-прежнему было видно зарево пожара и густые клубы дыма.

— Кто же жжет город, отступающие русские или вступающие австрийцы?

— Вероятно, запасы сжигают,— высказал предположение Блюм.

Спокойствия ради Максимов приказал к двенадцати часам дня выступить из Збаража по большой дороге. В половине двенадцатого обоз был построен и начал вытягиваться на большую дорогу. Уже три четверти обоза было вытянуто в линию на Волочиск. В хвосте должны были следовать повозки перевязочного отряда.

Выезжая из парка вместе с перевязочным отрядом, я слышал неистовые крики, несшиеся из глубины парка:

— Кавалерия! Кавалерия! Австрийская кавалерия!

Боже, что тут началось! Ездовые неистово стегали своих лошадей. Галопом мчались нагруженные повозки. Люди, сидевшие на повозках, сбрасывали вещи, а ездовые, дабы избежать опасности, стали рубить построшки, перескакивали с повозок на лошадей и верхами удирали дальше.

Паника захватила всех. Я тоже подгонял лошадь, оглядываясь по сторонам и выжидая появления австрийской кавалерии, но ее не было.

— Где же кавалерия?— спросил я галопом несущихся артиллеристов.

— Кавалерия? Н-не знаем. Где-то тут.

— Чего же вы несетесь, мерзавцы?

Я выхватил револьвер и направил в сторону одного из артиллеристов:

— Остановись!

Мой сердитый окрик его как будто отрезвил.

— А ведь и правда, господин поручик, кавалерии-то никакой нет.

Обозные уже удрали частью с повозками, частью без повозок верхами. На протяжении двух-трех километров дорога была усеяна брошенным имуществом. Валялись шинели, сапоги, консервы, медикаменты.

Блюм, обладающий большим хладнокровием, не поддавшись панике, шествовал позади меня со своим перевязочным отрядом. Он внимательно осматривал каждую брошенную вещь, примеряя, насколько она может быть полезна для отряда.

— Дешево. Дайте тридцать пять.

— Покажи лошадь.

Матвей (так звали денщика) нырнул куда-то в кусты и предстал передо мной с великолепной гнедой кобылой. Я в лошадях толку не знал, но вид лошади меня привел в восхищение.

— А здорова она?— спросил я Матвея.

— Попробуйте.

Он притащил поповское седло, оседлал кобылу, и я сделал несколько пробных посадок. Лошадь шла великолепно. Чувствовалось, что она привыкла ходить под седлом ровным, размеренным шагом и крупной рысью. Не слезая с лошади, я уплатил Матвею деньги и выехал из парка.

Часа полтора я катался на своей новокупке, и такого удовольствия я еще никогда не испытывал. Плавной рысью и галопом несла меня лошадь, послушная легкому движению руки.

Вернувшись с объезда лошади в свою хату, я передал ее попечению Ларкина.

— Хорошая лошадка,— восхищался денщик.— Такой лошади даже у нашего помещика не было. Ведь ей цена за глаза рублей триста будет.

Среди дня, желая похвастаться своим приобретением, я приказал Ларкину оседлать кобылу и поехал гарцевать перед офицерами нашего обоза. Наткнулся на Блюма.

— Откуда у вас такая прекрасная лошадь, Дмитрий Прокофьевич?

— У Матвея купил.

— Лошадь-то краденая.

— Конечно, краденая, откуда же у Матвея будет собственная?

— Такая краденая,— продолжал Блюм,— что ее владелец здесь недалеко находится.

— Матвей говорил, что он стянул ее еще на той стороне Стыри.

— Врет он. Эта лошадь из конюшни этой усадьбы.

— Не может быть, Владимир Иванович.

— Уверяю вас. Я видел управляющего имением. Он ходил, как очумелый. Говорят, что у него стащили скаковую кобылу, которая брала первые призы на венском ипподроме.

— А может быть, это — другая?

— Нет, судя по приметам, именно эта.

— Значит, придется вернуть?

— Придется.

Я спрыгнул с седла и, держа лошадь в поводу, отправился вместе с Блюмом к управляющему. Нас встретил австриец, пожилой человек с длинными усами. При виде нас он торопливо сбежал со ступенек крыльца.

— Откуда у вас эта лошадь, господа офицеры?— волнуясь, обратился он к нам.

— Купленная,— ответил я.

— Это моя лошадь, я по ней с ума сходил, думал, что она пропала. Как я рад, что вы ее нашли!

— А я очень опечален, что эта лошадь оказалась из вашей конюшни. Она мне очень понравилась.

Управляющий обнимал и целовал морду лошади.

— Вы знаете, эта лошадь принесла мне много счастья. Я ее за десять тысяч не продам.

— А я за нее всего тридцать пять рублей заплатил.

— Пойдемте на конюшню и выбирайте там любую,— обратился ко мне управляющий.— Я вам дешево уступлю.

Мне действительно нужна была лошадь, и я с Блюмом пошел на конюшню.

— Видите вот эту лошадку,— подвел меня австриец к молодой кобыле.— Нравится она вам?

— Как будто хороша.

— Хороша!— возмутился управляющий.— Это — дочь той лошади, которую вы мне привели. Хотите ее купить?

— А что вы за нее просите?

— Я вам ее отдам с большой скидкой. За сто рублей.

— Вы хотите сказать, за сто тридцать пять. Я уже тридцать пять заплатил за одну.

— Нет, сто рублей, включая уже вами заплаченные.

— На этих условиях согласен.

— По рукам. Берите.

Он крикнул конюха. Старик австриец надел на лошадь обротъ и, держа повод в руке, подвел ее ко мне.

— Берите из рук в руки. Только предупреждаю, что она еще не обьезжена.

Прекрасная молодая кобылица, темно-гнедой масти, привела в восхищение Блюма. Я заплатил помещику шестьдесят пять рублей. Забрал лошадь и отправился к своей хате с намерением поручить Ларкину обьездку этой лошади. По пути наткнулся на о. Николая.

— А, Оленин, откуда такую прекрасную ведете кобылицу?

— Купил, батюшка.

— Сколько заплатили?

— Сто рублей.

— Я вам дам сто двадцать пять.

— Нет, спасибо, мне самому лошадь нужна.

— А в придачу старую кобылу.

— Благодарю вас, батюшка, но я не имею склонности заниматься конской торговлей.

— Напрасно, вам все равно, ведь вы ее так же заморите, как заморили скакуна.

— Батюшка, неужели вы его помните?

— Господи, как его забыть можно! Это же было посмешище всего полка.

— Вы очень плохого мнения о моем скакуне. А кроме того, я своего скакуна не заморил, он подох от старости.

— А эту вы уморите голодом. Поменяемся.

— Нет, благодарю вас, батюшка. Не могу.

— Ну, куда вы с ней денетесь!

— Ездить буду.

— Ездить можно и на моей вороной кобыле.

— А почему вы со своей кобылой расстаться хотите? Что это вас на молодую кобылицу потянуло?

— Вы что-то неприличное, молодой человек, думаете. А я вам серьезно говорю, давайте меняться.

— Нет, не могу. Это — не столько покупная, сколько дареная лошадь.

— Жаль, жаль, но имейте в виду, когда захотите переменяться и пожелаете иметь лошадь постарше, то скажите.

— Батюшка, вы знаете, что ваш Матвей — вор?

— А вы что, только сейчас об этом узнали?

— Как же вы его держите?

— Надо человека исправить. А кто же его исправит, как не отец духовный?

Но отец духовный не для исправления его держит, а для неблагоприобретения потребных о. Николаю вещей.

Передав Ларкину объезжать лошадь, я пошел к Блюму обедать.

— Откуда вам стало известно, что у помещика пропала рысистая кобыла?— спросил я его.

— У него не только одна рысистая кобыла пропала. За ночь у него стащили штук двадцать и всех их успели расковать. Вы говорите, что вам продал эту лошадь Матвей?

— Тридцать пять рублей с меня, мерзавец, спер.

— А вы знаете, что он попу две лошади из этой же конюшни привел?

— Не может быть! О. Николай предложил мне выменять мою молодую кобылицу на его старую лошадь.

— Жульничает о. Николай. Матвей притащил ему пару прекрасных лошадей. Когда о. Николай узнал, что они из конюшни этого помещика, он Матвея услал их спрятать.

— Не может быть, Владимир Иванович!

— Он рассуждает по-своему логически. Не мы, так при отступлении другие возьмут.

Из штаба полка прибыл ординарец, разыскавший, наконец, ушедший далеко в тыл обоз. Оказывается, наш полк находится на двенадцать километров южнее Тарнополя. При отступлении шел почти последним в полном порядке и сейчас занимает позицию, задерживая дальнейшее продвижение австрийцев.

От имени командующего полком и начальника дивизии Музеуса, которые находятся при 11-м полку, нашему обозу приказано немедленно отправиться на соединение с полком.

Выступили из Стехновиц, но, проехав километров двенадцать, мы получили вдруг новое распоряжение задержаться в первом же селе, куда отправлялся в резерв наш 11-й полк.

При размещении обоза я остановился рядом с хатой о. Николая. Блюм был прав: Матвей спер для о. Николая две прекрасные вороные лошади, может быть, и не такие рысистые, как та кобыла, которую мне пришлось вернуть, но во всяком случае значительно лучше купленной мною у помещика молодой кобылицы.

В то время как наш обоз шел на присоединение к полку, в Стехновицы прибыл телефонист штаба 3-й дивизии, который блуждал в течение двух дней, не зная, где ему найти пристанище и свои полки, а казалось бы, ему первому должно быть известно местоположение своих частей и действия противника. Штаб оказался беспомощным только потому, что начальника дивизии Музеуса в день отступления шестого июля не было в штабе. Ни начальник штаба Кадошников (генерал Генерального штаба), ни оперативный адъютант полковник Афанасьев, ни другие высшие штабные чины совершенно не предполагали, что им,

руководителям четырех полков со всеми вспомогательными и специальными частями, придется бросить эти части без руководства и просто бежать.

Штаб настолько растерялся, что удрал, не успев поставить в известность находившиеся на фронте полки. Удирал с единственной целью: спасти свою собственную шкуру. Я представлял себе, как будет возмущен Музеус, когда он, возвратившись из штаба корпуса в Зборов, вместо организованного сопротивления под руководством офицеров Генерального штаба, увидит пепелище сгоревших хат и отступающие роты 11-го полка. Действительно, так и было.

— Где штаб?— неистово кричал Музеус проходившей мимо него последней цепи 11-го полка.

— В Киеве или в Москве,— иронически отвечали солдаты.

Музеус стучал стеком по голенищу сапога и готов был наброситься на первого попавшегося штабника, но, увы, штабники находились далеко за пределами досягаемости не только для наступающих австрийцев, но и для стека своего генерала Музеуса.

Музеус не стал догонять свой штаб, а остался с 11-м полком, с которым сроднился за время русско-немецкой кампании.

Командующий 11-м полком Соболев так растерялся, что совершенно не мог руководить отступающими подразделениями 11-го полка. Его растерянность еще более усилилась при встрече с Музеусом, и он беспомощно предоставил командование отступающими частями Музеусу.

— Негодяи, мерзавцы!— возмущался Музеус.— Куда бегут, почему бегут? Немцы прорвали небольшой участок. Если они и заняли Олеюв, то достаточно было бы одной роты для того, чтобы немцев окончательно прогнать на свои места. Позор!

11-й полк, как и вообще вся 3-я дивизия, отступал потому, что отступала находившаяся впереди 35-я дивизия. А офицеры и солдаты 3-й дивизии были достаточно знакомы с позицией, проходившей под Звыжнем, Манаювом, Хокулеовцами.

Будь серьезнее наблюдение за противником, последний не смог бы учинить грандиозный прорыв и сразу захватить целый ряд селений до Олеюва включительно.

— Нареволюционизировались!— раздраженно говорил Музеус.— Наступать не хотим, но зато будем твердо держать винтовку в случае наступления немца. Удержали! Скачи теперь сотню километров в глубь страны, пока немцы не устанут преследовать!

И наши части действительно скакали в тыл неудержимо.

— Виноваты большевики,— говорили офицеры.— Они разлагают фронт. Из-за них это отступление. Немецкие наймиты! Шпионы!

Более благоразумные офицеры и солдаты отвечали:

— При чем большевики? Разве в штабе дивизии сидят большевики, если штаб дивизии удирает при первом известии о прорыве фронта под Манаювом?

— Шпионы в дивизии,— говорили солдаты.— Штабные нарочно хотят нашего поражения, чтобы показать, что армия разложилась и нужно, мол, против армии принять репрессивные меры, т. е. восстановить прежние отношения между офицерами и солдатами, лишить солдат гражданских прав.

Особенно велико было озлобление солдат в 3-й дивизии.

— Только сообщники немцев могут так поступать, как поступили в штабе дивизии,— говорили они.— Удрать, не предупредив на позиции полки, это может сделать враг нашей революции и нашей победы. Недаром,— слышались голоса солдат,— убирают из полков всех тех, кто стоит за настоящую свободную Россию. Дудки, сами разберемся, где враг и где друг народа!

Кавардак получился необычайный. Австро-немецкие войска прорвали русские позиции в районе Звыжен—Манаюва. 35-я дивизия не оказала серьезного сопротивления. Противник продвинулся в тыл километров на десять, создав угрозу флангу всего 17-го корпуса.

Тыловые части впали в панику.

Соседние с 35-й дивизией части, 9-й и 12-й полки нашей 3-й дивизии, не рассчитывая на боеспособность своих солдат, перешли в отступление.

Стоящие левее 11-го полка части других корпусов в свою очередь под влиянием сообщения о поражении тоже начали отступать независимо от объективных условий фронта.

Штаб корпуса, находившийся в Белом Подкамне, при получении известия о «грандиозном» наступлении немца бросился отступать к Кременцу, а штаб 11-й армии в Кременце немедленно эвакуировался в Проскуров, за сто километров назад, захватив весь подвижной состав станции Кременец.

Мало того, что штаб армии был в панике, но даже штаб фронта, сидевший в Бердичеве, на расстоянии, примерно, трехсот километров от первой линии окопов, не утерпел, чтобы не погрузиться в вагоны и не начать отхода на Киев.

— Армия разложена большевиками!— кричали штабники.— Надо отступать!

И в то время как поспешно удирали штабы дивизии, корпуса, армии и даже фронта, передовые части наших полков медленно отходили от своих позиций, и отходили не потому, что на них сильно нажимал противник, а потому, что они утратили связь со своими штабами и считали совершенно естественным и закономерным уход пехотных частей, когда штаб дивизии бежал в тыл.

Тарнопольское отступление, начавшееся шестого июля, продолжалось вплоть до пятнадцатого. На протяжении девяти дней штаб, обозы, войсковые части — неудержимо катились в тыл без какого-либо особого нажима со стороны противника. Огромные запасы снарядов, вооружения, продовольствия бросались на произвол судьбы, и очень редко были случаи, когда солдаты, охранявшие сосредоточенные перед позициями запасы, уничтожали их по собственной инициативе.

Девять дней не было никакой связи между штабами полков, дивизией, между штабами дивизий и корпуса и, наконец, со штабом армии.

Дивизионные и армейские учреждения, обслуживающие фронт, исчезли бесследно. Исчез совершенно из нашего поля зрения полевой телеграф, полевая почтовая контора. Нельзя было получать письма к себе и нельзя было отправить письмо на родину. Нельзя было получить телеграммы на позиции из тыла или армии, направить телеграмму в тыл.

Между тем австро-немецкая армия, совершив прорыв на фронте Звыжен—Манаюв и не имея достаточных сил, оставалась на захваченных участках, злорадно посмеиваясь и не делая ни одного шага для преследования бегущих.

Сидя с Вишневым в одной хате уже после того, как установилась связь со штабом 11-го полка, я был страшно возмущен заявлением Вишневого, что мы бы не отступили, если бы не было революции.

— Надо всех революционеров перевешать,— злобно говорил Вишневский,— и тогда мы победим немцев.

— Вы не понимаете, Федор Михайлович,— ответил я ему,— что революция выдвигает новые силы, которые способны смести не только старые порядки, но и организовать серьезное сопротивление неприятелю. Но революция нуждается в организации масс. А такой организованности среди солдат нет. Те, которые должны были бы организовать массы, ничего умнее не придумали, как почетное наименование полкам «Восемнадцатого июня» или установить новый офицерский орден — солдатский Георгиевский крест. Разве солдаты 11-го полка бежали с позиции?— возмущенно говорил я Вишневскому.— 11-й полк стойко защищал свои позиции и отступил с них, не видя перед собой ни одного неприятельского солдата, не мог не отступить, коль скоро штаб дивизии удрал черт знает куда и неизвестно почему.

— У нас большевиков нет, потому наш полк и стоял,— возражал Вишневский.

— Большевиков нет? Да вы знаете, что все солдаты большевики?

— У нас нет умных людей. Одни дураки.

— И нет честных офицеров. Одни трусы!

— Труссы! — возмутился Вишневский.— Я считаю это оскорблением всему офицерскому корпусу.

— Считайте, как вам угодно.

— Вы, прапорщик...

— Поручик, господин капитан.

— Вы, поручик,— иронически сказал Вишневский,— потрудитесь взять свои слова обратно или же дать мне удовлетворение.

— Удовлетворение!— рассмеялся я.— Вы понимаете, о чем вы говорите? Мне достаточно вызвать своего денщика и двух обозных солдат, чтобы они вас излупили, как сидорову козу.

— Я требую удовлетворения!

— Хорошо. Ларкин, у меня есть в чемодане флакон с одеколоном, принесите капитану Вишневскому.

— Вы шутите!— стукнул Вишневский кулаком по столу.

— Нет, не шучу. Я полагаю, что удовлетворение должно именно в этом и заключаться, чтобы дать вам выпить флакон одеколону, и через полчаса вы будете с пьяными слезами говорить то, что вы, как честный человек, думаете.

— Плебей, мужик, не понимающий офицерской чести и долга!

— Но зато я прекрасно понимаю настроение и желание неплебейских офицеров и думаю, что флакон одеколону — высший предел мечтаний неплебейского офицера в тот момент, когда негде достать более крепких напитков.

— Я с вами не знаком и руки вам больше подавать не стану!

— Не буду огорчен этим.

— А ну черт с вами! С плебеями у меня плебейские отношения. Одеколон же ваш выпью.

— Я в этом ни минуты не сомневался.

Наш спор и ругань были прерваны появлением незнакомого офицера в форме автомобильных войск.

— Прошу извинения,— заявил вошедший, красивый, высокого роста мужчина, лет тридцати пяти, одетый в изящные ботинки, поверх которых блестели лаковые гетры. На его погонах красовались три звездочки.— Позволь-

те представиться: поручик 3-го автомобильного дивизиона Марценович.

Мы привстали.

— Разрешите передохнуть у вас.

— Пожалуйста, пожалуйста,— рассыпался в любезностях Вишневский.— А где ваш одеколон?— сердито обратился он ко мне.

— Сейчас денщик подаст.

— Вы одеколон пьете, господа? У меня с собой две фляжки спирта.

— Тогда вы совсем желанный гость. Садитесь, будьте хозяином.

— Я, господа, уже двое суток не спал. Если позволите, выпью с вами немного чая, может быть, немного спирта и сосну.

— Располагайтесь, как у себя дома.

Ларкин притащил флакон одеколona и три стакана.

— Убери, Ларкин, одеколон, капитан Вишневский пьет только спирт,— смеясь, сказал я, но Вишневский промолчал.

— Неужели, господа, вы одеколон пьете?— обратился ко мне автомобилист.

— Сам не пью. Угощаю капитана за отсутствием более приличных для него напитков.

— Плюньте, у меня достаточно спирта!

Но Вишневский уже разлил по стаканам из фляжки гостя, выпил и довольно крякнул.

— Мне помнится, что ваш автомобильный отряд стоял в Тарнополе?— спросил он гостя.— Значит, и вы подверглись несчастью отступления?

— Полгода мы жили там. Думали и уверены были, что тарнопольские жители и русская армия одно целое. Какие прекрасные женщины! И вы представьте себе, господа, как рухнули мои иллюзии!

— А вы выпейте,— пододвинул к нему стакан Вишневский.

— Два дня пью, не помогает. Вы видите мой мундир?— поднялся он, показывая китель, покрытый густыми пятнами.

— Эка важность, грязный китель! Наши гимнастерки еще грязнее.

— Ваши гимнастерки покрыты чистой и честной грязью, а мой китель покрыт позорнейшей, гнуснейшей грязью.

— Вы не волнуйтесь. Расскажите, что это за гнусная грязь на вас.

— Мне совестно,— начал глухим голосом поручик.— Мы стояли в самом центре Тарнополя, когда солдафоны начали осуществлять свою свободу. Выгнали, и не только выгнали, а предварительно избили капитана, начальника нашего отряда. Меня, как добропорядочного офицера, сделали командиром. Четыре месяца цацкался я с солдатами. И если отдыхал когда-либо душой, то только среди тарнопольской интеллигенции. Отступление. Кругом паника, кругом бегут, грабят, жгут. Начали грабить тот дом, где я квартировал. Принял меры. Стрелял. Спас имущество от разграбления. Обеспечил той семье, где я находился, спокойствие. А плоды моих действий... видите китель,— после небольшой паузы произнес он.

— В чем же дело?

— Когда стали взрывать склады со снарядами, через Тарнополь стали проходить пехотные части. Я, как командир специальной части, должен был поехать вперед, чтобы ни одна машина не досталась противнику. В это время, вы не можете себе представить... дайте еще спирту.

Я налил ему в стакан из фляжки.

— Стоило мне выйти на подъезд,— продолжал поручик, хватив залпом налитый спирт,— как со второго этажа на меня вылили горшок с экскрементами. Вот китель, видите?

— Почему же вы не перемените?

— Сволочь денщик удрал с повозкой, и не знаю куда.

— Может быть, вам все это показалось?

— Понюхайте, капитан,— и он поднес китель к носу Вишневого.

— Да, действительно мерзко пахнет.

— Мерзко... а вы представляете, насколько это было мерзко, когда вся эта гнусь лилась мне на голову?

— Полюбили вас, значит, в Тарнополе?— наивно спросил я поручика.

— Но, может быть, это — месть за что-нибудь? Может быть, вы какую-нибудь женщину оскорбили?

— В этом доме ни к одной не притрагивался. Из других ходили. Китель я, конечно, себе куплю другой, но честь офицерская, господа... Надо вам сказать, вообще в Тарнополе творилось что-то невообразимое. Как я уцелел, сейчас совершенно не представляю себе. Из многих домов бросались камни, стреляли из револьверов. А в двух-трех местах были брошены даже бомбы.

— Странно,— сказал я.— Вы там жили долгое время. Почему же в ответ на вашу любезность к населению подобная непорядочность?

— В Тарнополе сплошь большевики и жидаы. Жидаы и стреляли.

— Жидаы... а сами вы их видели?

— Разве их увидишь, они, сволочи, из-за угла, из окон. Ну, попадись кто-нибудь из них — повешу!

— Если вас не успеют до того приколошить!

— Вы смеетесь, поручик,— пьяными глазами посмотрел на меня автомобилист.

— Какой тут смех! Посмотрите на ваш китель. Мало того, что пятна на нем, от него еще разит.

На два дня наш обоз застрял в деревне Хревин. Установив, где находится штаб дивизии и полка, разместившись с Боровым и Вишневым в одной хате, я отправился в штаб дивизии. Обратился к административному адъютанту Трофимову с просьбой прикомандировать ко мне одну из подвод дивизионного обоза для перевозки вещей до тех пор, пока не подойдет ко мне прикомандированная ранее повозка 11-го полка, а также дать мне помещение.

Трофимов предложил остановиться с ним. Не будучи с ним знаком, я предпочел перебраться в другую хату.

Среди писарей канцелярии дивизии оказалось несколько знакомых. Один из писарей, Ишутин, сообщил мне под великим секретом, что имеется распоряжение из штаба Верховного главнокомандующего о введении на фронте смертной казни.

— Кроме того,— говорил Ишутин,— есть приказ, воспреещающий посылку в командировки кого бы то ни было

из дивизии без разрешения штаба корпуса. Чтобы прекратить возможность большевистской агитации, приказано запретить всякие собрания на фронте. Роль полковых комитетов предлагается свести на нет. Ни одного собрания полкового комитета не может происходить без специального на то разрешения начальника дивизии. Отдельным циркуляром Ставка Верховного главнокомандующего обращает внимание начальника дивизии и штабов на обеспечение помещикам уборки урожая.

— А разве им мешают?

— У нас еще ничего такого не было, но видно где-нибудь их пощупали, и вот приказано всемерно охранять, и чтобы урожаи убирались под прикрытием войск. У нас не было возможности наблюдать за отношением местных крестьян к помещикам по той простой причине, что мы уже две недели находились в непрерывном отступлении. Во всяком случае,— говорил Ищутин,— режим по отношению к солдатам усиливается, офицеры получают еще больше привилегий, чем имели раньше. Вводятся полевые суды. Достаточно тому или иному офицеру или солдату заявить протест против дисциплины, против неограниченного распоряжения начальника, как сейчас же попадешь под полевой суд.

— А это не ваша фантазия, Ищутин? Я виделся с Трофимовым, он мне ничего не сказал.

— Он ничего не скажет, разве вы не знаете, что у него большое поместье в Калужской губернии?

— Большое поместье? А у Музеуса есть что-нибудь?

— Кажется, у него ничего нет. Зато Музеуса не особенно долюбливают в штабах. Считают, что он солдатский генерал.

— А как он к этим приказам относится?

— Не знаю, слышал его реплику, что глупые приказы издают.

Вечером пошел к Трофимову. В канцелярии штаба дивизии его не было. Пришлось зайти на квартиру. Он оказался дома, но не один. У него была сестра милосердия Елена Васильевна, высокая, крупная женщина.

— Николай Сергеевич,— сказала она,— немного болен, возможно, что у него температура. Если можно, то я просила бы его не беспокоить.

— Когда же он заболел? Я с ним два часа тому назад виделся, и он был здоров.

— Тогда был здоров, но вернулся из штаба с повышенной температурой. Если у вас есть что-либо сказать, вы можете передать через меня.

Я в упор посмотрел на Елену Васильевну.

Она смутилась и начала перебирать пальчиками свой фартук.

— Скажите, Елена Васильевна, что это вы так заботитесь, чтобы Николая Сергеевича никто не видал?

— Вы не знаете, почему?

— Поэтому и спрашиваю.

— Я же его жена.

На наш разговор из соседней комнаты вышел сам Трофимов.

— А, Оленин! Ничего,— обратился он к Елене Васильевне,— это свой человек, пусть войдет, Леночка.

— А я не знал, что вы женаты, Николай Сергеевич.

— Только вчера женился, но еще не успел провести свадебной ночи. Леночка охраняет меня, чтобы никто не помешал провести эту ночь сегодня.

— Тогда разрешите зайти к вам завтра.

— Нет, нет, говорите, в чем дело.

— Я решил ехать в Питер, Николай Сергеевич. Так много накопилось вопросов всяких, что надо обязательно самому поехать, чтобы их выяснить.

— А вы разве не знаете, что без разрешения командующего армией нельзя?

— Затем я и пришел к вам, чтобы вы сделали запрос в штаб армии.

— Хорошо, я пошлю сегодня телеграмму.

— Вы сами-то не будете препятствовать моей поездке?

— Нет, что вы! Поезжайте. Ведь мы с вами почти земляки. Вы из 11-го полка, я из 10-го. Правда, ваш в Туле был, 10-й же в Калуге. Знаете что, Оленин, у меня есть бутылка вина, может быть, останетесь на полчасика?

— А я вам не помешаю?

Елена Васильевна сердито смотрела на меня, стараясь показать, что если я уйду, то будет гораздо лучше.

— Напрасно, мне скучно будет.

— Скучно?— сердито спросила Елена Васильевна.— Это со мной скучно?

— Вот видите,— развел руками Николай Сергеевич.— Не уходите, а то она изобьет меня.

— Это в первую брачную ночь-то?— рассмеялся я.

— Ну, положим это не совсем первая. Первая-то была года полтора тому назад. Сегодня официально первая.

— Ну, желаю вам официального счастья на сегодняшнюю официальную ночь.

Под вечер в мою хату вбежал член комитета Панков.

— Откуда ты?— обрадовался я Панкову, незаметно для себя переходя на «ты».

— Ох, Дмитрий Прокофьевич, не спрашивайте! Измучился, напужался, такие страхи...

— Голоден небось, покормить тебя?

— Голоден, только сразу есть-то что-то не хочется.

Я попросил денщика Вишневого приготовить чай.

Панков привел себя в порядок и, уже сидя за чайным столом, начал рассказывать свои похождения во время отступления:

— Когда мы с вами расстались под Зборовом, я примкнул к артиллерийскому парку 3-й дивизии. Ребята оказались хорошие, разрешили положить книги на снарядные ящики. Целую ночь перли. Не доходя Тарнополя, остановились. Там переночевали, потому что лошади не могли дальше двигаться. Артиллеристы возмущались этим отступлением. Говорили, что тут не без предательства, что вовсе нас не немец гонит, а собственные офицеры. На другой день вошли в Тарнополь. Наш парк остановился на площади против комендантского управления. Распоряжения о дальнейшем отступлении парка не было. Простояли несколько дней. За это время через Тарнополь прошло много частей. Все отступали, торопились, боялись быть захвачен-

ными. Грешным делом, я поджидал вас, надеясь, что вы пройдете с какой-нибудь частью, и у каждой проходящей части спрашивал. Однако 11-го полка так и не дождался. Боясь, что вы застряли на фронте, я не торопился двигаться дальше. В это самое время весь Тарнопольский гарнизон стал тоже удирать. Удирали обозы, химические команды, автомобильные части. Удирали наспех, бросая имущество. Солдаты и несколько офицеров громили магазины. Никакие стены не помогали, не то что деревянные, железные решетки — и те разбирались. Тащили все, что можно, а потом стали громить винный погреб. Растащили винокуренные склады, мануфактуру, обувь, канцелярские принадлежности, бумагу. Солдаты озверели. Бросились по квартирам, расхватывали ковры, перины, подушки. Пух летел по Тарнополю. Кричали: «Бей жидов!» И если бы не страх перед наступающим немцем, учинили бы жестокий погром. Зато когда обозная и тыловая публика, населявшая Тарнополь, вышла и прошли последние пехотные части, не было ни одной улицы, ни одного дома, из которого не бросали бы камней. Выливали на людей помой и вонючую грязь. Выбрасывали ночные горшки, стреляли. Многие из офицеров бросались с шашками наголо в квартиры, но, конечно, квартиры были заперты, и атакующие возвращались обратно и приказывали солдатам грабить и жечь. Солдаты бросались в квартиры, ломали, тащили... а потом, вытащив ценные вещи, поджигали дома. Такого озверения я никогда не видывал.

— А из окон здоровая была стрельба?

— Ну, что там! Выстрелы из револьверов, это пустое, а вот как на головы нечистоты выливали, это — красота. Я видел у комендантского управления, как на одного автомобильного офицера несколько горшков сразу вылили...

Панков не знал, с кем я имел честь познакомиться у Вишневого.

ГЛАВА XI

АТАКИ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ

Июль-август

Получив разрешение на поездку в Петроград, восемнадцатого июля я выехал на станцию.

Подъехав к Волочиску в семь часов утра, в ожидании поезда пошел побродить вокруг станции.

Прекрасный солнечный день располагал к прогулке. Вдали слышались звуки пропеллера и мотора. Посмотрев вверх, я увидел четыре австрийских аэроплана. При приближении к станции аэропланы стали снижаться.

Станция была пуста, если не считать состава этапного поезда. Тем не менее один из австрийских самолетов, покружившись над станцией, сбросил бомбу. Бомба разорвалась шагах в пятидесяти от вокзала. Я стал около стены вокзала, считая тем самым себя прикрытым от поражения.

Аэропланы сбросили еще несколько бомб и, не встречая никакого сопротивления, спустились еще ниже. Между землей и лодочками самолетов было расстояние не более двухсот шагов. Летчики покружились, очевидно, прицеливаясь, и сбросили опять бомбу. Бомба упала в самое здание вокзала. Произошел сильный взрыв. Крыша разлетелась в стороны. С верхнего карниза посыпались кирпичи. Один из них сильно ударил меня по плечу и содрал кожу с указательного пальца левой руки.

«Убьют, пожалуй», — пронеслось в голове.

Бежать было некуда, и я еще тесней прижался к стене вокзального здания.

Послышалось еще несколько взрывов, причем один из последних шагах в десяти от меня. Я был весь засыпан осколками бомбы и комками земли. Удары землей были настолько сильны, что я свалился на землю.

«Убит!» — мелькнула мысль.

Глаза следили за движением аэропланов. Но летчики поднялись ввысь и направились в сторону Подволочиска.

Встал. Отряхнул с себя землю. Начал ощупывать себя, цел ли. Кроме содранной кожи с пальца, я насчитал несколько шишек на голове и заметил тоненькую струйку крови, тянущуюся по лицу. Достав носовой платок и вытерев лицо, хотел установить, куда же я ранен. На платке остались следы грязи и немного крови. Сколько ни искал, на физиономии крови не было. Выше лба нащупал ранку, сделанную осколком бомбы.

Вспомнил рассказы Блюма о столбняке, которому подвергались раненые при попадании в рану земли. Сейчас же побежал в соседний железнодорожный домик, оказавшийся квартирой дежурного по станции, и попросил позволения промыть рану.

Старушка, мать дежурного по станции, дала мне горячей воды, которой я и привел себя в порядок.

Рана на голове оказалась не сильной.

«Везет,— думал я.— Получил две раны в один день, вернее в один час. Будь я на позиции и обладай таким нахальством, как Савицкий, получил бы и крест, и чин, и, еще, глядишь, месяца на два эвакуацию в тыл. А если бы остался, несмотря на ранение, в строю, то всяким почестям и наградам числа не было бы».

В Питере пробыл недолго. Отношение к делегатам, прибывающим с Юго-Западного фронта, неважное. При первом же моем появлении в Совете крестьянских депутатов дежурный член солдатской секции, узнав, что я из-под Тарнополя, неодобрительно осмотрел меня с ног до головы.

— Делегируетесь?— задал иронический вопрос.— Вместо того чтобы немцев бить, митингуете и по столицам ездите?

— Надо и в столицах побывать,— ответил я.— Скажите, с кем мне здесь поговорить, чтобы получить ряд советов?

— С председателем солдатской секции Оцупом и его заместителем Гвоздевым.

— Где их найти?

В своих кабинетах.

— Кабинеты-то где?

— Здесь же, в этом здании. Только сейчас еще рано, никого нет.

Прошел по зданию Крестьянского совета, который разместился в великолепном доме на Фонтанке, где раньше был лицей, подготовлявший дипломатов. В классных комнатах кабинеты руководителей Крестьянского совета; большие залы приспособлены под аудитории, в которых партия соц.-революционеров организовала ряд лекций для своих сторонников рабочих. Небольшие комнаты администрации лицея пошли под кабинеты для начальников различных отделов и секций Крестьянского совета. В нижнем этаже столовая для членов комитета и для приезжающих делегатов. Столовая оживлена постоянно. Можно застать в ней членов президиума исполнительного комитета, среди которых несколько министров Временного правительства, как, например, Чернов, Маслов и др.

Каждому зарегистрированному делегату выдается полтора фунта хлеба и по удешевленной цене обед. Больше всего, понятно, привлекает хлеб, ибо в городе даже при счастливом стечении обстоятельств можно получить по карточкам не более полуфунта.

В столовой, сидя за чаем и прислушиваясь к ведущимся кругом разговорам, удалось уловить несколько фраз, произнесенных членом президиума исполкома крестьянских депутатов Бунаковым. Бунаков — член Центрального комитета партии соц.-революционеров.

— Большевики по немецкой указке разлагают армию, — говорил Бунаков. — Совершенно очевидна связь большевиков с немецким Генеральным штабом. Ведь вы посмотрите, какое совпадение: 5 июля большевики организуют демонстрацию в Петрограде, и в тот же день на фронте немцы переходят в широкое наступление. Расчет был верный — создать осложнение в тылу через большевиков, а на фронте тем временем действовать. Однако им не удастся. Новый Верховный главнокомандующий Корнилов скрутит армию; он не позволит митинговать, как было до сих пор.

Из столовой прошел наверх в солдатскую секцию, чтобы повидать Оцупа и Гвоздева. Застал Оцупа. Высокий, длинный белокурый человек, медленно произносящий слова,

точно ему стоило больших усилий изрекать свои ответы на вопросы, которые предъявляются ему представителями мест.

— Вы с фронта?— медленно цедя сквозь зубы, смотря на меня мутными глазами, спросил Оцуп.

— Из самого пекла,— ответил я.— Из полка, который пережил тарнопольское отступление.

— Знают на фронте, что большевики в Питере сотворили?

— Я с этим познакомился уже в дороге по газетам. На фронте ничего не было известно. Меня интересует ряд вопросов,— обратился я к Оцупу.— Я командирован с фронта затем, чтобы выяснить, как смотрит Крестьянский совет на положение дел на фронте. Следует ли поддерживать наступление или вести пассивную оборону? Это первое, и второе,— какие меры применяются для улучшения бытовых условий солдат, в частности, для улучшения пайка, выдаваемого солдаткам в тылу, и как разрешается вопрос с демобилизацией старших возрастов. Ведь на фронте имеются солдаты свыше сорока лет.

— Солдатская секция,— ответил Оцуп,— разрабатывает сейчас положение о демобилизации старших возрастов; мы привлекли к этой работе командующего Московским округом, члена нашей партии Верховского, и целый ряд крупных военных деятелей. Не позднее как через полтора, два месяца должен быть подготовлен проект закона о демобилизации старших возрастов. Над вопросами увеличения пенсии и пособий как солдаткам, так и сиротам мы также работаем. Имеется в виду установить прибавку на дороговизну. А по вашему первому вопросу, являющемуся кардинальным, стоит ли вести пассивную оборону или выполнять приказы военного начальства о наступлении,— на это достаточно уже ответило Временное правительство, назначив генерала Корнилова Верховным главнокомандующим.

— Какой же отсюда вывод?— переспросил я.

— Вывод тот, что коль скоро Временное правительство доверяет пост Верховного главнокомандующего генералу Корнилову, который является честным военным и пре-

данным новой революционной власти человеком, то армия обязана выполнять его приказы. Если он прикажет наступать — значит наступать.

— А как реагирует солдатская секция,— задал я еще вопрос,— на введение смертной казни на фронте и на ликвидацию прав армейских общественных организаций на созыв своих собраний?

— По этому поводу,— ответил Оцуп,— правительством принят соответствующий закон в полном согласовании с мнением большинства революционной демократии, т. е. Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Советы считают, что темная масса в период тягчайших военных напряжений не может иметь у себя свободных мнений; всевозможные темные силы будут стараться использовать солдатскую массу в своих низменных интересах. Одними словами и митингами с солдатской массой ничего не сделаешь. Необходимо физическое воздействие. Таким физическим воздействием и является введение на фронте смертной казни.

— Не похвалит вас за это солдат!

— Всегда революционное меньшинство руководит пассивной массой большинства. Мы не можем идти на поводу солдатских инстинктов.

— Слова-то красивые, тов. Оцуп, но нам на фронте они не нравятся. Как насчет разрешения собраний?

— Если начальник объявляет солдатам, что надо идти в наступление, а солдатские организации в это время будут созывать свои собрания, то, согласитесь сами, что из этого получится? Собрания могут происходить лишь вне боевой обстановки, а это видно только военному начальнику. Если же командование будет злоупотреблять запретом собраний, то полковым и дивизионным комитетам предоставляется право апеллировать к комиссару армии.

— Комиссар далеко, от полка до армии сотни километров, пока снесешься — всякий интерес пропадает.

— Такова воля правительства. А вы за поддержку Временного правительства?— спросил он меня, смотря в упор своими белесыми глазами.

— Я член Крестьянского совета и представитель крестьянских организаций, а последние, как известно, поддерживают Крестьянский совет, следовательно, и Временное правительство.

— Я вам рекомендую,— сказал Оцуп,— прочесть письмо Леонида Андреева, адресованное солдатам. Этот большой писатель-демократ до мозга костей возмущен поражением под Тарнополем, почему обратился с прекраснейшим письмом к солдатам, в котором честными демократическими словами осуждает их поступок.

— Познакомлюсь.

От Оцупа прошел к Гвоздеву. Гвоздев — небольшого роста, шатен с симпатичными карими глазами, с нервным передергиванием лица. Поздоровавшись со мной, пригласил сесть.

— Из-под Тарнополя? Плохо там у вас?

— Было плохо. Теперь как будто бы восстанавливается.

— Фронт предали.

— Ну, кто фронт предавал. Просто стечение обстоятельств. Разве нашим войскам впервые отступать, особенно когда немцы сосредоточивают свой удар на каком-либо одном участке?

— Что и говорить. А все-таки тут большая доля вины на большевиках, они разлагают фронт.

— А где же вы-то находитесь? Если большевики работают на фронте, то вам тоже следовало бы бросить Петроград и ехать на фронт.

— Здесь в Питере они настолько гарнизон обработали, что нам теперь почти показаться нельзя.

— Тем более это говорит за то, что вам нужно быть на фронте.

— Знаете, тов. Оленин, я вижу, что здесь мы толчем воду в ступе; говорим, митингуем, принимаем резолюции, а большевики действуют и правильно делают. Вот у нас в Крестьянском совете солдатская секция работу ведет. Какую работу? Таковую, которая никому не нужна. Создали комиссию по обсуждению вопроса о демобилизации старших возрастов,— и вопрос разрешится, когда война

окончится. Над земельным вопросом тоже работают; я выдвинул мысль, чтобы земля была немедленно передана в ведение земельных комитетов. Нет, видите ли, нельзя передать. Чернов, старый соц.-революционер, лидер ЦК партии, признанный вождь, и тот приходит и жалуется, что у него в аппарате сплошной саботаж, что обсуждение аграрных реформ производится в Совете министров через час по чайной ложке. Решительности нет. Интеллигентщина сплошная.

— Что же вы не кричите?

— Перед кем будешь кричать? Того не тронь, этого не обижай, а ведь масса не ждет. С Учредительным собранием тоже волокита; решено было собрать на август месяц, теперь отложили на конец сентября. Во Временном правительстве кадетов сидит больше, чем надо, свою линию гнут, народники свою, соц.-революционеры свою. А история с введением смертной казни? Ведь это дело рук «революционной» демократии, которая всегда ратовала за ликвидацию смертной казни. Вы были у Оцупа?

— Был. Но он настроен не так, как вы.

— Это чиновник, который хочет себе министерский портфель заработать. Он, может быть, рекомендовал вам письмо Л. Андреева читать?

— Рекомендовал.

— Знаю. Он каждому солдатскому делегату рекомендует. Андреев бывший социал-демократ, зарабатывающий десятки тысяч рублей в год своими произведениями, написал сквернейший пасквиль на русского солдата. Им-то и восхищаются наши верхи.

— Вы что же, к левым соц.-революционерам принадлежите, что ли, тов. Гвоздев?

— Ни к кому я не принадлежу. И там тоже сплошное политиканство. Больше говорят, чем делают; фраз больше, чем надо... Пойдемте ко мне чай пить,— неожиданно закончил свой разговор Гвоздев.

— Идем.

За чаем Гвоздев порассказал о настроении и о работе Крестьянского совета: председатель в нем Авксентьев, ему дан пост министра внутренних дел. Здесь он демократию

разводит, а в министерстве проявляет жестокость администратора: он издал циркуляры о недопущении никаких беспорядков в помещичьих экономиях, приказал оставить в неприкосновенности помещичьи посевы, обещал помещикам содействие при уборке урожая.

— А как ведет себя бабушка Брешко-Брешковская?

— Древняя, выжившая из ума старуха, нянчится с ней вся наша братия только потому, что она просидела несколько лет в тюрьме и в ссылке. Керенский в Зимний дворец перебрался и бабушку около себя поселил. Плохо дело. Я клянусь тот день, когда меня избрали представителем от 8-й армии в состав Крестьянского совета. Лучше было бы на фронте со своим ветеринарным лазаретом ездить.

Уже пять дней я в Питере. Был в Смольном, где жизнь кипит более энергично, чем в Крестьянском совете. Масса представителей с фронта — солдат, много рабочих, снующих по различным комнатам, получающих литературу, указания, советы. Видно оживление. Много говорят по поводу июльского выступления; большевиков ругают, но в то же время говорят, что сейчас Петроградский совет имеет более революционный вид, чем было раньше. Целый ряд большевиков засел в президиуме Петроградского совета, и там почти обеспечено большинство за большевиками.

В Таврическом дворце попал случайно на заседание Исполкома Совета рабочих депутатов. Делал доклад Громан о положении в стране с продовольствием. В большом зале, где раньше заседала Государственная дума, три четверти мест пустуют.

Больше оживления в кулуарах, где люди обсуждают положение на фронте, введение смертной казни и проч.

— Что же поделаешь,— говорил один из членов Совета, одетый в форму военного врача,— мы должны продолжать войну в единении с союзниками. Союзники требуют, чтобы фронт был дисциплинирован, а дисциплину без крупных репрессий не восстановишь. Вся ставка на смертную казнь.

Потолкавшись по общественным организациям Петрограда, я собрался ехать обратно на фронт, ничего не по-

лучив путного из этой поездки. Перед отъездом зашел на Путиловский завод повидать брата, работающего на этом заводе уже тридцать лет. Оказалось, что он меньшевик. Бывшие у него на квартире несколько рабочих вели ожесточенный спор.

— Большевики правы,— говорили рабочие,— а меньшевики и эсеры ведут нас по указке союзников; надо гнать их в три шеи.

— Большевики — немецкие шпионы,— говорил Николай Никанорович,— было официальное извещение. Я слышал доклад следователя по важнейшим делам в Совете рабочих депутатов: все нити в руках.

— Врут они, все эти ваши следователи по важнейшим делам. Что это за следователи? Откуда они взялись? Раньше были прихвостнями у царя, а теперь тов. Ленина за контрреволюционера принимают.

— Надо скорей Учредительное собрание, оно решит отношение к войне.

— Учредительное собрание, очевидно, провозгласит демократическую республику в нашей стране, подобно тому как во Франции и Америке,— сказал я.

— Нет, извините, господин офицер, нам такой республики не надо. Нам нужен контроль над производством, нам нужно национализировать предприятия, а не делать хозяевами предприятий теперешних владельцев. Власть мы должны установить свою, а всех этих Милюковых, Гучковых гнать в три шеи,— говорил Николай Никанорович.

— У нас нет опыта управлять государством.

— Ничего, справимся. Подумаешь! Что ж, они родились, что ли, министрами? Только потому, что у них мощна толста, поэтому и в правительство попали. К черту гнать оттуда!

После шестидневного пребывания в Питере двинулся к себе на позиции. Поезд довез до станции Проскурово, где я узнал, что 11-й полк расположен на отдыхе около Волочиска. Поезд довез до этой станции. На станции узнал, что до 11-го полка надо идти пешком километров семь

вправо к деревне Савино. Ларкин забронировал для меня хату. Музеус за последние три недели, что я его не встречал, показался мне еще более постаревшим, осунувшимся; ходит с большим костылем; раненая нога болит.

— Садитесь,— встретил он меня ласковым голосом.— Когда приехали?

— Только сегодня, господин генерал.

— Что хорошего в Питере?

— Ждут от фронта больших чудес. Много говорят о необходимости решительного наступления, решительной обороны и очень мало делают.

— Нужно было бы всех говорунов сюда, на фронт. Я никогда не был сторонником больших репрессий по отношению к солдатам; даже в тяжелых случаях я никогда ни одного солдата не предал полемому суду,— а теперь за всякий проступок требуют отдавать солдата под полевой суд, т.е. гнать на смертную казнь. Противно мне это. Счастливы те, которые были в первые дни революции отчислены в резерв. Я получил циркуляр, обязывающий оказывать содействие помещикам в уборке посевов. Мало того: я не имею права отказать помещикам в откомандировании солдат из резерва на уборку полей; а ведь солдаты те же крестьяне,— как они будут убирать хлеб помещика и возить его на гумно самого же помещика?

— А как вы относитесь к Керенскому, господин генерал?

— К Керенскому?— задумчиво протянул Музеус.— Знаете, Оленин, мне кажется, что наша страна катится к гибели именно потому, что имеет Керенского. Наступление 18 июня — кому и зачем оно было нужно? Я человек пожилой. Много видел на своем веку. Видел дурных генералов, бездарных правителей, но того, что представляет собой Керенский, мне приходится видеть впервые. Болтун, который ничего своего не имеет, кроме разве огромного честолюбия, готовый, очевидно, возомнить себя Бонапартом. Если бы не наступление 18 июня, мы не имели бы Тарнопольского прорыва, мы не имели бы того развала на фронте, который наблюдаем сейчас. Раз издан приказ № 1, то благоразумное правительство должно было бы оставить фронт на тех

местах, на которых он закрепился, и вести дело к тому, чтобы постепенно выйти из войны. Вы посмотрите, после тарнопольского отступления главнокомандующим назначают Корнилова. Я знаю этого генерала. Уважаю его, как знатока военного дела, и его военные способности. Но не в военных способностях теперь дело, не они нужны. Не думаю, чтобы Корнилов давал нам такие директивы, как помогать помещикам в уборке их урожая. Вы знаете,— я теперь лишен права командировать какого-либо офицера в тыл без согласия штаба армии: везде, всюду мерещатся большевики. Я сам не могу хладнокровно смотреть на те безобразия, которые творятся; делают глупости и заставляют к этим глупостям прикладывать руку и меня.

— А кто вам мешает заявить об этом открыто?

— Мой сорокалетний служебный стаж. Привычка беспрекословно исполнять приказы. Только с вами нечаянно разговорился. Вам что надо, собрание устроить?

— За этим и пришел.

— Собирайте, и вообще, когда вам надо — собирайте, не спрашивая разрешения.

Собрал делегатов каждой роты, подробно рассказал о посещении Петрограда.

Доклад вышел безотрадный. Солдаты долго, задумавшись, молчали, прежде чем приступить к прениям.

— Надо домой идти,— неожиданно произнес присутствующий на докладе мой Ларкин.

На Ларкина цыкнули несколько унтер-офицеров.

— Домой,— завопил Ларкин.— Землю брать, все равно воевать больше не будем.

— За дезертирство тоже смертная казнь,— ответил кто-то Ларкину.

— Всех не переказнят. Что у нас, винтовок нету? Взять винтовки и разойтись.

Слово попросил член комитета Панков:

— Что же это, товарищи? Зачем мы всякие организации на фронте имеем? В деревне земля, как была у помещиков, так и осталась, на фронте солдатам смертная казнь, а генералам всяческие почести и уважение, капиталисты по-прежнему своими фабриками и заводами управляют.

Где же это самое социал-революционное-то правительство наше? Я так думаю, что нам надо в Питер написать, и не в Крестьянский совет, а прямехонько в Смольный, в Совет рабочих депутатов. Сколько из полков людей постреляли! Взять хотя бы наш двенадцатый... Человек тридцать!.. А из тюрьмы куда? Может, на виселицу?

— Подожди, Панков,— прервал я его.— Что положение скверное, верно, но не настолько, чтобы впадать в панику. Нам надо связаться с армейским комитетом и комиссаром. Выяснить, как они смотрят на происходящие события.

— Тогда давайте так и решим,— предложил собранию Панков.— Пусть Оленин едет в штаб армии, а по возвращении вернемся к обсуждению этого вопроса.

Его предложение было принято единодушно.

На другой день я уже был в штабе армии.

Комиссар армии Чекотилло в отъезде. Его помощник Цветков должен скоро прийти.

В ожидании Цветкова сижу в комнате его секретаря, присяжного поверенного Смирнова.

— Я каждый день регулярно веду запись своих впечатлений, зарисовываю в своей тетрадке типы приходящих на свидание к комиссару солдатских представителей.

«Значит, и меня зарисует»,— подумал я.

— И что же, интересно?

— Чрезвычайно интересно. Можно публику разделить на две основные категории: первые — это сочувствующие революции, преимущественно солдаты; редко попадет офицер военного времени. Люди этой категории приходят к комиссару с возмущением на существующие порядки, в частности на жестокий режим генерала Корнилова, и комиссар должен всячески успокаивать, уменьшая возможные эксцессы со стороны солдатской массы. Другая категория — офицеры, жалующиеся на солдатские организации. С этими людьми приходится комиссару говорить уже по-иному. Эти господа выходят от комиссара несколько облегченные в своих настроениях, но, конечно, не удовлетворенные.

— Трудна роль комиссара, он не хозяин армии, а что-то среднее между молотом и наковальней. Командующему

армией, например, надо провести какое-нибудь мероприятие, которое явно направлено во вред интересам основной солдатской массы, генерал чувствует, что тут нужно содействие комиссара,— и комиссар должен, не вникая собственно в суть мероприятия, так его представить солдатам, чтобы оно показалось и полезным, и нужным. Отменить распоряжение командующего армией комиссар не может, издать самостоятельное распоряжение по армии тоже не может, в общем совершенно никчемный человек. Для меня непонятно, зачем, кому и для чего он потребовался.

Вскоре пришел Цветков. За чаем он жаловался на бесправие комиссара и бестактности, допускаемые генералитетом.

Я поставил перед ним свои вопросы.

— Насчет смертной казни,— сказал Цветков,— я ничего не скажу,— возмущение этим распоряжением идет со всех сторон, но оно продиктовано, я думаю, вы понимаете, желанием правительства сохранить боеспособную армию, особенно после несчастного тарнопольского бегства. Нужно солдату противопоставить дилемму: или он при наступлении имеет известный шанс остаться в живых, или при бегстве с позиций безусловно будет расстрелян. При такой дилемме солдат, естественно, будет выполнять распоряжения начальства о наступлении. Если же не смертная казнь, то с какой стати солдат пойдет в наступление, где он имеет какой-то шанс на гибель? Солдат дрожит только за свою шкуру. Так что и с моей точки зрения,— в заключение сказал Цветков,— смертная казнь на фронте — явление совершенно естественное, и напрасно вы так возмущаетесь. Что же касается крестьянской секции, то я охотно пошел бы вам навстречу, если бы на этот счет не имелось распоряжения Военного министерства,— ведь мы сейчас на фронте, по новому положению, не можем создавать каких-либо общественных организаций, за исключением уже созданных комитетов, всякие новые организации требуют санкций свыше. Я полагаю, что нужно ждать указаний из Питера.

В столовой армейского комитета неожиданно встретил земляка Бушуева, с которым был знаком еще до призыва на

военную службу. Бушуев — сын зажиточного крестьянина со станции Епифань; в детстве был отдан мальчиком на выучку в Петербург в одну из типографий, где и работал до самой войны, а уже во время войны был призван по мобилизации. Теперь Бушуев меньшевик. В армейском комитете занимает должность редактора «Известий комитета».

— Без репрессий нельзя, — говорил Бушуев, — уж больно распушенность у нас велика и некультурности много. Армейский комитет принял решение поддержать мероприятия, направленные на усиление дисциплины.

— Но ведь идиотски же проводятся эти мероприятия.

— Для того чтобы мероприятия так проводились, как полагается, учрежден комиссар; ни один смертный приговор не может быть приведен в исполнение без санкции комиссара.

— Ну и что же, комиссар приостанавливает приговоры?

— Он обычно советуется со своей фракцией при армейском комитете, и всякие утверждения, если бывают такие, выполняются на основании соглашения с фракцией. Так что в данном случае утверждение смертной казни не зависит от единоличного усмотрения комиссара армии или его заместителя.

— Но ведь самый факт смертной казни, — возмущенно говорил я, — больно мерзок; революция, свободная Россия, солдаты получили права гражданства, и вдруг стоило совершиться одному тарнопольскому отступлению, как сейчас же поднялся дикий вопль буржуазии и на голову солдат сваливается смертная казнь; ведь вы так вновь отберете все права, данные в марте месяце.

— Что было дано, то сохраним. А ты зачем приехал? — в свою очередь спросил он меня.

— По организации крестьянской секции; я работаю в крестьянском совете 3-й дивизии. Цветков говорит, что без приказа Военного министерства это дело организовать нельзя.

— Ты поставил бы этот вопрос у нас в армейском комитете.

— Мне разъяснили, что надо только с комиссаром согласовать.

— Как хочешь. Правда, сейчас армейский комитет не мог бы собраться, все члены находятся в разъездах по частям, у нас собственно осталась одна лишь редакционная коллегия на месте.

По возвращении в полк вновь созвал представителей моего крестьянского совета, на котором доложил о результатах поездки.

— Будет лучше,— предложил я,— если каждый полк будет иметь свою самостоятельную ячейку, а дивизионный комитет будет состоять, таким образом, из представителей полковых комитетов, что уменьшит громоздкость наших собраний и приблизит нашу работу непосредственно к солдатам.

Предложение принято. Намечены организаторы крестьянских советов в полках, выработана здесь же на собрании инструкция с обязательством в недельный срок провести выборы комитета и протокол прислать ко мне.

После официального закрытия собрания начались частные разговоры между моими представителями.

— Нажимают на нас, товарищ Оленин,— говорили они,— сейчас издан приказ, обязывающий отдавать честь офицерам.

— Как отдавать честь? Ведь это же запрещено приказом по военному ведомству.

По военному ведомству запрещают, а по дивизии приказывают. Вот посмотрите, у меня с собой выписка из приказа.

Приказ гласил:

В целях установления правильных взаимоотношений на службе между солдатами и офицерами приказывается: при встрече солдата с офицером первый должен приветствовать офицера путем приложения руки к головному убору; офицер, в свою очередь, должен одновременно приветствовать солдата.

Открыто насчет отдания чести не сказано, но содержание приказа, даже его форма говорят о том, что солдат обязывается отдавать честь.

— На комитеты нажим пошел,— говорили другие,— отправлены в строй все члены комитета частей, находящихся при штабе дивизии.

Один из солдат пожаловался в комитет на нетактичные действия начальника штаба, генерала Сундушникова. Сундушников назвал солдата на «ты», ругал его площадной бранью, и вот солдат пожаловался в комитет, прося рассмотреть вопрос об оскорблении генералом солдата. Комитет заслушал объяснения солдата и постановил довести до сведения начальника дивизии генерала Музеуса о незаконных действиях со стороны начальника штаба; ответом на такое постановление комитета был приказ по штабу дивизии за подписью того же Сундушникова о направлении Широкова, Свиридова и Корнеева, членов комитета, в строй, в 9-й полк якобы «для пользы службы», а на самом деле это просто разгон комитета.

В 10-м полку,— рассказывал один солдат,— командир полка Синельников откровенно стал на защиту помещиков. Во время уборки хлеба он попытался послать целый батальон солдат в помощь помещику на полевые работы; понятное дело, батальон работать отказался. Местное население хотело свезти хлеб на свои гумна, но Синельников приказал выставить караул и не давать производить уборку хлеба крестьянам. Под прикрытием солдат помещик быстро собрал хлеб, обмолотил и запродавал интенданту. Крестьяне возмущены, говорят, что революционная армия защищает помещика.

— Волынский губ. комиссар,— рассказывал другой,— обращается к командирам полков с просьбой защитить, в районе расположения полков, помещиков от анархических действий со стороны крестьян, прикрываясь тем, что землю нельзя брать до обсуждения вопроса о разделе земли Учредительным собранием; когда будет Учредительное собрание? Все маринуют, обещали собрать чуть ли не весной, а теперь, говорят, на сентябрь отложили. Невыгодно, очевидно, им собирать.

— Верно, невыгодно.

Появилось на фронте много женщин, поступающих в полки добровольно. В районе штаба корпуса разместилась

специальная женская часть, женский батальон, «ударники», как они себя называют, под командой тоже женщины, произведенной даже в прапорщики. В батальоне до тысячи бойцов-женщин, причем командные должности заняты ими, ни одного мужчины в этом батальоне нет.

— Их бы по ротам распределить для солдатского удовольствия, — сумрачно предложил Ларкин, — всякие шлюхи набрались в армию, хлеб только на них изводить. Подумаешь, вояки какие!

В Бердичеве создаются новые ударные части, формируемые исключительно из добровольцев, по преимуществу из прапорщиков. Части эти носят название «батальонов смерти»; у них на руках повязки с нарисованным черепом.

Панков говорит, что командный состав собирает для себя силы в противовес нам.

Газеты полны сообщениями о происходящем в Москве совещании представителей государственных, военных и общественных организаций. На этом совещании с большими речами выступали министр-председатель Керенский, затем Верховный главнокомандующий Корнилов и ряд других. Между буржуазными партиями и меньшевиками состоялось как бы примирение; Церетели, лидер партии меньшевиков, расцеловался с представителем буржуазии Рябушинским. Говорят о необходимости крепко держать фронт, о полном единении с союзниками, о твердой власти, о поддержке командного состава, о доверии верховному командованию в лице Корнилова и т. д. и т. п.

Рябушинский, Коновалов и другие выступают с речами, говоря, что надо положить на алтарь отечества все силы и средства. Но не видно, чтобы жертвовала буржуазия, пока что льется лишь солдатская кровь, а буржуазия снимает барыши с подрядов.

Противно читать все это, особенно нападки по адресу солдатских комитетов.

Ко мне зашли с просьбой дать книг по политическим вопросам два офицера, один нашего 11-го полка — Трехсвятский, и другой из 12-го полка — Медведев. Я предложил к их услугам библиотеку, говоря: «Выбирайте все, что вам нравится».

Разговорились о происходящем московском совещании и о тех нападках, которые сейчас сыплются на действующую армию, якобы вышедшую из повиновения начальству.

— Знаете, что,— конфиденциально заговорил Медведев,— я размышлял над тарнопольским отступлением и пришел к выводу, что это отступление произведено не по вине солдат, не потому, что солдатские комитеты мешали командному составу. Тарнопольский прорыв лежит исключительно на совести высшего командного состава. Командный состав нарочно производит провокационные выходы, чтобы вызвать большое возмущение со стороны солдат, которым можно было бы потом козырять перед начальством, перед правительством, перед центральным Советом и тем самым вырвать постепенно одну уступку за другой и, в конце концов, прибрать все дело к своим рукам.

23 августа прочли в газетах о взятии немцами Риги и паническом отступлении 12-й армии. Ну, теперь пойдет еще больший шум!

Носятся слухи, что с фронта по распоряжению генерала Корнилова лучшие боеспособные дивизии направляются к Петрограду, где сосредоточиваются крупные резервы на случай, если бы немцы стали подходить к Питеру. Просачиваются слухи, что создание резерва под Петроградом производится не столько для того, чтобы защищать город от немцев, сколько для того, чтобы заставить Временное правительство отправить на фронт революционный Петроградский гарнизон. Питерский Совет вынес постановление, что войска Петроградского гарнизона не могут быть выведены из революционной столицы. На этой почве ходит много разговоров, будто бы питерский гарнизон из шкурнических интересов не хочет выезжать на фронт, что приятнее сидеть в столице, болтаться по митингам, чем быть в окопах.

Где тут истина?

29 августа ранним утром я был разбужен прибежавшим ко мне членом дивизионного комитета писарем Орловым.

— Что такое стряслось? Или отступление?

— Хуже. Получено извещение о предательстве генерала Корнилова. Генерал Корнилов издал приказ о неподчинении распоряжениям Временного правительства, о ликвидации комитетов и что всю верховную власть он переносит в Ставку.

— Вот так на! А я только вечером вернулся из штаба армии и ничего не слышал.

— Я сегодня такой приказ получил: предлагается офицерам крепко взять в свои руки управление частями и всякое выступление солдат пресекать, не брезгая никакими средствами.

Я быстро оделся и вместе с Орловым пошел в хату председателя дивизионного комитета Спудре. Однако его уже не было, он ушел к генералу Музеусу. Поручив Орлову срочно собрать дивизионный комитет, я сам побежал на телефонную станцию, где попросил телефонистов немедленно передать телефонограмму в полки и полковые части о немедленном созыве членов крестьянского совета на дивизионное собрание.

Пришел Спудре.

— Вам известно о контрреволюции Корнилова? Как вы оцениваете положение?— обратился я к нему.

— Наше дело маленькое,— ответил Спудре,— раз Верховный главнокомандующий приказывает,— мы должны подчиняться.

— Как подчиняться? Он объявляет контрреволюцию, хочет свергнуть Временное правительство, отдает официальный приказ о неподчинении Временному правительству,— а вы говорите «наше дело маленькое»!

— Я прежде всего военный.

— А, по-моему, вы прежде всего мерзавец!

Стали подходить члены комитета. Спудре, стараясь быть спокойным, сообщил, что им получено распоряжение от генерала Музеуса: на основании приказа Верховного главнокомандующего немедленно должны быть распущены дивизионный и полковые комитеты.

— Я считаю,— закончил Спудре,— что мы должны немедленно себя распустить.

Выступил я:

— Я считаю, что распоряжение, полученное Спудре, незаконно; я считаю, что оно определенно контрреволюционно. Мы должны не только не распускать дивизионный комитет, но всячески его укрепить; взять под свое наблюдение весь штаб дивизии; должны забрать в свои руки всю корреспонденцию, идущую из Ставки и штаба армии, и, если потребуется, назначить нового начальника дивизии. Спудре же предлагаю немедленно арестовать как предателя, не оправдавшего доверия солдат и офицеров, избравших его на пост председателя дивизионного комитета.

На сторону Спудре стал лишь один военный чиновник Зеленский, остальные члены комитета, в том числе два прапорщика, приняли мою сторону с той лишь поправкой, что арестовывать Спудре немедленно нет никакого смысла, а нужно выждать развития событий. Предложение же об установлении контроля на телефонной станции и на телеграфе за всей корреспонденцией — принять. Поручили Орлову организовать получение всех телеграмм с телеграфа и направление их в комитет. Функции временного председателя комитета я самочинно присвоил себе.

В телеграммах, идущих из Ставки, говорилось, что Временное правительство, состоящее из политических интриганов, неспособно вывести страну из того хаоса, в котором она находится, и что только доведение войны до победного конца и созыв Учредительного собрания установят окончательный государственный строй и порядок.

Поступила телеграмма от комиссара армии:

Генерал Корнилов поднял мятеж, призывает офицерство армии не исполнять приказов Временного правительства. Временное правительство приняло меры к ликвидации мятежа. Вместо Корнилова Верховным главнокомандующим назначен министр-председатель и военный министр А.Ф. Керенский. Приказывается установить продолжительное наблюдение за поведением старшего командного состава и за полным выполнением всех тех распоряжений, которые следуют от Временного правительства и нового Верховного главнокомандующего Керенского.

Прибыли мои крестьянские депутаты. Приняли постановление — оказывать всемерную поддержку Временному

правительству, приветствовать назначение Верховным главнокомандующим министра-председателя Керенского, объявить беспощадную борьбу контрреволюции и требовать от Временного правительства сурового наказания мятежнику Корнилову. Решили немедленно организовать митинги во всех ротах для разъяснения происшедшего и для усиления бдительности за поведением командного состава.

Отправился к Музеусу, чтобы выяснить его отношение к происходящим событиям.

— Я прежде всего солдат, — заявляет мне Музеус, — если Верховный главнокомандующий приказывает отступать, я буду отступать, если прикажет идти в наступление, я пойду в наступление; ежели приказывают выполнять постановления только одной военной власти, — я буду только их выполнять. Мы не должны рассуждать над приказами, дающимися нам верховным командованием; был Верховным главнокомандующим генерал Корнилов, я исполнял его приказы; теперь назначен Керенский, — для меня святы приказы Керенского.

— Следовательно, вы поддерживать авантюру генерала Корнилова не будете?

— Я уже вам сказал, что я подчиняюсь приказам тех начальников, которые в данное время надо мной находятся.

В течение трех дней происходили непрерывные митинги, на которых выносились резкие протесты против мятежа, поднятого Корниловым. Авантюра Корнилова показала еще раз, что солдаты крепко стоят за завоевания революции. Но это же самое выступление показало, насколько ненадежна офицерская публика, даже та, которая прикидывалась ранее демократической и проникла в наши солдатские организации; во всех комитетах было постановлено — убрать офицеров.

Такое же постановление вынесли и мои крестьянские депутаты в отношении наших крестьянских советов. Считая это постановление совершенно правильным, я поднял вопрос о назначении нового председателя крестьянского

совета, ибо после этого постановления я, как офицер, участвовать в комитете не могу.

— Мы тебя не считаем за офицера,— возразили присутствующие члены,— ты наш, ты из солдат.

Однако вопрос я все же поставил на баллотировку и в результате единогласно был оставлен в роли председателя комитета.

В дивизионном комитете произошли перевыборы, изгнали оттуда колеблющихся офицеров, выгнали Спудре, и теперь во всем дивизионном комитете лишь один прапорщик, выдвинутый солдатами 12-го полка,— Медведев. Постановили: следить за поведением командного состава.

Солдаты категорически потребовали отмены приказа об обязательном приветствии. Во все полки послано предложение отнюдь не наряжать никаких караулов для охраны помещичьих земель и посевов.

Вынесли постановление о немедленной ликвидации полковых судов и об отмене смертной казни. Эти постановления отправлены комиссару армии, причем копии разосланы по соседним дивизиям.

Подозрительное отношение к штабным и офицерским действиям у солдат усилилось; каждый приказ, выпускаемый по дивизии, прежде чем пустить его в роты к исполнению, тщательно обсуждается в полковых комитетах, и лишь только после подробного анализа, после выяснения, что данный приказ не содержит в себе ничего контрреволюционного, его принимают к исполнению.

Общественные организации, солдатские комитеты и крестьянские советы значительно подняли свой авторитет, и теперь со всякими нуждами солдаты идут в свой комитет, как к настоящему защитнику их интересов.

ГЛАВА XII

НА ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕЩАНИИ

В Петроград прибыл седьмого сентября. Остановился было в гостинице. Дерут за номер немилосердно. В целях экономии средств решил просить сестру Анну — работни-

цу Путиловского завода — приютить меня у себя. В тот же день отправился к ней в район Нарвской заставы. Она охотно разрешила воспользоваться ее комнатой, если только хозяин не будет препятствовать. Вместе с Анной пошел к квартировладельцу. Он рабочий Путиловского завода, токарь по металлу, зарабатывающий около 250 рублей в месяц.

Снимаемая сестрой комната небольшая, очень чистая, светлая, ничуть не хуже снятого мною в гостинице за семь с полтиной номера. Вся квартира производит впечатление большой опрятности ее обитателей. Состоит из четырех комнат, с газом в кухне, ванной и электричеством.

Квартирохозяин, хотя и рабочий, но впечатления такого не производит. Скорее это интеллигент, ибо тотчас же по возвращении с работы переодевается в отличный костюм, надевает воротничок, манжеты, галстук. После обеда любит посидеть за газетой, поговорить о политике.

На вопрос сестры, не будет ли с его стороны возражения, если она уступит на неделю свою комнату мне, он детально расспросил, на каком я нахожусь фронте, что там делаю, каковы мои политические убеждения, не монархист ли я, или не большевик ли, о цели приезда в Петроград и почему хочу остановиться на такой далекой окраине, как Нарвская застава.

На все эти вопросы я ответил, что являюсь членом крестьянского комитета, в Петроград приехал с целью информации о политическом положении дел, собираюсь пробыть недолго, ни монархистом, ни большевиком не являюсь и что удивляюсь приравнению монархистов к большевикам.

Квартирохозяин пытался расспросить меня о настроении солдат на фронте, но я почувствовал различные точки зрения, насторожился и уклонился от дальнейшего разговора.

Пошел в Совет крестьянских депутатов. Встретил Гвоздева, который теперь является председателем солдатской секции, так как Оцуп получил другое назначение в связи с занятостью Авксентьева на посту министра внутренних дел.

— А, Оленин, опять приехал!— встретил меня Гвоздев.— У вас больше не бегут?

— Солдаты не бегут, зато генералы их здорово бьют.

— Это вы что, на Корнилова намекаете?

— Хотя бы.

— Ну, Корнилов-то здоровую нахлобучку получил. Вы знаете, он арестован и сидит под стражей на ст. Быхов.

— Очевидно, у вас хорошей тюрьмы для генерала не нашлось? Если бы дело коснулось какого-нибудь революционера, пожалуй, Шлиссельбургская крепость оказалась бы свободной.

— Вы правы,— сказал Гвоздев,— мы уже ставили вопрос, что Корнилова надо строго изолировать, а не держать под охраной верных ему батальонов смерти. Вы видели эти батальоны?— спросил Гвоздев.

— Видел и возмущался их гнусным видом.

— Что значит череп на их повязке?

— Символический знак, что через какой-то промежуток времени от всех этих ударников, кроме черепа, ничего не останется,— рассмеялся я.

— А мне думается так, что они хотят революцию в череп превратить. Идея их создания принадлежит Корнилову. Составлены эти батальоны сплошь из маменькиных сынков, буржуазии и из зеленых прапорщиков.

— Расскажите, что здесь хорошего?

Гвоздев безнадежно махнул рукой:

— Гнусь одна. Два месяца кричали о тарнопольском отступлении, теперь две недели кричат о рижском. Так за криком время и идет.

— Почему вы не реагируете на травлю солдат? Посмотрите, что газеты пишут: там-то солдат такой-то роты не вовремя оправляться ушел, другой дезертировал, та рота не выполнила распоряжения, причем совершенно не указывают характера этого распоряжения. Быть может, оно было контрреволюционным. И ни звука о поведении командного состава. Вы, представители фронта, избранные солдатами, солдатская секция крестьянского совета, что вы делаете?

— Видите сами, что. Сидим, обложились бумагами. Устраиваем комиссии, заседания, обсуждаем решения в первом чтении, начинаем вторичное. К каждому пункту поправка, к поправке примечание, к примечанию новая поправка. И так без конца. А вожди — Авксентьев увлекся своим министерским портфелем. Всем крутит Керенский, а Керенским крутят кадетские министры.

В одном из больших зал лицея я увидел конференцию. На трибуне стоял солдат, вихрястый, белокурый, в распахнутой шинели, и, энергично жестикулируя руками, произносил речь:

— Нас предают и предают, товарищи! Счастье рабочего класса и крестьян в собственных руках. Если мы будем рассчитывать на кадетов, то ничего не дождемся. Надо твердо и немедленно ставить вопрос о передаче власти в руки советов. Только власть советов может обеспечить мир солдатам, землю — крестьянам, восьмичасовой рабочий день и контроль над производством — рабочим.

Происходило совещание агитаторов-большевиков, солдат Петроградского гарнизона.

Оратору дружно аплодировали. После него вышел солдат, представитель частей петроградской обороны.

— Наш пулеметный полк установил бдительное наблюдение. Мы вычистили всех подозрительных офицеров. У нас в полку настроение исключительно за советы, и по первому зову мы готовы встать грудью в защиту и на углубление революции.

Другой, с Васильевского острова, говорил, как относятся рабочие к Керенскому:

— Забылся Керенский, царя из себя корчит, в Зимний дворец перебрался. Занял комнаты Николая II. Понятно, что из дворца-то не очень хочется выезжать. У нас в казармах полное недоверие к Временному правительству.

Однако если такие речи произносятся в стенах Крестьянского совета, то что же делается в Совете солдатских и рабочих депутатов в Смольном?

Прихожу в Военное министерство узнать о судьбе крестьянских секций и о моем проекте — передвижных библиотек.

Культурно-просветительным отделом ведает прапорщик Шер, среднего роста, упитанный, с холеными руками, брюнет.

Я кратко изложил цель визита.

— О крестьянских секциях вопрос в стадии обработки, — важно роняет слова Шер. — Свяжитесь с Крестьянским советом — с Оцупом. Библиотечное дело на рассмотрении Совета министров...

Я поднялся было уйти. Но Шер обратился ко мне с вопросом, как солдатские массы реагировали на выступление Корнилова.

— Возмущены донельзя, — ответил я на его вопрос. — После корниловской авантюры солдаты совсем перестали доверять офицерам. Я лично так расцениваю обстановку, что Корнилов своим выступлением в конце концов причинил большую пользу революционному движению. У солдат открылись глаза, и теперь они не допустят провокационных выходов со стороны генералов и полковников.

— А какие же могут быть провокационные выходы?

— Я, например, убежден, товарищ Шер, что тарнопольское отступление отнюдь не является причиной расхлябанности солдат, оно было спровоцировано высшими чинами штабов.

— Что вы говорите, поручик! Так ли? — недоверчиво посмотрел на меня Шер.

— Именно так. Целый ряд полков были предоставлены самим себе, уходили с позиции, не получив никаких распоряжений от штабов дивизий, хотя последние имели для этого все данные. Штаб 35-й дивизии снялся со своего места и бросился бежать в тыл еще тогда, когда только на небольшом участке обнаружился успех немцев. Ни штабы дивизий, ни штаб корпуса не использовали находившихся в их распоряжении резервов для того, чтобы ликвидировать прорыв. Здесь, очевидно, была прямая игра, чтобы путем массовых солдатских жертв и путем уступки территории

вырвать у правительства ряд уступок. Я думаю, что рижский прорыв можно объяснить тем же самым.

— Странно,— протянул Шер.— Но ведь были же назначены следственные комиссии. Они выезжали на места и констатировали, что прорыв произошел в результате большевистской пропаганды и разложения солдат.

— Я не знаю, где следственная комиссия работала и выясняла, но в отношении Тарнопольского прорыва в нашей 3-й дивизии, которая была под Тарнополем и тоже бежала, никаких следственных комиссий не появлялось.

— Позвольте, позвольте... у нас же материалы есть.

— А я утверждаю, как живой свидетель всего того, что было на фронте.

Нашел заведующего культурным отделом совета Николаева. В распоряжении культотдела имеются огромные книжные запасы либерального содержания, которые выходили в 1905—1906 гг. и были конфискованы с наступлением реакции. Огромные подвалы лицея забиты сборниками «Знания», сочинениями Горького, популярными брошюрами, сочинениями Серафимовича, Чирикова и др.

— Нельзя ли мне у вас вагончик книг для 3-й дивизии получить?— спросил я Николаева.

— Только за деньги. Нам дают тоже только за деньги.

— Сколько вагон книг стоит?

— Вагон... — мысленно он стал подсчитывать.— Да так, тысячи две-три.

— Так это почти даром! Я сейчас же телеграфирую в дивизию, чтобы мне выслали рублей пятьсот, а остальную сумму мы вам пришлем позже.

— Это можно.

Прошло несколько дней, в течение которых я возился с отбором литературы в Крестьянском совете.

В один из вечеров прошел за Нарвскую заставу к брату Николаю.

— Опять приехал!— обрадовался он мне.— А я думал, что тебя в живых уже нет.

— Жив, что со мной сделается! Как у вас тут?

— Да что, видимо, большевики правы. Генералы гнут одну линию с буржуазией. Учредительное собрание все от-

тягивают. Самое правильное — передать власть в руки советов. Питерский совет сейчас на все сто процентов большевистский. Вот послушаем, что демократическое совещание скажет. Хотя на него больших надежд не возлагаем, а потом будем требовать передачи власти Советам солдатских и рабочих депутатов. Жалко, что Ленин вынужден скрываться, он дело лучше бы поставил. «Правду» несколько раз громили. Выйдет два номера, а назавтра, смотришь, газета конфискована, типография разгромлена. Начинают печатать в других типографиях под другим названием. Рабочие нарасхват берут «Правду».

Четырнадцатого сентября собралось демократическое совещание. С помощью Гвоздева достал гостевой билет на самый верхний ярус Александринского театра.

Часа за два до открытия перед входом образовалась огромная очередь делегатов, которых впускали в театр с тщательной проверкой их мандатов. По сторонам очереди столпилась большая толпа любопытных.

Проверка гостевых билетов более упрощена, и для входа гостям отведен другой подъезд. В ложе верхнего яруса неожиданно столкнулся с однополчанином Моросановым.

Моросанов уже недели две как в Питере работает в Главном штабе над выборками из приказов о награждении офицеров 3-й дивизии различными знаками отличия, чинами, орденами и проч.

— Зачем это надо?

— Хотят точно проверить все награды, какие получались офицерами за полгода, а эту проверку можно произвести лишь путем ознакомления с подлинными документами. Кроме того, надо протолкнуть целый ряд представлений о наградах и о производствах, какие были сделаны в дивизии и застопорились в Главном штабе из-за резолюции.

— Вы как сюда попали?— спросил я Моросанова.

— Через Главный штаб получил билет.

Моросанов высказал такую мысль: сейчас идет борьба двух крайних течений: монархистов и большевиков, все остальные являются буферами или просто шушерой, не

стоящей никакого внимания. И меньшевики и эсеры — это политическая размазня.

— Я думаю так: или скоро на сцену активно выступят монархисты или большевики. Монархия себя изжила, феодализм надо ликвидировать окончательно. Следовательно, надо делаться большевиками, которые прямолинейны и точны в своих требованиях. Большевики, кроме того, опираются на научный социализм, а не народнические поверья, как эсеры. За большевиками будущее.

Вместо шести вечера демократическое совещание открылось в восемь. Открывал совещание председатель Совета рабочих и солдатских депутатов Чхеидзе. Стоя в центре президиума перед председательским креслом, Чхеидзе медленно начал свою речь, настолько медленно, что можно было ее записывать.

— Месяц тому назад в Москве происходило Государственное совещание, созванное правительством. На Государственном совещании, казалось, было установлено единение между различными социальными группами на данный исторический период, но за этот месяц произошло колоссальной важности событие — мятеж генерала Корнилова. Совет рабочих и солдатских депутатов в согласии с другими демократическими организациями решил созвать это демократическое совещание для того, чтобы выяснить положение страны, дать ему оценку, сделать соответствующие выводы и наметить линию дальнейшей работы. Народная мудрость велика, и мы общими усилиями надеемся разрешить вставшие перед революционной демократией колоссальной важности вопросы: вопрос с продовольствием, вопросы армии, вопросы войны и мира и другие.

После Чхеидзе выступил Керенский.

Чрезвычайно подвижной, с нервным подергиванием лица, с заложенной за правый борт пиджака рукой. Быстрыми шагами он подбежал к трибуне.

— Товарищи! — послышался его пронзительный голос.

Небольшая пауза. Керенский сделал несколько шагов назад, потом, возвратясь опять ближе к трибуне, повторил:

— Товарищи, страна переживает тяжелый исторический период. Мы имеем целый ряд событий огромной политической важности. Мы пережили две недели тому назад позорный мятеж, авантюру Корнилова. А два месяца назад мы были свидетелями не менее гнусного выступления левой части революционеров-демократов, бывших наших товарищей большевиков.

Делая гримасы, резко жестикулируя, будучи все время в непрерывном движении то назад, то вперед, то в стороны, Керенский проговорил почти два часа о положении в стране, о напряжении в области продовольственного вопроса, о состоянии армии, о падении дисциплины, о развале фронта, о рижском отступлении, о позорном тарнопольском бегстве, много говорил, что именно он, Керенский, ликвидировал «корниловщину», что напрасно обвиняют его в союзе с Корниловым. Свою речь он закончил словами, произнесенными с большим пафосом:

— Мы настолько сильны, настолько решительны, что кровью и железом выметем контрреволюцию, откуда бы она ни исходила, от монархистов или от большевиков.

Выступил представитель фракции большевиков Каменев, встреченный жидкими аплодисментами.

— Страна идет к гибели,— говорил Каменев, держась чрезвычайно просто и произнося слова спокойным, размеренным тоном.— Руководство страной находится в скверных руках. Ни меньшевики, ни эсеры не ведают, что творят. Ссылаются на большевиков, сами же сеют худший вид контрреволюции. Транспорт разрушен, доставка продовольствия к революционному Питеру почти прекратилась. Рабочие и гарнизон Петрограда находятся в полуголодном состоянии. На фронте развал. Главковерх открыто выступает против революции, поднимает мятеж...

Его ровная, чрезвычайно содержательная, спокойная речь приковала к себе внимание всего зала.

Каменев начал перечислять:

— Немедленное омоложение армии, изгнание контрреволюционных генералов, сокращение числа едоков в армии наполовину, усиление внимания к транспорту, упорядочение грузооборота, ликвидация встречных потоков

грузов, прекращение безобразий, когда с юга вместо хлеба к Питеру везут воду «куваку». Организация рабочего контроля над распределением продовольствия. Установление контроля над производством со стороны рабочих. Передача власти полностью Советам рабочих и солдатских депутатов.

Речь Каменева, в частности его предложения, неоднократно прерывались шумом, гиканьем и топаньем ног со стороны противоположных группировок.

— Совершенно очевидно,— сказал в заключение Каменев,— что Временное правительство этого состава не сможет руководить рулем государственной власти. Власть необходимо передать в руки советов.

ГЛАВА XIII

РУМКОМКРЕСТ

Под Волочиском дивизии не застал. Пришлось вернуться в Проскуров, где у этапного коменданта выяснил, что 3-я дивизия вышла из состава 11-й армии и переброшена на Румынский фронт в район Хотина.

От Жмеринки до Могилева-Подольского ехал в воинском эшелоне, идущем из Пензы на пополнение частей Румынского фронта. В эшелоне преимущественно молодежь в возрасте девятнадцати-двадцати лет, призванная по революционному призыву. Старых солдат совсем нет. Эшелон сопровождают два прапорщика, не бывших еще на фронте и поэтому жадно меня расспрашивающих об условиях боевой жизни и о том, предполагаются ли теперь новые наступления.

Я был сдержан, не хотелось расстраивать молодых прапорщиков, что фронт куда хуже Пензы с ее запасными полками. Рассказал, что настроение на фронте спокойно. Возможно, что будут еще наступления, как только наши войска соберутся с силами и оправятся после понесенных поражений под Тарнополем.

Прапорщики интересовались, часто ли на фронте применяются ядовитые газы. Сказал, что этот вид борьбы

на фронте применяется редко и что я, участник войны с самых ее первых дней, ни разу не подвергался газовой атаке.

В свою очередь я задал вопрос, как прошла революция в Пензе.

— У нас просто было. Услышали о революции, устроили митинг, арестовали губернатора, сместили командира запасного полка. Зато потом было хуже. Все время митинги. Запасные не хотят идти на фронт, офицеры отлынивают. Вот и для этого маршевого батальона, с которым мы едем, предположено было командировать совсем других офицеров, но те сумели отвертеться, и вместо них пришлось ехать нам. Мы только в июле прибыли из Казанского училища и должны были по закону четыре месяца пробить в батальоне, а нас махнули сразу.

На одной из остановок, не доезжая станций трех до Могилева, для эшелона должен был быть приготовлен обед. Комендант станции, не получивший своевременно телеграммы о прибытии эшелона, обеда не приготовил. Солдаты, хотя и молодые, устроили страшный скандал.

— Контрреволюционеры!— кричали они.— Арестовать коменданта!

И несколько из них, захватив винтовки, бросились на станцию в поисках коменданта. Последний благоразумно скрылся.

Часа три стояли, пока был приготовлен и съеден обед. Горнист очень долго играл сбор. Прошло по меньшей мере часа два прежде, чем солдаты собрались по вагонам.

На фронт ехали не солдаты, а молодое пополнение, несущее вместе с собой разложение. Характерно, что сопровождавшие эшелон прапорщики мало беспокоились недисциплинированностью своих солдат.

— На фронт ведь едем, куда торопиться!

Огромное селение Бессарабской губернии Орешаны занято частями 3-й дивизии.

Нашел Ларкина с повозкой и вещами в районе 11-го полка.

В соседней хате — Боров, ведущий формирование национальных частей украинской армии.

Не успел вымыться с дороги, как притащился Боров.

— Украинская Рада окончательно постановила, что 3-я дивизия должна сделаться украинской,— сказал он.

— А куда нас, «кацапов», денут?

— Вас переведут в другие полки.

— Давно ли в резерве?

— Две недели сидим тут, зачем, почему, неизвестно. До позиции сотня километров. Здесь не только наша дивизия отдыхает, но и весь 17-й корпус. «Солдатский вестник» передает, что новый начальник штаба главковерха Духонин целую армию держит в резерве, чтобы составить из нее ударную группу для действий на немецком фронте.

Получил телеграмму из Ясс, что инициативная группа солдат-крестьян созывает на 28 сентября фронтовой съезд крестьянских депутатов. Повестка дня: доклад по текущему моменту, обсуждение аграрного вопроса, обсуждение вопроса о выборах в Учредительное собрание и организация фронтового органа.

Чтобы своевременно попасть на съезд, пришлось просить начальника штаба дивизии Сундушникова дать мотоцикл.

Мотоцикл без коляски. Я устроился верхом на багажнике, подвесив стремяна, чтобы не было трудно ногам.

Выехав в семь часов утра, к шести вечера уже подъезжал к Яссам, сделав конец почти в двести километров.

Километрах в трех от Ясс началась асфальтовая дорога, обсаженная красивыми деревьями. Накрапывал дождь. Дорога делалась скользкой, при въезде в центр города при повороте к штабу фронта масса гуляющей публики. Пислышался хохот. Собралась толпа зевак.

Фронтовой крестьянский съезд должен происходить в здании бывших кавалерийских казарм. Долго ходил, разыскивая такую значительную организацию, как фронтовой съезд. Минут сорок ходил из подъезда в подъезд, из этажа в этаж, пока не наткнулся в самом верхнем этаже на спускающихся из чердачного помещения двух солдат.

— Товарищи,— обратился я к ним,— не знаете ли, где заседает крестьянский съезд?

— Здесь. Если вы на съезд — приходите завтра к десяти. Регистрация там же, наверху.

— Кто организатор съезда?

— Кажется, Дементьев, он открывал съезд.

— Ну, ладно, — решил я, — завтра все выясню.

В это время к зданию подъехал на мотоцикле шофер Игнатов.

— Где мы остановимся? — обратился он ко мне.

— Не знаю, пойдем искать гостиницу.

— Я уже спрашивал, здесь ни одной гостиницы нет. Все занято офицерами. Нам лучше найти какой-нибудь автомобильный отряд и там остановиться у шоферов.

Уже начинало темнеть, а мы еще не встретили ни одного автомобильного отряда. Решили в конце концов обратиться к постовым команды штаба фронта.

— Авточасти стоят за городом, — сказал постовой. — Проезжайте по шоссе в этом направлении, — вытянул руку солдат, — и километрах в двух отсюда вы встретите санитарный автомобильный отряд.

В пригородной слободе действительно натолкнулись на автомобильный отряд, занимавший несколько хат. Въехали на двор. На шум мотоциклетного мотора вышло несколько шоферов.

— Откуда, кто будете?

— Свои, братишка, свои! — закричал Игнатов. — Где тут поставить машину можно?

— В гараж води.

Подошли два шофера. Осмотрели нас, странных путешественников, подвели машину к гаражу и затем пригласили с собой в хату. В хате оказалось человек шесть шоферов.

— С фронта мы, — заявил Игнатов. — На съезд приехали. Очень просим меня с поручиком приютить.

Шоферы устроили чай, притащили закуски, оставили место на нарах для сна. Откуда-то притащили сноп соломы, и через час мы с Игнатовым уже храпели.

На следующий день встали почти с рассветом. Выпив чаю, я отправился побродить по слободе. Первое, что меня поразило — это русская речь жителей. К моему удивлению, все население слободы сплошь состоит из русских.

Это скопцы, высланные десятки лет тому назад из России, как злостные сектанты. Эти сектанты нашли приют в Румынии, разместились в районе Ясс, и тут выросла большая колония русских.

Вид сектантов производил отталкивающее впечатление. Мужчины — безбородые, безусые, с отеками одутловатыми лицами, с маленькими хитрыми глазками.

— Как же у них потомство получается?— спросил я у шоферов, вернувшись в хату.

— Они не все оскопляются, процент остается на племя.

В половине десятого я был уже на месте фронтового съезда. Представился председателю съезда Дементьеву. Дементьев — поручик одного из гвардейских полков 9-й армии, лет двадцати пяти, высокого роста, шатен, с большими темными глазами. Он произвел на меня впечатление психически ненормального человека.

— Из 9-й дивизии? Очень рад познакомиться. Мы вас сегодня не ждали. Я слышал, что вы член Всероссийского крестьянского съезда. Я читал вашу статью во фронтовой газете.

— Да, я состою членом Всероссийского совета. До сих пор занимался в 11-й армии организацией крестьянских комитетов.

— Очень приятно. Вы нам поможете своим опытом. Мы решили создать фронтовую организацию, чтобы можно было от фронта провести в Учредительное собрание солдат-крестьян.

Дементьев записал мою фамилию в тетрадочке, в которую им заносились имена прибывающих делегатов. Выдал билет, что я являюсь делегатом фронтового крестьянского съезда с правом решающего голоса, сказав при этом, что сегодня будет происходить обсуждение вопроса о выборах в Учредительное собрание.

К десяти часам собрались все делегаты. Присутствует человек семьдесят, среди которых не менее пятнадцати офицеров. В президиуме два солдата и семь офицеров, от прапорщика до поручика включительно. Председательствует Дементьев. Ведет собрание неровно, волнуется, нервни-

чает, часто прерывает ораторов подачей реплик со своего председательского места.

С докладом об Учредительном собрании и о том, что крестьянская секция должна выступать активно при выборах членов в Учредительное собрание, выступил член президиума прапорщик Свешников, эсер.

— Солдаты-крестьяне должны выставить свой список наряду со списками различных организаций и партий. Может быть, впоследствии выбранному нами исполнительному комитету мы поручим блокироваться с родственной нам партией, но это лишь впоследствии.

Начались прения. Выступавшие подчеркивали нецелесообразность выступления с отдельным списком на выборах, утверждая, что нам лучше всего присоединиться к списку партии эсеров, причем к тому списку эсеров, который наиболее отвечает настроению крестьян.

Один из выступавших — солдат 9-й армии Антонов — заявил о необходимости непременно выступления со своим собственным списком.

— Эсеры и их списки ненадежны, — говорил он. — Среди эсеров сейчас происходит большая разногласица. Одни за Керенского, другие за Чернова, третьи за Спиридонову. Я думаю, — закончил свою речь Антонов, — нам надо выступить с левыми эсерами, т. е. со Спиридоновой. А так как левые эсеры на фронте до сих пор своего списка не выставили, то лучше всего нам выставить свой список.

Я взял слово. Повел речь о существующих течениях внутри партии эсеров.

— Аграрный вопрос на Учредительном собрании явится основным вопросом, и фронт имеет право сказать свое решающее слово. Но мы знаем, что эсер Чернов не смог или не хотел провести земельный закон, закон об изъятии земли от помещиков и немедленной передаче ее в ведение земельных комитетов.

Последовала реплика со стороны Дементьева:

— Чернов общепризнанный крестьянский министр. Все требовали и требуют возвращения Чернова на пост министра, и говорить, что он ничего не сделал, вы, Ленин, не имеете никакого права.

— Чернов вышиблен,— продолжал я,— вместо него посажен Маслов, хотя и одного толка с Черновым, но, очевидно, тоже для того, чтобы сорвать дело передачи земли в руки крестьян. Совет питерских рабочих, солдатских и крестьянских депутатов не доверяет Керенскому и требует передачи власти в руки советов. Я думаю, что нам самое правильное — это перейти на точку зрения питерского совета.

Солдаты со вниманием выслушали мою речь.

— Оленин разводит большевистскую агитацию,— заявил Дементьев.

— Я не большевик, дурень ты этакий! — крикнул я Дементьеву.

— Знаем мы, все кричат, что не большевики, а что значит лозунг «власть советам»? — большевистский лозунг. Мы не можем позволить, чтобы на фронте были подобные большевистские призывы.

— А ты не подголосок ли Корнилова? — в свою очередь бросил я.

Съезд избрал Центральный исполнительный комитет Совета крестьянских депутатов Румынского фронта. Название чрезвычайно громкое предложено Дементьевым.

— Центральный исполнительный комитет — звучит серьезно,— говорил Дементьев.— Наша организация должна быть авторитетной.

В числе избранных оказались: я, Свешников, Дементьев, Сергеев, Сверчков, Курдюмов, Святенко — все офицеры, и четверо солдат: Антонов, Кузьмин, Свиридов и Морозов.

После закрытия заседания съезда устроили заседание избранного президиума, на котором распределили между собой роли. Все члены избранного президиума должны быть освобождены от работы в своих частях. Местом пребывания нашего своеобразного ЦК должны быть Яссы при Ставке фронта. Председателем выбрали Свешникова, заместителями меня и Дементьева. Остальные — просто члены президиума.

Надо хотя бы кратко охарактеризовать личности каждого из членов ЦК.

О Дементьеве я уже говорил.

Свешников — подпоручик из 9-й армии, бывший сельский учитель, призванный по мобилизации в армию. Окончил школу прапорщиков в Казани. На фронте находится около года. Занимает должность начальника химической команды стрелкового полка.

Сергеев — уже пожилой, лет под сорок, с седеющими волосами, по профессии артист, окончил Киевскую консерваторию по классу пения. Пел в Киевской опере. Обладает голосом басо-профундо. Совершенно не приспособленный к военной обстановке, военному быту человек. На все смотрит созерцательно, любит пофилософствовать и ничего не умеет делать.

Сверчков — бывший учитель уездного училища Симбирской губернии. На фронте тоже около года, причем служил в дивизионной учебной команде младшим офицером. С первых же дней революции работал по полковым и дивизионным комитетам, склонен к карьеризму, старается быть активным, много думает о своем уме, но в общем пуст.

Курдюмов — мой земляк из Тулы, студент коммерческого института, еще молодой, лет двадцати двух, склонен к мечтательности, пишет стихи. Умеет хорошо говорить, но выступает редко и лишь в тех случаях, когда считает свое выступление необходимым для улаживания того или иного казуса.

Святенко — хохол из Харьковской губернии, студент, большой националист-украинец, может хорошо говорить. Непосредственно на фронте не был. Все время войны служил в тыловых учреждениях.

Антонов — фейерверкер артиллерийской бригады, длинного роста. Солдаты окрестили его дылдой. С маленьким острым носиком, небольшими, постоянно бегающими глазами, неискренними, белесыми. Чувствуется, что в организации состоит только для того, чтобы быть подальше от фронта.

Морозов — крестьянин Курской губернии, типичный середнячок, вдумчивый, не скажет лишнего слова, любит работать, но так, чтобы работа давала осязательные результаты. Постоянно копошится за каким-нибудь делом.

Кузьмин — крестьянин Томской губернии, старательный малый, любит поговорить по душам о крестьянской жизни, любит выпить, ухитряется доставать водку при всяких положениях.

Свиридов — крестьянин Рязанской губернии, бывший ломовой извозчик, любит говорить о городской жизни, в крестьянские депутаты попал за умение держать речи с солдатами. Чрезвычайно доволен, что оказался избранным в исполнительный комитет.

Вернувшись в дивизию, я рассказал своему комитету об избрании меня во фронтовую организацию. Начался ропот:

— Работали-работали, создавали-создавали, и вдруг все разваливается.

— Где же разваливается? За меня остается Панков. Парень к работе привык, к тому же работы сейчас не так много, а во фронтовой организации я буду полезнее, буду находиться в гуще предстоящих выборов в Учредительное собрание и буду стараться пропустить настоящих, необходимых нам депутатов.

Земляницкий, которого я застал за распитием самогона, а пьет он непробудно, только промычал:

— Приспособился!

— Земляницкий, как тебе не стыдно! Неужели я из приспособляющихся?

— Приспособился. Если бы не был из приспособляющихся, поставил бы бутылку водки.

— Черт с тобой, две поставлю!

— Ну, тогда ты парень хороший.

Боров, напутствуя меня на новую работу, заявил, что и его, возможно, откомандируют в ближайшее время к штабу фронта, где создается фронтовой комитет по украинизации частей.

В штабе дивизии Музеус не высказал ни удовольствия, ни неудовольствия. Для него было совершенно безразлично, есть ли комитет крестьянских депутатов или нет.

Ларкин проводил меня в Могилев на поезд.

Ларкина я оставил в полку до тех пор, пока он не разделяется с лошадью, седлом и другими вещами, которые в моей новой работе при фронте становились ненужными.

Ехать от Могилева до Жмеринки было сравнительно хорошо. Говорю сравнительно потому, что в каждом купе находилось не более шести человек и возможно было входить в вагон через двери. От Проскурова же до Киева пассажиры лезут через окна, и в купе набивается по пятнадцать-двадцать человек.

Вокзалы полны военных. Около буфетов громадная толчея, каждый старается оттолкнуть другого, чтобы первым получить стакан чая или кофе.

Публика самая разношерстная. Нет того деления людей на сословия, какое было раньше. Наравне друг с другом и генералы, и офицеры, и солдаты — все вместе. А ведь до первого марта вход солдатам в зал первого и второго класса был строго воспрещен.

Вокруг разговоры о запоздании поезда, о просроченных отпусках, о трудностях достать билет, о том, что нельзя доверять носильщикам, которые, мол, деньги за посадку берут, но посадить все равно не могут.

С трудом удалось забраться в вагон поезда, идущего от Жмеринки до Раздельной, где пересадка на военно-этапный поезд.

От Раздельной до Ясс поезд ковыляет со скоростью пяти-шести километров в час. Некоторые пассажиры выпрыгивают из вагонов и идут пешком рядом с поездом.

Проехали Тирасполь, Бендеры, Кишинев с той же скоростью. Наконец подъезжаем к Унгени, пограничной станции, отделяющей Бессарабию от Румынии. В Унгени таможенный пункт.

Офицер-пограничник долго осматривал выданный мне штабом дивизии документ, в котором значилось, что поручик Оленин делегируется для постоянной работы в Центральный исполнительный комитет Совета крестьянских депутатов Румынского фронта.

— Совет? Что такое совет? — спрашивал меня офицер.

— Военный крестьянский совет, — старался я разъяснить ему непонятное слово. — Я член крестьянского совета, который находится при штабе Румынского фронта.

— Генерал Щербачев знает, что это за совет?

— Прекрасно знает. Совет при нем находится.

— Если генерал Щербачев знает, можете ехать.

На чемодан пограничник не взглянул.

От Унгени до Ясс каких-нибудь двадцать-тридцать километров. Перед утром приехали в Яссы. Вокзал ничуть не отличается от вокзалов станций Раздельной или Кишинева. Масса солдат, офицеров, преимущественно русских. Вокруг вокзала грязь, мусор. На вокзальной площади большие шатры питательного пункта имени Пуришкевича.

Проголодавшись, я долго бродил по вокзалу в надежде найти станционный буфет и, не найдя, пошел к питательному пункту.

На питательном пункте только просыпались. Кипятка еще нет, а тем более нет хлеба и закуски. Пришлось вернуться на вокзал, где, найдя место у столика, присел и задремал.

Часов в восемь, нагрузив себя чемоданом, пошел опять к шатрам, перед которыми уже стояли длиннейшие очереди солдат, ожидавших получения кипятка, чая и булок. Не рассчитывая скоро дожждаться своей очереди, я направился в город искать свой комитет «Румкомкрест» — так окрестили сокращенным именем наш Центральный исполнительный комитет Совета крестьянских депутатов Румынского фронта.

Дежурный писарь комендантского управления штаба фронта, порывшись в книгах, дал справку, что для нашего комитета отведено помещение одного из магазинов на центральной площади Ясс, и любезно разъяснил, как туда пройти.

По дороге к комитету встретил румына-менялу. Зная, что в Яссах ходят только румынские деньги, я попросил его разменять мне десять рублей, тот быстро отсчитал мне семьдесят лей.

Вот и комитет. На весь состав комитета одна небольшая комната. Вход в нее прямо с улицы. Раньше здесь был ма-

газин канцелярских принадлежностей. Торговый прилавок в нетронutom виде. На стенах полки для товара. В заднем правом углу — лестница чердака, использованного членами комитета под «спальню».

Раздевшись, бросил вещи в один из углов комнаты и поздоровался с присутствующими. Здесь были все члены комитета — Дементьев, Антонов, Свешников, Курдюмов, Сверчков, Федоров, Васильев, Святенко и Сергеев.

В момент моего прихода сидели за прилавком с большим чайником. Это кстати.

— Оленин, здорово! — шумно приветствовал меня Дементьев. — Размундировывайся — и за чай!

— Что же так плохо у вас, товарищи? — был первый мой вопрос. — Я надеялся застать комитет если не во дворце, то, по крайней мере, в просторном здании.

— Не красна изба углами, красна пирогами, — бросил в ответ Сергеев.

В Яссах большой продовольственный кризис. На протяжении почти двух километров, пройденных мною от вокзала до центра города, я не встретил ни одного открытого продовольственного или гастрономического магазина. Изредка встречались ручные ларьки с консервами.

— Все еще маемся, помещения получить не можем. Хорошо, что этот магазин дали, а то хоть на улице обретайся. Одна комната — здесь и спим, и работаем, и обедаем.

— Вы же собирались просить у Щербачева хорошее помещение?

— Просили, ни черта не выходит.

— Здесь работать невозможно. Нас десять человек, и мы такой галдеж будем устраивать, что не до работы. Надо принимать меры.

— Принимали и принимаем. Штаб настроен к нам неважно. На словах все готов сделать, а на деле — ничего. Придется еще раз идти к Щербачеву.

Дементьев дальше сообщил, что и с Румчеродом отношения неважные. На крестьянский совет смотрят как на ненужную организацию, между тем из всех дивизионных крестьянских советов стали поступать запросы, переводят деньги, просят литературы, предлагают издавать свою га-

зету. Но, сидя в этой собачьей конуре, мы бессильны вернуть работу.

— Давайте искать квартиры для себя,— предложил я.— А помещение пока будет нашей канцелярией.

Выпив чаю с хлебом, я пошел искать себе комнату. Не зная ни румынского, ни французского языка (большинство жителей говорят на французском языке, ибо в Румынии государственный язык — французский), я долго бродил по городу безуспешно. Проехал даже в слободу скопцов — все-таки русские.

Возвращаясь часа в четыре обратно в комитет, я решил зайти в один из ресторанов, расположенный здесь же на площади, пообедать.

Ресторан имел вид гнусный. Почти без всякой мебели, вместо стульев простые табуретки, столы непокрытые, грязная забитая прислуга. Но еще более я возмутился, когда на мой вопрос, что можно поесть, мне было ответили:

— Можно фасоль вареную, фасоль жареную, фасоль в масле.

— А что еще, кроме фасоли?

— Еще есть горох.

— Дайте кофе,— попросил я.

Фасоль и горох — это единственное меню ресторана.

Дали такой суррогат, что я не мог сделать и двух глотков. Выйдя из ресторана, попробовал поискать магазин, где можно было бы купить что-либо съестное. Обошел добрую половину Ясс, но, кроме рыбных консервов, в магазинах ничего не было. Хлеб в виде маленьких булочек продавался только до десяти утра.

Зато бросалось в глаза обилие косметических магазинов. Я не встретил ни одной женщины в возрасте от десяти и до восьмидесяти лет, чтобы они не были накрашены, нарумянены и напудрены. Особенно неприятно видеть размазанных пожилых женщин. Старуха, почти ковыляет, но зато губы обведены ярко-красной краской. Еще мерзостнее вид румынских офицеров, в изобилии слоняющихся в Яссах. Я не видел ни одного офицера, который бы не был перетянут корсетом и у которого не были бы накрашены

губы и подведены глаза и не положены румяна и пудра на лицо.

Воистину город проституток и проституированных мужчин.

После того как Бухарест занят немцами, румынский король Фердинанд перенес свою резиденцию в Яссы. Королевский двор занимает большой красивый особняк, обнесенный высокой железной решеткой. Через квартал от королевского дворца — штаб фронта. Командующий фронтом генерал Щербачев считается в глазах румынского офицерства лицом более авторитетным, чем румынский король.

Поздно вечером вернулся в наш магазин.

— Нашел квартиру?— встретили меня Дементьев и Свешников.

— Какой черт нашел! Здесь не только квартиры, а и пожрать-то не найдешь где.

— Садись с нами есть картошку.

На стол подали большой горшок с картошкой, сваренной наполовину с фасолью. Я с наслаждением съел несколько ложек.

Свиридов уступил мне свой угол, в котором он спал на снопе соломы, сам же полез на чердак.

Утром следующего дня мы открыли заседание нашего президиума.

— Наши дела идут прекрасно,— говорил Дементьев.— Мы сможем развить большую агитацию среди солдат фронта. Мы можем выдвинуть свой список представителей в Учредительное собрание, и он соберет больше голосов, чем список какой-либо другой организации и партии. Для этого нужны средства и организационная работа. Наш комитет стоит на платформе Всероссийского крестьянского совета (я поморщился), значит, нам должны дать средства из штаба фронта и из Военного министерства.

— Почему вы думаете, что мы можем брать средства от штаба фронта или от Военного министерства? Что мы, агенты, что ли, этих организаций, работающие за плату?

— Вы, Оленин, всегда перебарщиваете. Крестьянский совет стоит на платформе соблюдения воинской дисципли-

ны, раз так, то командование должно нас всячески поддерживать.

— Я считаю,— заявил я,— что нам в первую очередь надо обсудить вопрос о нашем отношении к целому ряду политических вопросов, а уже потом делать выводы, кто нам может дать деньги или можем ли мы брать деньги от тех, кто нам будет их предлагать.

— Какие же политические вопросы?— выступил Свешников.— Никаких политических вопросов здесь нет. Мы — организация крестьян. Крестьяне все единодушно желают довести войну до победного конца, но при условии, что их интересы будут защищаться соответствующей организацией. Такой организацией являемся мы. Чтоб наша организация могла работать, нам нужны средства. Эти средства нам могут дать только или сами солдаты, что безуспешно, ибо у солдат денег нет, или правительственные организации. Коль скоро мы стоим на страже интересов правительства, то ясное дело, что правительство должно нас обеспечить.

— Не согласен,— резко возразил я,— мы являемся общественной организацией, отражающей настроение солдатских масс, защищающей солдатские и крестьянские интересы. Интересы солдат-крестьян могут вступить в противоречие с интересами правительства и командования, поэтому мы ни в какой степени не должны зависеть от командования, тем более брать от последнего деньги. Будучи общественной организацией, мы должны жить на средства, выделенные организацией, интересы которой мы представляем, т. е. на сборы солдат. Да и зачем нам много денег? Каждый из нас получает содержание в частях. Я, например, в 3-й дивизии, Свешников, вероятно, тоже, да и каждый из членов президиума. Значит, на содержание личного состава нам денег не требуется. Зато мы должны требовать от фронта бесплатного помещения. Ведь штаб предоставляет бесплатное помещение Румчероду. На литературу и культурно-просветительную работу мы можем получить средства от солдат. Я знаю по опыту в своей дивизии, что стоит пустить подписной лист — и мы получим для комитета большие деньги, которых нам будет достаточно, чтобы выписать изрядное количество литературы и

сделать эту литературу достоянием всей солдатской массы. Совершенно не вижу надобности просить у генерала Щербачева или у военного министра субсидию. А вдруг завтра генерал Щербачев окажется контрреволюционером, как Корнилов, тогда нам бросят упрек: «А, вы, голубчики, у них деньги брали, значит, вы их прихвостни».

Антонов и Свиридов стали на мою точку зрения, что надо рассчитывать на помощь крестьянской организации, а отнюдь не на подачки генерала Щербачева.

— Нам газету надо издавать,— заявил Свешников, снова беря себе слово.

— Я тоже стою за газету,— ответил я,— но газета не такая уж дорогая штука. Газета будет платной, а работать в газете будем мы, получающие жалованье в своих частях.

— Газета потребует больших расходов. Я знаком с газетным делом,— упорствовал Свешников.

— Не могу похвастаться знакомством с газетным делом, но думаю, что это дело не такое уже сложное, а главное, не такое убыточное, чтобы сразу требовать больших расходов.

В результате трехчасового спора исполком комитета стал на мою сторону: денег не просить, а развить нашу работу так, чтобы деньги, необходимые для углубления этой работы, шли непосредственно от солдатских организаций фронта.

Дементьев остался при особом мнении.

— Я все же считаю,— заявил он в конце заседания,— что надо сорвать с плохой собаки хоть шерсти клок. Если можно будет у того же Щербачева вырвать тысячу рублей на организацию нашего комитета, то это будет для нас большим подспорьем.

— Против такой постановки вопроса решительно возражаю,— заявил я.— При первом же столкновении нас обвинят наши избиратели в сделке с генералитетом.

Мои возражения, однако, не подействовали, и большинство комитета решило пойти к Щербачеву потребовать:

1. Распоряжения о немедленном отводе соответственного помещения для нашего комитета и квартир для членов комитета.

2. Отпуска двух тысяч рублей на предварительное обзаведение необходимым инвентарем.

После заседания вновь бесплодно бродил по городу в поисках комнаты. Перед вечером наткнулся на увеселительное заведение, являющееся чуть ли не единственным в Яссах. Это — кафе, в котором до шести вечера дают только чай, кофе, фасоль, горох (других продуктов питания в Яссах ни в ресторанах, ни в кафе не имеется), а после шести вечера подают вино и пиво. Я попал в кафе между пятью и шестью. Народу было еще немного. С приближением к шести часам кафе начало быстро наполняться посетителями.

— Три кружки! Пять кружек!— слышалось со всех сторон.

Официанты таскали большие кружки пенящегося пива.

Третьего октября делегация нашего ЦК, в составе Дементьева, меня и Антонова, направилась к генералу Щербачеву. Пришли в штаб фронта. Дежурный адъютант, узнав о цели нашего прихода, предложил прежде всего зайти к генералу Сытину, дежурному генералу штаба фронта, руководителю всей хозяйственно-материальной части фронта.

Сытин встретил нас обаятельной улыбкой и ласковым приветствием:

— Новый комитет крестьянский? Очень рад с вами познакомиться. Я думаю, что вы осуществите в вашей работе идеи, выдвинутые Всероссийским крестьянским комитетом.

— Мы его филиал,— сказал Дементьев.

— Очень приятно. Теперь так редко массовые демократические организации учитывают задачи и нужды фронта, если быть откровенным, кроме крестьянских организаций, абсолютно лояльных и даже активно содействующих командованию фронта, других у нас нет. Чем могу служить? Садитесь, господа.

Сели.

Речь начал держать Дементьев:

— Мы, лояльная крестьянская организация фронта, хотим в своей работе принести посильную помощь фронту. Для того чтобы наша работа была продуктивной, а от на-

шей работы зависит настроение солдат фронта, среди которых девяносто пять процентов крестьян, надо, чтобы штаб фронта обеспечил нас средствами для работы.

— Что же вы конкретно просите? — осведомился Сытин.

— Помещение для комитета — раз, квартиры для членов этого комитета — два и отпуск пяти тысяч рублей на первоначальные организационные нужды — три.

— Немного, — протяжно произнес Сытин. — Начну с последнего. Пяти тысяч, конечно, генерал Щербачев отпустить не сможет. Я думаю, что вы должны жить на кредиты по сметам Всероссийского совета. Но аванс на развитие работы, так примерно, в сумме полутора-двух тысяч рублей, конечно, генерал Щербачев дать сможет. Помещение для комитета — вопрос более трудный. Вы знаете, как забиты Яссы. Здесь и королевский двор, здесь и Ставка фронта, масса эвакуированных жителей из городов, занятых немцами. Магазин какой-нибудь смогу дать.

— Мы имеем магазин, — ответил Дементьев, — но он малоудовлетворителен. Тесно, холодно. Наступает зима...

— Да, да, я понимаю вас, — перебил его Сытин. — Но я затрудняюсь сказать вам, где бы можно было найти лучшее помещение. Вы знаете, что все более или менее подходящие помещения заняты организациями, которые создались в период революции. Но мы вам так сочувствуем, что я прикажу коменданту штаба отыскать подходящее для вашей работы помещение.

Мы поблагодарили наклоном головы.

— Теперь насчет вашего размещения. Сколько вас, членов комитета?

— Одиннадцать.

— Вот видите, одиннадцать. Вы как же хотите, чтобы каждый имел отдельный номер?

— Если трудно дать отдельные, — сказал Дементьев, — то хотя бы один на двоих.

— Это упрощает вопрос. А, может быть, на первое время вы согласились бы пользоваться втроем одним номером? Я полагаю, что номера три-четыре мы сможем вам выкроить. К тому же, вероятно, не все члены комитета

будут постоянно налицо. Часть, вероятно, будет в командировках. Три номера я прикажу отвести в гостинице штаба фронта.

— Мало, нам надо по меньшей мере пять.

— Пока я смогу дать только три. Как только будет свободнее, мы вам еще дадим.

— А как же насчет первого вопроса?— спросил Дементьев.— Когда можно реализовать ваше сочувственное к этому отношение?

— Немедленно после моего доклада генералу Щербачеву.

— Когда это будет?

— Я сегодня буду с ним обедать и по этому вопросу поговорю. Ваш телефон, господа?

— Простите, господин генерал, мы упустили из виду, что нам и телефон крайне необходим.

— Да, это необходимая вещь. Я сейчас же сделаю распоряжение. Еще имеются вопросы?

— Больше нет, благодарим вас.

— Очень рад был с вами познакомиться.

Сытин встал из-за стола, протягивая нам по очереди руку.

На этом расстались.

На следующий день нам сообщили из комендатуры штаба, что для членов комитета отводятся три номера в центральной гостинице, что в дополнение к занимаемому нами помещению канцелярского магазина нам еще прибавляют магазин в этом же здании, через одну комнату, и, наконец, что генерал Щербачев согласился отпустить тысячу рублей авансом в счет тех кредитов, которые могут поступить из центра.

Итак, деньги есть, помещение есть, теперь надо, чтобы наш Центральный исполнительный комитет был признан в качестве самостоятельной фронтовой организации. Для этого надо поехать в Питер в Военное министерство и заручиться оттуда всяческим содействием, мотивируя тем, что Румынский фронт весьма отдален от Питера и без такой серьезной организации солдаты фронта обойтись не могут.

Большинство высказалось за необходимость поставить в Питере вопрос об отпуске средств, необходимых для ведения культурно-просветительной работы на фронте, с одной стороны, и для создания самостоятельной газеты «Солдат-крестьянин», с другой.

Кого послать?

Учитывая, что я уже бывал в Питере, знаком с работниками Крестьянского совета и просветительного отдела Военного министерства, единогласно постановили командировать меня.

Десятого октября, напутствуемый всяческими пожеланиями, заручившись местом в штабном вагоне, я выехал в Питер.

ГЛАВА XIV

ОКтябрьская революция

За Киевом, на одной из остановок неожиданно столкнулся с эшелоном 3-й дивизии. По распоряжению штаба главнокомандующего вся дивизия перебрасывается на Западный фронт в район Невеля.

Причины переброски дивизии солдатам неизвестны: имеется ряд предположений: первое, что дивизия должна подкрепить ослабевшие части Западного фронта; по другой версии — должна составлять резерв в тылу этого фронта на случай возможного наступления немцев на Петроград, и, наконец, последняя версия, чтобы с ее помощью удерживать питерский гарнизон от выступлений против Временного правительства. Каждая из версий имеет свое обоснование, но верного назначения дивизии никто не знает.

Приехав в Петроград, остановился в помещении Крестьянского совета, в комнате заведующего солдатской секцией Гвоздева. Настроение обитателей дома на Фонтанке, шесть растерянное. Все выбиты из колеи. В ряде комнат происходят вялые заседания различных комиссий.

Со дня на день ожидается выступление большевиков; по словам Гвоздева, имеются агентурные сведения, что скрывавшиеся Ленин и Зиновьев прибыли в Петроград,

находятся где-то в рабочих кварталах, подготавливая вооруженное восстание, намеченное будто бы на 20 октября.

По распоряжению президиума Крестьянского совета, весь наличный состав его членов вооружен револьверами; в самом здании совета установлено несколько пулеметов.

Наступило 20 октября. Холодный, студеный день. Заметно повышенное нервное настроение офицеров, солдат, рабочих, обывателей.

Однако никакого выступления не произошло.

— Очевидно,— говорил Гвоздев,— большевики не настолько сильны, чтобы выступить против Временного правительства с одним питерским гарнизоном. Фронт вряд ли поддержит выступление большевиков, особенно после только что закончившегося демократического совещания.

— А как настроены питерские рабочие?— спросил я Гвоздева.

— В Питере все за большевиками идут, но ведь Питер не вся страна.

Закончив свое дело по подбору литературы, переговорив в Военном министерстве об утверждении фронтового крестьянского совета, я решил вернуться на фронт, заехав в деревню. 27 октября, после двухдневного пребывания в деревне, отправился на станцию Епифань, чтобы двинуться в Яссы.

На станции узнал ошеломляющие новости: Временное правительство свергнуто, образован Совет народных комиссаров во главе с Лениным.

По всем телеграфным проводам передаются вести о совершившейся новой революции. Одновременно передавались воззвания остатков Временного правительства, руководителей Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Крестьянского совета и вместе с тем новые декреты нового большевистского правительства.

В Туле на вокзале на видных местах развешаны телеграммы. Совет народных комиссаров принял Декрет о земле: вся земля немедленно передается народу; декрет о новом правительстве, декрет об отношении нового правительства к войне.

Вписывается новая страница в историю.

Удержатся ли большевики? Хватит ли сил? Против них сейчас же поднимется злобный вой имущих и привилегированных. Удастся ли заключить мир, не вызвав новой войны с союзниками?

Каково мое отношение к перевороту? Сочувствую ли я большевикам? Их лозунги — лозунги трудящихся. Их требования — требования солдат.

Временное правительство, заключившее союз с буржуазией, не есть правительство революционных масс.

На фронт, в комитет! Фронт безусловно пойдет за большевиками!

Поезд доехал лишь до Курска. Дальше поезда не идут.

— Вот уже несколько дней,— говорят курские железнодорожники,— Киев не принимает поездов. В городе идут упорные бои и когда кончатся — сказать никто не может.

В течение двух суток вертелся на вокзале, пока, наконец, не пристроился к санитарному поезду, вызванному в Киев. Доехал до Конотопа, где поезд был вновь задержан.

Первый поезд пошел вне расписания, часто и подолгу стоял на станциях. В Нежине видел разгром большого винного склада. Винный склад, расположенный в полукилометре от железнодорожного вокзала, накануне был атакован населением при активной поддержке местного гарнизона. Охрана склада не выдержала, атакующие ворвались в склад и начали растаскивать водку. В течение суток уже происходило растаскивание водки и пьянство. Почти весь Нежин пьян.

С прибытием нашего поезда бабы стали таскать по вагонам корзины с бутылками водки, предлагая их по номинальной цене. Вскоре весь поезд был обильно снабжен водкой и в каждом купе началось питье.

— Первые ласточки новой революции,— говорили злобствующие пассажиры.— Сразу видно, что большевики власть взяли, немедленно же к царскому методу прибегли — народ спаивать.

— Да разве большевики спаивают? Громилы захватили склады, а обыватель торгует.

— Временное правительство не допускало подобных вещей.

— Да есть ли здесь большевики?

— А кто же, как не они, грабежом винного склада занялись?— шипели в вагоне.

После пятичасового стояния в Нежине направились дальше. Перед станцией Дарница поезд был остановлен большим воинским караулом, занимавшим эту станцию. В наш вагон одновременно с двух сторон вошли вооруженные красногвардейцы.

— Предъявите документы!— был громкий окрик.

Пассажиры потянулись за своими документами.

— У кого есть оружие, немедленно предъявить!

У меня оружия с собой не было. Подошедший ко мне красногвардеец, увидя перед собой офицера, обратился с вопросом:

— Где револьвер?

Я лаконически ответил:

— На фронте.

— Как офицер может быть без револьвера?

— Револьвер мне нужен на фронте, а не в тылу.

— Врете, покажите чемодан!

Грубость красногвардейца меня возмутила.

— Я представитель демократической революционной организации, и ко мне обращаться с грозными выкриками вы не смеееете.

— Ну, это мы посмотрим, что вы за демократическая организация!

Красногвардеец решительно рванул чемодан, который не был заперт, из него посыпались вещи. Убедившись, что револьвера в чемодане нет, красногвардеец, толкнув ногой чемодан под лавку, направился в соседнее купе.

— Ну, уж это безобразие!— возмущался я.— К представителю революционной фронтовой организации — и полное отсутствие доверия!

Ехавшая в купе молодая женщина, которая говорила перед этим, что едет к своему мужу в Киев, как-то нерешительно заметила:

— А ведь правы они. Сейчас так много разных «революционных» демократических организаций расплодилось,

что если каждому верить на слово, то, пожалуй, от нового правительства вскоре ничего не останется.

Я внимательно посмотрел на женщину:

— А вы, случайно, не большевичка?

— Нет,— рассмеялась она,— но я знаю, как представители разных демократических организаций на все корки честят большевиков.

Въехали в Киев. Задержался на вокзале, чтобы выяснить положение. Извозчиков перед вокзалом нет.

Из города доносится редкая ружейная стрельба. Неподалеку от вокзала на Фундуклеевской улице остатки баррикад, сооруженных из телеграфных столбов, из мебели, приращенной из прилегающих домов, из поваленных заборов. Проезд загроможден, и по улицам можно ходить только пешеходам; трамваи не ходят.

Далеко в город пойти побоялся, так как стрельба еще не стихла. На вокзале узнал: большевики победили Раду и сейчас вся власть в руках большевиков, которых поддержал Киевский гарнизон, особенно технические части, расположенные в окрестностях.

На вокзале и на платформе расклеены огромнейшие плакаты с декретами Совета народных комиссаров; воззвание от Киевского совета о том, что сопротивление контрреволюционной Рады сломлено, что Совет рабочих и солдатских депутатов взял власть в свои руки и железной рукой водворит порядок.

Поезда в Одессу не ходят, и, по словам коменданта станции, надо подождать не меньше двух дней, пока наладится регулярное движение. Переночевав на вокзале, утром отправился в город, занял номер в гостинице и, в сопровождении одного саперного офицера, с которым познакомился на вокзале, объехал главнейшие улицы, с любопытством смотря на те повреждения, которые здесь произошли в результате бывших здесь несколько дней подряд боев.

Крещатик, главная улица Киева, оправилась одной из первых. Уже на другой день на этой улице вновь ярко осветились витрины магазинов, открылись кафе, и публика лавой гуляла по широким тротуарам, как будто бы никаких боев и не было.

Зашел на вокзал, где узнал, что первый поезд на Одессу идет завтра, но на этот поезд такое огромное количество пассажиров, что достать билет нет никакой возможности, если не удастся получить специальное разрешение на проезд в штабном вагоне. Толкнулся к коменданту станции, которого застал за сдачей дел вновь назначенному от имени Совета рабочих и солдатских депутатов комиссару станции. Обратился к комиссару, рослому рабочему красногвардейцу:

— Я еду из Питера,— сказал я,— к себе в комитет на Румынский фронт, принадлежу к левым группировкам. Хотелось бы скорее попасть на место, чтобы информировать о положении дел здесь и в Петрограде.

Комиссар внимательно осмотрел мои документы, задал несколько вопросов о работе Крестьянского совета, о членах президиума, об отношении к Румчероду, и, очевидно, удовлетворившись моими ответами, сделал распоряжение предоставить мне место в штабном вагоне.

В вагоне народу немного, в него сажают лишь тех, кто вызывает доверие у комиссара станции, однако два купе заняты штабными офицерами, едущими на Румынский фронт из Ставки.

Когда публика в вагоне поуспокоилась и смогла рассмотреть друг друга, едущие из Ставки офицеры сообщили известные им подробности выступления большевиков в Петрограде. Поздней ночью 25 октября большевики повели наступление одновременно на нескольких пунктах, захватив телеграф, телефон, вызвали из Кронштадта крейсер «Аврора» и пошли захватывать Зимний дворец, в котором в это время заседало Временное правительство. Правительство успело вызвать верные ему части, главным образом юнкеров и женские батальоны, помещавшиеся в Михайловском замке. Юнкера и женские батальоны долго сдерживали наступление большевиков на Зимний дворец, но не выдержали.

При этом множество юнкеров было переколото, большое количество женского батальона перебито и сброшено в воду.

С «Авроры» из тяжелых орудий стреляли по Зимнему дворцу. Керенскому удалось бежать переодетым в Гатчину, откуда он связался со Ставкой, вызывая верные Временному правительству войска. Другие министры арестованы и посажены в Петропавловскую крепость.

В Ставку сейчас прибыли представители демократических организаций,— в частности Авксентьев, председатель предпарламента,— и ведутся разговоры об организации наступления на большевиков.

— Совнарком занимается тем, что пишет декреты,— издевались офицеры,— рассылает воззвания «всем, всем, всем»...

Штабные офицеры большие надежды возлагают на Корнилова, сумевшего освободиться из-под ареста и спокойно убежать на Дон.

Прибыл в Яссы ночью. Разбудил наличный состав членов комитета и рассказал им о том, что видел и слышал.

— В Яссах полное спокойствие,— начал рассказывать Дементьев.— По радио, а потом из одесских газет мы узнали о захвате власти большевиками. Ставка фронта опубликовала сообщение, что не признает нового правительства и впредь до восстановления Временного правительства будет исполнять лишь распоряжения, идущие от штаба Верховного главнокомандующего — генерала Духонина, что декрета о ведении мирных переговоров не признает и по-прежнему будет идти в полном единении с союзниками. Румчерод в свою очередь не признает Совнаркома, называет большевиков авантюристами и захватчиками. В армиях против большевиков репрессии усилились. Но это ненадолго. Солдаты жаждут мира. У нас внутри кавардак. Свешников и Курдюмов на стену лезут, что большевики арестовали Временное правительство.

Тут же, ночью, разгорелись ожесточенные споры.

Я и Дементьев настаивали на том, чтобы немедленно сделать публичное заявление, что мы присоединяемся к новой революции и признаем Совет народных комиссаров. Антонов, Курдюмов и другие были резко против. Под утро уже к нам присоединились Сергеев, Сверчков и Свиридов, однако большинства не было.

Отложили прения на следующий день, причем мне поручили составить обращение к солдатам-крестьянам по поводу Декрета Совнаркома о земле.

На другой день я зачитал проект письма к дивизионным солдатским крестьянским организациям.

В этом письме я указывал, что свергнутое Временное правительство восемь месяцев водило за нос трудовое крестьянство посулами о земле. Связанное коалицией с буржуазией Временное правительство во главе с Керенским сознательно стремилось оттянуть взятие земли от помещиков, ибо надеялось, что Учредительное собрание выкупит землю.

Новое правительство — Совет народных комиссаров — учло стремление крестьян и немедленно издало декрет об отобрании земли от помещиков. Заканчивалось письмо словами: «Да здравствует Совет народных комиссаров!»

После ожесточенных споров мой проект письма был принят, за исключением последней фразы.

Из Петрограда идут непрерывные радиogramмы с различными сведениями. «Роста» сообщает о ходе переговоров между большевиками и созданным Комитетом общественного спасения во главе с Авксентьевым. Переговоры в ближайшие дни закончатся организацией Социалистического правительства от трудовиков до большевиков включительно. В переговорах участвуют профессиональные организации железнодорожников — Викжель, который, в свою очередь, рассылает свои радиogramмы с требованием призвать к порядку захватчиков и насильников, с требованием вывести Ленина из Совнаркома, выдвигая на пост председателя правительства Чернова.

Всероссийский крестьянский совет, в свою очередь, пишет радиogramмы «всем, всем, всем». И так со всех сторон: «всем, всем, всем» летят информации, одна противоречивее другой, запутывая и без того запутанное представление о том, что творится в Петрограде.

Союз офицеров при Ставке, в свою очередь, выступил с воззваниями о деянии фронта и об отпоре новому правительству.

В Румчереде растерянность.

Фронтальная секция Румчерода постановила организовать Революционный комитет для согласования действий революционной демократии на фронте. В состав Революционного комитета вошел представитель фронтальной секции Румчерода Лордкипанидзе, еще несколько эсеров, меньшевиков и представитель командования — дежурный генерал Сытин.

В армиях, в свою очередь, образованы революционные комитеты, выдвинутые из состава армейских комитетов, с включением в эти ревкомы представителей командования.

К нам в Румкомкрест непрерывно прибывают делегаты из войсковых частей с вопросами, — что происходит в стране и как себя держать солдатским организациям на фронте. Одни настроены враждебно к большевикам, другие, наоборот, примирительно, указывая, что теперь с быстротой приближается время заключения мира.

От военных министров Крыленко и Антонова-Овсеенко поступила радиogramма, предлагающая солдатским организациям непосредственно завязать мирные переговоры с немецкими фронтальными организациями. В противовес им рассылает свои радиogramмы Ревком, приказывая не вступать в сепаратные переговоры с немцами. Однако почти в каждой дивизии начались стихийные переговоры о мире с немецкими солдатами.

Катавасия идет по всем линиям. Никто ничего не понимает. Развал на фронте полнейший. Каждый комитет действует самостоятельно. Распоряжения фронтальных органов местными комитетами совершенно игнорируются.

Румкомкрест решил издавать свою газету. Пожертвования, на которые существует комитет, из войсковых частей идут в изобилии. Мы имеем уже около двадцати тысяч рублей солдатских средств на текущем счете. Стали разыскивать бумагу и типографию. Увы, типографии Ясс целиком загружены штабными работами и Румчеродом, для нас ничего не остается. Получить бумагу в Яссах тоже нет никакой возможности.

В самих Яссах жизнь течет как будто нормально. Примакающие непосредственно к штабу фронта мелкие части

настроены антибольшевистски, но зато специальные инженерные части, помещающиеся в местечке Сокол, километрах в двенадцати от Ясс, своими действиями показывают свое сочувствие большевикам. Убрали из комитета эсеров и меньшевиков, поставили вопрос о выборности командного состава и уже как будто назначили своего командира.

Румынские части в строгой дисциплине. Офицеры их держат себя чрезвычайно нахально по отношению к русским солдатам; часто демонстративно на глазах русских безобразничают над солдатами-румынами.

Как-то в кафе, наблюдая за публикой, поглощающей в изобилии пиво, мы увидели несколько солдат-румын, занимавших в укромном уголке столик, на котором стояло несколько кружек пива. В это время в кафе зашел румынский офицер, расположившийся неподалеку от нас. Заметив присутствие румынских солдат, он вскочил из-за стола, быстро подошел к солдатам, резко спросив на французском языке, — какое они имеют право находиться в кафе в присутствии офицера. Солдаты вытянулись в струнку. Не слушая их объяснений, офицер начал, не стесняясь нашим присутствием, избивать солдат. Мы с Дементьевым бросились к их столику:

— Как вы смеее бить?

— Это не ваше дело. Вы распустили свою сволочь...

— А мы не допустим, чтобы румынская сволочь била румынского солдата!

Схватили румынского офицера за шиворот, подтолкнули к двери и надавали ему тумаков.

Продолжаем оставаться в кафе. Избитые солдаты-румыны подошли к нам с выражениями признательности за защиту, предупреждая при этом, что убежавший офицер, вероятно, вскоре придет с патрулем.

— Ну, нам-то они ничего не сделают, а вот вам, пожалуй, целесообразнее уйти.

Солдаты ушли.

Минут через пятнадцать ворвалась ватага румынских офицеров, человек восемь во главе с выгнанным нами. Вся эта ватага направилась к нашему столику.

— Солдаты, к нам! — закричал Дементьев.

Вокруг нас образовалось плотное кольцо из наших солдат.

— Вы были свидетелями, как эта румынская сволочь била своих солдат, так же в свое время наши офицеры били вас. По шапке их!

Достаточно было этого сигнала, чтобы наши солдаты изрядно поколотили румын.

На 2-м Всероссийском крестьянском съезде борются два предложения: Авксентьева — что крестьянские советы должны быть самостоятельными организациями, верными решениям демократического совещания, и другое — Спиридоновой и Камкова — о том, чтобы крестьянские советы составили секции Всероссийского совета рабочих и солдатских депутатов и голосовали доверие Совнаркому.

— Голосуйте за секции, за доверие Совнаркому,— ответил я по прямому проводу нашим делегатам на съезде, Курдюмову и Крюкову.

Ежедневно продолжается непрерывный поток радиogramм, противоречащих одна другой:

«Большевики свергнуты, власть перешла в руки комитета Общественного спасения». «Ленин и Троцкий ушли в отставку. Председателем Совета министров назначен Чернов». «Образовано единое социалистическое правительство от эсеров до большевиков включительно». «Дело формирования правительства перешло в руки земских и городских организаций». «Викжель объявляет всеобщую забастовку, если Ленин и Троцкий не уйдут из правительства». «Викжель приступил к формированию социалистического правительства из представителей всех социалистических и общественных организаций». «Фронты не признают большевистского правительства». «Северный фронт полностью переходит в наступление на Петроград». «Западный фронт арестовал большевистских комиссаров». «В Ставке арестован большевистский Главковерх Крыленко». «Украинская Рада отделилась от России, образовав самостоятельное правительство». «Союзники отказались вести переговоры

с большевиками». «Немцы не приняли большевистского предложения о мире» и т. д., и т. д., и т. д.

Во фронтовых секциях Румчерода продолжает царить растерянность. Наш комитет, в свою очередь, растерян, не имеет полного единодушия.

15 ноября в Румкомкресте неожиданно собралось большое количество представителей наших крестьянских советов из дивизии и корпусов. Воспользовавшись этим, устроили совещание об отношении к власти большевиков. Собрание открыл Свешников.

— Наша крестьянская организация,— говорил он,— не может остаться безучастной к происходящим событиям. Мы, как крупная фронтовая организация, должны выявить свое отношение к большевистскому правительству, которое, надо полагать, у нас будет определенно отрицательное.

Но Свешников ошибся. Прибывшие представители дивизии, заслушав мою речь, заговорили совсем другое. Первым выступил представитель технических войск из Сокольского гарнизона (под Яссами).

— Наша организация должна безоговорочно признать правительство большевиков,— сказал он.— Временное правительство все время болтало и тянуло, не разрешая вопроса о земле и мире. Большевиками же, в первый день их прихода к власти, был сразу издан Декрет о земле, удовлетворяющий крестьянство. Также немедленно они приняли меры к заключению мира, для прекращения этой бесплодной бойни. Я предлагаю,— говорил он, заканчивая свою горячую речь,— присоединиться к Ленину, вынести постановление о признании большевиков и о поддержке их.

Прения затянулись до глубокой ночи. Почти все без исключения прибывшие с фронта солдаты указывали на необходимость поддержки большевиков и требовали активного вмешательства во внутреннюю жизнь фронта.

— Образовались ревкомы,— говорили делегаты с мест,— во всех армиях, корпусах и дивизиях. Казалось бы, ревкомы должны поддерживать революцию. На самом деле эти ревкомы включили в свой состав представителей генералитета и на деле поддерживают контрреволюцию.

Дементьев в конце заседания, в свою очередь, выступил с резкой речью, призывая к немедленному признанию и поддержке большевиков.

— Посмотрите,— говорил он,— что делается у нас в Яссах, кто заседает в ревкомах. Правый эсер Лордкипанидзе вместе с генералом Сытиным. Посмотрите, какое отношение генералитета фронта, очевидно, при молчаливом согласии Румчерода, к нашей организации. Мы до сих пор не можем получить приличных помещений, ютимся в холодном магазине,— не можем организовать своей газеты.

В результате двенадцатичасовых бурных прений комитет принял предложение Дементьева признать большевистское правительство, подчиниться всем его распоряжениям и оказывать ему полную поддержку.

На следующий день Лордкипанидзе, встретившись со мной в столовой Румчерода, иронически заметил:

— Итак, ваша крестьянская организация поддерживает линию своих идеологов — эсеров?

— Поддерживает,— не менее иронически ответил я.

За обедом заговорил с Лордкипанидзе о положении дел на фронте.

— Все армейские комитеты и образованные при них ревкомы,— говорил Лордкипанидзе,— целиком стоят на стороне Временного правительства. Очевидно, что большевистская авантюра в ближайшие дни будет ликвидирована.

— Так ли, товарищ?— возразил я.— Не далее как вчера бывшие у нас в комитете делегаты из дивизий утверждали совершенно обратное: нет ни одной дивизии, которая поддерживала бы Временное правительство и которая хотела бы продолжать войну. Все солдаты ждут часа бросить винтовку и покинуть окопы.

— Шкурники, конечно, есть,— ответил Лордкипанидзе.— Но я говорю не об этих отдельных шкурниках, а о лучшем цвете армейской общественности, представленной в комитетах и ревкомах.

— Какую цель преследуют ревкомы, в частности фронтовой ревком, председателем которого вы являетесь?— спросил я своего собеседника.

— Поддержать порядок на фронте, не допускать разложения армии от большевистской агитации, которая за последнее время развивается особенно интенсивно, и поддержать на должной высоте авторитет командования, без чего мы не сможем заключить почетного мира. Вы должны понимать, как член фронтовой организации,— продолжал он,— что мы связаны с нашими союзниками и сепаратное выступление из войны обратит против нас союзников. Большевики не понимают, что, оканчивая войну с немцами, им сейчас же придется столкнуться с новой войной, войной с союзниками.

— Не думаю, чтобы союзники были настолько сильны, чтобы сейчас же повести войну против нас. Да и где они ее поведут?

— Как где? — возмутился Лордкипанидзе.— Англичане могут немедленно высадить десант в Архангельске, французы — в Одессе, японцы — на Дальнем Востоке.

— Располагают ли они силами для таких десантов, коль скоро немцы продолжают быть сильными, а отозванные войска с нашего фронта обрушатся на фронт союзников?

— Немцы находятся накануне истощения, и отозвание войск с Румынского фронта не особенно их усилит на Западном. К тому же с тех пор, как началась наша революция, началось, с легкой руки большевиков, братание,— немцы свои главные силы уже успели перебросить на Западный фронт. Здесь же лишь держат заслон.

— Не очень я сведущ в политике,— говорил я,— но думаю, что с наступлением зимы солдаты все равно потянутся на родину и фронт окажется голым. Вам, вероятно, неизвестно, до каких громадных размеров дошло дезертирство.

— Мне известно одно,— со злобой ответил Лордкипанидзе,— что дезертирства на Румынском фронте почти нет.

— Вероятно, лишь потому, что далеко до России и, кроме того, поставлены заслоны из румынских частей.

— Нет, наша организация поддерживает в войсках соответствующие настроения.

Фронтальная секция Румчереда немногочисленна — пятнадцать-двадцать человек. Главные силы ее в Одессе. Среди них нет ни одного большевика, от которого можно было бы информироваться. Есть один интернационалист. Это — Виноградов, прапорщик, бледная личность. Главным заправилкой является Лордкипанидзе, выставленный в списках эсеров первым кандидатом в члены Учредительного собрания.

Ревком обратился с рядом воззваний к фронту, в которых выступление большевиков характеризуется как удар в спину революции.

По радио узнали, что Верховным главнокомандующим назначен прапорщик Крыленко. В приказе по фронту это назначение не публикуется. Штаб фронта исполняет распоряжения начальника штаба Верховного главнокомандующего Духонина.

Нужно сказать, что Румынский фронт весьма оторван от жизни центра. Информация доходит чрезвычайно медленно и слабо. Благодаря сильной цензуре в нашем распоряжении лишь сообщения правых группировок, а действительное положение вещей приходится узнавать от приезжающих из командировок и частично из одесских газет, которые попадают опять-таки чрезвычайно редко.

По поручению комитета я отправился к генералу Щербачеву, чтобы лично переговорить с ним о предоставлении нашему комитету соответственных условий для его работы, в частности об отпуске бумаги и типографии для газеты.

Щербачев занимает небольшой особняк в центре Ясс. Около особняка охрана из жандармов. Прежде чем пропустить меня в помещение, один из жандармов ознакомился с моими документами, затем вызвал из внутренних покоев швейцара, тоже жандарма, и последний провел меня в приемную комнату, где, оставив меня под наблюдением присутствовавших в приемной двух жандармов, пошел докладывать о моем приходе в кабинет к Щербачеву.

Минут через пять ввел меня к Щербачеву. В просторном кабинете, заставленном мягкой кожаной мебелью, за большим письменным столом сидел Щербачев, небольшого роста, с проседью, умными темными глазами, пылливо

рассматривающими посетителя. Щербачев тихим голосом спросил о цели моего прихода. Я изложил, что наш комитет нуждается в помещении, что на протяжении почти месяца не можем добиться условий для издания газеты.

— Вряд ли я могу быть вам полезен, поручик,— сказал Щербачев.— Яссы переполнены всякого рода организациями, которых наплодилось весьма много, что увеличивает и без того острый жилищный кризис. Самое большее, что я могу для вас сделать, это — попросить Ивана Ивановича (генерала Сытина), чтобы вам предоставили просимое, если это не в ущерб фронту. Скажите, ваш комитет находится на какой позиции?

— Здесь, в Яссах, господин генерал, а не на позиции,— ответил я, не поняв вопроса.

— Ну, на какой платформе?— рассмеялся Щербачев.

— На крестьянской, господин генерал. Мы стоим за то, чтобы крестьяне немедленно получили землю от помещиков, и притом без всякого выкупа.

— Так что же, вы хотите пустить по миру помещиков?

— Зачем по миру? У них достаточно средств для того, чтобы они могли существовать, а, кроме того, по своему культурному уровню они могут занимать ту или иную службу.

— Вы очень упрощенно смотрите, поручик. Нигде, ни в одной стране ни одна приличная партия не ставила так вопрос, чтобы грабить одну часть населения для другой части.

— Но ведь нигде нет таких условий и таких взаимоотношений между помещиками и крестьянами, как в нашей стране, господин генерал.

— Ну, а как к большевикам вы относитесь?

— Мы располагаем чрезвычайно слабой информацией о том, что делается в Петрограде, если же судить о настроении солдат-крестьян, находящихся на позиции, то отношение безусловно сочувственное.

— К гибели ведут большевики. С ними нужна отчаянная борьба. Я считаю, что стою во главе фронта, который единодушно осуждает большевиков. Я горжусь тем, что на моем фронте общественные организации идут рука об руку

с командованием и что наш Румчерод обладает высокой государственной мудростью. Итак, — закончил Щербачев, — я скажу генералу Сытину о вашей просьбе.

На другой день мы получили ордер на предоставление под редакцию двух номеров в центральной гостинице, отведенной румынскими властями для русских офицеров.

Большая комфортабельная гостиница, заселенная преимущественно штабными офицерами. Большинство штабных офицеров живут с женами.

В десять утра номера пустеют, ибо офицеры расходятся по своим канцеляриям. Остающиеся в них жены продолжают спать до часу-двух дня. Затем начинается шарканье туфель по коридору. Сидят группами около ванной и уборных комнат. Горничные разносят кофе. К четырем часам возвращаются со службы мужья. Два-три часа тишины. С семи-восьми вечера офицеры собираются по номерам. Из ряда комнат несется музыка и пение. По коридорам снуют лакеи с подносами вин, и лишь к трем часам ночи наступает тишина с тем, чтобы на следующий день с семи-восьми часов началось то же самое.

Вернулся со Всероссийского крестьянского съезда Курдюмов. Он привез мне удостоверение из культурно-просветительного отдела Военного министерства о том, что я назначаюсь уполномоченным Военного министерства по ведению культурно-просветительной работы на Румынском фронте.

На заседании комитета Курдюмов подробно доложил о Крестьянском съезде и съезде Совета рабочих и солдатских депутатов. Крестьянский совет, как самостоятельная организация, ликвидируется. Взамен будет крестьянская секция при Совете рабочих и солдатских депутатов, в связи с чем последний переименован в Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Во главе крестьянской секции Спиридонова, президиум секции сплошь из левых эсеров.

— Мы установили, — говорил Курдюмов, — что Авксентьев определенно контрреволюционная личность. Все правые эсеры заняли такую непримиримую позицию по отношению к большевикам, что это вызвало раскол съезда и его наиболее революционная часть во главе с левыми

эсерами перешла на сторону большевиков. Петроградский гарнизон, петроградские рабочие целиком на стороне Совета народных комиссаров.

По докладу Курдюмова мы приняли постановление о безусловной поддержке Совета народных комиссаров.

В первую очередь я решил поехать в Батушаны, где расположен штаб 9-й армии.

До Батушан шестьдесят километров по прекрасной шоссейной дороге. Выехал на штабном автомобиле (оказия) в восемь часов утра. Стоял чудный солнечный день, напоминающий у нас в Центральной России август. По дороге внимательно разглядывал деревушки. Мне раньше представлялось, что крестьянское население Румынии живет в гораздо лучших условиях, чем русские крестьяне. Впечатление, однако, получилось совершенно обратное. Деревушки крайне убоги. Маленькие полуразвалившиеся хаты из глины, в одно-два окна. Большинство без труб. Надворных построек почти нет, что указывает на отсутствие скота. Встречные жители поражали своим нищенским одеянием и забитым видом.

Ехавший со мной офицер Генерального штаба сказал:

— Вот русские мужики недовольны своей жизнью, а если бы они посмотрели, как живут румынские, то убедились бы, что по сравнению с румынским мужиком русский живет крѐзом.

— А чем вы объясняете, господин полковник, такое резкое различие между русской и румынской деревней?

— Русская деревня больше пятидесяти лет как стала свободной, а в Румынии до сих пор сохранились феодальные отношения с помещиками, и крестьяне здесь находятся на самой низшей ступени развития.

— Ну, в этом отношении и у нас не все благополучно. Если нет формального феодализма, то по существу он сохранился. Достаточно вам напомнить фразу чеховской пьесы, что мужику куренка некуда выпустить.

— Есть, конечно, такие отношения и в России, но, повторяю, русский мужик значительно богаче и значительно свободнее, чем румынский.

Батушаны — небольшой городок, утопающий в зелени. По своей архитектуре здания совершенно не походят на здания подобных русских городов. Значительно красивее.

Я направился в армейский комитет, помещающийся в военных казармах. Налицо был лишь один дежурный член, солдат, эсер.

Узнав о цели моего прихода и о том, что я являюсь уполномоченным культурно-просветительного отдела Военного министерства, он добродушно рассмеялся:

— Поздно хватилось Военное министерство просвещать солдат. Большевики достаточно просветили. Идиотство думать, что сейчас можно ставить какую-то культурно-просветительную работу. Солдаты только о том и думают, как бы скорее бросить винтовку и отправиться домой. Приказы по радио и воззвания о том, чтобы вести непосредственно мирные переговоры, окончательно добились фронт.

— Меня информировали в штабе фронта,— сказал я,— что положение в армии устойчивое. Армейские комитеты работают непрерывно, солдаты их слушаются, и ни о каких демобилизационных настроениях и речи якобы нет.

— Сволочь там в Яссах сидит. В каждой дивизии столкновения с командным составом. наших распоряжений не слушают. Большевики точно из-под земли вынырнули. Нет ни одной роты, в которой не оказалось бы теперь большевика. Их только в штабе армии нет да во фронтовом комитете. Нет армии, позиции нет, сплошное братание.

— Если положение таково,— говорю я,— то почему вы не ставите вопроса о принятии мер к немедленному заключению мира?

— Ни армейские штабы, ни лидеры наши не понимают этого. Они питаются благодушными сводками из штабов.

— А как комсостав ваш настроен?

— Как в Февральскую революцию относились к эсерам и к революции вообще, так теперь относятся к большевикам и к максималистам.

Во время разговора в комнату вошло несколько солдат, прибывших из частей.

— Товарищ Андреев,— обратились они к дежурному члену комитета,— у нас черт знает что делается. Штаб дивизии

арестовывает большевиков, и не только большевиков, но и всякого, кто заявит о том, что пора кончать войну. Артиллеристы стреляют по братающимся нашим цепям.

— Солдаты артиллеристы?— спросил я.

— А кто ж их знает. Говорят, что не столько солдаты, сколько офицеры.

— А чего же вы их не возьмете в оборот?

— Вот видишь, товарищ,— обратился ко мне Андреев,— а ты тут с культурно-просветительной работой.

— А где Керенский?— обратился один из солдат к Андрееву.

— А черт его знает! Сбежал, сволочь...

— Так ведь он ваш вождь. Соловьем разливался: «единение с союзниками», «война до победного конца», «ждите Учредительного собрания».

— Мы, товарищи, на Керенского не ориентируемся,— заявил Андреев.— Керенский сыграл свою роль. Он был хорош во время Февральской революции, а потом продался буржуазии. Если бы раньше Керенского по шапке турнули, то, может быть, теперь уж демократическая республика была бы. Я не знаю, верно ли,— продолжал Андреев,— но сдается мне, что выступление Корнилова было не без его участия.

— Конечно, заодно,— подтвердили солдаты.— Ясное дело, как это мог выступить Корнилов, не рассчитывая на поддержку. Эх, попади они к нам, разделались бы с ними!

— Ну, уж теперь он не попадет. Если смог 25 октября удрать, то теперь рассчитывать на его возвращение трудно.

«Да, действительно, опоздал с насаждением библиотечной сети»,— подумал я и, распроставшись с Андреевым, отправился к ожидавшему меня автомобилю.

Курдюмов, как избранный в члены крестьянской секции Всероссийского совета, собирается уезжать в Петроград. Решил проводить товарища. Вечером Курдюмов, Антонов, я и Свешников пошли в кафе, в котором по вечерам пиво.

Кафе до отказа набито посетителями, среди которых нет ни одного офицера. За соседним с нами столиком помещается группа солдат, один из них с четырьмя Георгиевскими крестами и медалями. Он с таинственным видом шепотом рассказывал что-то своим собеседникам, при этом несколько раз осторожно оглядывался в нашу сторону.

Услышав наш разговор о Петрограде, о моей поездке в Батушаны, об отъезде Курдюмова, солдат — георгиевский кавалер — сделал несколько попыток вмешаться в наш разговор. К концу вечера, когда в зале уже порядком поредело, казак подошел к нашему столику и, наклоняясь близко к нам, произнес:

— А ведь Лавра Григорьевич спасся!

— Какой Лавра Григорьевич?— недоумевающе посмотрел я.

— Корнилов,— шепотом произнес казак.— Убежал. Сейчас на Дону. Можно мне сказать вам несколько слов?— продолжал так же таинственно казак.

Мы заинтересованно кивнули головой.

— На Дону Лавр Григорьевич собирает армию, чтобы пойти против большевиков. Он разослал во все гарнизоны и города своих людей для записи желающих служить в его армии, притом принимает только офицеров и казаков. Разрешите мне с вами по этому поводу поговорить.— Оглянувшись по сторонам, казак еще более приблизил свое лицо к нашим.— Моя квартира при комендатуре штаба фронта. Может, зайдете?

Я толкнул ногой Курдюмова.

— Зайдем,— сказал Курдюмов.— А когда?

— Да хотя бы сегодня.

— Сегодня уже поздно. Завтра с утра.

— Только пораньше. Мы с вами сможем и документ соорудить, чтобы спокойно добраться до Дона. Так я жду вас.

С этими словами казак вернулся к своему столику.

Мы продолжали вести начатый разговор, не желая показать казаку отрицательное к нему отношение. Вернувшись в номер, собрали живущих в предоставленных но-

мерах членов Румкомкреста, рассказали им о разговоре с казаком.

— Застрелить надо сукина сына!— заговорил первый Дементьев.— Сволочь, открыто вербует монархическую армию!

— Как ты его застрелишь, когда он живет при комендатуре штаба?— сказал Курдюмов.— А вот Румчерод об этом осведомить надо.

Утром пошли в Румчерод, чтобы поговорить с Лордкипанидзе, но его не застали. Собравшиеся другие члены Румчерода со вниманием выслушали наше сообщение и предложили немедленно поставить этот вопрос на заседании Ревкома.

— Мы хотели бы присутствовать на этом заседании,— внес я предложение.

— Это, товарищи, не обязательно. Ревком достаточно авторитетная политическая организация, чтобы принять должные меры.

Ревком принял меры. Он написал официальное представление командующему фронтом о том, что в Яссах генерал Корнилов через своих агентов вербует добровольцев в армию для борьбы с большевиками, и просил генерала Щербачева принять меры к прекращению подобной вербовки.

Выборы в Учредительное собрание на Румынском фронте прошли вяло. В самых Яссах даже незаметно. В Яссах прошел список эсеров. Наш комитет не принимал никакого участия в выборах.

Дементьев стал стопроцентным большевиком. Антонов, Сергеев и Святенко высказывают симпатии к левым эсерам. Свешников держится линии эсеров центра, возглавляемого Черновым.

Сведения с фронта и письма от членов советов, работающих в дивизии, указывали, что на фронте развал усугубляется, что в целом ряде мест ревкомы переизбраны, во главе новых поставлены сочувствующие большевикам, и в этих частях новые ревкомы захватили власть в свои руки,

сохранив за командованием чисто технические функции. Ни один приказ командования не имел силы без утверждения его со стороны большевистского ревкома. Но в самих Яссах штаб фронта продолжал работать в полном единении с ревкомом и давал сводки в печать, характеризующие положение на фронте как благополучное.

ГЛАВА XV

В КИШИНЕВЕ

В Яссах нет никакой физической возможности не только издавать газету, но даже развернуть работу комитета. В связи с этим единогласно постановили перевестись в Кишинев.

Кишинев — небольшой город, являющийся центром Бессарабской губернии, знаменитый бывшими в Кишиневе еврейскими погромами, организовывавшимися не менее знаменитым черносотенцем Крушеваном. Население по преимуществу евреи и молдаване. Русские — главным образом военные.

Несколько дней с ворохом ордеров обходили дома обывателей в поисках удобных комнат и в конце концов не смогли получить ни одной комнаты, ибо владельцы квартир старались лучшие комнаты сохранить за собой, предлагая нам исключительно проходные. Представитель городской управы не мог противостоять саботажу владельцев квартир и покорно соглашался с их заявлениями, уводя нас из одной квартиры в другую.

Вот пример одного из обходов. Особняк комнат в восемь-десять. Семья владельца из четырех человек. Прекрасные, богато обставленные комнаты. Непроходные комнаты заняты по одному человеку. Огромные проходные комнаты — гостиная, столовая, зал — предлагались нам, при этом предупреждали, что через эти комнаты будут ходить владельцы и тем самым нас стеснять.

Совершенно открыто была видна насмешка хозяев. Мало того, как только мы, было, решили с Антоновым занять большую гостиную с большим количеством мягкой

мебели и двумя кожаными диванами,— хозяйка отозвала представителя городской управы для переговоров в другую комнату. Вернувшись оттуда, он заявил, что неудобно стеснять хозяина, который является членом городской думы.

Потеряв совершенно бесплодно два дня, мы в конце концов решили остановиться в гостинице, под которой помещается как раз и типография, ранее принадлежавшая Крушевану.

В гостинице было несколько свободных номеров, мы их заняли как бы за плату, но в тот же день отправились в городскую управу, прося выдать ордер на занятые номера. Там долго с нами торговались, указывали, что номера гостиницы реквизиции не подлежат, что мы должны, если хотим там жить, договориться с владельцем гостиницы.

— Нам, как военным, полагаются квартирные деньги,— заявили мы,— и по городу Кишиневу должны, вероятно, платить не менее двадцати-двадцати пяти рублей.

— Мы согласны вам выдать деньги,— сказали в городской управе,— но только вы сами сговоритесь об оплате номера.

Пошли к владельцу гостиницы.

Владелец гостиницы, он же владелец бывшей Крушевановской типографии, Вулкамич, согласился на наше предложение, попросив лишь выдать ему доверенность на получение от городской управы причитающегося нам дровяного пайка.

Создали редакционную коллегию,— председатель Свешников, я его заместитель. Связались с «Роста» и Советом рабочих и солдатских депутатов.

На имевшиеся деньги купили триста пудов бумаги, заключили договор с Вулкамичем на печатание газеты в его типографии и стали готовить первый номер.

Свешников через день уехал на родину, вызванный оттуда телеграммой. Мне пришлось самому писать передовую статью на злобу дня, составлять информации из телеграмм, собирать хронику местной жизни, получая данные от местного Совета, направлять весь этот материал в типографию, присутствовать при наборе, корректировать гранки и выпускать номер.

Сил на ежедневную газету не хватало. Решили ограничиться тремя номерами в неделю.

Какое было большое удовлетворение, когда появился первый номер газеты «Солдат-крестьянин»!

В Кишиневе тишина. Находишься как будто в весьма отдаленном тылу, в котором не чувствуются революционные и фронтовые события. Работа местных советских организаций протекает в этой кишиневской тишине также незаметно. Гарнизона почти не видно, да и не велик он, всего один запасный батальон и два автомобильных отряда, обслуживающие санитарные учреждения. Совет рабочих и солдатских депутатов целиком в руках эсеров и немногочисленных меньшевиков. Во главе Совета стоит солдат эсер, вернувшийся из ссылки после Февральской революции.

Президиум совета заверил нас, узнав, что мы крестьянская организация, что с его стороны будет оказано всяческое содействие культурно-просветительной работе, в частности изданию газеты. Из больших событий мы отметили, что в Кишиневе на ближайшее время назначена конференция большевиков Румынского фронта.

— Напрасно мы дали согласие устраивать конференцию на нашей территории, лучше было бы, если бы они созывали в другом месте,— говорили некоторые руководители совета.

— Что ж такого, что на нашей территории,— говорили другие,— у нас большевистских настроений нет. Население спокойно, рабочих у нас мало, а за большевиками идут главным образом рабочие и солдаты.

Малочисленность Кишиневского гарнизона способствовала спокойному настроению совета.

— Как вы относитесь к большевикам?— спрашивал я.

— Безусловно отрицательно. Они своим выступлением и захватом власти предают дело революции.

В первых числах декабря состоялась конференция большевиков. На эту конференцию я отправился вместе с прапорщиком Святенко, причем последний должен был приветствовать большевиков от имени нашей крестьянской

организации, я же, как занятый исключительно редакционным делом, пошел с информационными целями.

Конференцию открыл Юдовский, лидер большевистской фракции одесского Румчерода. Он произнес речь о создавшемся положении в связи с захватом власти большевиками, о настроении и положении Румынского фронта. Призывал в заключение порвать с меньшевиками-интернационалистами, с которыми у фронтовых большевиков на почве выборов в Учредительное собрание был блок.

Конференцию пришел приветствовать, кроме нашей крестьянской организации, и представитель местного Совета, который в своем приветственном выступлении подчеркнул необходимость единения революционной демократии.

Почти одновременно происходила конференция эсеров Бессарабской губернии. На эту конференцию я не пошел, и на заседании комитета было постановлено никого с приветствием не посылать.

Чтобы окончательно оформить отношение фронтовых и войсковых крестьянских организаций к происходящим событиям, мы решили созвать на 15 декабря фронтовой съезд Советов крестьянских депутатов. В повестке дня: 1) Текущий момент. 2) Отношение к новому правительству. 3) Отношение к войне.

Кишиневская тишина, не прекращавшаяся и после нашего приезда, неожиданно нарушилась. Сидя утром в помещении комитета, выбирая телеграммы для очередного номера «Солдата-крестьянина», я был оторван от моих занятий вошедшим небольшого роста коренастым матросом, у которого на фуражке было написано «Аврора»!

— Здравствуйте, товарищ! — обратился он ко мне.

— Здравствуйте. Садитесь. Чем могу быть вам полезным?

— Да так, иду мимо вашего дома, вижу вывеску «Румкомкрест» — дай, думаю, зайду.

— А вы откуда, товарищ, из Одессы?

— Нет, из Петрограда.

— Из Питера!— обрадовался я, чувствуя, что получу интересную информацию для своего номера.

— Да, из Питера,— повторил он.— И вот мой мандат. Матрос протянул мне бумагу.

Совет Народных Комиссаров. Дано сие матросу Ивану Петровичу Климову в том, что он является полномочным представителем Совнаркома — коим командирруется эмиссаром в город Кишинев для образования там советской власти. Всем советским и общественным организациям предлагается оказывать т. Климову всяческое содействие в возложенном на него поручении.

Председатель Совнаркома Ленин.

— Так, значит, вы вроде комиссара будете по Кишиневской губернии?

— Да, примерно так. А у вас тут как дела идут?

— Да спокойно, тихо.

— Что же, революции нет еще?

— Нет.

— В Совете рабочих депутатов кто?

— Эсеры, разумеется.

— А гарнизон?

— Гарнизон здесь слабый. Один запасный батальон под влиянием эсеров да два санитарных автоотряда.

— Гарнизон-то, пожалуй, наш будет,— произнес Климов.— А в запасном полку много солдатни?

— Не особенно, разбредаются понемногу.— Вы, может, закусить хотите с дороги?

— Не откажусь.

Я пошел с ним в заднюю комнату, где у нас помещался купленный уже в Кишиневе самовар. Нарезал хлеба, достал сала и предложил Климову. Климов, не снимая своей шинели и фуражки, наспех стал закусывать.

— С кем бы мне здесь свидеться, кто бы нашу линию отражал?

— Затрудняюсь сказать. Мы всего лишь несколько дней в Кишиневе.

— Я слышал по дороге, едучи сюда, что в кишиневской тюрьме сидят много большевиков, посаженных фронтовым командованием.

— Возможно.

— Так вот если бы мне их освободить.

— А как же вы это сделаете в одиночку?

— А мандат-то на что?— потряс он только что показанной мне бумажкой.— Мне приказал товарищ Ленин, чтобы я здесь немедленно учредил советскую власть. Нас человек пятнадцать матросов послали по разным городам.

— Трудненько вам будет,— возразил я.— Пожалуй, один вы ничего не сделаете.

— Ничего, наша кривая вывезет. Мне можно будет здесь у вас расположиться на ночлег?

— Понятно, товарищ. Все, что от нас потребуется, мы для вас с удовольствием сделаем.

— Так я оставляю пока здесь свой сверточек,— сказал Климов, кладя под стол бывший с ним небольшой мешочек,— а часика через два зайду.

— Заходите.

Климов ушел.

«Удивительный тип,— подумал я.— Приезжает один, с мандатом, и думает, что сразу же все может сделать».

Прошло часа полтора. В большой зале комитета звонил телефон. Снял трубку.

— Говорит Сухов из Совета,— услышал я.— Не был у вас большевистский комиссар?

— Был.

— Куда он девался?

— Пошел по своим делам.

— Он говорил о чем-нибудь с вами?

— Да, что приехал организовать здесь советскую власть.

— Вы ему давали какое-нибудь поручение?

— Как же я могу дать ему поручение? Я лишь информировался о цели его приезда и о том, что делается в Питере. Он обещал еще ко мне зайти.

— Будьте добры ему передать, чтобы он зашел в Совет.

— Хорошо, а почему вас это так беспокоит? Откуда вы узнали об его приезде?

— Нам сейчас звонил смотритель тюрьмы, что туда пришел матрос с мандатом, сказал, что он остановился в Совете, потребовал освобождения заключенных — и тот дурак выпустил всю тюрьму.

— Неужели ему это удалось?— удивился я.

Прошло часа три. Климов не появляется. Отправился в гостиницу обедать. В столовой застал Сергеева и Дементьева.

— Слышал?— закричал при моем входе Дементьев.— Запасный батальон организовал у себя революционный комитет. Приехал какой-то комиссар из Петрограда, сказал, что существующий комитет распускается, выбрали другой, из большевиков. Выбранный комитет сместил начальника гарнизона и назначает своего.

Я рассказал им о Климове.

Отправились к зданию Совета. Там большое оживление. В зале для заседаний Совета за столом президиума стоял и говорил речь мой утренний знакомый Климов. В зале много солдат.

— Так что,— говорил он,— поскольку ваш Совет не отражает центрального настроения трудящихся масс, то я по поручению Совета народных комиссаров объявляю его закрытым.

— Как?... Что?... Захватчики!— слышалось со всех сторон.

— Никак нет,— упорно продолжал Климов,— коль вы все соглашатели, то мы выберем новый Совет из представителей настоящих революционеров.

Председатель Совета растерянно смотрит на происходящее. Между тем Климов, не давая опомниться, зачитывает список выдвигаемых им лиц в президиум собрания. Присутствующие в большом числе солдаты поднимают руки.

— Насилие над демократией! Большевистские захваты, вы не имеете права!

— Потихе, товарищи,— строго остановил Климов.— Так как запасной батальон на нашей стороне и оружие в наших руках, то потрудитесь не распространяться.

Таким образом в течение нескольких часов, благодаря изумительной находчивости и энергии Климова, в Кишиневе бескровно произошла большевистская революция. Поздно ночью Климов пришел в комитет ночевать.

— Ловко, товарищ, вы провели!

— Чего же тут ловкого? Раз у меня есть приказ, я должен его выполнить, а солдатня только и ждала, чтобы кто-нибудь пришел и образовал новый Совет.

В течение нескольких дней я неоднократно сталкивался на улицах, в учреждениях, в комитете у себя с Климовым, неутомимо шагавшим из учреждения в учреждение, проводившим привезенную им директиву. В течение следующего дня после захвата Совета он ликвидировал городскую думу, посадил туда новых людей. Кишиневские обыватели — к ним я отношу бывших руководителей Совета — смотрели на все с величайшим удивлением, остоленением, не отдавая себе отчета в том, что делает энергия одного человека.

Вернувшись из типографии, где сдал в печать очередной номер газеты, разделся, чтобы ложиться спать, как неожиданно был вызван к телефону.

— Говорит Антонов,— услышал я в трубку.— Приходи сейчас в комитет. Есть очень серьезные новости. Требуется немедленно заседание.

Быстро одевшись, я отправился в помещение комитета, где застал собравшихся Дементьева, Сергеева, Антонова и других, с ними три незнакомые мне личности. Один из них лет двадцати трех-четырех, белокурый, хрупкого вида человек, сидя с Дементьевым, вполголоса рассказывал, что делается в Питере. Два других — коренастые солдаты с наганами за поясами.

— А вот и товарищ Оленин,— сказал Дементьев.— Познакомьтесь.

— Рошаль,— назвал себя посетитель.

— Рошаль? Председатель Кронштадтского совета?

— Да, это я,— улыбнулся он.

— Много о вас слышал и читал.

— Обо мне много писали, больше, чем следовало бы.

Рошаль — лидер Кронштадтского совета и кронштадтских большевиков, против которого вели бешеную травлю газеты Временного правительства, когда Кронштадтский совет объявил самостоятельную Кронштадтскую республику.

Я представлял себе Рошалья человеком внушительного вида, серьезного трибуна, — так его расписывали газеты, — на самом деле это был почти мальчик чрезвычайно скромной внешности.

— Я назначен Советом народных комиссаров, — начал Рошаль, — правительственным комиссаром при штабе Румынского фронта и вот теперь хотел бы здесь посоветоваться с товарищами, как бы мне пробраться в Яссы и начать свои первые действия. Слышал о вашем комитете, как о сочувствующем советской власти, — поэтому в первую очередь заглянул к вам.

Рошаль говорил, не торопясь, негромким голосом, несколько картавя, при этом его бледное лицо передергивалось от нервного напряжения или от бессонных ночей в вагонах.

— Я бы не хотел, — после небольшой паузы продолжал Рошаль, — попасть в лапы Щербачеву и румынской охране, не успев подготовить реальную базу, на которую смогу опираться в своих действиях. Ехать сразу в Яссы под именем Рошалья мне представляется рискованным. Чем в данном случае вы могли бы мне помочь?

Первым взял слово Дементьев, заявивший, что было бы лучше, если бы Рошаль остался в Кишиневе, где почва за последние дни подготовлена, телеграф находится в руках большевиков и левых эсеров и что в Кишиневе Рошалью есть на кого опереться.

— В Кишиневе оставаться нельзя, — возразил Рошаль, — какой же я комиссар фронта, если боюсь появиться на фронте? Мне нужно обязательно быть в Яссах, но не в одиночестве, а опираясь на большевистские части фронта. Я вас прошу сказать, какие части, с вашей точки зрения, являются надежными?

Выступил я:

— Мне известно, что гарнизон Соколя целиком на стороне большевиков. В Соколе сосредоточены инженерные войска. Причем это местечко находится всего в десяти километрах от Ясс. Мне думается, что вам нужно поехать в Соколь, где, опираясь на Сокольский гарнизон, приступить к своей комиссарской деятельности.

Сопровождавшие Рошалья солдаты подтвердили, что Сокольский гарнизон большевистский.

— В самых Яссах опереться, конечно, не на кого. Там стоят лишь вспомогательные части фронта и, кроме того, изрядное количество румынских частей, а на последние, совершенно очевидно, рассчитывать нельзя. Вам важно, явившись в Соколь, связаться с армейскими организациями, а на фронте безусловно большевистских частей найдется сколько угодно.

— Очевидно, так и придется сделать,— согласился Рошаль.— Но сможем ли мы добраться до Соколя, не будучи захваченными по дороге? В частности, как перебраться через Ургены?

Ургены — граница России с Румынией.

— Это-то нетрудно устроить,— заявил я.— Мы можем выдать вам удостоверение, что вы являетесь представителем нашего комитета, причем вашу фамилию заменим какой-либо другой.

— Отлично, напишите, пожалуйста, такое удостоверение.

Я тут же, взяв блокнот со штампом Крестьянского совета, написал удостоверение:

Дано сие тов. С. М. Абрамову, что он является представителем Исполнительного Комитета СКД Румынского фронта и командировается в Яссы в фронтовую секцию Румчерода по делам комитета.

Такие же удостоверения написали и двум другим спутникам Рошалья.

— Было бы хорошо,— предложил я Рошалью,— чтобы вас до Соколя проводил кто-нибудь из членов нашего комитета.

— Я бы с удовольствием поехал,— предложил Дементьев.

— Вот и отлично, товарищ Дементьев отлично знает Яссы и его окрестности, бывал и в Соколе.

— Еще кому угодно? Я бы сам тоже поехал, но с моим отъездом остановится газета. Товарищ Антонов, вы как?

Антонов выразил согласие.

Антонов и Дементьев должны были ехать со своими документами.

Окончив деловые разговоры, мы закидали Рошалья вопросами о том, что делается в Питере.

Рошаль рассказал, что положение Совнаркома прочное, что все разговоры о кандидатуре Чернова в председатели Совнаркома чепуха. Викжель, руководимый эсерами и меньшевиками, отчасти и кадетами, пытался было сыграть роль «спасителя отечества», но его быстро расшифровали, и сейчас все контрреволюционные выступления как Комитета спасения, возглавлявшегося Авксентьевым, так и Викжеля и других организаций ликвидированы. Фронт отозвался сочувственно на происшедшую революцию. Западный фронт целиком в руках большевиков, там очень сильные большевистские организации. Северный фронт также примкнул. Юго-Западный фронт очень долго колебался. О Румынском фронте известно очень мало. Надо выявить большевистские силы на этом фронте и окончательно связаться с петроградскими организациями.

Беседа затянулась почти до утра.

С первым отходящим поездом рано утром Рошаль, в сопровождении своих спутников, выехал в Яссы.

В то время как Климов работал здесь, в Кишиневе, и завоевывал советскую власть, мы упустили из виду, что в Бессарабии существует еще организация, имеющая значение не меньшее, чем Совет. Эта организация — Сватул-Цери, своего рода бессарабский парламент, организованный при Временном правительстве для объединения молдавской национальности на территории Бессарабии. Сватул-Цери претендовал на роль активного руководителя судьбами Бессарабии. Его состав сугубо буржуазный. В него входили бессарабские землевладельцы и представители городской буржуазии из демократических элементов. Частично были представлены национальные трудовики и эсеры. Между

Сватул-Цери и Советом имелся контакт, установленный в порядке обмена представителями.

В гостинице Вулкамича, где жили мы, помещались и члены Сватул-Цери. Один из этих членов, молодой прапорщик, сын мелкого бессарабского помещика, политически малоразвитой, говорил:

— Мы хотим восстановить свою культуру. Быть самостоятельной народностью, свободной от давления русских и румын. Мы хотим издавать свои собственные законы на нашей территории, и чтобы наш суверенитет был уважаем. Теперь, когда большевики захватили власть, а мы большевиков не признаем, Сватул-Цери образует собственное правительство, назначит своих министров по всем отраслям народного хозяйства. У нас уже есть министерство просвещения, министерство земледелия, министерство внутренних дел, и сейчас мы ведем переговоры с киевской Радой, чтобы у нас образовалось министерство собственных путей сообщения.

— Какие же дороги-то у вас будут, которыми министерство путей будет управлять?

— Те дороги, которые проходят по Бессарабии.

— Значит, вы и границы установите и таможенные пункты между Украиной и Бессарабией?

— Границы, конечно, установим. Мы хотим быть автономной республикой.

— И армию свою будете формировать?

— Армию свою обязательно.

— Откуда же вы средства на все это возьмете?

— Те средства, которые раньше шли на Россию, теперь будут оставаться у нас. Вот вам и средства.

— Сомневаюсь, чтобы на эти средства можно было содержать больше одной роты.

— Вы не знаете возможностей Бессарабии. Она является житницей России, да и не только России, а и всей Европы,— говорил прапорщик.

— Ну, посмотрим, что у вас выйдет.

Вскоре в гостинице остановились несколько иностранцев, часть из них военные. Это члены военной миссии,

прибывшие из штаба Румынского фронта. Момент приезда иностранцев совпал с моментом пленума Сватул-Цери.

Прапорщик, забежавши ко мне в номер, с восторгом передавал, что идеи бессарабского Сватул-Цери целиком поддерживаются английской и французской миссиями, которые обещали со своей стороны содействие развитию национального бессарабского государства и материальную поддержку.

— Смотрите,— говорил я прапорщику,— как бы эти самые иностранцы — англичане и французы — не стали вас поддерживать так, как веревка поддерживает повешенного.

— Мы имеем дело не с варварами, а с представителями цивилизованных наций.

В одну из ночей в комитет явилось свыше десятка солдат, представителей дивизионных организаций фронта, проездом остановившихся в Кишиневе.

— Товарищи, куда нам обратиться?— спрашивали они.— Мы делегаты от фронтовых частей, которые послали нас вперед для обеспечения движения с фронта в тыл.

— Как с фронта в тыл?

— Армия бросает позиции и уходит в тыл. Румынские войска обстреливают уходящие части, забирают у нас имущество, вооружение. Десятки тысяч солдат идут, никем не руководимые, безо всякой организованности. Мы обратились в Яссах в ревком, чтобы он организовал правильное движение стихийно демобилизующейся массы. Там над нами рассмеялись. Между тем люди идут голодные, на своем пути они будут грабить мирное население. Необходимо немедленно вмешаться в это дело.

— В Яссы поехал комиссар правительства Рошаль,— говорили мы.— Он сейчас должен находиться в Соколе. Вы его не видели?

— Нет, мы через это местечко не проходили. Генерал Щербачев ведет предательскую политику, он хочет, чтобы все имущество фронта осталось румынам. Сам уже перешел на службу к румынскому королю. Если в Румынии

солдаты пройдут еще со своими запасами, то как только вступят на территорию Бессарабии, стон пойдет по этой местности. Будет все сметено.

— Что же делать?

Мы открыли экстренное заседание комитета. Надо немедленно поговорить с председателем украинской Рады Винниченко. Уполномочили вести эти переговоры меня. Я вызвал по телефону Центральную раду и попросил к аппарату Винниченко.

— Сегодня Винниченко подойти не может,— ответили мне.— Завтра в десять часов утра.

— Хорошо.

Вызываю штаб фронта. Дежурного генерала Сытина. Вместо него подошел дежурный офицер штаба.

— Что вам угодно?— запросила меня лента.

— Прошу передать дежурному генералу, что нами получены сведения о начавшейся стихийной демобилизации Румынского фронта. Нет ни питательных пунктов, ни ночлегов. Вся эта лавина в ближайшие дни должна войти на территорию Бессарабии. Исполнительный комитет Крестьянского совета Румынского фронта просит немедленно информировать о принятых штабом фронта мерах.

— Подождите у аппарата.

Через полчаса то же лицо, дежурный офицер штаба, сообщило:

— Ваши сведения неверны. Ничего стихийного на фронте не происходит. Все, что надо, штабом фронта будет сделано, и если встретится надобность, обратимся к вам или с информацией, или с предложением.

Вернулся с лентой разговора в комитет.

— Ах они сволочи, предатели, контрреволюционеры!— закричало сразу несколько голосов.— Мы же сами прошли вместе с массой отступающих несколько десятков километров. Сами были под обстрелом и потом, по поручению ревкома, были посланы вперед.

Дальше солдаты рассказали о происходящем развале фронта. Вновь организованный ревком предложил прекратить войну и начать демобилизацию. Командование восстало против самовольно уходящих войск.

Утром иду снова на прямой провод. Передаю для вручения Винниченко записку, в которой излагаю содержание привезенных солдатами известий и от имени своего комитета предлагаю немедленно озаботиться организацией по пути следования наших солдат питательных пунктов, для чего срочно двинуть продовольствие, а также распорядиться подать подвижной состав к станции Унгени, где наши солдаты, переходя румынскую границу, смогли бы быть погруженными в эшелоны.

Тотчас же получил ответ Винниченко:

— Ваши сведения расходятся со сведениями, полученными мною вчера ночью от генерала Щербачева. Вы напрасно создаете панику, для которой нет места. Полученные от вас сведения еще раз проверю в штабе фронта, после чего ждите указаний.

Через несколько часов получил телеграмму штаба фронта, адресованную Винниченко, в копии мне:

Информация вас поручиком Лениным о стихийной демобилизации Румынского фронта неверна. Фронт находится в порядке, и необходимые мероприятия, обеспечивающие правильность демобилизации фронта, делаются и будут сделаны своевременно.

Бывшие у нас делегаты выехали, разделившись на две группы. Одна — в Яссы для встречи с Рошалем, а другая — в Киев для непосредственного разговора с Винниченко.

К вечеру четвертого дня после выезда из Кишинева Рошалья в комитете неожиданно появился Дементьев, весь растерзанный, с сумасшедшими глазами.

— Чуть не погиб,— были его первые слова. — Рошаль арестован, возможно, что уже расстрелян. Мне еле удалось бежать из-под ареста.

— Успокойся, расскажи толком.

— Дело было так,— начал рассказывать Дементьев.— Выехав из Кишинева, мы в тот же день благополучно прибыли в Соколь. Революционный комитет Соколя встретил нас восторженно. Рошаль, не откладывая дела в долгий ящик, сейчас же связался по телеграфу со штабом фронта, сообщил содержание своего мандата и предложил генералу

Щербачеву встретиться для установления соответствующих взаимоотношений. Одновременно из Соколя сообщили во все армии и корпуса о том, что комиссаром фронта назначен Рошаль и что все распоряжения Щербачева должны быть скреплены подписью комиссара, без чего ни одно распоряжение не считается действительным.

Щербачев, осведомленный об этом по телеграфу, на первое же предложение Рошаля ответил, что он желает с ним немедленно встретиться, для чего предлагает Рошालю прибыть в Яссы, в Ставку. Вскоре из штаба пришло два автомобиля, и Рошаль, я, два представителя Сокольского гарнизона поехали в штаб. Антонов остался.

Нас привели на квартиру к Щербачеву. В это время в его приемной уже собрался весь генералитет. Нас рассматривали, в частности Рошаля, как дикушинок заморских. Вокруг дома Щербачева была стража, не превышавшая обычной, не более десяти-пятнадцати человек жандармов. Щербачев пригласил к себе в кабинет одновременно нас и присутствовавших в приемной генералов.

Рошаль предъявил мандат. Щербачев внимательно ознакомился с ним и заявил, что подчиняется распоряжению Совнаркома и признает Рошаля за комиссара фронта. Мы сочли вопрос улаженным довольно легко и что Рошаль вступит в исполнение комиссарских обязанностей. После получасового разговора Щербачев отпустил своих генералов, вслед за которыми начали выходить и мы. Уже выходя из кабинета, Щербачев на минуту остановил Рошаля, молвив, что ему хотелось бы сказать Рошалу несколько слов наедине. Рошаль остался. Спустя минуту в кабинет Щербачева прошел какой-то офицер, и через несколько мгновений мы услышали оттуда звук выстрела. Из кабинета выскочил только что вошедший туда офицер, крича: «Рошаль стреляет в Щербачева!» На пороге показался Рошаль с возгласом:

— Провокация!

В приемную из нескольких дверей сразу набежало много жандармов, набросились на Рошаля, отцепили у него на поясе револьвер, схватили за руки. Около дома, вместо

бывших десяти-пятнадцати жандармов, появился целый эскадрон. Отовсюду несло:

— Большевистский комиссар стрелял в главнокомандующего!

— Это провокация!— громко кричал Рошаль.— Стрелял в кабинете офицер!

Нас вытолкали на улицу. Мы были окружены эскадронном солдат и под его охраной направлены в тюрьму. В тюрьме нас бросили в сырой подвал, где не было буквально ничего, кроме скользкого грязного пола, и там продержали больше суток. На другой день вечером нас вывели оттуда якобы для допроса, причем Рошалья отделили от нас и повели в другую сторону, объясняя, что его ведут в штаб фронта, нас же в другую тюрьму.

По дороге, пользуясь наступившими сумерками и незначительной охраной, я выскочил из группы в первый попавшийся проходной двор, перекинулся через забор, выбрался в какой-то овраг, в котором пролежал почти до рассвета, а на рассвете, забравшись в сторожку огородника, сбросил с себя погоны, изорвал мундир и добрался до реки Прут, где лодочник перевез меня за двадцать пять рублей на другой берег, откуда пешком я прошел тридцать километров до станции Рузит, где уже спокойно сел на поезд на Кишинев.

Рассказ Дементьева произвел на нас ошеломляющее впечатление.

Телеграфировали в Соколь Антонову, чтобы он выяснил, где находится поехавший с ним Абрамов, полагая, что он поймет, о каком Абрамове идет речь.

Антонов вернулся на другой день и сообщил, что Сокольский гарнизон тщательно пытался найти, где находится Рошаль, организовали опрос через подкупных румын, но в тюрьмах Рошалья не оказалось.

На наш запрос штаб фронта нам ответил, что Рошаль отправлен в Киев.

Просачиваются слухи, что по распоряжению украинской Рады в Кишинев направляются гайдамаки. Так назы-

ваются украинские военные национальные части. Смысл приезда гайдамаков заключается в охране Бессарабии от вступления большевиков.

Член нашего комитета Яков Федорович Сергеев до призыва на войну был оперным артистом. Сидя вечером у меня, Сергеев рассказал о своей жизни, как ему, кухаркину сыну, удалось при содействии нанимателя его матери, понявшего, что в Сергееве таится большой талант, поступить в музыкальную школу, а затем окончить Киевскую консерваторию. На фронт его призвали уже после того, как он в течение двух лет пел в Киевской опере.

— Мое призвание — сцена, — говорил Сергеев, — и только на сцене я хотел бы работать. Между тем пришлось сделаться военным, четыре месяца пробыть в Киевском военном училище и оттуда с маршевой ротой отправиться на фронт, быть прапорщиком, ходить в наступление, сидеть в окопах и лишь когда совершилась революция, то за мой зычный голос, за мою веселость меня избрали членом комитета полкового, потом дивизионного, а впоследствии был делегирован в Крестьянский совет Румынского фронта. В политике я ни черта не понимаю. А вот если бы пение, так это моя стихия. У меня голос, так сказать, басо-профундо. Вы понимаете, что такое басо-профундо?

— Это значит басо-профано, — пошутил я.

— Вы большой профан, товарищ Оленин, — обидчиво ответил Сергеев. — Басо-профундо — это такой голос, за которым антрепренеры гоняются, за фалды хватают, чтобы только затащить обладателя этого голоса на свою сцену. А вот теперь революция, театры замерли или должны, по крайней мере, замереть, особенно в связи с гражданской войной, с выступлением большевиков. Я не понимаю ни смысла этого выступления, ни чего хотят эти люди. Вижу лишь одно, что в связи с их выступлением искусство должно пасть.

— Почему же вы думаете, что оно падет?

— Совершенно естественно,— ответил Сергеев,— разве темная, невежественная масса и мужики могут понимать что-нибудь в искусстве? Ведь искусство создается веками.

— Ну, а если бы не было революции,— задал я вопрос,— как бы вы себя чувствовали?

— Я артист, для нас война — действие по принуждению сильных мира сего. Мы хотим мира, тишины, спокойствия, уюта, если хотите, мещанства с геранью на окнах, но только не острых ощущений и борьбы со всем человечеством за какие-то высокие идеи. Нам одинаково скверно как на войне, так и сейчас, в момент революции. Но с революцией мы получили возможность выбраться из кошмаров позиционной обстановки, в которые нас забросила война. Сейчас эта революционная обстановка представляется менее кошмарной, чем сидение в окопах. Я искренний сторонник мира, жажду скорее вернуться домой, на чистую постель, посидеть за столом, покрытым белой скатертью, с вымытыми руками. Эх, что!— махнул он рукой.— Вы черномозгом. Вы всего этого не понимаете. Вам мужик интересен, ну а для меня это совершенно чуждый, даже страшный элемент, который может нас поглотить, раздавить.

— Почему вы сейчас не попыруетесь пойти по своему артистическому пути?

— Каким же это образом?— удивился он.

— Очень просто: вместо того, чтобы просиживать вместе с нами на заседаниях, собирать хронику для газеты, писать письма в дивизионные крестьянские советы, сочинять воззвания,— вместо всего этого попробовали бы организовать концерт. И полезная тренировка, и посмотрели бы, что из себя представляет современная аудитория, хотя бы солдатская.

— Да разве это возможно? Как же тут организовать концерт? На это нужны деньги.

— Зачем деньги? Раз вы оперный артист, ваше орудие производства внутри вас.

— Я не могу петь без музыки. Где взять пианино?

— Вот чудак!— рассмеялся я.— Зал вам предоставит с удовольствием местный театр. А музыканты, если не подойдут военные, то можно будет найти пианиста за десять-

двадцать рублей. Я думаю, что если бы вы этот вопрос серьезно поставили на обсуждение нашего комитета, то мы без всяких возражений ассигновали бы некоторую часть средств, которые, несомненно, были бы покрыты сборами от концерта.

— По совести говоря, мне это не приходило в голову. Разве действительно попробовать найти зал и дать концерт? А может быть, и какой-нибудь товарищ по сцене найдется?

Мой совет оказал благотворительное влияние на Сергеева, и через несколько дней на улицах Кишинева красовались афиши, отпечатанные в прежней Крушевановской типографии, что оперный артист, член Центрального исполнительного комитета Румынского фронта Сергеев, басо-профундо, дает концерт при участии таких-то сил.

Зал был набит битком, несмотря на то, что места были платные, и не только окупились расходы по приглашению компаньонов по концерту и пианиста, но еще изрядная сумма поступила в кассу нашего комитета, весьма опустевшую за последнее время в связи с большими расходами по изданию газеты.

По окончании концерта Сергеев, сидя у меня в номере с добытой откуда-то бутылкой коньяка, плакал обильными слезами, признавая, что он совершенно не ожидал подобного успеха, какой встретил на концерте, и что аудитория, состоявшая преимущественно из солдат, так тепло и сочувственно его встретила.

Не нравится мне интеллигенция.

Присутствуя на концерте Сергеева, я неожиданно столкнулся с моим земляком шофером Селиным. Отряд его размещен в местной гимназии. Машины поставлены под открытым небом во дворе. Шоферы же, в числе около сотни человек, занимают несколько классов.

— Раньше мы стояли в Яссах,— говорил Селин,— из Ясс нас перебросили в Кишинев. В последнее время после октябрьского переворота штаб фронта усиленно разгружал Яссы от технических частей, поскольку в последних находятся главным образом рабочие, а рабочим штаб фронта не верит. В Яссах еще была для нас работа: перевозили

раненых из армейских госпиталей к фронтовым. Здесь же сидим больше месяца и абсолютно ничего не делаем.

— Вероятно, и в Яссах вам теперь нечего было бы делать,— заметил я.

— Как нечего? Там ежедневно сотни раненых.

— Откуда? Теперь ведь затишье.

— Во время братания румынская артиллерия обстреливает наших солдат. Вот вам и раненые.

— Что же вы собираетесь дальше делать?

— Говорят, будто бы наш отряд перейдет в ведение украинской власти. Нам это нежелательно. Хотелось бы вместе с автомобилями, а их у нас до сорока, пробраться на родину. Автомобили хорошие, «Рено», из Франции новенькими год тому назад получены. Как быгодились они для революционного дела в России! А здесь их сволочь захватит, румыны или гайдамаки. Я рассчитываю на вас, Дмитрий Прокофьевич, может быть, как-нибудь ваш комитет поможет нам организовать таким образом, чтобы мы смогли из Кишинева удрать. Ну, скажем, если не в Киев, где украинцы командуют, то хотя бы в Курск.

— Мысль интересная,— согласился я.— Действительно, автомобильный отряд хорошо бы вывезти в Россию. Давайте обсудим.

Один из шоферов притащил карту-десятиверстку, по которой мы тщательно просмотрели пути, ведущие из Кишинева в глубь России.

— Если гайдамаки не заняли переправы через Днестр,— говорил я,— то выбраться можно. Дорога через Сенжер, Кадыньяны на Аккерман — это один путь. Из Аккермана, который находится в руках большевиков, можно переправиться на Одессу. Другой путь на Бельцы, Могилев-Подольский, Проскуров, Старо-Константиновск, Житомир и т. д. Вот что, ребята,— предложил я,— у вас комитет есть?

— Есть.

— Соберите, обсудите внимательно,— насколько все остальные согласны эвакуироваться из Кишинева в тыл, а затем — к нам, мы совместно продумаем дальнейшее.

Совнарком назначил Главковерхом прапорщика Крыленко. Начальник штаба Верховного главнокомандующего Духонин отказался признать его за Главковерха. После ряда переговоров, не давших никакого результата, прапорщик Крыленко, в сопровождении нового начальника штаба, направился в Ставку. В Ставке он был встречен неприветливо. Генерал Духонин совершенно открыто заявил, что он отказывается выполнять приказ, исходящий от «незаконного» правительства. Отряд матросов, сопровождавший Крыленко, самочинно заколол штыками генерала Духонина: в сводке штаба фронта Духонин представляется мучеником, пострадавшим за идею служения своему отечеству.

Буржуазные газеты, которые продолжают выходить и доходить до фронта так же регулярно, как и раньше, иронизируют, что прапорщик по своему собственному невежеству ни в коем случае не может быть Главковерхом.

По этому поводу у меня со Святенко и Сергеевым произошёл крупный разговор.

— Большевики себя дискредитируют,— говорил Святенко,— назначая прапорщика Верховным главнокомандующим. Разве может фронт доверить свою судьбу безграмотному в военном отношении человеку?

— А что же, по-вашему,— возражал я,— разве Николай был более компетентным в военном отношении, когда он был Верховным главнокомандующим?

— Ну, Николай II — это другое дело. Он действовал своим царским авторитетом.

— Допустим,— иронически соглашался я,— а Керенский в роли Верховного главнокомандующего больший авторитет в военном деле?

— Керенский не авторитет в военном деле, но зато он был авторитетом в политическом. Он олицетворял собой политического вождя армии.

— Вот так политический вождь армии! А где же теперь этот вождь? Сдрейфил, удрал в автомобиле союзной миссии. Я роль Верховного главнокомандующего понимаю так,— разъяснил я мотив, впервые пришедший мне в голову,— роль Верховного главнокомандующего — это прежде всего политическая роль. Духонин был против политиче-

ских директив, которые мог ему дать от имени Совнаркома Крыленко, и поэтому отправился к праотцам. Знаете ли вы Крыленко?— спрашивал я.— Нет. А я его знаю. Я с ним встретился в первые дни Февральской революции в Олеюве, где он выступал, как представитель социал-демократов большевиков, перед нашими частями. Это крупный политический деятель в ряду других народных комиссаров, которые теперь, под руководством Ленина, стоят у власти. И в военном деле понимает, во всяком случае, больше, чем понимал Керенский и даже Николай II.

По радио передан декрет о демократизации армии. Все чины и ордена объявляются отмененными. Офицеры должны снять погоны. Солдатам предлагается произвести перевыборы командования. Даже для нас, привыкших к революционным декретам, он кажется чрезвычайно смелым, сознательно вызывающим окончательный развал армии. Как могут солдаты выбирать своих командиров? Кого выберут солдаты, например, командующим фронтом? Совершенно очевидно, что не генерала, ибо среди генералов нет никого, кто бы пользовался солдатским доверием. Выберут в лучшем случае офицера военного времени моего типа или даже просто солдата. Как он сможет разобраться в оперативной обстановке? Даже в полках как солдаты выберут командира из своего состава? Ведь это будет или демагог, потакающий целиком своим избирателям, или бездарность, тупица, а не человек, авторитетный в военном деле. Правда, фронт все равно развален. Дело идет к полной демобилизации. Но даже для того, чтобы произвести демобилизацию многомиллионных солдат, нужны опытные люди, стоящие во главе полков, дивизий, корпусов, армий и т.д. Допустим, что меня выбрали бы на пост командующего армией, что я смог бы сделать? Абсолютно ничего.

Я понимаю Декрет о мире, я понимаю Декрет о земле, я понимаю целесообразность перехода власти из рук буржуазии в руки рабоче-крестьянских советских организаций. Но декрета, направленного определенно на развал армии, я совершенно не понимаю.

Вечером собрались в номере Святенко, чтобы обменяться мнениями по поводу этой демократизации.

— А что же, хлопцы,— начал говорить на украинском языке Святенко,— хороший декрет. На кой черт нам нужны чины! Я так считаю, что снятие с офицеров погонов — это на пользу самих офицеров. Газеты сколько раз сообщали о массовом избиении офицеров в Петрограде, Москве и других городах, особенно старших офицеров и генералов. Ну, а если бы они были без погонов, разве их стали бы бить? Конечно, не стали. Офицерство должно благодарить советскую власть, что она избавляет его от погонов.

— Тут не в погонах дело,— возразил я.— Меня беспокоит вопрос о выборности командного состава.

— Ну, если мы изберем, скажем, Сергеева командиром батальона, так разве он будет хуже полковника? Уверяю тебя,— лучше.

— Ну, может быть, командиром батальона он и мог бы быть, а командующим фронтом?

— Ну, а на роль командующего фронтом выберут такого офицера, который соответствует.

— Хорошо, коли так, ну, а если солдата выберут?

— Какой же ты дурень! Разве солдат на плечах головы не имеет? И какой солдат рискнет пойти командующим фронтом? Среди командиров полков разве нет лиц, окончивших Академию Генерального штаба, которые известны солдатам своим демократическим поведением?

— Может быть, такие и есть, но что же, по-твоему, солдаты должны покинуть свои позиции и обсуждать, где какие хорошие полковники имеются?

— Хорошего полковника фронт лучше знает, чем штаб фронта. Ты забываешь про «Солдатский вестник». Стоит только подумать в штабе фронта о чем-либо, как «Солдатский вестник» уже до окопов несет эту думушку. Допустим, что тебя выберут командиром полка. Что же, с этой обязанностью не справишься?

— Командиром полка,— протянул я,— черт его знает, пожалуй, справлюсь.

— А раз так, то почему ты не справишься с должностью начальника дивизии? В полку шестнадцать рот, а в дивизии

всего четыре полка. Четырьмя единицами легче командовать. А в общем, друзья мои,— закончил Святенко,— этот декрет подводит итог всей большевистской политике, которая для меня была ясна еще в марте месяце. Это — разложить армию, парализовать офицерский корпус, дать этому корпусу по шее, да так, чтобы он никогда больше не поднялся. А потом мир. А после мира — новая армия, новая школа, новый офицерский состав. Все это ясно. Так что же, братцы,— обратился к нам Святенко,— долой погоны! — и он первый сорвал со своего плеча погоны прапорщика.

Мы последовали его примеру.

Не далее, как на следующий день, перед окнами нашего комитета продефилировали крупные войсковые части, одетые в малиновые фуражки.

— Что это такое?— бросились мы к окнам.

— Пришли гайдамаки.

Во главе части шел офицер в малиновом, с позументами мундире, с погонами на плечах.

Появление гайдамаков вызвало ряд существенных изменений в жизни Кишинева. Прежде всего вынуждены были уйти в подполье официальные представители партии большевиков. Снова появились эсеры и меньшевики, принявшие немедленно постановление об их объединении с украинским национальным движением. Государственные учреждения взяты под охрану гайдамаков. Первым делом гайдамаков было установление патрульной службы по городу и приказ об ограничении движения по улицам в ночное время. Хозяин нашей гостиницы в тот же день явился к нам в номер требовать полной уплаты за пользование номером.

Прибежал взволнованный Селин по поручению шоферов просить совета, как теперь быть с выездом их отряда из Кишинева. Мы предложили отряду, не ожидая дальнейшего развития событий, сегодня же начать перебираться за город и двигаться по направлению к Аккерману.

Увы, совет оказался запоздалым. На всех дорогах, идущих от Кишинева, выставлены дозоры гайдамаков, и вы-

бравшийся было из города отряд был задержан и возвращен обратно. Начальник гарнизона распорядился поставить охрану к автоотряду, шоферов демобилизовать, предложив желающим из них украинцам остаться на службе украинского правительства.

Мы собрались серьезно обсудить вопрос, что нам делать и есть ли смысл оставаться дальше в Кишиневе. Наша газета, можно смело утверждать, до солдат не доходит, да и солдат-то на фронте — кот наплакал. Надо или вернуться на фронт, к чертовой бабушке в пекло, в руки Щербачева, или распустить комитет.

Слово взял Сергеев:

— Нас группа в девять человек. Нас знают солдаты-крестьяне на фронте, которые теперь оттуда удирают. Целесообразно, ввиду начинающейся гражданской войны, обратить нашу группу в особый штаб по формированию красногвардейских частей.

Я с удивлением посмотрел на Сергеева. Мне невольно припомнился бывший несколько дней назад разговор об интеллигентском примазывании.

Сергеев достал из кармана небольшую карту и разложил ее перед нами на столе.

— Мы сидим в Кишиневе,— показывает Сергеев пальцем,— вот здесь.

— Знаем, знаем!

— Одесса — это тупик, где никакой организационной работы развить нельзя. Киев — центр гайдамаков. В Харькове уже имеется большевистская власть, достаточно сильная, чтобы вести работу самостоятельно. Посмотрите выше. Вы видите Белгород, затем Курск. Это своего рода аванпост Советской России. Через Курск лежит коммуникация красногвардейских войск, направляющихся для борьбы с южной контрреволюцией. Через него проходят стихийно солдатские массы с Юго-Западного фронта и с Румынского. Если бы наш комитет переехал в Курск, связался оттуда с Крыленко и предложил последнему свои услуги по организации в Курске красногвардейских частей и демобилизующихся и покидающих фронт солдат, мне думается, была бы польза революционному делу.

Против предложения Сергеева высказался только один Святенко:

— Надо думать, что в Курске уже есть организации, занимающиеся этим делом. Честнее и проще прямо сказать, что нашему комитету пора ликвидироваться.

— Я не понимаю Святенко,— выступил Антонов.— Почему нам не доехать до Курска и там ликвидироваться?

— Мы можем с таким же успехом ликвидироваться здесь и поодиночке поехать туда, куда каждого тянет,— заметил я.

— Э, нет,— возразил Сергеев,— если мы здесь ликвидируемся и будем уезжать поодиночке, то черта с два выберемся. Вагоны набиты, и на крышах не найдешь свободного местечка. А вот если мы выедем как организация, то, во-первых, надо думать, нам предоставят вагон, и, во-вторых, мы сможем с большей безопасностью выбраться из этой кишиневской дыры.

После долгих споров Сергеев сказал:

— Позвольте мне сказать маленькое заключительное слово. Нас девять человек, и я уже говорил, что девять человек, желающих вести серьезную революционную работу, могут сделать очень многое. Достаточно вам указать пример с Климовым. Если вы заранее будете иметь ликвидационное настроение, считая, что едете в Курск исключительно для расформирования, то, конечно, из моего предложения ничего не выйдет и отъезд в организационном порядке будет означать только дезертирство.

Стали обсуждать план отъезда.

Наша библиотека займет, примерно, полвагона. Кроме того, у нас, девяти человек, есть кое-какое барахлишко. Так что просить целый вагон у железнодорожной администрации мы имеем полное основание.

— Я с удовольствием вам предоставил бы,— сказал начальник отделения железнодорожного участка,— но три дня тому назад к нам поступило распоряжение от Министерства путей сообщения бессарабского Сватул-Цери, чтобы без его разрешения никому никаких вагонов не давать.

Пошел в Сватул-Цери. Министром путей сообщения оказался тот самый молодой прапорщик, с которым мне неоднократно приходилось вести беседы.

— Поздравляю вас с министерским портфелем.

— Благодарю вас,— серьезным тоном ответил прапорщик.

— Пользуясь нашим знакомством, прошу вас оказать услугу: дать для нашего комитета, переезжающего в Курск, вагон.

— С удовольствием,— быстро согласился прапорщик.

Немедленно написал на нашем заявлении резолюцию:

«Начальнику отделения. Министерство путей сообщения предлагает немедленно дать вагон, по возможности классный, для фронтового крестьянского комитета».

Идем снова на вокзал. Начальник отделения делает пометку начальнику станции. Приходим к последнему.

— Что же они со мной делают!— схватил себя за голову начальник станции.— У меня нет ни одного вагона, не только классного, как они пишут, но даже и теплушки.

— Где же они?

— Все заняты под эшелоны. Может быть, недели через три-четыре будет.

— На станции мы видели целую уйму вагонов.

— Голубчики, все разбито, требует ремонта. Мастерские не работают, к тому же сейчас рождественские праздники.

— А если мы сами организуем ремонт вагона, то вы нам позволите воспользоваться?

— Пожалуйста.

— Может быть, вы дадите нам записочку, к кому можно обратиться с вашим разрешением.

— Сделайте одолжение.

Начальник станции набросал записку к какому-то мастеру.

Узнав, где его найти, мы отправились по путям к месту нахождения небольших мастерских. Мастерские пусты. Старшего слесаря нам удалось разыскать в небольшой будочке шагах в двухстах от мастерских. Он сидел в компании двух рабочих, достаточно выпивший. Услышав нашу просьбу о ремонте для нас вагона, мастер воодушевился:

— Сколько платите?

— А сколько хотите?

— Три бутылки коньяка, и через три часа вагон будет готов.

— Отлично. А где можно найти коньяк?

— Это, голубчики, вы уж сами ищите. Если бы я знал, то и без вас бы выпил.

— Делайте, мы принесем.

— Как принесете, так и начну делать.

Пошли обратно в город.

— Знаешь, что,— сказал я Святенко,— по-моему, коньяк можно достать у Вулкамича. Несомненно, у него в гостинице запасы имеются.

Приходим к Вулкамичу:

— Для того, чтобы вагон был прицеплен, его надо смазать, а смазка требует не менее пяти бутылок коньяка. Не можете ли вы нам одолжить?

— Дешево вам обходится выезд. А не думаете ли вы, что, кроме Кишиневской станции, вам придется смазывать также и на других?

— Возможно,— согласились мы.

— Так как вы были весьма приличными постояльцами и становитесь еще более приличными, что покидаете мою гостиницу, то я вам с удовольствием дам, понятно, за плату, пять бутылок коньяка и на всякий случай четверть спирта.

— Очень вам благодарны.

— По-моему, за вами есть еще должок за дрова,— заговорил хозяин.— Городская управа так и не отпустила причитавшихся вам дров, а я сжег не менее, как рублей на пятьдесят.

Он быстро защелкал на счетах, подсчитав, что с нас причитается вместе со спиртом и за типографские работы около пятисот рублей. Мы тут же написали чек.

— Может быть, вы окажете и другую любезность?— обратились мы к Вулкамичу.— У нас в банке на текущем счету лежит около тысячи рублей. Чтобы нам не возиться с этим делом, мы передадим вам чек, а вы нам уплатите деньги.

Вулкамич согласился. С тремя бутылками коньяка мы снова отправились на вокзал. Мастер и бывшие с ним двое

рабочих немедленно забрали инструменты и отправились вместе с нами разыскивать наиболее подходящий вагон.

Мастер был прав. Через три-четыре часа вагон был готов. Осталось найти технического надсмотрщика, который засвидетельствовал бы пригодность вагона для движения. Пришлось и ему дать немного спирта.

Начальника станции нет. В общем прокрутились почти всю ночь, чтобы получить разрешение на прицепку вагона. Наконец получили.

В вагоне сделали из досок нары, и часам к десяти утра весь наш комитет в полном составе был в вагоне.

В ночь на второе января мы были прицеплены к этапному поезду, шедшему от Кишинева до Раздельной.

ГЛАВА XVI

В ПУТИ

Ни в одном поезде нет целых окон, вместо них дыры, из которых выглядывают солдатские папахи. Тамбуры, крыши, буфера, подножки — все это облеплено солдатами, точно кусок сахара муравьями. Температура около пятнадцати градусов ниже нуля. Люди коченеют. На станциях длительные стоянки, и поезд вновь и вновь атакуется бегущими солдатами. На каждой станции нам приходится выдерживать осаду солдат, пытающихся пробраться в вагон. Сдерживает их попытки не столько наше физическое сопротивление, сколько вывешенный на теплушке большой плакат, что вагон принадлежит Центральному исполнительному комитету Совета крестьянских депутатов Румынского фронта.

— Делегация, румчеродовцы, — говорят солдаты, — нехай их, пусть едут.

На каждой крупной станции от Раздельной до самого Киева наш вагон неизменно посещали гайдамацкие патрули. Входило обычно несколько человек в сопровождении офицера. Осматривали документы. Ощупывали вещи, требовали выдать оружие.

— Нет у нас оружия, — заявляли мы.

Нам не верили и производили тщательные обыски. Рылись среди книг, занимавших полвагона.

На станции Вапнярка пришедший патруль обратил внимание, что мы едем без погонов.

— Большевики?— свирепым тоном спросил гайдамак.

— Нет, не большевики, прапорщики.

— А почему без погонов?

— Был приказ снять погоны.

— Это большевистский приказ. У нас на Украине большевиков не признают. Потрудитесь надеть погоны, или мы вас арестуем!

— Где же мы их возьмем, дорогой товарищ?

— Я вам не товарищ!— вспльчиво крикнул гайдамак.

Выступил из своего угла Сергеев:

— О чем спорите, господа, если надо надеть погоны — наденем, ведь мы же не большевики. У меня в чемодане три пары есть.

Сергеев подал мне и Святенко погоны. Третий нацепил себе.

Антонова и так видно, что он солдат.

Гайдамак дождался, пока мы надели погоны, порылся еще в книгах и ушел.

Непосредственно на Курск поезда не идут. Украинская Рада установила границы между Украиной и Россией где-то в районе между Ворожбой и Львовом. С трудом получили наряд до пограничной станции. Подъезжая к Льгову, мы слышали стрельбу по сторонам дороги. Это бьются красногвардейцы с гайдамаками. В Льгове нас посетили сперва гайдамаки, снова перерыли все, что у нас имелось, а затем, спустя полчаса, отъехав от станции несколько километров, мы были остановлены красногвардейскими частями. Снова обыск, просмотр документов, поиски оружия и т. д.

Переехав украинскую границу, мы сорвали с плеч погоны и выбросили их под откос.

Вот и Курск. Солдатами заполнена вся платформа, пакгауз и другие помещения. В буфете ничего не достать.

На вокзале нас вместе с Сергеевым вдруг останавливает группа солдат:

— Офицеры, сволочь!..

— Что вам надо?— спросил Сергеев.

— Почему кокарду не снимаете?

Я машинально взялся за шапку, на которой действительно еще продолжала существовать офицерская кокарда. Погоны-то сбросили, а кокарду забыли.

— А может быть, я подпрапорщик?— задал вопрос Сергеев.

— Подпрапорщика сразу узнаешь!

— Снимем, придет время,— не повышая голоса, сказал Сергеев, направляясь дальше.

Наш спокойный вид остановил разошедшихся солдат, они не последовали за нами, но зато наградили вдогонку площадной руганью.

Поехали в город искать помещения. Толкнулись в одну гостиницу — занято, в другую — занято. Наконец нашли меблированные комнаты, в которых оказалось несколько свободных номеров. Разместились, оставив вещи пока в вагоне. Хозяин предупредил, что на другой же день мы должны принести разрешение коменданта города на право занятия номеров.

Рано утром отправились в Курский совет, помещавшийся на центральной улице в губернаторском доме. Около дома огромный хвост обывателей, ожидающих приема у нового начальства. Через толпу протиснулись в кабинет председателя. Застали одного секретаря.

— Где председатель?

— Еще спит. Вчера заседание окончилось в шесть часов утра.

— Когда будет?

— Часов в десять-одиннадцать.

Бродили вокруг дома Совета, вслушиваясь в разговоры обывателей, которые сводились к тому, что большевики, захватив власть, наложили арест на сберегательные кассы, банки и другие финансовые учреждения, и теперь вкладчики, чтобы получить обратно свои сбережения, должны являться в Совет за разрешением. Эти разрешения даются не всем, а лишь тем, которые представляют удостоверение о своей нуждаемости.

Вернулись снова в Совет. Председателя все еще не было. Его заместил некий Булгаков, в студенческой форме, с всклокоченными волосами, с воспаленными от бессонницы глазами. Принял нас приветливо:

— С Румынского фронта? Ну, как там?

— Бегут все. Ничего от фронта не осталось. На Украине гайдамаки орудуют. Наши части выпускают оттуда без всякого имущества, без снаряжения. Обозы, оружие — все это остается на месте.

— Да, слышали. Какова же цель вашего приезда сюда?

— Хотим обосноваться в Курске для организации новых красногвардейских частей.

— Вам надо будет переговорить с председателем Совета.

Дождались председателя Забитского. Человек лет тридцати, по виду интеллигент, как потом мы узнали, левый эсер. Болезненно морщась, он выслушал наш план и просьбу дать помещение и разрешение на прямой провод для разговора со Ставкой.

— Насчет помещения вы обратитесь к коменданту т. Лукину. А разрешение на прямой провод — пожалуйста.

Он написал записку.

Идем к коменданту. Высокий, красивый матрос, одетый в овчинный полушубок, с заливчатой папашой на голове. Выслушав нашу просьбу, он предложил целую гостиницу для нужд комитета.

— Куда же нам так много?

— Как куда, ведь вы же будете формировать части, так вам одной гостиницы не хватит.

— Мы будем формировать части, если нам это разрешит Главковерх, а пока мы хотели бы ограничиться несколькими комнатами. Комнаты две для дел и комнаты четыре-пять для нас самих.

— Не хотите, навязывать не буду. Идемте.

Захватив с собой несколько матросов, Лукин отправился вместе с нами вверх по центральной улице к большой гостинице, при которой имелся и ресторан. Поставив около двери несколько матросов, Лукин вошел в ресторан, вызвал хозяина и громким голосом отдал распоряжение немедленно закрыть торговлю. Жильцов выселить в часо-

вой срок, ресторанное имущество и имущество гостиницы конфискуется. Ключи от помещений с провизией и спиртными напитками передать ему.

Хозяин растерялся.

— Слышали, что я сказал?— прикрикнул Лукин.

— Товарищи, как же я могу так быстро?

Лукин обратился к публике, в изобилии сидевшей за столиками ресторана, и зычным голосом крикнул:

— Марш отсюда! Через три минуты чтобы никого!

Посетители схватили свои шапки и, толкая друг друга, бросились к выходу.

— Покажите номера!— обратился Лукин к хозяину.

Пошли по гостинице, которая имела около пятидесяти номеров.

— Кто здесь? Мародеров и спекулянтов в подвал! Служащий? Зачем приехал? За справками? В подвал для выяснения!— быстро допрашивал и распоряжался Лукин.

Человек тридцать жильцов Лукин отправил в сопровождении двух матросов в Чрезвычайную комиссию. Было несколько семей, которым Лукин дал разрешение задержаться в гостинице до подыскания себе квартиры в течение трех дней.

— Вот, товарищи,— обратился к нам Лукин,— выбирайте любые номера.

Мы взяли правое крыло, восемь комнат. Хозяин вручил нам ключи, и мы тотчас же командировали Антонова на вокзал заняться перевозкой имущества. Мне в эту гостиницу переезжать не хотелось, и я попросил Лукина дать мне ордер на право бесплатного пользования номером в тех меблированных комнатах, в которых я остановился накануне.

Уставши за день, я рано лег спать. Около часа ночи раздался сильный стук в дверь моей комнаты. Открыл дверь. В коридоре стояла группа вооруженных красногвардейцев.

— Вам что угодно?

— Ваши документы!

Я показал.

— Есть оружие?

— Нет.

Вошедшие не удовлетворились моим ответом и произвели поверхностный осмотр моей комнаты. Ничего не найдя, ушли. Наутро рассказал об этом Лукину.

— Мы почти каждый день производим осмотр гостиниц, сейчас так много наезжает всякой сволочи, много контрреволюционных агентов и шпионов.

На другую ночь я снова был разбужен стуком. Снова осмотр документов и комнаты. Это повторилось еще. Мне это надоело, и я попросил Лукина дать мне охранную бумажку, Чтобы не беспокоили по ночам. Лукин написал:

Предъявитель сего, председатель Центрального исполнительного комитета и т. д., от обысков и осмотра номера освобожден.

Я приколот бумажку к наружной двери, и с этих пор ночные визиты прекратились.

Имея разрешение Забитского на переговоры по прямому проводу, я отправился на телеграф, вызвал к аппарату Главковерха Крыленко. Вместо Крыленко подошел его адъютант:

— Что вам угодно? Я доложу Главковерху и тотчас же сообщу ответ.

Я передал:

— Наш Исполнительный комитет крестьянских депутатов Румчерода выехал из Кишинева в Курск, куда прибыл такого-то числа. Постановили обратить свои силы и знания на формирование в Курске новых красногвардейских частей. Материалом для этих частей должны явиться проходящие в большом количестве через Курск демобилизованные солдаты. Для того, чтобы нам вести эту работу, мы просим разрешения и соответственных указаний Курскому совету.

Через несколько минут получил ответ такого содержания.

— Главковерх не возражает против организации вами красногвардейских частей в городе Курске из проходящих демобилизующихся солдат. Вместе с тем Главковерх указывает, что им сейчас издан приказ об организации специальных военных комиссаров при местных Советах, на которых возлагается дело формирования новой, Красной

армии. Вам надлежит связаться с местным Советом и руководствоваться указанным приказом Главковерха.

Выдвинули меня докладчиком в Курский совет.

Святенко предложил организовать связь с харьковским большевистским правительством, в частности с главнокомандующим украинского фронта Антоновым-Овсеенко.

— Я думаю, лучше всего поехать мне, я украинец, владею украинским языком. Если поедет русский, то с ним могут быть недоразумения.

— Я бы тоже хотел поехать,— выступил Дементьев,— украинским языком я немного владею, документы можно сфабриковать или Лукин даст, отобрав у какого-нибудь спекулянта или контрреволюционера.

Командировку Святенко и Дементьева в Харьков утвердили.

На другой день после их отъезда попросились в отпуск другие товарищи.

Прошла неделя. Никто не вернулся.

Ликвидировали комитет и я с Сергеевым. Он уехал к себе, я — в Питер — для сдачи дел.

ГЛАВА XVII

В ПЕТРОГРАДЕ

Неделя уже, как болтаюсь в Питере, освобождаясь от дел Центрального комитета Совета крестьянских депутатов Румынского фронта. Кроме протоколов нашего комитета, денежных отчетов и другой бумажной рухляди, на моих руках серебряные Георгиевские кресты, пожертвованные солдатами в пользу революции, и около трехсот рублей денег.

Несколько дней ходил из комнаты в комнату большого Смольного, в поисках учреждения, которое приняло бы от меня дела. Наконец решил отправиться лично к Спиридоновой.

Она приняла меня в своем кабинете, на левом крыле Смольного института, в котором размещена крестьянская секция. Я представлял себе Спиридонову совсем иной, чем встретил в действительности. В моем воображении Спи-

ридонова представлялась крупной, энергичной, красивой девушкой, со следами страданий и мучений, вынесенных ею в царских тюрьмах и ссылках.

Передо мной же оказалась небольшого роста, хрупкая женщина лет тридцати двух, с изможденным сероватым лицом, впавшими, выцветшими глазами, которые моментами казались белыми, нервным лицом, передергивавшимся во время разговора. Пенсне ее часто падало.

Усадив меня, Спиридонова торопливым приглушенным голосом стала расспрашивать о положении на Румынском фронте, о настроениях солдат, о влиянии левых социал-революционеров, об отношении к большевикам, к Советам.

Точно не слыша моих ответов, она перескальзывала к новым вопросам. Беспреданно звонили телефоны, куда-то вызывали на заседание.

— Сейчас буду,— бросила Спиридонова в трубку.

Я заторопился.

— Дела сдайте товарищу Якушеву,— быстро сказала Спиридонова,— а насчет работы поговорим в другой раз, сейчас я спешу. Нам люди нужны, особенно с фронтовым опытом. Заходите непременно.

Смольный, как муравейник. Люди снуют непрерывными вереницами по всем коридорам с озабоченными физиономиями, вооруженные. Часто попадаются матросы с пулеметными лентами, надетыми через плечо, и подпоясанные ими. В главном корпусе Смольного у ряда комнат часовые, но не солдаты, а рабочие-красногвардейцы с винтовками и револьверами за поясом. Мне, привыкшему видеть часовых, стоящих по всем правилам воинского устава, было странно видеть фигуры рабочих с видом лежащей на них ответственности и в то же время без воинской выправки, которая, мне кажется, от часового не может быть отделена.

Зашел в редакцию «Знамя труда», орган ЦК левых эсеров, где в качестве редакторов были мои товарищи по Румкомкресту, Курдюмов и Сверчков.

Ребята предложили работать у них в качестве вечернего редактора. Оклад 350 рублей. Работа с двенадцати ночи до четырех утра.

Перспектива работы в газете соблазнительна. К газетной работе меня тянуло давно, с момента появления моей первой статьи в «Известиях 11-й армии». Обещал ребятам подумать и дать ответ через два-три дня.

Пошел в Таврический. Здесь спокойнее. Нет смольной сутолоки. В кулуарах прохаживаются отдельные лица, в частности, встретил Луначарского, беседующего с каким-то высоким седовласым старцем, ожесточенно жестикулирующим на спокойные реплики Луначарского. В комнатах, примыкающих к кулуарам, разместились культурные организации, занятые главным образом распределением литературы.

Перед Таврическим толпа зевак: обыватели, обывательницы в изящных костюмах. Интересоваться есть чем. Положение на фронте обостряется. Мирные переговоры в Брест-Литовске прерваны. Наша делегация возвращается в Петроград. Говорят, что вынесено постановление отвергнуть немецкие условия, армию демобилизовать, заявив немцам: «Ни мира не подписываем, ни войны не ведем».

Левые эсеры настаивают на объявлении революционной войны с применением партизанской тактики. Большевики с этим не согласны.

В секретариате ВЦИК Смолянский, секретарь ВЦИК от фракции левых эсеров, говорил:

— Большевики хотят командовать безраздельно, издеваются над нашей фракцией, между тем не имеют достаточного мужества открыто порвать с нами, ибо знают, что большинство за левыми эсерами. Мы требуем объявления революционной войны, призвав против немцев все активное население страны. Большевики же сторонники заключения мира на каких угодно условиях.

В конце беседы Смолянский предложил мне по вопросу о дальнейшей работе:

— Закс входит в состав Наркомпроса от нашей фракции как заместитель Луначарского. Я думаю, вы с ним догово-

ритесь. Если необходима будет письменная рекомендация, я дам.

Пошел к Заксу.

Наркомпрос, вернее, его коллегия разместилась в каком-то великокняжеском особняке на Английской набережной.

Около трех часов прождал я Закса — и безуспешно.

На улице мне бросились в глаза расклеенные на каждом столбе, на каждой будке и на стенах домов в большом количестве воззвания Совнаркома: «Социалистическое отечество в опасности».

Рядом приказ коменданта Петрограда о мобилизации населения на рытье окопов.

Отказ нашей мирной делегации в Брест-Литовске подписать мир на германских условиях и лозунг «ни войны, ни мира» — вызвали со стороны немцев наступление по всему фронту.

Пять-семь дней форсированного марша немецких войск — и Петроград станет ареной непосредственной борьбы. Отпора с нашей стороны ждать нельзя. Армия деморализована окончательно. Бросается оружие, все военное имущество, склады снарядов и т. п. Поезда захватываются бегущими с фронта солдатами.

Удивляюсь Смоленскому, как можно говорить о революционной войне. Революционеров не так уж много, чтобы из них можно было создать армию, хотя бы даже партизанскую.

На Невском чрезвычайное оживление:

— Еще неделька-другая. Скоро немцы покажут, как надо порядок восстанавливать. Это большевикам не с Керенским воевать.

Со стороны Садовой улицы к Николаевскому вокзалу прошли большие колонны рабочих, из которых часть с винтовками, бóльшая же с лопатами и кирками. В рядах колонн видны женщины.

Идут к Пулкову рыть окопы.

Настроение колонн не вяжется с настроением толпы, фланирующей по Невскому: бодрое, поют Варшавянку и другие революционные песни. Боевой вид колонн по-

боевому настраивает и меня. Хочется действовать, работать, кипеть.

Но делать нечего, и я продолжаю фланировать по городу.

К вечеру вернулся в гостиницу. Занялся газетой. Прочел декрет Совнаркома об организации новой армии. Прочел объявление:

Всероссийская коллегия по организации рабоче-крестьянской Красной армии приглашает лиц, знающих военное дело, на должность ответственных организаторов Красной армии в различных районах. Желаящим подать заявление прилагать рекомендации не менее двух членов РСДРП (б). Адрес: Исакиевская площадь, Мариинский дворец, Организационно-инструкторский отдел.

— Не пойти ли мне?— блеснула, но сразу потухла мысль.

Пошел опять к Заксу. Его секретарь порекомендовал мне сначала побеседовать с тов. Каменевой или тов. Крупской. А если там не выйдет, то прийти к Заксу.

Пошел к Каменевой.

Здание Наркомпроса на Фонтанке, позади Александринского театра. Пробродив не один десяток минут по длинным коридорам, добрался, наконец, до приемной Каменевой. Пришлось обождать около получаса. Наконец в приемную, напоминающую гостиную, вошла т. Каменева, женщина лет около тридцати пяти, интеллигентного вида, с мягкими движениями, чрезвычайно внимательная. Пригласив сесть, она осведомилась о цели моего прихода.

— Я хочу работать по просвещению,— с места в карьер начал я.— Склонность имел к этому делу всегда, однако никогда не работал. Мне думается, что я мог бы принести пользу или в качестве руководителя библиотечным или киноделом, причем меня интересует больше последнее. Можно было бы создать целую систему передвижных кино в целях демонстрации сельскохозяйственных культур и достижений в других странах.

Каменева внимательно выслушала. Справилась о моей партийности. Узнав, что я левый эсер, спросила, не могу ли я для начала будущей деятельности в области кинопросвещения теперь же произвести национализацию Скобелев-

ского комитета, который, по ее словам, является монополизатором всего кинодела страны.

— Мы как-то не добрались до этого учреждения,— сказала она.— Я вам дам записку, и вы с завтрашнего дня займитесь этим делом.

По привычке, приобретенной на фронте,— вставать рано, я поднялся около шести часов утра. День — ярко солнечный. Походил по улицам, нашел адрес Скобелевского комитета и направился прямо к нему.

У подъезда стоит маститый швейцар.

— Здесь Скобелевский комитет?

— Здесь. А вам кого?

— Заведующего.

— Их еще нет.

— А кто-нибудь есть?

— Да никого нет. Занятия начинаются только в десять.

«Ну, и рано же я поднялся!» — мелькнула мысль. Пошел вновь слоняться по городу. Вышел на Невский. Там опять большое оживление. Длинные колонны рабочих тянутся по направлению к Лиговке, вооруженные лопатами, винтовками, с узелками провизии. С песнями шла одна колонна за другой рыть окопы.

Одиннадцать часов. Тот же маститый швейцар на мой вопрос, пришел ли заведующий, ответил отрицательно.

Решил обождать. Сижу полчаса, час — заведующего нет, да не только заведующего,— во всем учреждении мертвая тишина. Наконец пришло несколько мелких сотрудников. Пошуршали бумагами, покурили, потолковали между собой. С удивлением рассматривали меня.

Половина первого. Никого нет.

Швейцар, очевидно, сжалившийся надо мной, подошел с вопросом:

— Вам зачем заведующий-то нужен? Вы из провинции, должно быть?

— С фронта я.

— Ну вот, то-то оно и видно. У нас вот уже какой месяц идет, как главные-то не работают. Редко-редко какой день

кто заглянет, и то затем, чтобы что-либо взять из дел, а так все больше на квартирах сидят. Не дождетесь вы.

— Дайте адрес квартиры заведующего.

— Это мне не приказано, господин хороший. А вы что, из большевиков, что ли, будете?

— Нет, я не большевик.

Швейцар смилостивился:

— Телефон могу сказать.

«А зачем мне заведующий нужен?— подумал я.— Надо вернуться обратно к Каменевой, рассказать, что здесь работа не производится, и кстати узнать о технике национализации учреждений».

Снова вернулся на Невский. Пошел за одной из рабочих колонн и незаметно для себя очутился около Таврического.

— Зайду к Смолянскому,— решил я.

Смолянский был у себя. На мой рассказ о Скобелевском комитете, смеясь, заметил:

— Теперь саботаж во всех интеллигентских учреждениях. Надо просто взять ордер в районном совете, несколько красногвардейцев, прийти, опечатать дела и потом самому набирать новых сотрудников.

Во время разговора в кабинет Смолянского вошел человек небольшого роста, сухощавый, в пенсне, с блестящими через их стекла глазами. Поздоровавшись со Смолянским, он протянул руку и мне...

— Бывший офицер?— отрывисто бросил он вопрос, смотря на мои плечи, где остались следы офицерских погон.

— Да.

— Что делаете?

— Скобелевский комитет собирается национализировать,— смеясь, вместо меня ответил Смолянский.

— Кому это сейчас надо? Армию сейчас надо организовывать. Читали декрет правительства?

— Читал.

— Так чего же в коллегия по организации армии не идете?

— Там рекомендации требуются,— пробормотал я первое пришедшее в голову оправдание.

— Это дело пустяковое. Раз вы заходите сюда и вас тут знают, такую рекомендацию и я могу дать.

Он подвинул к себе блокнот, лежавший на столе Смолянского, и быстро набросал на нем несколько строк.

— Вот,— сказал он, протягивая мне записку,— идите к Кагановичу. Сейчас военные люди нужны больше, чем когда-либо. Идите, желаю успеха.

С этими словами он вышел из кабинета.

— Кто это?— спросил я Смолянского.

— Свердлов.

— Председатель ВЦИК?— удивленно переспросил я.

— Да, а что, не верится?

— Да уж больно он просто подходит и, не зная меня, сразу дает рекомендацию.

— Ну, это такая умная бестия, он сразу насквозь видит. При всех наших политических разногласиях все же, надо признать по совести, Свердлов внушает к себе большое уважение.

Я прочитал записку:

Товарищ Каганович, податель сего, военный товарищ, может работать по организации армии. Используйте, как лучше. Я. Свердлов

Мариинский дворец. Громадное красивое здание. Здесь до революции заседал Государственный совет, а во время революции кратковременный Предпарламент.

Коллегия по организации рабоче-крестьянской Красной армии только начинает формироваться, о чем свидетельствует неорганизованность, неведение одним отделом, где находится другой. Наскоро расставленные в больших комнатах столы еще пусты. Одиночные сотрудники перебегают из одного конца здания в другой.

Это как бы новый главный штаб формируемой большевистской армии.

В правом же этаже натолкнулся на надпись: «Организационно-агитационный отдел». Пошел по коридору. На дверях надпись: «Комиссар отдела Каганович».

В кабинете одинокий письменный стол без всяких признаков письменных принадлежностей, без всяких признаков жилья и живых существ.

Жду. Проходит какой-то товарищ. Обращаюсь с вопросом, где можно встретить товарища Кагановича.

— Сейчас придет, он распределяет комнаты для организационно-агитационного отдела.

Через полчаса входит товарищ в кожаной куртке, высоких сапогах, лет двадцати пяти, с энергичным лицом, большими серыми глазами. Вопросительно останавливает свой взгляд на мне.

— Тов. Каганович?— угадал я.

— Да, откуда?

— Вам письмо,— протянул я ему записку Свердлова.

Каганович быстро пробежал глазами.

— Вы где хотите работать?

— Где будет удобно для дела, мне все равно, я не связан местностью.

— Здесь, в Питере, у нас уже достаточно товарищей, нам нужны деятельные работники в провинции.

— С удовольствием поеду.

— Куда хотите? В Сибирь, Дальний Восток, Урал, Украину?

— Для меня подходили бы Тула, Калуга.

— Отлично, там как раз у нас никого нет. Вам одну губернию, две?

— Я не знаю, как у вас полагается. Я не буду протестовать, если вы дадите и две губернии, например: Тульскую и Калужскую с пребыванием в Туле.

— Можно и так. А почему вы на Туле остановились?

— Я в Туле отбывал воинскую повинность. Знаю тульских военных. Имею некоторое знакомство с оружейными заводами, поэтому считаю, что на первых порах моя работа там прошла бы наиболее успешно.

— Правильно, раз есть связь с Тулой, валяйте в Тулу.

— А какие условия?— спросил я.

— Мы вам дадим мандат, что вы являетесь ответственным организатором Красной армии, затем дадим право

беспрепятственных сношений по телеграфу с Петроградом. Содержание триста рублей в месяц.

— Я согласен.

Через полчаса у меня на руках мандат:

Предъявитель сего товарищ Оленин является ответственным организатором по организации и формированию частей рабоче-крестьянской Красной армии в Тульской и Калужской губерниях.

Все организации приглашаются оказывать всяческое содействие товарищу Ленину при исполнении им возложенных на него заданий.

Тут же мне были выданы триста рублей, как месячное жалованье, и удостоверение на бесплатный проезд от Петрограда до Тулы.

Мирная деятельность просветителя лопнула, как мыльный пузырь. Я опять военный.

До Тулы добирался с большим трудом.

Прежде всего в самом Петрограде на вокзале стоит невообразимая сутолока и давка. Помимо демобилизованных солдат и матросов выезжает множество штатской публики. Дамы с чемоданами, корзинами, картонками — заполнили всю платформу.

Когда был подан для посадки поезд, тысячная толпа бросилась с боем захватывать вагоны. Мне удалось с трудом, через окно, забраться в вагон третьего класса, хотя в выданных документах числилось, что я имею право на проезд в вагоне первого класса. Занял место на самой верхней полке.

Минут за десять до отхода поезда с одного конца вагона раздались крики:

— Выходи!

С удивлением обернулся в сторону кричавших. В окно вагона увидел выстроенных перед ним человек пятьдесят матросов с винтовками и пулеметными лентами, надетыми крест-накрест через плечо.

— Говорят, выходи! — неслись крики. — Стрелять будем!

В сторону вагона угрожающе направлено несколько винтовок.

— В чем дело? Почему выходить?

— В этом вагоне будет размещен отряд матросов.

Вот те на! Добытое с трудом место приходится покидать.

С совершенно естественной бранью и ворчаньем публика потихоньку начала освобождать вагон, подталкиваемая энергичными окриками матросов.

Выбрался и я. Вещей у меня не было, поэтому надеялся забраться в другой вагон. Обежал весь состав. Однако не только влезть, но невозможно просунуть и руку. Вернулся к покинутому вагону и попросил старшего матроса разрешить доехать вместе с ними до Москвы.

Старший, молодой безусый матрос, важно посмотрел на меня, нехотя прочитал протянутый мною мандат Всероссийской коллегии и когда увидел, что я являюсь ответственным организатором Красной армии, потрепал меня по плечу и произнес:

— Ну ладно, ты свой, садись, братишка!

С матросами ехать было хорошо, в вагоне просторно, имелась даже возможность лежать и пить чай из чайников. К сожалению, часа через три несколько вагонов, в том числе и наш, сошли с рельс.

Передняя часть поезда, не сошедшая с рельс, отцепилась и отправилась дальше. Хвост же поезда с сошедшими с рельс вагонами остался в поле. Лишь около четырех часов утра прибыл новый состав, и мы были перегружены в другие вагоны.

На станции Сухиничи пересадка. Необычное оживление на базаре перед станцией, совершенно открыто мужики с возов торгуют водкой. Множество пьяных, брань и пьяные песни.

Заинтересовался — почему продается водка.

Станционный служитель, к которому я обратился с вопросом, стал рассказывать:

— Вот уже в течение четырех дней мужики возами привозят водку из Белева, верст за полтора, где якобы свободная торговля.

В вагоне, кроме демобилизованных, много крестьян, едут на Белев за водкой.

— Вот большевики молодцы,— говорят в вагоне,— захватили власть и сразу же монополю открыли.

Из разговоров узнал, что белевская власть из опасения разгрома винных складов объявила распродажу водки в обмен на хлеб. Мужики возами привозят хлеб, получая в обмен спирт и водку.

Через день я в Туле.

Содержание

Н. И. Цимбаев. В ОКОПАХ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 3

***В. Падучев.* ЗАПИСКИ НИЖНЕГО ЧИНА**

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ..... 11

1. СУДЬБА ИГРАЕТ ЧЕЛОВЕКОМ 12

2. В БЛИНДАЖАХ НА ПОЗИЦИИ 14

3. НОВАЯ СЕМЬЯ 26

4. ПО МОБИЛИЗАЦИИ..... 36

5. В ОФИЦЕРСКОЙ ЗЕМЛЯНКЕ 60

6. ГЛУХАЯ СТЕНА 72

7. ПОД ЛОБАЧЕВКОЙ..... 82

8. В ЛЕСУ..... 94

9. БЕЗ ПЕРЕМЕН 102

10. ОСЕННИЕ ДНИ110

11. ПЕРЕД ЗИМОЙ 122

12. «ГАЗОВЫЕ АТАКИ» 128

13. НА ЛЕВОМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ..... 133

14. ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА..... 138

Д. Оськин. ЗАПИСКИ ПРАПОРЩИКА

ГЛАВА I. ЛОДЫРИ СО ЗВЕЗДОЧКАМИ	147
ГЛАВА II. САПАНОВСКИЕ БОИ.....	169
ГЛАВА III. РАДЗИВИЛЛОВ—БРОДЫ.....	194
ГЛАВА IV. НА ЗИМНИХ ПОЗИЦИЯХ	208
ГЛАВА V. ГРОЗНЫЕ ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ	215
ГЛАВА VI. РЕВОЛЮЦИЯ	220
ГЛАВА VII. БРАТАНИЕ.....	231
ГЛАВА VIII. ВСЕРОССИЙСКИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ СЪЕЗД	266
ГЛАВА IX. ИЮНЬСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ	294
ГЛАВА X. ТАРНОПОЛЬСКИЙ ПРОРЫВ	307
ГЛАВА XI. АТАКИ КОНТРРЕВОЛЮЦИИ	343
ГЛАВА XII. НА ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕЩАНИИ	364
ГЛАВА XIII. РУМКОМКРЕСТ	373
ГЛАВА XIV. ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ.....	392
ГЛАВА XV. В КИШИНЕВЕ	414
ГЛАВА XVI. В ПУТИ	443
ГЛАВА XVII. В ПЕТРОГРАДЕ.....	449

Подписано в печать 27.08.2014.
Формат 60×84 /₁₆. Бумага офсетная.
Уч.-изд. л. 24,2. Тираж 500 экз.
Заказ . Цена договорная.
Издательство: Государственная публичная
историческая библиотека России, 2014
ГСП 101990, Москва, Старосадский пер., 9, стр. 1

ISBN 978-5-85209-344-8

